КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 3 (20)

АПРЕЛЬ—МАЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА

Гиз. № 7427. Главлит № 20370. Москва. Напеч. 10.000 экз.

Госиздат. 1-я Образцовая типография, Пятницкая, 71.

Пастух.

М. Горький.

Тимофей Борцов, сельский — села Вышенки — пастух, человек недюжинный: он немножко колдун и прорицатель, он — „коновал", но лечит и людей, он же и судья по „семейным делам" и, — как сам, ухмыляясь, именует себя — „соломенных дел мастер": отлично плетет из соломы баульчики, коробочки, папиросницы и рамки, украшая их цветными бумажками и фольгой.

Солидные мужики говорят о нем почтительно:

— Это мужик круглого ума, он для нас — министр!

Молодежь боится его и зовет:

— Дядя Тим.

Вообще село очень уважает Борцова за ум, справедливость, за трезвую жизнь и достаток. На сходках он первый человек, но говорит всегда последним, внимательно выслушав всех крикунов.

Когда он был еще подпаском, бык ударил его рогом в бедро, а в молодости рекрута перебили ему ребра, поэтому Борцов ходит, странно раскачивая свое крепкое тело, — как-будто ему хочется лечь на землю правым боком и, прижав к земле ухо, подслушать что-то в ней, а земля этого не хочет и отталкивает его.

Ему — лет шестьдесят, но он кряжистый, широкогрудый, меднолицый; плотные, белые зубы его все целы; в сивых волосах торчат рыжие клочья,—кажется, что он не седеет, а рыжеет. Волосы его так обильны и густы, что он не надевает шапку даже зимой в морозы. Голос у него мощный для подпасков и скота, а с людьми он говорит медленно и как бы нарочито тихо, чтоб люди внимательнее слушали.

Но, главное,—он философ. Часто бывает в городе, продавая свои соломенные изделия, много видел, обо всем подумал.

С утра до вечера он сидит в поле, где-либо на холмике под тенью одинокой березы или на опушке леса, грозно покрикивает команду подпаскам и ловкими шерстяными пальцами неустанно плетет солому,— около него целый сноп.

— Отчего люди враздробь живут?—ставит он вопрос и сам же отвечает:—А это от причины грамоты. Раздробились люди с того дня,

как удумали эту словесную грамоту, книжки всякие, законы, приказы. Вот. Ты приказываешь, а я не могу понять тебя, я ж не грамотен! Примерно: ты скотский доктор, вертиринал по-вашему, я тоже скот понимаю, а друг дружку мы не можем понять, тому мешает грамота. Да.

Я слушаю и смотрю в его двуцветную, рыжесивую бороду, в ней запутался широкий нос обезьяны, из нее шильями торчат, хитроумно сверкая, зеленые, жабьи глаза. А рта—не видно. Когда Борцов говорит, заметно только, что в бороде его что-то шевелится, и бело просвечивает сквозь волосы холодная полоска зубов.

— И стоишь ты супротив меня человеком чужого языка, вроде немца. Также и становой, и всякий другой чин. Ежели он по-матерному лает, ну, это я понять могу, а как он только по-грамотному заговорит,—тут промеж нас—овраг! Я—по ту сторону, он—по эту, и друг друга не слышим. Или же поп: разве кто понимает, что он в церкви кричит? В церкви, как во сне, очень желанно, ну, а понять невозможно ничего. Тоже и учителя: ребятишек скучат да скуке и учат, года-а! Это очень полезно, что ребятишки на возрасте забывают грамоту, а то бы и мужики друг дружку понимать перестали. Видишь? Главный вред людям это от нее, от грамоты.

Я пытаюсь убедить его в противном, однако—безуспешно. Прищурив, спрятав хитренькие глазки, он слушал речь мою молча и надувал губы так, что усы, мохнатым клоком, выдвигались из бороды Лицо его становилось глупым, качая упрямой башкой, он говорил сожалительно:

— Ах ты, господи! Ну, что тут делать? Не понимаю! Самых слов твоих не понимаю, не токмо—мыслей. Ты гляди, какие слова, а? Ты говоришь: наука, а я слышу—паука и сейчас тебя самого пауком вижу, и будто ты меня, как муху, оплетаешь паутинкой. И еще ты говоришь, чтобы все были грамотны. Так это же безрассудок, на всех грамоты не хватит. Да и пищи не хватит, что ты! Ай-яй, до чего грамота доводит, ай-яй!

Конечно, я понимал, что пастух издевается надо мной, но я был тоже упрям, мне хотелось преодолеть упрямство дяди Тимы. Видимо, это нравилось ему, он говорил со мной все более ласково и охотно.

Но, после одного его рассказа, я отскочил от Борцова, как мяч, отбитый палкой.

Сидел он вечером, после заката солнца, на скамье у ворот избы своей, пред избою, в темно-зеленой, маслянистой воде пруда квакали лягушки, над нами ныли комары. Борцов отбирал из снопа стебли соломы и лениненько философствовал, поучая меня:

— Ну, ладно; давай согласимся: нужен хороший человек. А—каков он, если хорош? Скажем так: людей-жителей не грабит, милостыню подает, хозяйствует усердно,—вот это будет самый хороший. Он законы знает: чужого—не трогай, свое—береги; не все жри сам, дай кусок и псам; потеплее оденься, тогда и на бога надейся,—вот он что знает.

Это самонужная его грамота. Таким человеком и держится наша держава, покоритель всех языков. Этот самый держалец земли всю вселенную кормит, и к нему всяк народ идет: немец разный, француз и турка,— все к нему лезут. Даже, сам знаешь, завоевать хотели сколько раз: обворужатся, чем лучше, и прямо на Москву лезут охально. А он сидит смирно, ждет. Да. Подкатятся они, двенадцать языков, а то и побольше, тут он встает да кэ-эк бабахнет! И все наступатели эти пылью рассыпятся—больше ничего. И—никакой об них памяти. Будто—были, а—уж нет! И—с годами—все меньше наступателей этих, а нас все больше, прямо девать некуда. Вот.

— По твоим же словам выходит, что хороший человек просто бессчастный и даже вроде полоумного. Какое его дело? Никаких делов за ним не видать. Какая от него польза? Орет без ума, чего не надо, и за то его садют в тюрьму,—вот как по твоим речам объясняется этот человек.

— Я таких знавал, я множество знаю всякой юрунды. Мне даже сам его благородие исправник не раз, не два говорил: „Много ты, Борцов, знаешь, умная башка у тебя". Я, конечно, ему низенько кланяюсь, а про себя знаю: дурак он. Жена у него без ног семь лет, а он сидит над ней, как сытый пес над падалью. И даже помер в один год с ней; говорили, будто с тоски. Про него тоже был слух: хорош человек. А хорошего у него одно было: лошадь. Я ей кровь спускал. Мерин. Крепкий, во всех статьях, как литой.

— Самый смешной из хороших этих был сын помещицы нашей Дубровиной, Ольги Николаевны; распутная баба была, муж бросил ее, за границу скрылся даже. Остроносая такая, бойкая. В очках ходила, очки на черной нитке, а нитка за ухо привязана. Я, говорит, доктор. Лечила некоторых. Ей на пожаре ногу переломили, стала тише после этого.

— А сын ее, Митя, дружком моим был, ребятишками живучи, вместе баловали. Потом он скрылся учиться, и долгие годы не видать было его. Вдруг—будто из болота выскочил, я тогда уже пастухом был, сижу на опушке, дудки режу, а он и бежит. „Узнал ты меня?" спрашивает. Длинный, худой стал, облысел и тоже в очках, как мать. В руке палка с кисейным колпаком, через плечо, на ремне, жестяная коробка, ножки тоненькие — совсем паяц! Мотыльков ловит, жуков и травы собирает, будто колдун. Говорит со мной по-старинке, как с мальчишком: помнишь, спрашивает, помнишь? Вижу: дураком выучился Митя; мне и вспоминать стыдно, я уж в ту пору женат был.— Что, пытаю, делаешь, Митрий Павлыч?—Книжки, говорит, пишу про насекомую жизнь.—Так, говорю. Занятия приятная.

— Присмотрелся—вижу добрый он, как пьяный, ничего ему не жаль. Начали мужики щипать его: тот просит, этот тянет. Я—тоже. Шляпу соломенную выпросил у него, очень хорошая шляпа была, я от нее и выучился крутить из соломы разное безделье. Ну, конечно, по дружбе, и деньги брал. Ножик тоже выпросил замечательный.

— Ума он был мышиного, заучился до безрассудка. Бывало скажет: комар лихоманки разносит, берегись, говорит, комара! Я, конечно, не смеюсь, а будто верю, спрашиваю: как так? Тут он и начинает плетенку плести, а, господи! Скажет тыщу слов, а смыслу с птичий нос. А то заведет речь насчет мужиков: трудно жить мужикам. В этот час и проси у него чего хочешь: трудно, так ты помоги! Тут он хоть сто рублей даст,—жалостлив был, как баба. Гляжу я на него, думаю: хоть ты вдвойне зряч, а живешь ты зря! Чего тебе надо? Обут-одет хорошо, ешь—скусно, землишку в аренду сдаешь, деньжонки есть, чего тебе еще, болван тесаный, идол мордовский? И—зло у меня на него.

— Ловит он насекомую мелочь, принюхивается ко всему, а я его направляю куда похуже, в болота, а у нас там промеж кочек колодцы глубоченены,—гляди в оба! Бывало, не доглядят подпаски, забредет теленок, а то овца, ну, и—поминай как звали! Засасывает их. Конечно, он и попадал в эдакие места, увязнет и орет.

Пастух нахмурил лоб и, раздирая пальцами бороду, продолжал тише, с явной досадой:

— Однова вперся он по шею, вытащили его, снял одежу, повесил на кусты сушить. А я и говорю подпаску: Николка, поди спрячь бариновы штаны. Мальчишке лестно поозорничать, спрятал он обои штаны, а дело было к закату, я велел стадо гнать домой и пришлось барину без штанов гулять, день был праздничный, везде—бабы, девки—смех! Ну, это вышло мне плохо. Проболтался Николка, что это я пошутил, дошла выдумка моя до дружка, прибежал он ко мне и давай заговаривать меня. До того много говорил, что даже рожа покраснела и чуть слезы не текут у него. Я, говорит, тебе и то, и се, а ты мне—что, а? С того дня рушилась наша дружба, перестал он знать меня да, кстати, захворал вскоре, а к весне и скончался в городе. Чахоточный...

— Ну, вот тебе и добрый человек, а—чем он хорош? Куда его, для какого дела? Он мне как заноза в пальце. И не мало таких видел я промеж господ. Сказано: промеж господ не зверь, так скот. Теленок. Был учитель у нас, Петр Александров, так до того заучился, что начал парням внушать: всему горю причина—царь. Неизвестно, чем его царь обидел. А Федька Савин, теперешний волостной старшина, догадался, да—в город, да в полицию, Федьке золотую монету в семь с полтиной дали, а учителя ночью жандармы увезли. Да — мало ли чего было!

— Опять говорю: грамотные — безумного характера люди, путаники. Пользы от них я не видал ни зерна, а досады—много. Вот и ты: человек здоровый, в подходе к людям—простой, даже кое-что понимать можешь. А все-таки есть в тебе опасное и понять тебя не могу я. Чего тебе надо? мне, вот, кисет надо для табаку, кожаный бы. Ну, я знаю, попроси у тебя кисет, ты купишь и дашь. Так ведь это от того, что у тебя деньга дешевая,—у вас, грамотных, вся ваша доброта от дешевой деньги, она вам легко дается. А чего тебе надо, ты, поди-ка, и сам

не знаешь. У меня же все ясно, как при свечке. Я, примерно скажем, прямой шосой иду, а ты проселками около—бродишь.

Пастух закрыл глаза, запрокинул голову, выгнув мохнатый кадык, и выпустил из бороды странные, рыкающие звуки,—это он смеялся. Потом, поковыряв глаза пальцем, снова заговорил:

— Вот намедни ты непотребно сказал: земля вертится. Это я и до тебя слыхал. Это потому она вертится, что у вас, у всех, башки от грамоты закружились. А вы кричите: ай, земля вертится! Ох, вертится! Земля—врешь!—вертеться не смеет, этого человек не может терпеть.

Победоносно сверкнув глазами, Борцов поглядел на красный круг луны в небесах, уставился на ее отражение в маслянистой воде пруда.

— Тебе, вот, неизвестно—какова завтра погода будет, а я знаю: быть завтра плохой погоде! Какой тому знак? Опять ты этого не понимаешь, а я тебе не скажу.

Свертывая папиросу, он добавил хвастливо:

— Пастух всегда погоду чует...

В этот вечер Борцов стал неприятен мне, я потерял охоту видеть его, и несколько месяцев мы не встречались.

Но вдруг я узнаю—не помню от кого,—что у пастуха есть двое племянников сирот и оба они учатся на его средства, один в Казанском ветеринарном институте, другой—во Владимире, в гимназии.

Встретив Борцова в магазине кустарных изделий, я упрекнул его:

— Ты зачем же это, дядя Тим, врал мне? Грамоту отрицаешь, а сам племянников учишь, да еще где!

Он прищурил жабьи глазки и, шевеля бородой, ответил:

— А—кем я обязан правду тебе говорить? К тому же за правду—бьют!

Засмеялся смехом лешего, покачиваясь на ногах, подмигивая, тихонько, сквозь смех говоря:

— Племяши-то мои, кровные мне, а ты—чужой человек, вроде прохожего нищего. Я и действую в свою пользу, как всякий человек с разумом. Мои пускай учатся, а чужим—не надо. Понял? Ну, то-то...

Положил на плечо мое тяжелую лапу и милостиво, поучительно добавил:

— Сказано: свой своему поневоле брат. Ну, я и радею своим. Али мне не желается господами видеть своих-то? Мы, чуешь, из господ, только—самый испод. Ну-ко-сь, закурим, блажен муж...

Закурили. Я одобрительно сказал:

— Ловко ты, дядя Тим, обманывал меня! Хороший ты актер.

Это не понравилось ему, он заворчал:

— Опять невнятное слово! Чудак, ей-богу! Что тебе—труднее по-людски, по-русски то же слово сказать: паяц... Навыки у вас, грамотных, вовсе обезьяньи...

Из книги Конармия.

И. Бабель.

Сидоров.

Я снова сидел вчера в людской у панны Элизы под нагретым венцом из зеленых ветвей ели. Я сидел у теплой, живой, такой ворчливой печки и потом возвращался к себе глубокой ночью. Внизу у обрыва бесшумный Збруч катил свою стеклянную и темную волну. Душа, налитая томительным хмелем мечты, улыбалась неведомо кому, и воображение, счастливая слепая баба, клубилось впереди июльским туманом.

Обгорелый город—переломленные колонны и врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев—он казался мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сновиденье. Голый блеск луны лился на него с неиссякаемой силой. Сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи. И я ждал потревоженной душой выхода Ромео из-за туч, атласного Ромео, поющего о любви в то время, как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны.

Голубые дороги текли мимо меня, как струи молока, брызнувшие из многих грудей. И, возвращаясь домой, я страшился встречи с Сидоровым, моим соседом, опускавшим на меня по ночам волосатую лапу своей тоски. По счастию в эту ночь, растерзанную молоком луны, Сидоров не проронил ни слова. Обложившись книгами, он писал. На столе дымилась горбатая свеча—зловещий костер мечтателей. Я сидел в стороне, дремал, и сны прыгали вокруг меня, как котята. И только поздней ночью меня разбудил ординарец, вызвавший Сидорова в штаб. Они ушли вместе, я подбежал тогда к столу, на котором писал Сидоров, и перелистал его книги. Это были самоучитель итальянского языка, изображение римского форума и план города Рима. План был весь размечен крестиками и точками. Неясный хмель спал тогда с меня, как чешуя линяющей змеи. Я наклонился над исписанным листом и с замирающим сердцем, ломая пальцы, прочитал чужое письмо. Сидоров, тоскующий убийца, изорвал в клочья розовую

вату моего воображения и потащил меня в черные коридоры здравомыслящего своего безумия. Письмо начиналось со второй страницы, но я не осмелился искать начала:

„...Пробито легкое и маленько рехнулся или, как говорит Сергей, с ума слетел. Не сходить же с него в самом деле, с дурака с этого, с ума. Впрочем, хвост на бок и шутки в сторону... Обратимся к повестке дня, друг мой Виктория.

„Я проделал трехмесячный махновский поход—утомительное жульничество, и ничего более. И только Волин все еще там. Волин рядится в апостольские ризы и карабкается в Ленины от анархизма. Ужасно. А батько слушает его, поглаживает пыльную проволоку своих кудрей и пропускает сквоз гнилые зубы длинную змею мужицкой своей усмешки. И я теперь не знаю, есть ли во всем этом не сорное зерно анархии и утрем ли мы вам ваши благополучные носы, самодельные цекисты из самодельного Цека made in Харьков, в самодельной столице. Ваши рубахи-парни не любят теперь вспоминать грехи анархической их юности и смеются над нами с высоты государственной мудрости, чорт с ними...

„А потом я попал в Москву. Как попал я в Москву? Ребята кого-то обижали в смысле реквизиционном и ином. Я, слюнтяй, вступился. Меня расчесали—и за дело. Рана была пустяковая, но в Москве, ах, Виктория, в Москве, я онемел от несчастий. Каждый день госпитальные сиделки приносили мне крупицу каши. Взнузданные благоговением, они тащили ее на большом подносе, и я возненавидел эту ударную кашу, внеплановое снабжение и плановую Москву. В Совете встретился потом с горсточкой анархистов. Они—пижоны или полупомешанные старички. Сунулся в Кремль с планом настоящей работы. Меня погладили по головке и обещали сделать замом, если исправлюсь. Я не исправился. Что было дальше? Дальше был фронт, Конармия и солдатня, пахнущая сырой кровью и человеческим прахом.

„Спасите меня, Виктория. Государственная мудрость сводит меня с ума, скука пьянит. Вы не поможете—и я издохну безо всякого плана. Кто же захочет, чтобы работник подох столь неорганизованно, не вы ведь, Виктория, моя невеста, которая никогда не будет женой. Вот и сантиментальность, ну ее к распроэтакой матери.

„Теперь будем говорить дело. В армии мне скучно. Ездить верхом из-за раны я не могу, значит не могу и драться. Употребите ваше влияние, Виктория. Пусть отправят меня в Италию. Язык я изучаю, и через два месяца буду на нем говорить. В Италии земля тлеет. Многое там готово. Недостает пары выстрелов. Один из них я произведу. Там нужно отправить короля к праотцам. Это очень важно. Король у них славный дядя, он играет в популярность и снимается с ручными социалистами для воспроизведения в журналах семейного чтения.

„В Цека, в Наркоминделе вы не говорите о выстрелах, о королях. Вас погладят по головке и промямлят: романтик. Скажите про-

сто,—он болен, зол, пьян от тоски, он хочет солнца Италии и бананов. Заслужил ведь или может не заслужил? Лечиться и баста. А если нет—пусть отправят в одесское Чека. Оно толковое и очень убийственное и...

„...Как глупо, как незаслуженно и глупо пишу я, друг мой Виктория.

Италия, она вошла в сердце, как навождение. Мысль об этой стране, никогда не виденной, сладка мне, как имя женщины, как ваше имя, Виктория"...

Я прочитал письмо и стал укладываться на моем продавленном и нечистом ложе. Но сон не шел. За стеной искренно плакала беременная еврейка, и ей отвечало стонущее бормотанье долговязого мужа. Они вспоминали об ограбленных вещах и злобствовали друг на друга за незадачливость. Потом, перед рассветом, вернулся Сидоров. На столе задыхалась догоревшая свеча. Сидоров вынул из сапога другой огарок и с необыкновенной задумчивостью придавил им оплывший фитилек. Наша комната была темна, мрачна, все дышало в ней ночной сырой вонью, и только окно, заполненное лунным огнем, сияло, как избавление.

Он пришел и спрятал письмо, мой томительный сосед. Сутулясь, сел он за стол и раскрыл альбом города Рима. Пышная книга с золотым обрезом стояла перед его оливковым и невыразительным лицом. Над круглой его спиной блестели зубчатые развалины Капитолия и арена цирка, освещенная закатом. Снимок королевской семьи был заложен тут же, между большими глянцевитыми листами. На клочке бумаги, вырванном из календаря, был изображен приветливый и тщедушный король Виктор Эммануил с своей черноволосой женой и наследным принцем Умберто и с целым выводком принцесс.

И вот ночь, полная далеких и тягостных звонов, квадрат света в сырой тьме и в нем мертвенное лицо Сидорова, безжизненная маска, повисшая над желтым пламенем свечи.

Новоград,
июль 1920.

Тимошенко и Мельников.

Тимошенко, наш начдив, забрал когда-то у Мельникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Это была лошадь пышного экстерьера, но с сырыми формами, которые мне всегда казались тяжеловатыми. Мельников получил взамен воронувю кобыленку неплохих кровей и с гладкой рысью. Но он держал кобыленку в черном теле и жаждал мести и ждал своего часу, и он дождался его.

После июньских неудачных боев, когда Тимошенку сместили и заслали в резерв чинов командного запаса, тогда Мельников написал в штаб армии прошение о возвращении ему лошади. Начальник штаба наложил на прошение резолюцию: „возворотить изложенного жеребца

в первобытное состояние"—и Мельников, ликуя, сделал сто верст для того, чтобы найти Тимошенку, жившего тогда в Радзивилове, в изувеченном городишке, похожем на оборванную салопницу. Он жил один, смещенный начдив, и лизуны из штабов не узнавали его больше. Лизуны из штабов удили жареных куриц в улыбках командарма и, холопствуя, они отвернулись от прославленного начдива.

Облитый французскими духами и похожий на Петра Великого, он жил в опале, с казачкой Павлой, отбитой им у еврея интенданта, и с двадцатью кровными лошадьми, которых мы все считали его собственностью. Солнце на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей, жеребята на его дворе бурно сосали маток, конюхи с взмокшими спинами просеивали овес на выцветших веялках, и только Мельников, израненный истиной и ведомый местью, шел напрямик к забаррикадированному двору.

— Личность моя вам знакомая?—спросил он у Тимошенки, который лежал на сене и посмеивался и розовел.

— Видал я тебя, как будто,—ответил Тимошенко и зевнул.

— Тогда получайте резолюцию начштаба,—сказал Мельников твердо,—и прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом.

— Можно,—примирительно пробормотал Тимошенко, взял бумагу и стал читать ее необыкновенно долго. Потом он позвал вдруг казачку, чесавшую себе волосы в холодку, под навесом.

— Павла,—сказал он,—с утра, слава те, господи, чешемся, направила бы самоварчик.

Казачка отложила гребень и, взяв в руки волосы, перебросила их за спину.

— Цельный день сегодня, Константин Васильич, цепляемся,—сказала она с ленивой и победительной усмешкой,—то того вам, то другого.

И она пошла к начдиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, измятую за ночь и шевелившуюся, как животное в мешке.

— Цельный день цепляемся,—повторила женщина, сияя, и застегнула начдиву рубаху на груди.

— То этого мне, а то того,—засмеялся начдив, вставая, обнял Павлины отдавшиеся плечи и обернул вдруг к Мельникову помертвевшее лицо.

— Я еще живой, Мельников,—сказал он, обнимаясь с казачкой,—я еще живой, мать твою и Исуса Христа распроэтакую мать, еще ноги мои ходят, еще кони мои скачут, еще руки мои тебя достанут и пушка моя греется около моего тела.

Он вынул револьвер, лежавший у него на голом животе, и подступил к командиру первого эскадрона.

Тот повернулся на каблуках, шпоры его застонали, он вышел со двора, как ординарец, получивший эстафету, и снова сделал сто верст

для того, чтобы найти начальника штаба, но тот прогнал от себя Мельникова.

— Твое дело, командир, решенное,—сказал начальник штаба,— жеребец тебе мною возворочен, а докуки мне без тебя хватает...

Он не стал слушать Мельникова и возвратил, наконец, первому эскадрону сбежавшего командира. Мельников целую неделю был в отлучке. За это время нас перегнали на стоянку в Дубенские леса. Мы разбили там палатки и жили хорошо. Мельников вернулся, я помню, в воскресенье утром, двенадцатого числа. Он потребовал у меня бумаги больше дести и чернил. Казаки обстругали ему пень, он положил на пень револьвер и бумагу и писал до вечера, перемарывая множество листов.

— Чистый Карл Маркс,—сказал ему вечером военком эскадрона,— чего ты пишешь, хрен с тобой?..

— Описываю разные мысли, согласно присяге,—ответил Мельников и подал военкому заявление о выходе из коммунистической партии большевиков.

„Коммунистическая партия,—было сказано в этом заявлении,— основана, полагаю, для радости и твердой правды без предела и должна также осматриваться на малых. Теперь коснусь до белого жеребца, которого я отбил у неимоверных по своей контре крестьян, имевший захудалый вид, и многие товарищи беззастенчиво надсмехались над этим видом, но я имел силы выдержать тот резкий смех и, сжав зубы, за общее дело выхолил жеребца до желаемой перемены, потому я есть, товарищи, до белых коней охотник и положил на них силы, в малом количестве оставшиеся мне от империалистской и гражданской войны, и таковые жеребцы чувствуют мою руку, и я также могу чувствовать его бессловесную нужду и что ему требуется, но несправедливая вороная кобылица мне без надобности, я не могу ее чувствовать и не могу ее переносить, что все товарищи могут подтвердить, как бы не дошло до беды. И вот партия не может мне возворотить, согласно резолюции, мое кровное, то я не имею выхода, как писать это заявление со слезами, которые не подобают бойцу, но текут бесперечь и секут сердце, засекая сердце в кровь“...

Вот это и еще много другого было написано в заявлении Мельникова, потому что он писал его целый день, и оно было очень длинно. Мы с военкомом бились над ним с час и разобрали до конца.

— Вот и дурак,—сказал потом военком, разрывая бумагу,—приходи после ужина, будешь иметь беседу со мной.

— Не надо мне твоей беседы,—ответил Мельников, вздрагивая,— проиграл ты меня, военком.

Он стоял, сложив руки по швам, дрожал, не сходя с места, и озирался по сторонам, как будто примериваясь, по какой дороге бежать. Военком подошел к нему вплотную, но не доглядел. Мельников рванулся и побежал изо всех сил.

— Проиграл,—закричал он дико и влез на пень и стал обрывать на себе куртку и царапать грудь.

— Бей, Тимошенко,—закричал он, падая на землю,—бей враз.

Тогда мы потащили его в палатку, и казаки нам помогли. Мы вскипятили ему чай и набили папирос. Он курил и все дрожал. И только к вечеру успокоился наш командир. Он не заговаривал больше о сумасбродном своем заявлении, но через неделю поехал в Ровно, освидетельствовался во врачебной комиссии и был демобилизован, как инвалид, имеющий шесть поранений.

Так лишились мы Мельникова. Я ужасно был этим опечален, потому что Мельников был тихий человек, похожий на меня характером. У него одного в эскадроне был самовар. В дни затишья мы пили с ним горячий чай. И он рассказывал мне о женщинах так подробно, что мне было стыдно и приятно слушать. Это, я думаю, потому, что нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони.

Радзивилов,
июнь 1920.

У святого Валента.

Дивизия наша заняла Берестечко вчера вечером. Штаб остановился в доме ксендза Тузинкевича. Переодевшись бабой, Тузинкевич бежал из Берестечка перед вступлением наших войск. О нем я знаю, что он сорок пять лет возился с богом в Берестечке и был хорошим ксендзом. Когда жители хотят, чтобы мы это поняли, они говорят—его любили евреи. При Тузинкевиче обновили древний костел. Ремонт кончили в день трехсотлетия храма. Из Житомира приехал тогда епископ. Прелаты в шелковых рясах служили перед костелом молебен. Пузатые и благостные—они стояли, как колокола в росистой траве. Из окрестных сел текли покорствующие реки. Мужичье преклоняло колена, целовало руки и на небесах в тот день пламенели невиданные облака. Небесные флаги веяли в честь старого костела. Сам епископ поцеловал Тузинкевича в лоб и назвал его отцом Берестечка, pater Béresteckea.

Эту историю узнал я утром в штабе, где разбирал донесение обходной колонны нашей, ведшей разведку на Львов в районе Радзихова. Я читал бумаги, и храп вестовых за моей спиной говорил о нескончаемой нашей бездомности. Писаря, отсыревшие от бессонницы, писали приказы по дивизии, ели огурцы и чихали. Только к полудню я освободился и подошел к окну и увидел храм Берестечка—могущественный и белый. Он светился в нежарком солнце, как фаянсовая башня. Молнии полудня блистали в его глянцевитых боках. Выпуклая их линия начиналась у древней зелени куполов и легко сбегала книзу. Розовые жилы тлели в белом камне фронтона, и на вершине были колонны, тонкие, как свечи.

Потом пение органа поразило мой слух, и в дверях штаба появилась старуха с распущенными желтыми волосами. Она двигалась, как собака с перебитой лапой, кружась и припадая к земле. Зрачки ее были налиты белой влагой слепоты и брызгали слезами. Звуки органа, то тягостные, то поспешные, подплывали к нам. Полет их был труден, и след их звенел жалобно и долго. Старуха вытерла слезы желтыми своими волосами, села на землю и стала целовать сапоги мои у колена. Орган умолк и потом захохотал на басовых нотах. Я схватил старуху за руку и оглянулся. Писаря стучали на машинках, вестовые храпели все заливистей и шпоры их резали войлок под бархатной обивкой диванов. Старуха целовала мои сапоги с нежностью, обняв их, как младенца. Я потащил ее к выходу и запер за собой дверь. Костел стал передо мной ослепительный, как декорация. Боковые ворота его были раскрыты и на могилах польских офицеров валялись конские черепа.

Мы вбежали во двор, прошли сумрачный коридор и попали в квадратную комнату, пристроенную к алтарю. Там хозяйничала Сашка, любовница Шевелева и сестра 31 полка. Она разорвала ризы и сорвала шелк с чьих-то одеяний. Мертвенный аромат парчи, рассыпавшихся цветов, душистого тления лился в ее трепещущие ноздри, щекоча ее и отравляя. Потом в комнату вошли казаки. Они захохотали и схватили ее за грудь и сунули ей под юбки золоченые палки от балдахина. Курдюков, придурковатый малый, ударил ее по носу кадилом, а Биценко кинул с размаху на гору материй и священных книг. Казаки заголили тело Сашки, цветущее и вонючее, как мясо только что зарезанной коровы, они заголили ее ноги эскадронной дамы, чугунные и стройные ноги, и Курдюков, придурковатый малый, усевшись на Сашке верхом и трясясь, как в седле, притворился объятым страстью. Она сбросила его, разбила ему голову и кинулась к своему мешку. Я и казаки—мы едва отогнали ее от шелков. Направив на нас наган, она уходила, раскачиваясь, ворчала, как рассерженный пес, и тащила за собой мешок. Она унесла мешок с собой, и только тогда, пройдя алтарь, мы проникли в костел.

Он был полон света, этот костел, он был полон танцующих лучей, воздушных столбов, какого-то прохладного веселья. Как забыть мне картину, висевшую у правого придела и написанную, я уверен в этом, божественным Аполеком. На этой картине двенадцать розовых патеров качали в люльке, перевитой лентами, пухлого младенца Исуса. Пальцы ног его оттопырены и тело отлакировано утренним жарким потом. Дитя барахтается на жирной спинке, собранной в складки, и двенадцать апостолов в кардинальских тиарах склонились над колыбелью.

Их лица выбриты до синевы, и пламенные плащи оттопыриваются на животах. Глаза апостолов сверкают мудростью, решимостью, весельем, в углах их рта бродит тонкая усмешка, и на двойные подбородки посажены огненные бородавки, малиновые бородавки, как молодая редиска в мае.

В этом храме Берестечка была своя, была обольстительная точка зрения на смертные страдания сынов человеческих. В этом храме святые шли на казнь с картинностью итальянских певцов и черные волосы палачей лоснились, как борода Олоферна. Тогда же над царскими вратами я увидел кощунственное изображение Иоанна, принадлежащее еретической и упоительной кисти Аполека. На изображении этом Креститель был красив той двусмысленной и недоговоренной красотой, ради которой наложницы королей теряют свою наполовину потерянную честь и расцветающую жизнь.

Сведенный с ума воспоминанием о мечте моей, об Аполеке, я не заметил следов разрушения в храме или они показались мне не велики. Была сломана только рака святого Валента. Куски истлевшей ваты валялись под ней и хорошо. вычищенные смехотворные кости святого, похожие больше всего на кости курицы. Да Афонька Бида играл еще на органе. Он был пьян, Афонька, и дик и изрублен. Только вчера вернулся он к нам с отбитым у мужиков конем. Он упрямо пытался подобрать на органе марш и кто-то уговаривал его сонным голосом—„брось, Афоня, идем снедать". Но казак не бросал. И их было множество,—афонькиных песен. Каждый звук был песня, и все звуки были оторваны друг от друга. Песня—ее густой напев—длилась мгновение и переходила в другую... Я слушал, озирался, и следы разрушения казались мне не велики. Но не так думал пан Людомирский, звонарь церкви святого Валента и муж слепой старухи. Он выполз неизвестно откуда и предал нас анафеме. На этом помирились, а могло кончиться хуже.

Пан Людомирский вошел в костел ровным шагом с опущенной головой. Он не решился накинуть покрывала на выброшенные мощи, потому что человеку простого звания не дозволено касаться святыни. Звонарь упал на голубые плиты пола, поднял голову, и синий нос его стал над ним, как флаг над мертвецом. В это мгновение над алтарем заколебалась бархатная завеса и трепеща отползла в сторону. Хриплый вой разорвал наш слух. Мы недоверчиво отступали перед лицом ужаса, и ужас настигал нас и щупал мертвыми пальцами наши сердца. В глубине открывшейся ниши, на фоне неба, изборожденного тучами, скорчилась бородатая фигурка в оранжевом кунтуше—босая с разодранным и кровоточащим ртом. Я видел: этого человека преследовала ненависть и настигала погоня. Он выгнул руку, чтобы отвести занесенный удар. Рядом со мной закричал казачонок и, опустив голову, бросился бежать.

Пан Людомирский, звонарь церкви святого Валента, сыграл над нами злую шутку. Эта фигура была Исус Христос—самое необыкновенное изображение бога изо всех виденных мною в жизни.

Спаситель—курчавый жиденок с клочковатой бороденкой и низким сморщенным лбом. Впалые щеки его были накрашены кармином и над закрывшимися от боли глазами выведены тонкие рыжие брови.

Рот его разодран, как губа лошади, польский кунтуш его охвачен драгоценным поясом и под кафтаном корчатся фарфоровые ножки, накрашенные, босые, изрезанные серебряными гвоздями.

Под статуей стоял в зеленом сюртуке пан Людомирский. Он простер над нами иссохшую руку и проклял нас. Казаки выпучили глаза и развесили соломенные чубы. Громовым голосом звонарь церкви святого Валента предал нас анафеме на чистейшей латыни. Потом он отвернулся, упал на колени и обнял ноги Спасителя.

Придя к себе в штаб, я написал рапорт начальнику дивизии об оскорблении религиозного чувства местного населения. Костел было приказано закрыть, а виновных подвергнуть дисциплинарному взысканию и предать суду военного трибунала.

Берестечко,
август 1920.

Шевелев.

На санитарной линейке умирает Шевелев, полковой командир. Ночь, пронзенная отблесками канонады, выгнулась над ним, и женщина сидит у его ног. Левка, кучер начдива, подогревает в котелке пищу. Левкин чуб висит над костром. Стреноженные кони хрустят в кустах. Левка размешивает веткой в котелке и говорит Шевелеву, умирающему на санитарной линейке:

— Работал я, товарищок, в Темрюке, в городе, работал парфорсную езду, а также атлет легкого веса. Городок, конечно, для женщины утомительный, завидели меня дамочки, стены рушат... „Лев Гаврилыч, не откажите принять закуску по карте, не пожалеете безвозвратно потерянного времени"... Подались мы с одной в трактир. Требуем телятины две порции, требуем полштофа, сидим с ней совершенно тихо, выпиваем... Гляжу—суется ко мне некоторый господин, одет ничего, чисто, но в личности его я замечаю большое воображение, и сам он под мухой.

— Извиняюсь,—говорит,—какая у вас, между прочим, национальность?

— По какой причине,—спрашиваю,—вы меня, господин, за национальность трогаете, когда я тем более нахожусь при дамском обществе?

А он:

— Какой вы, говорит, есть атлет... Во французской борьбе из таких бессрочную подкладку делают. Докажите мне свою нацию...

Ну, однако, еще не рублю.

— Зачем вы,—говорю,—не знаю вашего имени-отчества, такое недоразумение вызываете, что здесь обязательно должен кто-нибудь в настоящее время погибнуть, иначе говоря, лечь до последнего издыхания?

— До последнего лечь,—повторяет Левка с восторгом и протягивает руки к небу, окружая себя ночью, как нимбом. Неутомимый

ветер, чистый ветер ночи поет, наливается звоном и колышет души. Звезды пылают во тьме, как обручальные кольца, они падают на Левку, путаются в волосах и гаснут в лохматой его голове.

— Лев,—шепчет ему вдруг Шевелев синими губами,—иди сюда. Золото какое есть — Сашке, — говорит раненый, — кольца, сбрую — все ей. Жили, как умели, вознагражу. Одежду, сподники, орден за беззаветное геройство—матери на Терек. Отошли с письмом и напиши в письме—кланялся командир и не плачь. Хата тебе, старуха, живи. Кто тронет,—скачи к Буденному: я—Шевелева матка. Коня Абрамку жертвую полку, коня жертвую на помин моей души...

— Понял про коня,—бормочет Левка и взмахивает руками.

— Саш,—кричит он женщине,—слыхала, чего говорит?.. При ем сознавайся—отдашь старухе ейное, аль не отдашь?..

— Мать вашу в пять,—отвечает Сашка и отходит в кусты, прямая, как слепец.

— Отдашь сиротскую долю? — догоняет ее Левка и хватает за горло.—При ем говори.

— Отдам. Пусти!

И тогда, вынудив признание, Левка снял котелок с огня и стал лить варево умирающему в окостеневший рот. Щи стекали с Шевелева, ложка гремела в его сверкающих мертвых зубах, и пули все тоскливее, все сильнее пели в густых просторах ночи.

— Винтовками бьет, гад,—сказал Левка.

— Вот халуйское знатье,—ответил Шевелев,—пулеметами вскрывает нас на правом фланге.

И, закрыв глаза, торжественный, как мертвец на столе, Шевелев стал слушать бой большими и восковыми своими ушами. Рядом с ним Левка жевал мясо, хрустя и задыхаясь. Кончив мясо, Левка облизал губы и потащил Сашку в ложбинку.

— Саш,—сказал он, дрожа, отрыгиваясь и вертя руками.—Саш, как перед богом, все одно в грехах, как в репьях... Раз жить, раз подыхать. Поддайся, Саш, отслужу хучь бы кровью... Век его прошел, Саш, а дней у бога не убыло...

Они сели в высокую траву. Медлительная луна выползла из-за туч и остановилась на обнаженном Сашкином колене.

— Греетесь,—пробормотал Шевелев,—а он, гляди, четырнадцатую дивизию погнал.

Левка хрустел и задыхался в кустах. Мглистая луна шлялась по небу, как побирушка. Далекая пальба плыла в воздухе. Ковыль шелестел на потревоженной земле, и в траву падали августовские звезды.

Потом Сашка вернулась на прежнее место. Она стала менять раненому бинты и подняла фонарик над загнивающей раной.

— К завтрему уйдешь,—сказала Сашка, обтирая Шевелева, вспотевшего прохладным потом.—К завтрему уйдешь, она в кишках у тебя, смерть...

И в это мгновение многоголосный и плотный удар повалился на землю. Четыре свежие бригады, введенные в бой объединенным командованием неприятеля, выпустили по Буску первый снаряд и, разрывая наши коммуникации, зажгли водораздел Буга. Послушные пожары встали на горизонте, и тяжелые птицы канонады вылетели из огня. Буск горел, и Левка, обеспамятевший халуй, полетел по лесу в качающемся экипаже начдива шесть. Он натянул малиновые вожжи и бился о пни лакированными колесами. Шевелевская линейка неслась за ним, и внимательная Сашка правила лошадьми, прыгавшими из упряжки.

Так приехали они к опушке, где стоял перевязочный пункт. Левка выпряг лошадей и пошел к заведующему просить попону. Он пошел по лесу, заставленному телегами. Тела санитаров торчали под телегами, и несмелая заря билась над солдатскими овчинами. Сапоги спящих были брошены врозь, зрачки их заведены к небу и черные ямы ртов перекошены.

Попона нашлась у заведующего; Левка вернулся к Шевелеву, поцеловал его в лоб и покрыл с головой. Тогда к линейке приблизилась Сашка. Она вывязала себе платок под подбородком и отряхнула платье от соломы.

— Павлик,—сказала она,—Исус Христос мой,—и легла на мертвеца боком и прикрыла его своим непомерным телом.

— Убивается,—сказал тогда Левка,—ничего не скажешь, хорошо жили. Теперь ей снова под всем эскадроном хлопотать. Не сладко...

И он проехал дальше в Буск, где расположился штаб 6 кавдивизии.

Там, в десяти верстах от города шел бой с савинковскими казаками. Предатели сражались под командой эсаула Яковлева, передавшегося полякам. Они сражались мужественно. Начдив вторые сутки был с войсками, и Левка, не найдя его в штабе, вернулся к себе в хату, почистил лошадей, облил водой колеса экипажа и лег спать в клуне. Сарай был набит свежим сеном зажигательным, как духи. Левка выспался и сел обедать. Хозяйка сварила ему картошки, залила ее простоквашей. Левка сидел уже у стола, когда на улице раздался траурный вопль труб и топот многих копыт. Эскадрон с трубачами и штандартами проходил по извилистой галицийской улице. Тело Шевелева, положенное на лафет, было перекрыто знаменами. Сашка ехала за гробом на шевелевском жеребце, и казацкая песня сочилась из задних рядов.

Эскадрон прошел по главной улице и потом повернул к реке. Тогда Левка, босой и без шапки, пустился бегом за уходящим отрядом и схватил за поводья лошадь командира эскадрона.

Ни командарм, остановившийся у перекрестка и отдававший честь мертвому командиру, ни штаб его не слышали, что сказал Левка эскадронному.

— Сподники,—донес к нам ветер обрывки слов,—мать на Тереке,— услышали мы Левкины бессвязные крики, и потом эскадронный высво-

бодил свои поводья и показал рукой на Сашку. Женщина помотала головой и проехала дальше. Тогда Левка вскочил к ней на седло, схватил ее за волосы, отогнул голову и разбил ей кулаком лицо. Сашка вытерла подолом кровь и поехала дальше. Левка слез с седла, откинул чуб и завязал на бедрах красный шарф. И завывающие трубачи повели эскадрон дальше, к сияющей линии Буга.

Он скоро вернулся к нам, Левка, кучер начдива, и закричал блестя глазами:

— Распатронил ее в чистую... Отошлю, говорит, матери, когда нужно. Евоную память, говорит, сама помню. А помнишь, так не забывай, гадючья кость... А забудешь—мы еще разок напомним. Второй раз забудешь—мы второй раз напомним...

Галиция,
август 1920.

Берестечко.

Мы делали переход из Хотина в Берестечко. Бойцы дремали в высоких седлах. Песня журчала, как пересыхающий ручей. Чудовищные трупы валялись на тысячелетних курганах. Мужики в белых рубахах ломали шапки перед нами... Черная бурка начдива Апанасенки веяла над штабом, как мрачный флаг. Пуховый башлык был перекинут через бурку, и кривая сабля лежала сбоку, как приклеенная. Ее рукоятка из черной кости оправлена пышным узором, и футляр хранится у ординарцев, ведущих за начдивом заводных коней.

Мы проехали казачьи курганы и вышку Богдана Хмельницкого. Из-за могильного камня выполз дед с бандурой и детским голоском спел нам про былую казачью славу. Мы прослушали песню молча, потом развернули штандарты и под звуки гремящего марша ворвались в Берестечко. Жители заложили ставни железными палками, и тишина, полновластная тишина, взошла на местечковый свой трон.

Квартира мне попалась у рыжей вдовы, пропахшей вдовьим горем. Я умылся с дороги и вышел на улицу. На столбах висели уже объявления о том, что военкомдив Винокуров прочтет вечером доклад о втором Конгрессе Коминтерна. Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя подмышками. Еврей затих и расставил ноги. Кудря левой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись. Потом он стукнул в закрытую раму.

— Если кто интересуется,—сказал он,—нехай приберет. Это свободно.

И казаки завернули за угол. Я пошел за ними следом и стал бродить по местечку. В нем больше всего живут евреи, а на окраинах расселились русские мещане-кожевники. Они живут чисто, в бе-

лых домиках, за зелеными ставнями. Вместо водки мещане пьют пиво или мед, разводят табак в палисадничках и курят его из длинных гнутых чубуков, как галицийские крестьяне. Соседство трех племен, деятельных и деловитых, разбудило в них упрямое трудолюбие, свойственное иногда русскому человеку, когда он еще не обовшивел, не отчаялся и не упился.

Быт выветрился в Берестечке, а он был прочен здесь. Отростки, которым перевалило за три столетия, все еще зеленели на Волыни теплой гнилью старины. Евреи связывали здесь нитями наживы русского мужика с польским паном, чешского колониста с Лодзинской фабрикой. Это были контрабандисты, лучшие на границе, и почти всегда воители за веру. Хасидизм держал в удушливом плену это суетливое население из корчмарей, разносчиков и маклеров. Мальчики в капотиках все еще топтали вековую дорогу к хасидскому хедеру, и старухи по-прежнему возили невесток к цадику с яростной мольбой о плодородии.

Евреи живут здесь в просторных домах, вымазанных белой или водянисто-голубой краской. Традиционное убожество этой архитектуры насчитывает столетия. За домом тянется всегда сарай в два, иногда в три этажа. В нем никогда не бывает солнца. Сараи эти, неописуемо мрачные, заменяют наши дворы. Потайные ходы ведут в подвалы и в конюшни. Во время войны в этих катакомбах спасаются от пуль и грабежей. Здесь скопляются за много дней человечьи отбросы и навоз скотины. Уныние и ужас заполняют катакомбы едкой вонью и протухшей кислотой испражнений.

Берестечко нерушимо воняет и до сих пор, от всех людей шибет запахом гнилой селедки. Местечко смердит в ожидании новой эры, и вместо людей по нему ходят слинявшие схемы пограничных несчастий. Они надоели мне к концу дня, и я ушел поэтому за городскую черту, поднялся в гору и проник в опустошенный замок графов Рациборских, недавних владетелей Берестечка.

Спокойствие заката сделало траву у замка голубой. Над прудом взошла луна, зеленая, как ящерица. Из окна мне видно поместие графов Рациборских—луга и плантации из хмеля, скрытые муаровыми лентами сумерек.

В замке жили раньше помешанная девяностолетняя графиня с сыном. Она глумилась над сыном за то, что он не дал наследников угасающему роду, и—мужики божились мне—графиня била сына кучерским кнутом.

Внизу на площадке собрался митинг. Пришли крестьяне, евреи и кожевники из предместья. Над ними разгорелся восторженный голос Винокурова и нежный звон его шпор. Он говорил им о втором Конгрессе Коминтерна, а я бродил вдоль стен, где нимфы с выколотыми глазами водят старинный хоровод. Потом в углу, на затоптанном полу нашел обрывок пожелтевшего письма. На нем вылинявшими чернилами

было написано: Berestecko, 1820. Paul, mon bien aimé, on dit que l'empereur Napoléon est mort, est-ce vrai? Moi je me sens bien, les couches ont été faciles, notre petit héros acheve sept semaines[1]...

А внизу не умолкает голос военкомдива. Он страстно убеждает озадаченных мещан и обворованных евреев:

— Вы — власть. Все, что здесь — ваше. Нет панов. Приступаю к выборам Ревкома.

Берестечко,
август 1920.

Конкин.

Крошили мы шляхту по-за Белой-Церковью. Крошили вдосталь, аж деревья гнулись. Я с утра отметину получил, но выкомаривал ничего себе, подходяще. Денек, помню, уже к вечеру пригибался. От комбрига я отбился, пролетариату всего казачишек пяток за мной увязалось. Кругом в обнимку рубаются, как поп с попадьей, юшка из меня помаленьку капает, конь мой передом мочится... Одним словом— два слова...

Вынеслись мы со Спиркой Забутым подальше от леска, глядим— подходящая арифметика... Саженях в трехстах, ну, не более, не то штаб пылит, не то обоз. Штаб—хорошо, обоз — того лучше. Барахло у ребятишек пооборвалось, рубашонки такие, что половой зрелости не достигают.

— Забутый, — говорю я Спирьке, — мать твою и так, и этак, и всяко, предоставляю тебе слово, как записавшемуся оратору, ведь это штаб ихний уходит...

— Свободная вещь, что штаб, — говорит Спирька, — но только ты протекаешь, а мне своя рогожа чужой рожи дороже. Нас двое, их восемь...

— Дуй ветер, Спирька,—говорю,—все равно я им ризы испачкаю,— помрем за кислый огурец и мировую революцию...

И пустились. Было их восемь сабель. Двоих сняли мы винтами на корню. Третьего, вижу, Спирька ведет в штаб Духонина для проверки документов. А я в туза целюсь. Малиновый, ребята, туз, при цепке и золотых часах. Прижал я его к хуторку. Хуторок там был весь в яблоне и вишне. Конь под моим тузом, как купцова дочка, но пристал. Бросает тогда пан генерал поводья, примеряется ко мне маузером и делает мне в ноге дырку.

— Ладно,—думаю,—будешь моя, раскинешь ноги.

Нажал я колеса и вкладываю в коника два заряда. Жалко было жеребца. Большевичок был жеребец, чистый большевичок. Сам

---

[1]) Берестечко. 1820. Поль, мой любимый, говорят, что император Наполеон умер, правда ли это? Я чувствую себя хорошо, роды были легкие, нашему маленькому герою исполнилось уже семь недель...

рыжий, как монета, хвост пулей, нога струной. Ликвидировал я эт; скотину. Думал, живую Ленину свезу, ан не вышло. Рухнула лошадка как невеста, и туз мой с седла снялся. Подорвал он в сторону, пото еще разок обернулся и еще один сквозняк мне в фигуре сделал Имею я, значит, при себе три отличия в делах против неприятеля.

— Исусе, — думаю, — он, чего доброго, убьет меня нечаянны порядком.

Подскакал я к нему, а он уже шашку выхватил, и по щекам ег слезы текут, белые слезы, человечье молоко.

— Даешь орден Красного Знамени,—кричу,—сдавайся, ясновель можный, покуда я жив...

— Не мóге, пан,—отвечает старик,—ты зарежешь меня...

А тут Спиридон передо мной, как лист перед травой. Личност его в мыле, глаза от морды на нитках висят.

— Вася, — кричит он мне, — страсть сказать, сколько я людеі кончил. А ведь это генерал у тебя, на нем шитье, мне желательн его кончить.

— Иди к турку,—говорю я Забутому и серчаю,—мне шитье ег крови стоит.

И кобылой моей загоняю я генерала в клуню, сено там было ил так. Тишина там была, темнота, прохлада.

— Пан,—говорю,—утихомирь свою старость, сдайся мне за ради бога, и мы отдохнем с тобой, пан.

А он дышит у стенки грудью и трет лоб красным пальцем.

— Не мóге, — говорит,—ты зарежешь меня, — только Буденному отдам я мою саблю.

Буденного ему подай. Эх, горе ты мое. И вижу — пропадает старый.

— Пан,—кричу я и плачу и зубами скрегочу,—слово пролетария, я сам высший начальник. Ты шитья на мне не ищи, а титул есть. Титул, вот он—музыкальный эксцентрик и салонный чревовещатель из города Нижнего... Нижний город на Волге-реке...

И бес меня взмыл. Генеральские глаза передо мной, как фонари мигнули. Красное море передо мной открылось. Обида солью вошла мне в рану, потому вижу, не верит мне дед. Замкнул я тогда рот, ребяты, поджал брюхо, взял воздуху и понес по старинке, по-нашенскому, по-бойцовски, по-нижегородски и доказал шляхте мое чревовещание.

Побелел тут старик, взялся за сердце и сел на землю.

— Веришь теперь Ваське эксцентрику, третьей непобедимой кавбригады комиссару...

— Комиссар?—кричит он.

— Комиссар,—говорю я.

— Коммунист?—кричит он.

— Коммунист,—говорю я.

— В смертельный мой час,—кричит он,—в последнее мое воздыхание, скажи мне, друг мой, казак,—коммунист ты или врешь?

— Коммунист,—говорю я.

Садится тут мой дед на землю, целует какую-то ладанку, ломает на-двое саблю и зажигает две плошки в своих глазах, два фонаря над темной степью.

— Прости,—говорит,—не могу сдаться коммунисту,—и здоровается со мной за руку,—прости,—говорит,—и руби меня по-солдатски...

Эту историю со всегдашним своим шутовством рассказал нам однажды на привале прославленный Конкин, политический комиссар N...ской кавбригады и троекратный кавалер ордена Красного Знамени.

— И до чего же ты, Васька, с паном договорился?

— Договоришься ли с ним. Гоноровый выдался. Покланялся я ему еще, а он упирается. Бумаги мы тогда у него взяли, какие были, маузер взяли, седелка его, чудака, и посейчас подо мной. А потом вижу—каплет из меня все сильней, ужасный сон на меня нападает, и сапоги мои полны крови, не до него...

— Облегчили, значит, старика?

— Был грех.

Дубно,
август 1920.

Чесники.

Шестая дивизия скопилась в лесу, что у деревни Чесники и ждала сигнала к атаке. Но Апанасенко, начдив шесть, поджидал вторую бригаду и не давал сигнала. Тогда к начдиву подъехал Ворошилов. Он толкнул его мордой лошади в грудь и сказал:

— Волыним, начдив шесть, волыним.

— Вторая бригада,—ответил Апанасенко глухо,—согласно вашего приказания идет на рысях к месту происшествия.

— Волыним, начдив шесть, волыним,—повторил Ворошилов, захохотал и разорвал на себе ремни. Апанасенко отступил от него на шаг.

— Во имя совести,—закричал он и стал ломать сырые пальцы,—во имя совести не торопить меня, товарищ Ворошилов.

— Не торопить,—прошептал Клим Ворошилов, член Реввоенсовета, и закрыл глаза. Он сидел на лошади с прикрытыми глазами и молчал и шевелил губами. Казак в лаптях и в котелке смотрел на него с недоумением. Штаб армии, рослые генштабисты в штанах, краснее, чем человеческая кровь, делали гимнастику за его спиной и пересмеивались. Скачущие эскадроны шумели в лесу, как шумит ветер, и ломали ветви. Ворошилов расчесывал маузером гриву своей лошади, потом он обернулся к Буденному и выстрелил в воздух..

— Командарм, — закричал он, — скажи войскам напутственное слово. Вот он стоит на холмике, поляк, стоит как картина и смеется над тобой...

Поляки в самом деле были видны в бинокль. Штаб армии вскочил на коней, и казаки стали стекаться к нему со всех сторон.

Иван Акинфиев, бывший повозочный Ревтрибунала, проехал мимо и толкнул меня стременем.

— Ты в строю, Иван,—сказал я ему,—ведь у тебя ребер нету.

— Положил я на эти ребра, — ответил Акинфиев, сидевший на лошади бочком,—дай послухать, что человек рассказывает.

И он проехал вперед и протиснулся к Буденному в упор.

Тот вздрогнул и сказал тихо:

— Ребята, — сказал Буденный,—у нас плохая положения, веселей надо, ребята...

— Даешь Варшаву,—закричал казак в лаптях и в котелке, выкатил глаза и рассек саблей воздух.

— Даешь Варшаву,—закричал Ворошилов, поднял коня на дыбы и влетел в средину эскадронов.

— Бойцы и командиры,—сказал он со страстью, — в Москве, в древней столице, основалась небывалая власть. Рабоче-крестьянское правительство, первое в мире, приказывает вам, бойцы и командиры, атаковать неприятеля и привезти победу.

— Сабли к бою,—отдаленно запел Апанасенко за спиной командарма, и вывороченные малиновые его губы с пеной заблестели в рядах. Красный казакин начдива был оборван, и мясистое, омерзительное его лицо искажено. Клинком неоценимой сабли он отдал честь Ворошилову.

— Согласно долга революционной присяги, — сказал начдив шесть, хрипя и озираясь,—докладаю Реввоенсовету Первой Конной: вторая непобедимая кавбригада на рысях подходит к месту происшествия.

— Делай,—ответил Ворошилов и махнул рукой. Он тронул повод, и Буденный поехал с ним рядом. Они ехали рядом на длинных рыжих кобылах в одинаковых кителях и в сияющих штанах, расшитых серебром. Бойцы, подвывая, двигались за ними, и бледная сталь мерцала в сукровице осеннего солнца. Но я не услышал единодушия в казацком вое и, дожидаясь атаки, я ушел в лес, в глубь его, к стоянке питпункта.

Две пухлых сестры в передничках укладывались там на траве. Они толкались молодыми грудями и отпихивались друг от дружки. Они смеялись замирающим бабьим смешком и подмигивали мне снизу, не мигая. Так подмигивают пересыхающему парню деревенские девки с голыми ногами, деревенские девки, взвизгивающие, как обласканные щенята, и ночующие на дворе в томительных подушках скирды. Подальше от сестер лежал в бреду раненый красноармеец и Степка Дуплищев, вздорный казаченок, чистил скребницей Урагана, кровного жеребца, принадлежавшего начдиву и происходившего от Люлюши, Ростовской рекордистки. Раненый скороговоркой вспоминал о Шуе,

о нетели и о каких-то оческах льна, а Дуплищев, заглушая его жалкое бормотанье, пел песню о денщике и толстой генеральше, пел все громче и взмахивал скребницей и гладил коня. Но его прервала Сашка, опухшая Сашка, дама всех эскадронов. Она подъехала к мальчику и прыгнула на землю.

— Сделаемся, што ль?—сказала Сашка.

— Отваливай,—ответил Дуплищев, повернулся к ней спиной и стал заплетать ленточки в гриву Урагану.

— Своему слову ты хозяин, Степка?—сказала тогда Сашка,—или ты вакса.

— Отваливай,—ответил Степка,—своему слову я хозяин.

Он вплел все ленточки в гриву и вдруг закричал мне с отчаянием:

— Вот, Кирилл Васильич, обратите маленькое внимание—какое надругание она надо мной делает. Это цельный месяц я от нее вытерпляю несказанно што. Куды ни повернусь—она тут, куды ни кинусь—она загородка путя моего, спусти ей жеребца, да спусти ей жеребца. Ну, когда начдив каждоденно мне наказывает: „к тебе, говорит, Степа, при таком жеребце многие проситься будут, но не моги ты пускать его по четвертому году"...

— Вас, небось, по пятнадцатому году пускаешь, — пробормотала Сашка и отвернулась.—По пятнадцатому, небось, и ничего, молчишь, только пузыри пускаешь.

Она отошла к своей кобыле, укрепила подпруги и изготовилась ехать. Шпоры на ее туфлях гремели, ажурные чулки были забрызганы грязью и убраны сеном, и чудовищная грудь ее закидывалась за спину.

— Целковый-то я привезла,—сказала Сашка в сторону и поставила туфлю с шпорой в стремя.—Привезла да вот отвозить надо.

Она вынула два новеньких полтинника, поиграла ими на ладони, и спрятала опять за пазуху.

— Сделаемся, што ль?—сказал тогда Дуплищев, не спуская глаз с серебра, и повел жеребца. Сашка выбрала покатое место на полянке и поставила кобылу.

— Ты один, видно, по земле с жеребцом ходишь,—сказала она Степке и стала направлять Урагана.—Да только кобыленка у меня позиционная, два года не покрыта; дай, думаю, хороших кровей добуду...

Сашка справилась с жеребцом и потом отвела в сторонку свою лошадь:

— Вот мы и с начинкой, девочка,—прошептала она, поцеловала свою кобылу в лошадиные пегие мокрые губы с нависшими палочками слюны, потерлась об лошадиную морду и стала вслушиваться в шум, топавший по лесу.

— Вторая бригада бежит,—сказала Сашка строго и обернулась ко мне.—Ехать надо, Лютыч...

— Бежит, не бежит,—закричал Дуплищев, и у него перехватило в горле,—ставь, дьякон, деньги на кон...

— С деньгами я вся тут,—пробормотала Сашка и вскочила н кобылу.

Я бросился за ней, и мы двинулись галопом. Вопль Дуплищев раздался за нами и легкий стук выстрела.

— Обратите маленькое внимание,—кричал казачонок и изо все сил бежал по лесу.

Ветер прыгал между ветвями, как обезумевший заяц, вторая бри гада летела сквозь галицийские дубы, Ворошилов стоял на холмике и стрелял из маузера, безмятежная пыль канонады восходила над землей как над мирной хатой. И по знаку начдива мы пошли в атаку, в незабываемую атаку при Чесниках.

Замостье.

Начдив и штаб его лежали на скошенном поле в трех верстах от Замостья. Войскам предстояла ночная атака города. Приказ по армии требовал, чтобы мы ночевали в Замостье, и начдив ждал донесений о победе.

Шел дождь. Над залитой землей летели ветер и тьма. Все звезды были задушены раздувшимися чернилами туч. Изнеможенные лошади вздыхали и переминались во мраке. Им нечего было дать. Я привязал повод коня к моей ноге, завернулся в плащ и лег в яму, полную воды. Размокшая земля открыла мне успокоительные объятия могилы. Лошадь натянула повод и потащила меня за ногу. Она нашла пучок травы и стала щипать его. Тогда я заснул и увидел во сне клуню, засыпанную сеном. Над клуней гудело пыльное золото молотьбы. Снопы пшеницы летели по небу, июльский день переходил в вечер, и чащи заката запрокидывались над селом.

Я был простерт на безмолвном ложе, и ласка сена под затылком сводила меня с ума. Потом двери сарая разошлись со свистом. Женщина, одетая для бала, приблизилась ко мне. Она вынула грудь из черных кружев корсажа и понесла ее мне с осторожностью, как кормилица пищу. Она приложила свою грудь к моей. Томительная теплота потрясла основы моей души, и капли пота, живого, движущегося пота, закипели между нашими сосками.

— Марго, — хотел я крикнуть, — земля тащит меня на веревке своих бедствий, как упирающегося пса, но все же я увидел вас, Марго...

Я хотел это крикнуть, но челюсти мои, сведенные внезапным холодом, не разжимались. Тогда женщина отстранилась от меня и упала на колени.

— Иисусе, — сказала она, — прими душу усопшего раба твоего.

Она укрепила два истертых пятака на моих веках и забила благовонным сеном отверстие рта. Вопль тщетно метался по кругу закованных моих челюстей, потухающие зрачки медленно повернулись под медяками, я не смог разомкнуть моих рук и... проснулся.

Мужик с свалявшейся бородой лежал передо мной. Он держал в руках ружье. Спина лошади черной перекладиной резала небо. Повод тугой петлей сжимал мою ногу, торчавшую кверху.

— Заснул земляк, — сказал мне мужик и улыбнулся ночными, бессонными глазами, — лошадь тебя с полверсты протащила...

Я распутал ремень и встал. По лицу моему, разодранному бурьяном, лилась кровь.

Тут же, в двух шагах от нас, лежала передовая цепь. Мне видны были трубы Замостья, вороватые огни в теснинах его гетто и каланча с разбитым фонарем. Сырой рассвет стекал на нас, как волны хлороформа. Зеленые ракеты взвились над польским лагерем. Они затрепетали в воздухе, осыпались, как розы под луной, и угасли.

И я услышал отдаленное дуновение стона. Дым потаенного убийства бродил вокруг нас.

— Бьют кого-то, — сказал я, — кого это бьют?..

— Поляк тревожится, — ответил мне мужик, — поляк жидов режет...

Мужик переложил ружье из правой руки в левую. Борода его свернулась совсем на бок, он посмотрел на меня с любовью и сказал:

— Длинные эти ночи в цепу, конца этим ночам нет. И вот приходит человеку охота поговорить с другим человеком, а где его возьмешь, другого человека-то?..

Мужик заставил меня прикурить от его огонька.

— Жид всякому виноват, — сказал он, — и нашему, и вашему. Их после войны самое малое количество останется. Сколько в свете жидов считается?

— Десять миллионов, — ответил я и стал взнуздывать коня.

— Их двести тысяч останется, — вскричал мужик и тронул меня за руку, боясь, что я уйду. Но я взобрался на седло и поскакал к тому месту, где был штаб.

Начдив готовился уже уезжать. Ординарцы стояли перед ним на вытяжку и спали стоя. Спешенные эскадроны ползли по мокрым буграм.

— Прижалась наша гайка, — прошептал начдив и уехал.

Мы последовали за ним по дороге в Ситанец.

Снова пошел дождь. Мертвые мыши поплыли по дорогам. Осень окружила засадой наши сердца, и деревья, голые мертвецы, поставленные на обе ноги, закачались на перекрестках.

Мы приехали в Ситанец утром. Я был с Волковым квартирьером штаба. Он нашел для нас свободную хату у края деревни.

— Вина, — сказал я хозяйке, — вина, мяса и хлеба!

Старуха сидела на полу и кормила из рук спрятанную под кроватью телку.

— Ниц нема, — ответила она равнодушно. — И того времени не упомню, когда было.

Я сел за стол, снял с себя револьвер и заснул. Через четверть часа я открыл глаза и увидел Волкова, согнувшегося над подоконником. Он писал письмо к невесте.

„Многоуважаемая Валя, — писал он, — помните ли вы меня?“

Я прочитал первую строчку, потом вынул спички из кармана и поджег кучу соломы на полу. Освобожденное пламя заблестело и кинулось ко мне. Старуха легла на огонь грудью и затушила его.

— Что ты делаешь, пан? — сказала старуха, и отступила в ужасе.

Волков обернулся, устремил на хозяйку пустые глаза и снова принялся за письмо.

— Я спалю тебя, старая,—пробормотал я, засыпая, — тебя спалю и твою краденую телку.

— Чекай, — закричала хозяйка высоким голосом. Она побежала в сени и вернулась с кувшином молока и хлебом. Мы не успели съесть и половины, как во дворе застучали выстрелы. Их было множество. Они стучали долго и надоели нам. Мы кончили молоко, и Волков ушел во двор для того, чтобы узнать, в чем дело.

— Я заседлал твоего коня, — сказал он мне в окошко, — моего прострочили, лучше не надо. Поляки ставят пулеметы в ста шагах.

И вот на двоих у нас осталась одна лошадь. Она едва вынесла нас из Ситанца. Я сел в седло, а Волков пристроился сзади.

Обозы бежали, ревели и тонули в грязи. И утро сочилось на нас, как хлороформ сочится на госпитальный стол.

— Вы женаты, Лютов?—сказал вдруг Волков, сидевший сзади.

— Меня бросила жена, — ответил я и задремал на несколько мгновений, и мне приснилось, что я сплю на кровати.

Молчание.

Лошадь наша шатается.

— Кобыла пристанет через две версты,—говорит Волков, сидящий сзади.

Молчание.

— Мы проиграли кампанию, — бормочет Волков и всхрапывает.

— Да, — говорю я.

Сокаль,
сентябрь 1920.

Тимошенко и Мельников.

Четыре месяца тому назад Тимошенко, наш бывший начдив, забрал у Мельникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Мельников ушел тогда из армии, и сегодня Тимошенко получил от него письмо.

Мельников — Тимошенке:

„...И никакой злобы на Буденную армию больше иметь не могу, страдания мои посередь той армии понимаю и содержу их в сердце чище святыни. А вам, товарищ Тимошенко, как всемирному герою,

рудящая масса Витебщины, где нахожусь председателем уревкома, шлет пролетарский клич — „даешь мировую революцию" — и желает, тобы тот белый жеребец ходил под вами долгие годы по мягким ропкам для пользы всеми любимой свободы и братских республик, в оторых особенный глаз должны мы иметь за властью на местах и за олостными единицами в административном отношении"...

Тимошенко — Мельникову:

„Неизменный товарищ Мельников! Которое письмо ты написал о меня, то оно очень похвально для общего дела, тем более, сказать, осле твоей дурости, когда ты застелил глаза собственною шкурою и ыступал из коммунистической нашей партии большевиков. Коммунистическая наша партия есть, товарищ Мельников, железная шеренга ойцов, отдающих кровь в первом ряду, и когда из железа вытекает ровь, то это вам, товарищи, не шутки, а победа или смерть. То же змое относительно общего дела, которого не дожидаю увидеть расцвет, ак как бои тяжелые, и командный состав сменяю в две недели раз. ридцатые сутки бьюсь арьергадом, заграждая непобедимую Первую онную и находясь под действительным ружейным, артиллерийским аэропланным огнем неприятеля. Убит Тардый, убит Лухмаников, убит Пыкошенко, убит Гулевой, убит Трунов, и белого жеребца нет подо мной, так что, согласно перемене военного счастья, не дожидай увидеть юбимого начдива Тимошенку, товарищ Мельников, а увидимся, прямо казать, в царствии небесном, но, как по слухам, у старика на небесах е царствие, а бордель по всей форме, а трипперов и на земле хватает, о, может, и не увидимся. С тем прощай, товарищ Мельников".

Галиция,
сентябрь 1920.

Конец мелкого человека.

Леонид Леонов.

I.

Поздним вечером одной зимы, когда, после долгих и бесплодных поисков какой-нибудь пищи, тащился он домой бесцельно, встречен был им неожиданный человек с лошадиной головой под мышкой. Федор Андреич на месте остолбенел при мысли, что именно ему в конце концов суждено, быть может, стать счастливым обладателем упомянутой головы.

Небывалым прыжком, тяжко дыша и размахивая руками, подскочил он к неожиданному тому человеку, чтоб с разбегу предложить ему за голову рублей сто. Но, очевидно, парабола прыжка была так невероятна, а вид Федора Андреича так свиреп, что неожиданный человек тот немедленно выбросил лошадиную голову в снег и как бы с шипеньем пустился бежать от огромного и взъерошенного человека, каким в снежном сумраке представился ему Федор Андреич. Бегал он не плохо, даже удивительная для того времени резвость была у него в ногах,—скоро и совсем исчез он в густой копотной мути завечеревшего переулка.

Федор Андреич добросовестно проводил его недоуменными глазами, а потом потуже запахнул старое свое, среднего цвета, пальтецо, подобрал лошадиную голову и, прижимая ее к себе, побежал тяжелым, гулким бегом в обратную сторону. Без особого греха можно было бы сказать, что бежал он вприпрыжку даже, если бы не противоречило это представлению нашему о наружном виде и о внутреннем состоянии Федора Андреича.

Был когда-то несколько грузен Федор Андреич,—был, ибо с некоторых пор вся его грузность внезапно пропала, уступив место чрезмерной негрузности, а жировые вместилища на щеках повисли смешно и необыкновенно жалко над немытым воротничком. Характернейшей чертой тогдашних настроений Федора Андреича было вялое равнодушие ко всему; росту он был очень вышесреднего, особых примет не имел, а просто всем видом напоминал того дикого и любопытного вся-

кому медведя, о вымирании которого никто не думал, никто не плакал в ту лихую пору гика и медвежьих охот.

Теперь, остановившись у двери своей, отдышался он первым делом, а потом постарался во мгле длинной черной лестницы, неверно уходящей вверх, разглядеть голову, приобретенную им так счастливо и неблаговидно. Голова оказалась уже ободранной, и одного в ней глаза совсем недоставало, а другой ледяным, равнодушным зраком наблюдал высокое плечо нашего Федора Андреича.

На мгновенье задержалась тут у него неладная мысль, что ведь голову-то мог бы съесть и сам тот неожиданный и пугливый человек из Мухина переулка, но это продолжалось, именно, не более одного мгновения. Вслед затем внутренний голос шепнул Федору Андреичу, что ничего предосудительного в подобном способе добывания лошадиных голов нет, да и быть не может, ибо не только глупо, но и вредно голодному беспокоиться на какой бы то ни было счет. Потому-то, по приходе домой, и принимался Федор Андреич за варку головы без всяких самоупреков и угрызений совести.

Тут и сказалось прирожденное неуменье Федора Андреича и сестры его обращаться с лошадиными головами. Во-первых, не был положен в котел лавровый лист или другое что-нибудь пахучее, а во-вторых улучив подходящую минутку, когда сестра вышла ненадолго, кинул он на глазомер горстки полторы соды в котел, в видах экономии. пары другой поленьев, так как сода весьма способствует быстрому развариванию совершенно твердых предметов,—даже пивной бутылки, а не то что лошадиной головы.

Сода была уже непростительным промахом. Получилась в котле этакая лошадиная каша дикого цвета и мыльного запаха, да и голова-то, в довершение всего, оказалась с душком.

Впрочем Федор Андреич и сестра его ели с таким удовольствием, что только потом вспомнили про некоторую странность лошадиного блюда. И потому, посмеявшись в меру необычайности ужина, они провели остаток вечера в беседе, наполненной воспоминаниями.

После беседы Елена Андреевна прилегла часика на два в своей комнатушке, не раздеваясь: стоял на квартире у них зверский холод, а в три нужно было ей итти занимать масляную очередь. Были то жестокие в смысле масляном и хлебном времена.

Вслед за ее уходом и произошел с Федором Андреичем припадок. Во время сна стал у него в груди пошевеливаться дикий хрип, и в привычной тоске налетевшего смерчем удушья медленно похолодели концы пальцев. Его разбудило собственное же дыханье, рвавшееся знойно и бешено, как через барьеры обезумевший конь. Федор Андреич рывком раскрыл глаза и не увидел окна, синеющего ночью.

Мрак висел в комнате острой, ясно ощутимой пылью. Потому-то стало его дыханье клокочущим и быстрым, как дым, пробегающий в широкий дымоход при хорошей буревой тяге.

Сперва показалось, что правой стены в комнате нет, а вместо нее длинный, пугающий черным коридор. Федор Андреич мучительно пошарил там обострившимся взглядом, и, когда наткнулся взгляд его на нечто, пошевелившееся спиной, больно и сильно укололось сердце о знакомый неумолимый шип.

Он колыхнулся всем телом, и кольнуло вторым больным уколом в сердце,—хотел закрыть глаза, но они, разбухшие жестоко, не закрывались. Все нервы натянулись до предела, за которым разрыв, и тогда без труда различил Федор Андреич на дрожащей неспокойной синеве окна, ромбически скошенного и налитого ночью, четкий силуэт прокрадывающегося ферта. Казался неслышным и скользким шаг его, направленный к нему по кривой из коридора,—отчетливо рисовалась знакомая лошадиность в линиях широкой фертовой челюсти и высокого не по хорошему лба.

— Здравствуй,—отрывисто сказал ферт, подходя на полтора шага и пристально всматриваясь в лицо Федора Андреича, сморщенное мукой. Тогда сердце, его ущемленное тоской, прыгнуло куда-то в пустоту, и синее окно смаху задернулось черной занавеской.

II.

Фамилия Федору Андреичу была Лихарев, а лет ему было... Затруднительно сказать, сколько было Лихареву лет.

С того самого дня, как над Россией прозвенело стальное крыло небывалых сотрясений, и Некто, вооруженный бичом, погнал ее из мрака в другую, огнедышащую новь, где, подобно быкам, ревут громовые трубы, земля стала в двенадцать раз быстрей обращаться вокруг солнца, а дома и люди, по той же причине, научились стариться скорее ровно в двенадцать раз... Вследствие таких причин, если Лихареву до начала, скажем, поры этого медного быка, было пятьдесят два, то в дни рассказа нашего было ему пятьдесят два с пребольшущим хвостиком.

Эти свои пятьдесят два не истратил Федор Андреич как нипопадя, в пустую, без следа. Длительным напряженьем ума и воли он так глубоко проникнул в неисповедимые глубины палеонтологической и других, родственных этой, наук, что, пожалуй, и жил все время там, в допотопном где-то, считая настоящее за нестоящее отражение тех невозвратных времен.

Федор Андреич умел работать почти не уставая, как хороший семижильный вол. А если припомнить попутно, что и дарованьицем не был он обижен, станет понятным, почему научное имя его ценилось так высоко у нас и, как будто, даже за границей. А за год, приблизительно, до медного быка Лихарев, гуляя на закате в окрестностях одного курортного городишки, нашел в рыжем, размытом овраге некоторый камень серого цвета, неприличной формы, без запаха и как

будто с носом даже. Находка эта так обрадовала Лихарева, что он, ни минуты не медля, перетащил камень к себе и, водворив его на почетное место между фотографией матери и гипсовым Томсеном, в ближайшую же ночь начал писать большой по размерам и значению для человечества труд о климате мезозойской эпохи.

Труд этот, который, к слову сказать, должен был вызвать крупнейшие толки, а может быть, и раскол в ученых кругах, подвигался успешно, и вдохновенный Лихарев, кроме всего прочего, ухитрился даже восстановить новое ископаемое неслыханной величины по совершенно ничтожным и весьма своеобразным данным окаменелости.

Об этой работе Федора Андреича много в свое время говорили, ожидая появления ее в свет с непрерываемым интересом. Однако к самому моменту ее окончания, когда к печати были готовы все двадцать два листа, быками заревели трубы, и вся сокрушительная суть мезозоя стремительно надвинулась на тихое бытие города в самых характерных особенностях, подробно описанных Лихаревым.

Одновременно участились припадки сердечной болезни. Да и все здоровье Федора Андреича, требовавшее основательной поправки где-нибудь на теплом берегу голубого моря, перестало позволять ему, как прежде, просиживать ночи напролет за изучением носатого камня. Что-то с кровью оторвалось внутри, что-то утерялось навеки,—стал камень жить своей мезозойской жизнью, а Лихарев настоящей и сильно неладной своей. Не подоспей сестра во-время,—давно перестала бы ползти к зениту Лихаревская звезда.

Елена Андреевна в первой молодости была печальной, но там, внутри, очень жизнеодаренной, как все печальные, девушкой,—жила у тетки в провинции, писала белые стихи про королевичей, у которых во лбу звезда, и про всякое тому подобное... И все ждала она неустанно одного такого, чтоб пришел издалека и сжег душу ей горячей лаской всю, без жалости и без остатка.

Но время шло,—„бурьянами одиноких лет стала зарастать девушкина душа, как зарастает нежилой, весь белый, над рекою старый дом",—так писала она про себя в своем дневничке в ту пору. Негаданно стукнуло ей двадцать пять, потом сразу двадцать семь, потом три года под-ряд твердила всем и сама старалась верить, что ей двадцать шесть. Ясно обнаружилась бесцельность бытия ее здесь, на подлунной. Потом ударило тридцать,—и тут она заметалась. „Никому я не нужна... а королевичи перевелись... а завтра мне тридцать..."—горько писала она в той же толстой своей тетрадке, набухшей невыплаканными слезами, невысказанными обидами, несбывшимися снами. Тогда, гуляя с подругами, совсем нечаянно ушла она за сосновую рощу, где струилась безвестно куда железная дорога, и там, едва зашлепало вдалеке железное дыханье паровоза, легла на рельсы. А в поезде сломалось что-то как на грех, и паровоз остановился шагах в сорока от лежавшей на рельсах. Получилось глупо, фальшиво и чуточку смешно...

Спокойная, сутулая немножко, встала Елена с земли, уже холодевшей вечерне, и медленно пошла домой, где уже ждали ее за веселым самоваром. Больше она не пела песенок про королевичей, больше не ложилась на рельсы. Годы, мелькавшие доныне, как встречны поезду, в широком поле, поезда, стали неторопливыми, перестав быть непосильнообременяющей ношей для Елены.

Как раз это исцеление Елены, не мечты, как нельзя лучше поправило неважный быт Федора Андреича, старшего брата, профессора вылитого отца по нелюдимости, по серьезности отношения к жизни по непокорному спереди клоку волос, вздыбленных седым фонтаном Этот медвежий человек, погруженный в глухие льды и безбурные затишья допотопных пор, не любивший никого, кроме своих ископаемых чудищ, жил одиноко и тускло, если поглядеть со стороны, как живут многие, проходящие жизнь бочком, чтоб не задеть никого и самому не ушибиться.

Вдруг тетка в провинции умерла. Жить одной стало Елене невмоготу в этой „суконной дыре, где в трехоконных домишках, похожих на керосинки, войлочные души, как мухи, сидят,—где лишь раз в неделю кудрявым колокольным трезвоном прерывается утробный храп...“—так с пафосом горечи и стыда описывала она теткин город на последней страничке исписанного дневника. Сестра послала брату телеграмму: „еду“,—брат ответил: „место найду“. И вот Елена Андреевна прочно водворилась в бытие профессора Лихарева, сделавшись ему столь же необходимой, как стакан крепкого чая по утрам, как пузатая стеклянная чернильница, верная и единственная подруга умных Лихаревских ночей.

Они переехали на Шестаковскую улицу, в нижний этаж большого безалаберного дома, населенного всякою людскою мелочью. Квартирка им попалась небольшая, и комнаты, заставленные чем попало, деревянным, на гвоздях, бедно и раскосо глядели в улицу, длинную-длинную, скучную-скучную, кривую, Шестаковскую.

Федор Андреич неладно зажил в последнее время, хотя и помогал Лихаревым переходить через этот медный кусок времени сам Исак Иванович Мухолович. Стерся ныне из памяти странно милый облик Мухоловича, невольно смахивающего на тулузскую макаку, о которой пробовал писать в труде своем Лихарев,—одетую ради смеха в пиджачек и проштопанную фуфаечку, держащую в руках мешочек с так называемой пшой, обученную неизвестным остроумцем урчащему слову: культура. Но да будет осияно добрым словом нашим во-век веселое имя Исаака Мухоловича!

III.

Утром, когда проснулся, было очень холодно, и мокрая сыпь на потолке и на стене, защищающей от улицы, заметно усилилась. На замерзших сплошь окнах выпукло заплелись расцветшие за ночь ди-

:овинные мезозойские цветы,—разноцветно играло в них холодное де:абрьское солнце. Тут как раз дверь щелкнула ключиком, Елена из очереди пришла. Оказалось, масла в очереди не выдали, а выдали всем по фунтику крупки неизвестного происхождения.

Сидели в то утро и пили чай, покуда трещали над керосинкой и дымили рьяно ржаного теста рваные куски. Федор Андреич жаловался на ночную историю, рассказывал ее колко во всех, за исключением ферта лишь, подробностях, и была такая, судя по его словам, видимость, что именно Елена виновата во всей истории своим несвоевременным уходом.

Елена давно свыклась с мыслью, что брат, всего себя отдающий науке, естественно, имеет право быть иногда немножко несправедливым, и молчала, решив, однако, осторожно надоумить брата сходить к врачу.

— Ты, Федор Андреич,—она так и звала его, Федор Андреичем, Федей—очень редко,—ты сходил бы к врачу! Вот Елков, он давно познакомиться с тобой хотел, мне Бибихины говорили, даже зайти собирался.—Лихарев молчал и хмурился.—Ты ужасно похудел за последние дни, как-то опустился весь...

Насупясь, глядел Лихарев, как пар из чайного стакана, такой приятный по утрам, правда, сильно отшибающий морковью, подымается обильно к потолку. Ржаной колобок лежал возле,—из разломанной обугленной корки уныло выглядывало непропеченное кислое тесто.

— Э, не в том дело!—с тоскою, чтоб отделаться, ответил Федор Андреич.—Тут твоему Елкову делать нечего, тут уехать надо. Уехать к теплому морю куда-нибудь, от греха уехать,—повторил он, возвышая голос, но тотчас же стих.—У нас от головы-то осталось что-нибудь?—спросил он, о чем-то сообразив.—Ты бы подогрела мне к вечерку, я пройтись пойду.

Елена казалась смущенной:

— Керосин у нас, Федор Андреич, весь вышел. На вечер-то, пожалуй, и хватит. Я вот насчет завтра хотела тебя спросить, как...—она закашлялась и порозовела.

Лихарев зябко потер руки.

— А Мухолович не приходил еще?—уже не тоска, а раздражение промелькнуло в голосе у Федора Андреича.—Удивляют меня подобные люди: шляются, распинаются в любвях к наукам—чорт бы их брал!—а когда вплотную, то и не разобрать тогда,—где ему, Мухоловичу твоему, начало, и дряни рыночной конец!

Елена попробовала робко, но горячо вступиться за Мухоловича:

— Я бы не стала на твоем месте... нельзя так. Мухолович редкий в наше время человек, единственный, может быть,—она подчеркнула слово единственный.—И потом не кажется ли тебе, Федя,—Федей она называла его в минуты, когда требовалась убедительность, когда и жалела и боялась за брата,—что Исак Иваныч и так уж очень много сделал для нас. Ведь если бы не он, то в сущности...

Лихарев недовольно поднялся. В улице проехал, сотрясая воздух, редкий грузовик.

— Ты мне, сестра, перестань об этом. Должен же меня кормить кто-нибудь!—отчаянно крикнул он.—Ведь не лодырь же я в самом деле, ведь работал же всю жизнь, для них же работал!—он ткнул пальцем в улицу, слабо гудящую за морозным стеклом.—Я-то виноват, что им потребовалось весь этот перекувырк устраивать? Ведь вот вчера, когда этот ферт...—Лихарев остановился, смущенный своим признаньем.

У Елены дугами удивленья поднялись брови.

— Ты про какого это ферта? Ты мне не говорил...

— Да нет, пустяки... я спутал...—Федор Андреич смешался и покраснел; не хотелось ему дальше признаваться в ферте, он встал:— Ну... я пойду, поищу чего-нибудь...

Сестра с тревогой, такой понятной и женской, смотрела ему вслед.

— Ты придешь-то когда?.. чтоб голову разогреть ко времени...

— К трем разогревай,—ответил Лихарев, запихивая ногу в продырявленную галошу. — Может быть, на обратном пути я и зайду к твоему Елкову,—сказал он в знак примирения.

— Адрес-то его знаешь?—спросила сестра

— Записан где-то... помню,—невпопад соврал Федор Андреич и вышел, не простившись, как всегда, вон.

IV.

Лихарев ходил небыстро, — при первом же сильном движении впивалась жаба в сердце, а беспрерывно колющее сосание ее кончалось потерей сознания. Он ходил небыстро и по той же причине самосохранения старался не видеть ничего. Но улица и помимо воли ухитрялась залезать в самое нутро и хозяйничала там и галдела равнозвучно и смешивала мысли, как кости на столе.

Так же вот и нынче. Возле лошади, брошенной посреди улицы, стояло много людей, и один матерой мужичище все старался увести от лежащей с откинутой головой матери маленького сосунка, тощего и быстрого, но тот выгибал спину месяцем и не хотел уходить, упираясь в незаезженную мостовую всеми четырьмя. Лихарев сообразил, что мужичище одолеет, конечно, конюшонка, и прошел мимо. Увидел еще двух мальчишек, которые дрались, и какого-то человека неопределенной сущности, который блестящим, остановившимся взглядом наблюдал их. Человек тронул Лихаревское плечо и сказал, не глядя на него:

— Обратите внимание... ведь в кровь, в кровь!..

То был хороший морозный день. Иней запушил и тонкие, охваченные солнцем, нити проводов и негибкие ветви деревьев розовыми

и голубыми соболями. Паром и колким снегом отовсюду выбивался мороз. И даже дощечка эмалированная, с фамилией доктора Елкова и часами приема, замеченная случайно, тоже поголубела вся в тончайшем налете утреннего инея.

Лихарев постоял перед ней, перебирая в голове невнятные, вялые мысли. Мороз обжигал лицо, а делать было нечего. Он решил зайти.

Поднявшись в третий этаж, Федор Андреич остановился перевести дух и постучал, не доверяя звонковой кнопке. На стук дверь открылась, и чрезвычайно худая дама, оказавшаяся женой Елкова, рассеянно указала пальцем Лихареву, куда пройти.

Комната, предназначенная для приемной, была большим, нетопленным пространством,—свету сюда падало достаточно через огромное, полторы сажени в квадрате, окно. Поэтому ледяность воздуха была здесь досиня прозрачная, насквозь проникнутая острым солнечным ударом.

Снова приподняв опущенный было воротник своего пальто на уши, Федор Андреич присел на стул возле круглого, облупленного столика. На нем, как это сразу попало в поле его зрения, валялась грязная варежка, широко раздувшаяся от чьей-то частой ладони; огромный палец ее, перештопанный во многих направлениях, раздражил Лихарева своим видом. Федор Андреич задвигал носом и сделал движение рукой, чтоб смахнуть ненавистную варежку в угол, но огляделся во-время и заметил тогда в дверной щели, куда упадало солнце, рыжеватую бородку и круглый глаз, подозрительно наблюдающий за ним, Лихаревым.

— Да-да, я к вам... здравствуйте!—заторопился Федор Андреич; но глаз отскочил и спрятался поспешно, а затем раздались осторожные, на цыпочках, шаги отбегающего человека. Лихарев погрозил кулаком в сквозящую теперь светом щель и хотел снова усесться, но дверь отворилась, на этот раз совсем, и сам Елков в продранном коричневом пиджаке и в клетчатой шали, накинутой поверх, неопределенным жестом попросил Лихарева войти.

В кабинете Елкова был некоторым образом содом. Частью происходило это от печки, брюжжащей грязно-серым дымом, частью же и от самого Елкова, расставившего вещи так, словно хотел взять от них минимум их полезности и максимум неудобства. Перед Федором Андреичем в колеблющихся слоях дыма повисло бледное, узкое лицо с вытянутым, неприятным носом, с рыжеватым взбитым пухом на лбу.

— Садитесь,—буркнуло лицо и дернулось вперед, потягивая за собой тощее и короткое туловище, спрятанное от холода в пиджак и шаль.

— Я сяду, сяду... не беспокойтесь...—оторопело заявил Лихарев, оставаясь стоять.

В кабинете было гораздо меньше света, чем в приемной, благодаря тяжелой гардине, которая, казалось, невыразимо неловко чув-

ствовала себя среди всех этих новых, наглых вещей; дырявого мешка с картошкой, салазок, давно отслуживших санный век и чиненных медным проводом, топора—зазубренного, кургузого, и, наконец, печки—непрерывно кашляющей едким, тяжелым дымом.

— Садитесь же,—повторил Елков и сам сел в плюшевое когда-то кресло, вонзаясь в пациента пронзительным, неспокойным взглядом.

— Что это вы так в меня уставились?—спросил с любопытством Федор Андреич, садясь в другое кресло, и вдруг полетел вместе с креслом на пол.

— Ах, чудак вы, вы не то кресло взяли,—у этого ножка от сырости отпала! Вот на этом, нате, без риску можно сидеть, присаживайтесь,—с усмешечкой заскрипел Елков, подставляя Лихареву новое из темноты в простенке кресло, явившее в оконном свете свой убогий и обтрепанный вид.—Чего уставился-то?.. Виноват, вы не ушиблись?—он посеменил глазами.—Нет?.. А уставился потому, что вид у вас аховый, в глазах у вас такое...—Елков обозначил рукою в воздухе то неприятное, что он успел разглядеть в тусклых измученных глазах Лихарева.—А ведь я знаю вас,—заспешил куда-то Елков, встряхивая пухом на лбу,—давно знаю! Вы ведь Лихарев? ну-да, так и знал, помню, помню... как же! был раз на докладе вашем в геологическом, кажется, обществе,—о четвертичном периоде изволили читать. До войны еще было, в августе! Тогда еще братец мой, кузен, как говорится, Пирожков, Валерьян Михайлович, с вами поспорил, а вы его невежей при всех выбранили... Да ничего, ничего, не морщитесь,—другой и в рожу бы прямо въехал,—чего там, ради науки...

Лихарев досадливо дернул плечами.

— Ну, и что ж из того,—я вас спрашиваю, что вы хотите этим сказать? Он и есть невежа. Он ведь такую тогда чушь смолол, что...—Лихарев чихнул.—Простите, имени-отчества вашего не знаю?..

— Иван Павлыч!—подскочил словами с разбегу Елков,—но также Иван Петропавлычем величают...

— Петропавлычем-то для чего же?—грубо подивился Федор Андреич.

— А вот!—страшно дергаясь, пропел Елков,—на матушку клевещут. А может быть и неправда, мне ведь неудобно спросить...—он задумался.—Нет, неправда, года не сходятся,—вскричал он через минуту раздумья.—Петр Аркадьич тогда в Самаре жил! Впрочем, я ведь потому вам это привел, чтоб людей въяве показать,—волки, сущие волки, тем и кормятся! Дикий готтентот черепа сбирает для коллекцийки, встретит себе подобного, сейчас—„разрешите вашу черепушку залобанить“... Так ведь он дикий, даже себя самого не видит, а наши...—Лихарев приглядывался к Елкову и ничего не понимал.—А ведь только теперь это они распоясались, потому что усложняется кругооборот вещей!—доверительно сообщил Елков собеседнику, постукав пальцем по его коленке.—Э, да что там мямрить, давайте, я вам

лучше веселую историйку расскажу,—на-днях случилась. Видите ли, я теперь, в целях заработка, по всем отраслям практикую: и акушером действую, и зубы рву... Так вот на-днях... Виноват, вы не курите? Ну, как хотите, я тоже не курю, дрянь в груди завелась... Приходит мальчик, безусый, знаете,—Колюнчик, Сергунчик, что-нибудь вроде. Садится, плачет. Осматриваю...— Елков выгнулся из кресла и шепнул нехорошее, шипящее слово на ухо Лихареву.—Ну, я ему и сообщаю, что, мол, так вот и так, молодой человек! А он на крик:—лжете, кричит, лжете, я никогда, никогда... ни разу еще!.. А потом тихонько: и со стыдом разве, говорит, во сне только... Что ж, я ему, в наши дни, говорю, и во сне налететь можно! Ужасное паденье нравственности... скорблю и ужасаюсь, однако уповаю!—передразнил он кого-то, Лихареву неизвестного.

„Сильно же тебя звездили,—подумал Федор Андреич,—весь ты как на ниточках". Так подумав, он решил, было, ничего Елкову не говорить о себе, а просто посоветовать: врачу, мол, исцелися сам! Но Елков, развинтившись совсем, и не дал бы ему ничего сказать.

— Как хотите,—балаболил он,—а ведь неимоверные вещи проистекают, потому-что всеобщий заворот мозгов-с! Все-об-щий-с!—Елков хотел вздохнуть, но поперхнулся, опомнился, сжался и в упор ударил сухим вопросом:—У вас что? Ведь не в гости же вы ко мне притащились, с больным-то сердцем, да на третий еще этаж! Ну и глаза-то у вас, право, словно тараканы, которых перстом... запятыми по стене!—Он сделал соответствующий жест пальцами.—Ну, рассказывайте, чего ж греха таить?!

Елков приготовился слушать, а Федор Андреич, странно покоряясь этой прыгающей машинке собрался, скрепя сердце, рассказывать, но вошла к ним давешная худая дама. Нажимая на слова так, что каждое слово свистело обидой, она заговорила резким и жалобным тоном:

— Ваня, когда ж ты мне дров дашь? Я же шить не могу, у меня руки пухнут! Нельзя же так, мне стыдно за тебя, Иван!..

— Ну, ладно, ладно, принесу сейчас... Вот только с Федором Андреичем покончу и принесу,—вы не знакомы?—посуетился Елков, делая плачущее лицо, но суету изображал он, не сходя с места.—Экая ты торопыга, все бы тебе в карьер... Ну, ступай, ступай!

— Мне надоело это, Иван,—раздраженно перебила та мужа,—ты давай, я сама отнесу. Верите ли, обратилась она к Лихареву,—он от меня дрова в книжный шкаф прячет, книгами их заставил... а когда уходит—запирает. А мне шить надо!.. Право же, я собственным дыханием комнату отапливаю,—еще горше прибавила она, переполняясь слезами. Повторялось это, видимо, каждый день.

— Да сейчас, сказал тебе—сейчас,—и даже ногой гневно топнул Елков.—Вы извините, это ей пусть будет стыдно,—бросил он Федору Андреичу, уходя в угол, где нетрудно было разглядеть, несмотря на

второе, занавешенное окно, большой книжный с дверцами шкаф.—Ни минуты покоя не дадут, волчье!—слышалось оттуда елковское ворчанье.

Чтоб не мешать им, опять о чем-то вполголоса заспорившим, Лихарев встал и пошел к окну, покуда муж со скрежетом отсчитывал жениньы поленья.

Возле самого окна висела большая фотография, изображавшая человек сорок разных мужчин, сидевших и стоявших. В центре были самые толстые и добрые, а чем дальше—тем обиднее складывались улыбки, и самые крайние тоскливо выглядывали из-за чужих спин, как бы стыдясь своего скучного и заезженного вида. Федор Андреич от нечего делать разыскал и самого Елкова,—тот, довольный и пухлый, лежал у чьих-то ног в очень такой непринужденной позе и держал для приличия толстую книгу в правой руке.

— Бойкая баба... трын-баба, между нами говоря!—затрещал с боку Елков и состроил гримасу, словно зуб заболел.— Вы простите, что так вышло,—но ведь теперь и в каждой семье—собачник! Так что чем богаты, тем и... Вы временем-то располагаете? Ведь не работаете теперь? Да и какая теперь может быть работа? Тут плюхнуться в кровать впору, высунуть язык на плечо и лежать, покуда весь дух выйдет. В вас есть дух? Вот иглокожие уверяют, что нет, а просто так себе... Ах да-а...—сделал вид, что спохватился он,—я и забыл, что вы по делу ко мне... Головные боли, с сердцем нелады, так что ли?

Лихарева начинали сердить мучительные судороги Елкова.

— Не с сердцем, а вот что...—решил ошарашить его залпом Федор Андреич.—Ферт ко мне начал ходить, вот!

Хозяин мгновенно спрятал улыбку и сел в кресло. До этого признанья он стоял перед Федором Андреичем, спиной к окну.

— Фе-ерт!—недоверчиво протянул Елков, выпятив губу. Потом погрозил гостю пальцем и подошел поближе:—вы когда в последний-то раз у врача были?

— Ночью приходил...—вспоминая и не слушая, сказал Лихарев.

— Ночью? Ну да когда же ему и приходить, как не ночью! А вы вот что...—Елков кивнул головой в сидящего перед ним и снова, в раздумьи, подогнул палец.—Вы... тово... разговаривали с ним?

— Такая гнусь...—отвернувшись, продолжал вспоминать Лихарев,—руки в боки, морда плюгавая и этакое плебейство во всей фигуре... с души воротит! А хуже всего то, что я и сам не знаю, откуда я его взял... плохое дело!

— Кого взяли?..—переспросил Елков, тыкаясь в гостя мутным взглядом.

— Да его, его, я же говорил вам... вы где были?—взъярился Федор Андреич.

Елков придвинул кресло еще ближе.

— Так, значит, ферт? Так-таки уж и ферт?—тихим шопотом осведомился он.

— Фе-ерт...—странно протянул Лихарев.

Их глаза блуждали, и у того и у другого. Взгляды встретились. Как бы пробужденный, Елков вскочил и постучал себя пальцем по лбу:

— Да и все мы теперь тово, знаете...

Лихарев вспылил, поднимаясь с места:

— Как это... тово? Сходите себе с ума на здоровье, коли охота,— я тут не при чем. Вам самому доктор нужен, вот что,—чорт меня к вам понес в такую несуразную пору...

— Ах, да не сердитесь вы, Федор Андреич... или Федор Иваныч? Ну, значит, не ошибся. Я ему всего два слова сказал, а он уж и на дыбы! Ну, сядьте же, прошу вас. Не пойму, на что еще в наше время обижаться можно! Успокойтесь, а я вам за это еще историйку расскажу, тоже—дальше ехать некуда. Вчера посетил меня экземпляр. Пришел, сел сюда вот, где вы сидите—и в рев. Плачет, да ведь как плачет-то, глядеть на него больно. Я, говорит, чихать не умею. Я ему: ну, что ж, говорю, и не чихайте себе на здоровье! А он еще пуще заливается: с самого детства, говорит, не чихнул ни разу, и насморка даже ни разу не было, что ж по другому устроен я, что ли? Каково, а? Ведь прямо—вынь, прямо вынь да положь ему чихание!—Елков выпятил руки вперед, как бы представляя любезному вниманию Лихарева этот особый вид нервного вывиха.

Но, рассказывая это, сам Елков вертелся и кидал слова то вверх, то вниз, то туда, то сюда, словно не один, а дюжина Лихаревых была распихана и развешена по комнате там и сям.

— И гляжу я на него,—продолжал хозяин,—и знаю: вот сидит человек в слабости души своей, а подойди да не поверь, либо еще что-нибудь такое,—так ведь укусит, как бог свят, укусит! А обратили вы внимание, народец-то какой стал, скулы-то у них как вылезли,— словно у каждого татары казанские в роду! А вот третьего дня иду по улице...

Федор Андреич решительно встал, боясь, что ему станет плохо в конце концов от Елковских наскоков,—рассерженный и злой.

— Я у вас совета хотел попросить, доктор. Слушайте, вы—доктор? Вы не военного времени доктор? Были и такие, кажется...— Лихарев поежился.—Разговоры у вас такие, словно непременно хотите, чтоб спятил ваш пациент.

— Да, да, прохладно... но способствует работоспособности,— запутался Елков, обратив внимание только на то, что гость его зябко поежился.—Так не работаете вы? А я вот все работаю, все работаю,— великое дело—труд! Фактики теперь собираю. Они так и бегут ко мне, фактики!.. На ловца, как говорится, и зверь... Человечек повесился, а я его под номерок; лошадка упала на улице,—а я ее под номерок: такого-то и такого-то, мол, числа, и так далее. Старушка с голоду скончалась,—мы и ее пометим. Ах,—с болью и стоном вырвалось у

Елкова,—соберу я книжечку пальца в два, да в Европу, туда, ко всем этим, ках их... Как поленом шарахну я их книжечкой: глядите, мол, сукины дети, смотрите!—Елков трясся, клетчатая шаль давно путалась у него под ногами, но он не замечал.—Глядите, как мы дохнем, дохнем,—мы просияли в муках наших! У нас дворняшка последняя больше всех вас выстрадала. И назовем мы книжечку—Милльон Голгоф, вот... Впрочем, пустяки...—так закончил он свой малосвязный поток.—Исключительно самобичевание и расхлябанность,—иглокожие правы! Ах да, кстати,—вдруг перескочил он и весело прищелкнул себя пальцем по лбу,—забегайте ко мне вечерком, как стемнеет, около восьми, в пятницу... Люди духом отощали, так вот я и собрал их у себя, несколько штук, обалделых, и граммофончиком потчую. Такой, знаете, паноптикум у меня, такой зверинец, просто антик! Вам это вместо лекарства, на них без смеха и глядеть нельзя... А смех—великое дело. Каменные стены смехом ломаются, да-да! У вас ферт, значит? Как хотите, а под номерок я вас поставлю. Так и запомните, нумеро ваше—семьсот тринадцатое. Фамилию, конечно, указывать не буду, тайна, тайна—он сделал страшную рожу и потрепал Федора Андреича по плечу, а под номерок занесу. Не могу—бисер под ногами валяется... Вы уж идете? Постойте, я вам рецептик накатаю, один момент, с рецептиком легче!—Он присел к столу и заскрипел пером.—А ферта вы не бойтесь, еще и пострашнее бывает...—говорил он, записывая узкую полоску бумаги сверху донизу и ставя вихрастый росчерк в конце. Он встал и уже смеялся.—У меня, знаете, вчера утром чернила замерзли. Встал, тюкнул пальцем, а льда-то и не проколотишь!—Он похохотал еще, зорко высматривая внутренние движения гостя.

Уже в прихожей, где Федор Андреич угрюмо метился разношенным штиблетом в калошу, снова набросился на своего редкостного пациента Елков.

— Ведь вы не знаете, откуда вам знать!.. Бессмыслица, а не целесообразность! Где ж он—центр-то мирозданья, это я-то центр? Враки, враки,—кто вокруг меня, жеваного, ходить будет? Я, Федор Андреич, сами видите, корчусь, а кому они, корчи эти мои, нужны? Я спрашиваю, кому они понадобились? Чорту лысому они нужны,—вот кому!—Елковское неистовство вдруг обратилось в робкое отчаяние.—Я... месяц назад... братишку схоронил. Поехал за картошкой, а привез сыпнячок. Послушайте, вы знаете что это значит,—близкого схоронить? Вы попробуйте, вы попробуйте тогда из себя выдавить—„да будет воля твоя“, попробуйте!—он хрустнул руками и повернулся боком.

Было Лихареву и жалко, и тошно.

— Мириться нужно,—мир устроен, что все переплелось. Щепочку вытянуть—и развалится все,—неумело рассуждал Федор Андреич.

— Правильно, правильно,—чтоб и розы пахли, и покойнички? Не хочу, не хочу-у!—завыл исступленно хозяин.

Но Лихарев уже сходил вниз по лестнице. Ему, склоняясь в пролет, крикнул, видимо опрзвившись, Елков:

— В пятницу приходите!

Оттуда, из глубины, черневшей колодцем, долетело к ушам Елкова отголосок своего же: ...—ите.

Елков постоял и плюнул вниз. Белое пятнышко скользнуло во мрак колодца, и через мгновенье долетел обратно четкий звук шлепка. Он, Елков, покрутил плечами, втянул голову и вскочил проворно в свою холодную, нетопленую конуру.

V.

Дома Лихарев застал у себя Мухоловича.

— Я у вас вот уже часик посиживаю, хе-хе... — Мухолович был всегда жизнерадостен, но в смехе своем экономен.—Я вас тут ждал-ждал, думал-таки конец профессору. Вы, господин-товарищ Лихарев, не надо хмуриться. Меня давеча Сара спрашивает: ты куда ушел, Мухолович? Я ж ей говорю: к профессору Лихареву. Она ж меня спрашивает, что ты будешь говорить профессору Лихареву, ты ж глуп! Я, говорю я ей, глуп только в профиль, а в три четверти так очень даже ничего себе, хе-хе... Сара, вы хотите знать? Она ж добрая женщина, но она...—Мухолович лукаво нарисовал восьмерку перед самым своим лбом,—она ничего не соображает в культуре! Ну, чего она может понимать в слове культура? Ничего!—отведя ладошку в сторону и пожимая плечами, пропел Мухолович и стих.

Лихарев улыбнулся, не мог он не улыбнуться, хотя настроение у него после Елкова было дрянное.

— С чего это вы такой веселый сегодня, вы не именинник ли нынче?.. У вас как—бывают именинники?.. Завидую я вам, Мухолович, право,—этакая живучесть в вас! — Лихарев всегда говорил с Мухоловичем немножко свысока и всегда, как с ребенком.

— О! Я и сам давеча себя спрашиваю: чему ты, Мухолович, радуешься? Чему ты, рваный Мухолович, радуешься?.. Меня раз собаками травили...— доверчиво сообщил он Лихареву.—Знаете, так они меня чуточку не разорвали! На мне тогда теплые штаны были, хе-хе... Так вот: чему, говорю, ты, разорванный Мухолович, радуешься? Или ты, грязный Мухолович, думаешь, что солнце светит для тебя одного? Я ему тогда так: зачем мне только?—Мухолович, точно отказываясь, выставил обе ладони вперед,—его на всех хватит!..

— Кому ж это, ему?..—полюбопытствовал Лихарев: было всегда любопытно Лихареву, как текут мысли в этом маленьком человечке.

— Как кому?— удивился тот,—другому Мухоловичу! Так ведь их же у меня двое сидят, словно компаньоны в каком-нибудь магазине, сидят и спорят. Когда один говорит, так другой ругается;—ах!—вскричал Мухолович,—как они нехорошо ругаются промежду собою! Один

говорит: Исак, ты—падаль, ты два раз падаль!.. А другой вот: Исак, не верь ему, он же дрянь—для тебя тоже солнце светит,—ходи веселей! А я слушаю-слушаю да и говорю им: кому ж, говорю, Мухолович нужен; раз Гальпер не подает руки Мухоловичу, а барон Носсельрод насылает на тебя собак? И вдруг,—Мухолович сделал умильное целящееся лицо,—второй-то мне и говорит: Исаак, слушай Исаак, ты культуре нужен, о!—Мухолович поднял перст, дважды посунул им великолепно и с внезапной стыдливостью спрятал назад, в кармашек.

Федору Андреичу стало неловко от Мухоловичевой откровенности, и, словно желая исправить получившееся молчание, Мухолович вынул из кармана маленький какой-то пакетик и осторожненько подсунул его на колено Лихареву.

— Что это?—спросил Федор Андреич, все еще улыбаясь и шаря рассеянно в жилетном кармане.

— Это? О, культура!—опять перст Мухоловича величественно проткнул невидимую плоскость перед самым носом и опять с неловкостью спрятался в карман.—А это... это пуговицы, чтоб удобней было... А вы почему смеетесь? То вы должны сидеть и себе шить, шить... А то вы наставляете вот эту головку вот так, чик и...—Мухолович с восторгом сощелкнул механическую пуговицу и на ладошке протянул Лихареву.

— Эх вы, чудак, — посмеялся ему Федор Андреич, — какой вы! Неужто ж вся культура только в том, чтоб с меня брюки не упали! Разве человек на земле ради пуговицы живет?..

Мухолович растерянно молчал. Только постояв несколько минут, он снова заговорил—о новом для Лихарева, не высказанном ему еще ни разу. Оглянувшись на кухню, откуда был слышен плеск,—сестра занялась стиркой,—Мухолович подошел вплотную к Федору Андреичу.

— Лихарев!—умильно начал он, но отбежал и затворил дверь на кухню.—Вы вот что, как этово... Мне ваша сестра сказала, когда вы не приходили еще, что вы писали один большой там труд по рукописям об этом... ну этово самово... ну вот,—сложив досадливо голову на-бок, Мухолович почмокал. — Ну, я же не знаю; ну, откуда ж мне знать?—жалобно прокричал он, точно Лихарев настоятельно требовал от него ответа.—Но я ж хитрый, и потом, как тово... говорится — ну человек дела, ну! Так вот. Мне отец сказал: Исайка, если у тебя, как теперь, всю жизнь заместо сердца вареные колбасы будут, так ты себе даже сапожонков не купишь, будут тебя гонять везде. Еще он сказал: Исайка, не давай копейки людям, над тобой же смеяться люди станут... А я ж себе не хочу, чтоб надо мной смеялся господин Лихарев, и я верю своему отцу на каждом слове! Мухолович вам говорит: вам плохо, господин-товарищ Лихарев, плохо жить? Вам Мухолович говорит: вы будете снова писать ваш труд по рукописям... Ну, про что вы там писали? Мне сестра ваша сказала, будто про то, чего даже и нет совсем. О, разве ж это плохое дело писать про то, чего

и нет!? Вы будете писать труд по рукописям про этих... да про что хотите, я ж верю вам, как отцу верил, господин Лихарев—пишите про камни, про бабушку, про чего хотите... А я буду и дальше носить всего... Ну, не всего, конечно,—спохватился он, смешно хватаясь за голову,—ну, где ж достанет Мухолович вина или ветчины для господина Лихарева?! Ай же, как трудно, как все трудно на свете стало... И легко, и трудно!

Мухолович даже вспотел и вытер лоб красным носовым платком, внезапно появившимся из рукава. Лихарев все шарил в жилетном кармашке, вдруг нашел Елковский рецепт и, резко разорвав его, бросил в сторону белые клочки.

— Постойте, постойте,—несколько раз пытался перебить Федор Андреич.—Да вам-то какое дело, выгода какая, спрашиваю, от того, буду я писать про мезозойский климат или нет? Вам от этого ни тепло...

— Мезозойский? Вы сказали! О, вы сказали—мезозойский? Замечательно, о!—лицо Мухоловича выражало вдохновение.—Именно я хотел сказать—мезозойский, совсем забыл,—как хотите—пятьдесят один уже! А зачем мне выгода! Разве ж Лихареву есть выгода заботиться о культуре, а Мухоловичу такой выгоды нет? Кто сказал, нет?..

— Я хочу сказать,—поправился Федор Андреич,—что вам и так трудно... Ведь у вас у самого жена, дети, кажется...

— Кто сказал? Я сказал? Зачем вы берете щуку и начиняете так, что щуки даже и нет совсем! Вам какое дело до моих детей?—вспылил нежданно Мухолович, порывисто распутывая с шеи грязный вязаный шарф.—Чего вы мне суете в нос детей? Когда б к вам прибежал Мухолович, как один полоумный, и завопил я бы: Лихарев, господин Лихарев... пойдемте на улицу, там сейчас культуру собаками травить будут, разве ж сказал бы господин профессор Лихарев этому разорванному Мухоловичу—ай нет, у меня дети,—какое дело до культуры?.. Ну, ну же!

Лихарев круто встал и сердито зашагал по комнате, хмурый и огромный,—что особенно поразило смутившегося вдруг маленького Мухоловича.

— Ну, ну, зачем же вы молчите?—Мухолович запрыгал вокруг, горбатый нос его весь наморщился от заискивающей нежности. Была даже и слезинка в заросшей бровями глазнице Мухоловича. Федор Андреич не замечал.—Ну, кто ж, какой глупый вам сказал, что на Мухоловича можно даже сердиться? Разве ж Гальпер подал руку Мухоловичу, когда Мухолович сказал: с праздником, господин Гальпер!.. А барон Носсельрод, разве не сказал он: пошел вон, Мухоловка! Тогда было пятьсот глаз публики!! а Мухолович побежал,—он даже не пошел, а побежал... Он же знал, Мухоловка, что Носсельрод на него собак спустит... О, Носсельрод! когда б встретил я его теперь, и он сказал: пожалей меня, Исайка, я хочу есть, и я стар... Я бы сказал ему: Август Семеныч, Август Семеныч... у меня нет собак, чтоб спустить на

вас... но у меня найдется кусочек хлеба.—О, старый Соломон, разве ж это плохо, чтоб заместо сердца вареные колбасы?!—Мухолович ждал с застылым и просветленным лицом.

Федор Андреич, откинувшись спиной к стене, рассеянно глядел на мезозойский камень, причудливо освещенный помаргивающей лампой. Очень болело где-то под лопаткой. Свечерело совсем.

— Вот что, Мухолович. Когда у меня будет тепло, и мне не нужно будет красть лошадиные головы в темных переулках, я и сам начну работать, но теперь не могу. У меня все вразброд разбежалось,—нужно еще собирать их, мысли, с год... да мне и немного осталось... писать немного осталось!—резко поправился он.

— Можно на минутку к вам?—просунулась в дверь голова сестры. Не дожидаясь ответа, она вошла, торжественно неся в руке сковородку с поджаренной рыбой и стакан настоящего, судя по цвету, кофе.

— Это вот Исак Иваныч принес. Он прямо волшебник у нас, Исак Иваныч,—вся сияя, заговорила она.—Федя, ты попросил бы кстати у Исак Иваныча дровец достать, а то...

— Что-о?..—шопотом рванулся пришедший к какой-то внутренней точке Федор Андреич и смаху вышиб кулаком жареную рыбу из рук Елены. Рыба с легкостью, неожиданной для рыбы, взлетела вверх, переломилась в воздухе и шлепнулась к ногам испуганного Мухоловича.

— Ку... культура!—жалобно вскричал Мухолович, подымаясь на цыпочки.

Одновременно с криком, знакомо шевельнулся укол глубоко под ребрами, где заученным, непрерывном стуком стучит Федор Андреичева жизнь. Елена с Мухоловичем исчезли за пелену внезапного тумана, а из окна, сереющего ранним вечером, вылез, спеша, ферт.

— Слушал вас, слушал, как вы распинались тут, и тошно стало,—начал ферт, подбочениваясь.—Хочется же вам этакие воды психологии разводить!.. Плюю на вас!..

Закрывая лицо руками и сгибаясь всеми костями, Федор Андреич повалился на кровать.

VI.

Был когда Федор Андреич совсем маленьким, славным был бутузом-карапузом, кушал кашку и не знал ничего. А когда, к ночи, бывало, не хотел спать Феденька и брыкал няньку ножкой, показывала та сурово костяным пальцем в окно, за которым, вдоль и поперек полей сугробных, искала баба-вьюга нетеряную кладь... И боялся и детским сердцем любил ту непутную бабу Феденька.

Потом, в ранней юности, когда зреет голос и выбивает ус, полюбил всем нутром своим Феденька Лихарев бураны. Был он сам из тех краев, где ночами ходят ватагами широко-снежные бураны, волосатые, лихие, белые деды,—глаза пусты у них, а нос крючком. И когда засти-

гали они, бураны, юношу Феденьку Лихарева, ехавшего на каникулы к отцу-бобылю сорок верст снежным пустырем,—баловать изволивали деды, снежными бородами крутили вихрастыми перед самым Феденькиным носом... А он, озорник, отфыркивался, а он отплевывался, плечистый, розовый, брови черные дугой в разлет. Любо было, было весело Феденьке Лихареву кричать здоровой глоткой в дымящуюся снегом глушь: а ну, тронь!.. а ну, эй, ты, тронь!?—Тогда и не помышлялись грудная или какая-то жаба, суставный ли ревматизм... А ныне не так, все переменилось, прежнего не узнать.

Навалилась с утра поперек неба пятиспальная перинища,—мокрая, сизая, хоть плюнь. И ворочали ее и взбивали весь день ветры. А к ночи продырявилась нечаянно, и пошел пух лететь, гнусным и мокрым залепляя глаза Федору Андреичу, направляющемуся к Елкову в гости. Поддувал его сбоку ветерок насмешный, такой веселый малый,—с гуся вода.

Улицы той пятницы были темны и никого в них, кроме шагающего неторопливо Федора Андреича. Он шел, наслеживая огромными калошами по липким снежным поверхностям и время от времени протирая рукавом глаза. В душе он очень досадовал на себя, что опять потащился к Елкову и, чтоб сократить время досадования своего, он заметно ускорил шаг.

Его, поднимающегося по лестнице, казавшейся шаткой из-за темноты, перегнал некто тяжелый и пыхтящий. Состояние Федора Андреича было таково, что ему непременно требовалось, если не увидеть, то, по крайней мере, услышать голос этого, перегоняющего.

— Скажите, в котором... в котором этаже квартира доктора Елкова?—спросил он, чтоб только спросить о чем-нибудь.

Из тьмы прозвучали размашисто сказанные слова:

— Елкова? А-а... вы, значит, тоже, к Ивану Павлычу? Так это нам вместе, вы идите за мной!..

Но уже через полминутки тот же, невидимый, разделяя вопросительными промежутками слова, спросил:

— А вам... зачем... туда?..

— Да так, по глупости человеческой...—весело отвечал Лихарев.

Тотчас же тот, невидимый, зажег спичку, и в ее мерцающем туманном круге клубами двух дыханий наметились два лица: второе принадлежало ширококостному, приземистому, с бородишкой человеку в простенькой, серошинельной поддевочке. Лицо Лихарева рассеяло страх, прятавшийся в глазах незнакомца, — последний засмеялся, протягивая руку в варежке:

— Водянов... Сергей Трофимыч,—разрешите рекомендоваться. На граммофончик изволите? Позвольте, я сейчас еще спичечку вздую, чтоб видней. А вы не профессор ли будете? Иван Павлыч так и говорил, что новый номерок будет, — он подсмеялся, скаля большие, желтые в свете спички, зубы.

— Да-а, на грамофончик иду, — тоже с чего-то заулыбался Лихарев, при свете третьей спички оглядывая нового знакомца.

— Э, да вы не глядите так на мои наряды. Мы это при первом желании снять можем. Мы это, чтоб на жулика походить, сейчас обязательно надоть под жулика. Но мы хоть и пугаем, а нас пугаться, извините, не следует: мы ж люди безобидные! Безобидному-то и нужно под жулика рядиться, чтоб не обидели, истинно говорю... Ну, вот мы, кажется, и доехали, — сказал он, стуча в дверь четыре раза и потом еще один.

Они вошли в прихожую, где однажды уже был Лихарев. Встретил их сам Иван Павлыч, ставший вдвое оживленнее потирать руки при виде входящего Лихарева.

— Пришли же?—с радостным упреком и поиграв тощими бровями, кинул Елков, вешая Лихаревскую шубу поверх целого вороха разных одежд.—Ну вот и прекрасно, вот и прекрасно,—я знал, что придете!—повертелся Елков. — А поленце принесли? — обратился он к Водянову, тотчас же поясняя Федору Андреичу:—у нас, видите, порядок—по поленцу! За обозревание паноптикума платы не взимается, но... в виде компенсации, за беспокойство...—Елков игриво тряхнул пальчиком,—по поленцу. Даже и в наши времена это не разорительно, раз-то в неделю!.. а позвольте, я вам помогу,—наклонился он к огромному водяновскому карману, откуда беспомощно и тупо выглядовало круглое березовое поленце.—Ну-с, прошу, кавалеры!

— Дело-то в том, что я порядков ваших не знал, полена не принес. Возмещу потом... в долг поверите?—засмеялся Лихарев.

— Ну, вот еще, пустяки какие!—отмахнулся хозяин.—Вы в нашем зверинце самый крупный будете, чудище, с позволения сказать... мезозавр!..—рассыпался смехом Елков.—Ну, теперь ввожу, приготовьтесь,—что это вы карманы ощупываете?

— Носовой платок дома забыл... — вставился в Елковскую трескотню Лихарев.

— Бросьте... лучше обратите внимание вот на того битюга... Отличается тем, что у каждого встречного хвосты видит, замечательная штучка. В наше, говорит, время, бесхвостых нетути! А вон тот, Косов, в углу, отличился тоже; брат с голоду умер, а этот, спекулянт, даже корочки, понимаете, ему, брату, не подарил. Тоже удивительное явление! Ну, да ладно, сами увидите,—вы идите, знакомьтесь!—Елков выдернул руку из-под руки Лихарева и моментально испарился.

В комнате, это был Елковский кабинет, было дымно, и, потом, ошарашивала махорочная тошнотворность. Махоркой дымил усатый в углу, которого Елков называл Косовым, — усатый сидел в углу, за столиком, и спорил с печкой, кто больше напустит дыма!

Лихарев, разобравшись в лицах, плававших в дыму, пошел знакомиться.

— Кромулин, Алексей Георгиевич, поэт...— произнес с достоинством пегий юноша, поджимая вдавленную грудь. Пригладив прилизанный пробор, он шаркнул ножкой, повалил стул, вспыхнул и обиделся.

— Лихарев... профессор...—в тон ему и с улыбкой отвечал Федор Андреич.

— Сиволап, — сказал другой и протянул квадратную ладонь Лихареву, не сразу догадавшемуся, что это фамилию свою назвал стоящий перед ним массивный человек.

— Титус!—крикнул третий мужчина, длинный и тонкий, вылезая из дыма.—Вы не щурьтесь, пьяно и резко добавил он,—не псевдоним, а настоящая! Моя фамилия — большая редкость, пожалуйста. Бывший капитан и рубака, а ныне тлен и раб прохвоста Елкова...—так прибавил он, но тихо, склоняясь бакенбардами к уху Федора Андреича.

— Рытова,—с интонацией обиженного достоинства назвалась немолодая дама с волосатыми родинками по лицу.—Очень приятно.

Лихарева устрашили сидевшие дальше, на диванчике, мрачные люди, и он ограничился поклоном.

— Господа, — закричал Елков, когда все уселись, — все познакомились с Лихаревым, Федором Андреичем? ну и ладно. А теперь попросим Алексея Георгича продолжать чтение своих стихов: умирать, так с музыкой!—гримасничая, через всю комнату пояснил он Федору Андреичу.

— Я больше читать не буду, — покраснел юноша, останавливая близорукий взгляд на новоприбывшем.

— Почитайте, ну что с вами?.. Почему вы не хотите, это так приятно,—певуче затараторила худенькая старушка, выплывая из соседней комнаты.

— Это мамаша моя,—подхватил ее под руку Елков, — та самая.. А это Федор Андреич, профессор зеленой магии,—знакомьтесь, мамаша! Ничего, Федор Андреич, не краснейте, — она ж понимает... — сказал Елков нахмурившемуся Лихареву.—Так поегозив, он подмахнул себе рукавом и отскочил в сторону, легко, как в танце.

— Не знаю, что это с Ваней делается, ума не приложу,—жалобно зашептала старушка, усаживаясь возле Лихарева.—По ночам все кричит во сне, днем с этими мазуриками связался... Словно в сумасшедшем доме живу. Вы меня Анной Евгеньевной зовите... меня Анной Евгеньевной зовут,—сокрушенно объявила она.

— Конечно, конечно, почитай,—что тебе стоит, — басом затрубил волосатый Косов.—У меня вот письмоводитель один, из бывших, есть,—вот здорово, тоже, стихи умеет. Раз зажарил казенное письмо в стихах, со службы выгнали, запил и сгиб. А что?—спросил он при общем смехе, -разве смешно?—и сам засмеялся.

Кромулин украдкой бросил вопросительный взгляд на Лихарева.

— Простите... Алексей Георгич, кажется? Читайте, читайте, прошу вас...—заспешил Лихарев.- Я, правда, не знаком с направлениями...

— Я без направлений, — глухо сказал Кромулин,— но читать не буду.

— В прошлый раз обещал, Алеша, — укорительно бросил Елков.

— Не могу, не хочется.—отвернулся тот.

— А про что ж он больше пишет?—начал свой разговор со старушкой Федор Андреич.

— Как про что?—обиделась та.—Про Россию, батюшка, про Россию, господин профессор. В слезу вгонит и не пощадит. Я уж и то намедни говорю, выкладывай все про Россию, не жалей меня, старуху... Он еще и про любовь пишет, только у него про любовь хуже выходит. Да и какая теперь любовь!

Старушка кивнула головой и, заметив, что невестка за каким-то делом зовет ее, пугливо таращa глаза, поднялась и уплыла.

— Так что же может он написать про Россию?—недоуменно и вслух протянул Лихарев.

— Виноват, что вы сказали?—грузно придвинулся к нему вместе со стулом Сиволап.

— Да вот, удивляюсь,—пожал плечами Федор Андреич,—удивляюсь, что можно написать про Россию с таким лицом!.. Уж очень вид-то у него... пробор этот к тому же.

— А-а!—одобрительно отозвался Сиволап.—Вы про племянничка Елковского? Так себе, горемыка бумажная, глаза б мои не глядели! Россия, можно сказать, родит, извините за выражение... Новое дитё рожается в смертных муках матери,—она песен требует, мать, про муки свои... а они чирикают да крылышками пощелкивают! Тут, можно сказать, выть надо, ибо труба, труба пламенная России нужна! Встать на самую большую гору да и затрубить,—люди, мол, люди,—наденьте белые рубахи! А эти сукины... пардон, больше не буду,—я тово, в горле першит...—оборвался он, кругообразно ворочая голову, словно ему и тошно и душно сделалось. Закончив, он не успел выпустить из себя всего набранного воздуху и закашлялся; кашлял он с расстановкой, как бы раздумывая в промежутках, стоит ему кашлянуть еще раз или нет; а прокашлявшись, он валко отправился к столику на середину комнаты, где стояли графин с водой и, рядом, полосатенький стаканчик.

— Некипяченая!..—неизвестно откуда предупредил Елков.

— Ничево... пью...—туда же, в дым, кинул Сиволап и выпил два стакана один за другим.

Елков уже сидел около Федора Андреича.

— Ну как? каких собрал, а? Это все как раз последняя страничка книжицы моей, об которой я вам в прошлый раз докладывал. Менделеевская таблица, знаете, разнообразны элементы, из коих...

Он не договорил, Лихарев перебил его:

— Кто этот Сиволап. Он что,—хороший человек, кажется, или как?

— Сиволап-то? о, Сиволап он и есть. Первеющий враг мой. Его сюда тянет,—так же как вот и вы ко мне ходить будете,—а я его не

гоню, — оно спокойнее, когда перед глазами.—Елков стал говорить отрывисто.—Врачом был, ныне—скотов лечит... Средства все в лошадиных дозах давал, не признавал иначе, не может, пятьсот десятым у меня. Размах широк, — татарщинка! — ворчливо выплюнул это слово Елков.—Теория у него насчет скотов есть, любопытная, вы расспросите его... А в результате жена сбежала! Вот тебе и скотья теория! Ну, что еще про него? Не любит, чтоб про Россию при нем говорили...

— Смешно, смешно,—со злобой думал вслух Лихарев.— Меня... лет десять назад... помоями случайно из окна окатили,—вот так же и вонюче и паршиво было.

— Помои? — Елков трагически всплеснул руками. — Он говорит, помои! Клумба-с, цветничек-с! Редчайшая коллекцийка ароматов. Ведь через пятьдесят лет, когда новые пойдут, вымрут эти, мои-то вчистую вымрут... Ихние косточки в музеях за деньги будут показывать.

Как вы, Федор вы мой Андреич, не можете понять, а ведь сами говорили, что все на свете сплошное совершенство! языка мы не знаем, на котором вся эта штука сработана, в том-то и суть горя нашего. Да вот, Титуса хотя бы взять,—вы не глядите, что у него голова шишкой, а на шишке бакенбарды растут,—он-то вот и есть же перл творенья... Нет, вам меня не понять,—решил со вздохом Елков и потащил Федора Андреича в угол, где, окруженный елковскими экземплярами, собирался рассказывать что-то Титус.—Непременно переврет, хоть правду говорить будет,—шепнул Елков. Лихарев шел, не сопротивляясь.

— Сергей Яковлич, нам можно? — сахарно спросил, появляясь с Лихаревым под руку, Елков.

— Отчего ж, можно... Почему ж нельзя? Только я ведь ерунду хотел рассказывать, так себе... пустячок,—сконфузился Титус.—А впрочем, что ж, можно,—он вызывающе взглянул в упорно внимательные глаза Лихарева.—Вот закурю только.

Дрожащей рукой он поднес спичку к плохо скрученной папиросе, затянулся, потом нервно сломал спичку пополам и кинул на пол.

— Ну, так вот, хочу, значит, сказать, что человек,—он человек и есть... никто не может от него никаких там штук и требовать...

— Каких это штук?—вежливо прсcунулся Кромулин.

— Благородных штук, молодой человек, вот каких,—с желчью отозвался Титус.—Всякое благородство ни к чему, благородные не выживут!—Был, вообразите, в 38-й артиллерийской бригаде, в батарее, где и я служил, один такой, подпоручик Собакин. Это, я вам скажу, человечишко был, истинная собака! Чуть было что, уж вопит: я вас, как собаку, я вас в землю вшибу!..

— Это в германскую войну было?..—близоруко прищуриваясь, мимоходно спросил Елков.

— Не лезьте раньше времени, сам доскажу...—огрызнулся рассказчик, нервно поглаживая бакенбарду.—И хоть была в нем суть собачья, зато душа была этово... ну, одним словом, сопричастна стра-

данью, хочу сказать,—это было произнесено с большим надрывом.— Как раз в тот день, вот о котором рассказ, приехал к нам инспектор артиллерийский, из бригады генерал,—степенность, борода, разговоры и прочее... Командирская жена тоже приехала, Марья Григорьевна. Вечер—сидим, балаболим. Варнавин гитару щипет. Вдруг встает посреди ужина Собакин мой, подходит к окну да тихим-тихим оттуда голоском: разрешите, говорит, господа офицеры, прочитать телеграмму от невесты моей, в коей она выражает полное для меня согласие и так далее, как полагается, по чину, так что можете поздравить. А попутно, говорит, хочу продемонстрировать гранатку Мильса!—Сам же вынимает бумажку, развертывает ее, кладет на подоконник перед собой и даже разгладил, скотина, чтоб не топорщилась. Видим, вдруг, гранатка у него в руках появилась,—знаете, с рубчиками которая...—Титус глубоко вздохнул, вытер запотевший лоб и отчаянно оглядел всех.—И вот, хлоп потом рычажок-то за окно! А сам говорит высоким тоном: прошу тишины!

— Это летом было или зимой?..—перебил Елков.

— А вы почему так?.. А, это насчет окна? Да, летом,—окно открыто было.—В этом месте у Титуса красным загорелось ухо.—Ну, рычажок за окно,—продолжал он, возгораясь лихорадочно,—и начинает, гранатку к сердцу прижимая, читать невестино посланьице. Мильсова же гранатка, как известно, пять секунд горит...

— А не семь?—рычащим басом спросил Косов.

— Да пять же, какого чорта вы меня обрываете!! Ну, мы про себя начинаем считать: раз, два... Знаем: на пятом счете Собакину конец. Тишина, понимаете,—слышно, как муха крылышки чистит. Раз... два... А невеста длиннющую закатила ему телеграммку: милый да славный мой Сереженька,—одним словом апофеоз любви, барышня не поскупилась. Три!.. Командир батареи толстый был, звали Сергей Максимильяныч, под бобрика ходил—рюмка перед ним стояла. После, когда уж все кончилось, взглянул он себе на руку, а она в крови вся: вдрызг рюмку раздавил, до полнейшего порошка стер... Три, четыре...

Титус был ноздрат. В этом месте рассказа он с силой глотнул воздуха, словно приготовлялся к последнему костоломному прыжку. Косов раскрыл рот. Рытова тонко кашлянула, точно пузырек булькнул.

— ...И тут подходит к нему солдат, Окунев фамилией, денщик собакинский... и простирает кулачище вперед и разжимает,—видим... А тишина-то, тишина,—ведь сорок-то пять сердец, это, так сказать, взвод кавалерии во весь карьер мчится!.. Видим: лежит на ладошке Окуневской взрыватель, капсюлек от гранатки... А уж кто-то сзади и шесть и семь и восемь насчитал! Лица на Окуневе нет, бледный, бородатый был. Лицо, как—пудовик с крупчаткой, на архиерея смахивал. И говорит Окунев тихонько: ваше, говорит, благородие... дозвольте капсюлечек в гранатку вложить... вы, говорит, ваше высокоблагородие, капсюлек-то под подушкой забыли...

Рассказчик замолк, точно в горле комок застрял. Водянов громко шептал Елкову: „дымно у вас нынче, Иван Павлыч, груди ести!".

— Зачем же вы не вложили... смысл-то какой?..—спросил в тяжелом раздумьи, раскашивая глаза, Лихарев.

— Кто?..—крикнул Титус, дрожа всем телом, точно ждал этого.— Я?.. кто сказал, что я?—судорога внезапной боли перекосила Титусово лицо.—Вы хотите спросить, как случилось, что Собакин про капсюлек забыл?—тихо-тихо, озираясь, начал он.—Рассеянность, полагаю, рассеянность...—И вдруг закричал, поднимаясь с места во весь свой нелепый рост:—Право!.. право какое вы имеете...—бешенство Титуса подняло разом всех членов Елковского зверинца на дыбы, все задвигалось,—какое право... требовать, чтобы умер Титус? Ведь когда он, Титус, умрет, ведь ничего же для него, для Титуса, не останется!.. Ему тогда плевать на всё! Шиш вам... Капсюлек! Капсюлечек?—навзрыд прокричал он, — вам кровцы для благородства нужно?.. А он семь ночей не спал, Собакин, из-за этого капсюлька, не спал. Дряни вы все,—это за кровь вам... вот что!..—прокричав, он упал в кресло.

— Перестань, перестань,—ну, зачем надрываться! Ну, не вложил капсюлька, к чорту его,—надвинулся на Титуса Сиволап, обнимая его, как ребенка, за голову.—Эк, как люди микроскопы себе в глаза вставили: пылинка горой кажется. Ну, молчи, молчи, никто тебя не тронет. Господа,—забасил Сиволап, замахиваясь тяжелой правой бровью,— я скандалу не боюсь, я ведь и на мордобой пойду... Так вот, объявляю вслух: ежели кто Титусу не верит, что семь ночей плакал Титус, я тому...

— Да кто ж не верит, что плакал... мы верим,—сказал Кромулин, единственно чтоб поддержать собственное достоинство.

— Да не я ж, не я, а тот... Собакин плакал, не я!..—вскочил, крикнул и снова свалился в кресло Титус.

— Нет, ты сомневаешься,—рванулся к Кромулину Сиволап. – В них, в этой твари, мозги кипят,—а вы его на куски разорвать хотите! Ты зачем слушал его, а не зажал ушей руками да не бежал от него, куда глаза глядят? Волк говорит волкам, и волки не понимают... Стыдно, господа, мучить человека!..

Кромулин, красный весь, встал, желая возразить, но закашлялся надолго и больно.

Титус, сутулый, то прижимал руки к пылающим ушам, то сидел неподвижно и глядел в печку, где синие обгладывали обугленное полено последние огоньки. Уши у Титуса, большие и острые, вздрагивали.

Показалось, что холодно. Лихарев пошел надеть пальто. Поэт Кромулин тоже надел ватное подобие шубы, и Федор Андреич неожиданно узнал в нем того, у кого отнял он лошадиную голову в Мухином переулке. Но Кромулин нечаянного грабителя, кажется, не признавал.

Потирая мерзнущие руки, Елков, молча, заводил безрупорный, высоким ящиком, граммофон. В окнах было сине до черноты. В чер-

нэте можно было разглядеть, как гнали ветра редкие порывы крупные хлопья снега мимо окон,—все мимо и мимо, на мостовые вниз.

— Господа, прошу внимания, завожу,—возгласил Елков. - Главный,—второй и главный! — поправился он,—номер сегодняшней программы.—Он мельком окинул Федора Андреича, по странному побужденью решившего досидеть до конца.—Итак, гардэ силянс! Вот, это хоть и простенько, но симпатично. Мамаш!—нетерпеливо обернулся он к диванчику,—силянс! кричал же силянс, двадцать раз вам повторять надо! Криворогов, я вас просил на моих пятницах о сале своем не говорить... Ну-с, приступаю. Перед вами, господа, предстает сам профессор Вергилий Ранзато,—прошу!..

Граммофон щелкнул пружиной, крякнул на повороте и, входя мало-по-малу во вкус, томно засвистал неистовой скрипкой. Выходило нечто румынское, но с писком. Елков, опустив голову, с неспокойным и усталым лицом думал о чем-то постороннем. Кромулин сосредоточенно грыз ноготь.

Косов на ухо утешал все еще не пришедшего в себя Титуса. Порой, когда Ранзато разделывал пьяниссимо, можно было услышать: дрянь...—а ты не верь!

— Ну, как вам эта адажийка нравится?—вновь лихорадочно оживился Елков, когда Вергилий Ранзато досвистел до конца свое скрипичное соло.—Ну, а теперь я вам поставлю... знаете, кого я вам поставлю?—нескупо поулыбался он,—ха, вы себе даже представить не можете! Теперь вот из этой самой дырки будет петь...—Он лукаво помолчал, для впечатления, — сам Титто Руффо!! Да-да, тот самый, итальянец, настоящий. Вот мужчинка, зною в нем,—казарму отапливать можно! Да нет, кроме шуток! Я на-днях и грелся этим итальянцем, дрова все вышли... Итак, начинаю. Прошу для усиления впечатления закрыть глаза. Титус, ну закройте же глаза,—некоторым образом тезку собираетесь слушать!..

Титус вздрогнул, открыл глаза и снова закрыл их: бледный и длинный, он и так сидел с закрытыми глазами.

— Пускай его,—проговорил Грещенко, неизвестно к кому относя свои слова, к Титусу или к граммофону. Один свой глаз Грещенко закрыл волосатой векой, а из другого, прищуренного, выглядывал, как в форточку, настороженно и тупо.

Граммофон издал, как бы нехотя, несколько глухих, однообразных звуков, а потом кто-то, засевший внутри, запел, несмотря на тесноту ящика, длинно и тягуче и, в самом деле, знойно, как может петь самый губастый негр о самой красивой женщине. У Косова в руке очутился платок, им он стал вытирать себе рот. Сиволап мрачнел не по часам, а по мгновеньям.

— Знаете что, - назойливо лез к уху Федора Андреича Елков, покуда Титто Руффо то взлезал на самые недоступные человечьему баритону вершины, то спускался легко и лихо, жаворонком, - рожи-то,

посмотрите, какие сделали! У меня был один изумительный тут тип в этом вот зверинце, номер сто двенадцатый, тиф его сожрал. О, так этого видеть нужно было,—он причмокнул,—но издали только, оговариваюсь. Попросит, бывало, серенаду Брага завести, усядется покрепче и плачет под серенадку-то... утихнет, посмотрит себе на руку, и опять в слезы. Я уж и побаиваться, грешным делом, стал: раз плачет человек, он и зарезать может! В решительную минутку, как теперь, только вот в нем пружинку такую на последнюю скорость перевести. Знаем мы этих плачущих и неутешных, целых семь штук их под номерками у меня...

— Кот у вас хороший,—удивительной толстоты кот,—отвечал невпопад Лихарев, беря на руки вылезшего из-под кресла большого серого кота.—На такого кота и глядеть-то даже совестно, по-моему. А знаете,—догадался Федор Андреич,—ведь его бы и съесть можно, кота-то... если голодный случай, например...

— Что-о?—пугливо вскинулся Елков, вырывая у Лихарева кота.— Ну, разве ж можно такие штуки откалывать? Я теперь только для него и живу. Право, целей как-то не осталось, экспроприация целей! А почему, позвольте, человеку должно быть стыдно для своего кота жить?— уперся в тупике Елков.

— Ну, если один для брюк будет жить,—вспомнил почему-то Муховича Лихарев,—а другой для кота,—недалеко мы уедем...

— Да и ехать-то некуда, что вы!—изумился Елков Лихаревскому непониманию общеизвестных истин.—С такими людьми разве можно итти куда-нибудь? Да разве можно, голубчик, грязными-то руками да деликатные зданья возводить! Да они, извините, весь этот деликатный домик по кирпичику растащут! Чего смеетесь? Посмотрите, годиков через пять, увидите. Выпороть если их всех по разу, тогда, может быть, и... Нет, и тогда не выйдет ничего!—заключил он тихо.

— Но позвольте,—собрался возражать Лихарев, но Елков, рукой махнув и крикнув: „заводу не хватило, кстати, извините, я иголочку переменю", побежал к граммофону. Титто Руффо стал хрипеть и являлось опасение—не сломается ли от этого вся машина.

— Ну, как?—покрывал гуденье всего зверинца Елков, когда знойный итальянец, воспарив к небу, томно и жалобно спустился оттуда, как бы на обломленном крыле...—Силища ведь! Эх, как это говорится: если бы я не был Цезарем, хотел бы я быть Титтой Руффой.

Косов сказал басом:

— Да, музыка колоссальная. Дивно, прямо дивно.

Криворогов откликнулся тенором:

— Действительно, вещь хорошая, но самый голос как будто подпитой.

Водянов горячо докончил:

— Нет, колер голоса отчетливый, истинно говорю.

Елков с видимым наслаждением приглядывался ко всем троим. Федор Андреич поднялся и стал прощаться. К нему подошел Титус:

— Мы вместе идем, кажется... Нам ведь по дороге?

— Не знаю, мне налево.

— Как, разве—налево? Ну, все равно... Не прощаюсь, значит.

Все выходили в прихожую.

— Сергей Яковлич!—громко, среди всеобщего шарканья, окликнул Титуса хозяин, опершись растопыренными пальцами в подзеркальник,—что это я вас хотел спросить... ах, да-а... вы говорили, что в 38-й служили, кажется?

— Ну,—ждал Титус.

— А долго ль вы там были?

Титус вскинул на мучителя мутные, красные глаза.

— Служил сколько? Сейчас, э-э... Полтора года служил, вот.

— Полтора?—повторил Елков.—А не знавали ли вы там прапорщика Ишменецкого... Казимира Игнатьевича... двоюродного брата моего?..

— Так разве он ваш брат двоюродный? Вот ка-ак...—протянул Титус, осторожно берясь за скобку двери,—как же, как же... Умный малый, только горячка такой...

— Та-ак. Ну, а что если и не было у меня никакого Ишменецкого, тогда как?—верхние веки Елкова, опущенные низко, наполовину срезали зрачки.—Как же тогда-то?..

— Я ведь не настаиваю, не настаиваю,—забормотал невнятно при общем молчании Титус и, рванув скобку, исчез за дверью.

К Лихареву, как бы затем, чтоб оправдаться, подошел Елков.

— Не могу, Федор Андреич, без натуры писать, мне живые нужны, номерки-то—живые! Главное в том, что ведь он и действительно в 38-й служил, я уверен, что так. Приходите в пятницу,—поленца можете не приносить, вы еще покуда гостем у нас... Мезозавр Андреич,—еще не такие фортеля увидите!

— Нет,—грубо ответил Лихарев, надевая галоши,—не приду.

— Придете, Мезозавр Андреич,—зачем неправду говорить?—с укоризной заметил Елков.

— Врешь, чорт, не приду!!—бросил Лихарев, надвинул шапку и вышел.

Внизу, в темноте под лестницей, ждал его Титус.

— Вы мне вот что...—начал он, шаря пуговицу на Лихаревском пальто.—Вы мне верьте, я давеча не врал.

— Я вам верю, отчего не верить?..—с непонятным отвращением отозвался Лихарев в темноте, чувствуя, как вибрирует каждым кусочком нервов странный экземпляр Елковского паноптикума.

— Вы, может быть, думаете, что я просто так, жулик, а я мучаюсь, я мучаюсь...

— Перестаньте же дергаться, чорт вас возьми,—не вытерпел Федор Андреич.—Что вы у меня просить хотели, ну!..

— Я скажу, я сейчас... Завтра в одном доме торжество будет...

— Хм!.. Кто же это торжествует у вас в такие дни?..—с насмешкой перебил Титуса Лихарев.—Да вы скорей говорите, идет кто-то...

Вверху хлопнула дверь, и стал приближаться шаркающий, неспешный шаг.

— Часы... дайте мне часы ваши, которые вы давеча доставали...—Титус, казалось, сам испугался своих слов.—Гости будут, в одном доме... все дело мое решится... мне непременно золотые часы нужны. Вы доверьтесь, я не обману... —он смолк.

— Что ж, отчего же, отчего же,—машинально сказал Федор Андреич, просунул руку под пальто и достал часы.—Только вот о чем попрошу... это отца моего часы... вы не тово... не потеряйте!..

— Будьте покойны, будьте покойны,—был поспешный ответ.—Послезавтра вечерком, вечерком я вам и занесу... вечерком, послезавтра.—Не простившись и не поблагодарив, Титус быстро вышел из подъезда.

Поземка становилась неистовей, а ветер злей. Снег несся широко и пушисто.

— Сергей Яковлич... Титус!..—закричал в снег Федор Андреич,—адрес мой—Шестаковская, тридцать девять!

— ...Девять?—донеслось из снегового гула.—Ладно, ладно... девять...

Потом опять ветер и опять снег.

Лихарев досадливо пожал плечами и, поднимая воротник, обронил вслух:

— Глупо, небывало глупо... Мезозавр Андреич!..

Снегом так и заметало, так и сыпало.

VII.

Здесь, на этом ночном, двух улиц темных углу, где теперь ветер снегом свищет по пустоте, когда, в кабаке — „Белая грудь" — гражданина Малафеева, не так давно, не так давно — томно взвизгивала скрипка черноусого Илески, и стаканы кувыркались весело в запрокинутые глотки самоличных людей; — здесь же, этажем повыше малафеевской „Белой груди" торговал Василий Сушкин самоварами, с одного угла, а с другого — музыкой - Ерусалимов.

И однажды навзрыд зазвенели стекла в „Белой груди" гражданина Малафеева, и пламенем рыкающих птиц, посланных загородными дальнобойками, осенились и медные румянцы Сушкинских самоваров и зеленая крыша Ерусалимовского дома и железо-бетонное небо пасмурного утра того.

И одна такая, как трамвай гудевшая, пока летела, села с разбегу на крышу эту и лапкой огненной рванула бесшабашно две стены угловых от дома прочь, так что даже обнажилась внутренность, так что даже дрожь в ногах...

Не с натуги ли крякнули лужеными глотками толстопузые самовары Сушкина, двухстепенного туляка, не с испуга ль визгнули предольно-тонкие в кленовых перехватах, жеманные, как барышни, в гераневом окне, разудалые ерусалимовские гитары?

Тут еще прилетел черный ворон с красным клювом, острым когтем, он наотмашь вдарил, словно метил, в белую, трепещущую грудь.

Врассыпную прыгнули самовары сушкинские с крепких полок через окна прямо в грязь, — барышни жеманные за ними, но взмахнуло третьим ударом вдрызг, и шарахнулось каменье по звонким жеманницам, по самоварным бокам...

И с тех пор, как щелчком ударило в небодливый каменный лоб, в обгорелых стенах того дома, когда замолчали дальнобойки, наверху— посвивали гнезда городские бесприютные птицы, а внизу—поустраивали люди себе тихие отхожие места. Красным искрошенным кирпичом дикая ощерилась зияющая рана на рассыпчато и сахарной, белой малафеевской груди.

Там, на том же ночном, двух улиц темных углу, где теперь ветер свищет снегом по пустоте, остановился по надобности Лихарев. И услышал нечаянно разговор чей-то. Он вгляделся в темноту развалин, собираясь различить там спины двух, застигнутых внезапной страстью,— не увидел ничего. Не крутилось снегом в пустоте, было в пустоте темно и слякотно. И стало любопытно Лихареву и прислушался, высвобождая ухо из-под шапки, — услышал низкий сиплый смешок сперва, а потом небывалые слова:

— ...Ваньк, ведь ты убил!

Как если б Лихарева тройкой дернуло, он помчался, молодому жеребенку подобно, вдоль зыбкой, пляшущей снегом улицы и мчался без раздумий всяких, испуганный профессор Лихарев, покуда не наткнулся на двух, идущих из мглы, крутимой белым ветром. Поравнявшись с ними, услышал Лихарев, — сказал один:

— Экая чертогонная погодка... в дым...

— Да... Господь не забывает!.. — ответил другой.

Оглянулся, чтоб рассмотреть, не успел: подкинуло профессора ветром. Буря дыбит снег, быстро вьется мрак...

VIII.

Федору Андреичу отперла Елена, держащая лампочку с приспущенным фитилем, несказанно бледная и дрожащая. Но Федор Андреич и не видел ее, весь сосредоточенный на своем. Еще на улице стало больней сжиматься сердце, а тоска, всегдашняя спутница удуший, затемняла ум.

— Я там тебе на столе покушать оставила, закуси, а чай холодный в чайнике синем, — сказала сестра, запахиваясь в шубку и неудержимо кашляя.

В комнате было темно. Елена внесла лампочку и поставила на стол, но тьма обступала по-прежнему чадный керосиновый огонь. Есть не хотелось. Федор Андреич отодвинул стул от стола и сел. Мысли бежали вприпрыжку, в одну минуту сто мыслей, обегали кольцо и снова проносились визжа: такие уж мысли были у Федора Андреича в ту ночь.

В сердце совсем перестало колоть. В углу, под столом, против которого сидел Федор Андреич, поцарапалось коготком. Федор Андреич напряженно вгляделся и увидел крохотную мышку, которая блеснула глазком и метко скользнула в еле-заметную дырочку, темневшую внизу стены.

„Какая маленькая“ — подумал Лихарев про мышку и снова ждал, забывая даже ногу на ногу заложить. Снова она, мышка, перебежала к столу и обнюхала краешек, на котором уже виднелись острых зубок ее белые следы. „Меня боится“ — мелькнуло у Федора Андреича и потом еще: „небось, маленькие есть, она для них ищет“...

Нечаянно появилась хитрая мысль, что ведь мышку-то и поймать можно, совсем нетрудно, если с осторожностью. Федор Андреич, прикидывая возможности, сощурил левый глаз. Делать было нечего, а ложиться Федор Андреич боялся, припадок мог застать его на кровати и в темноте. Вдруг родилось желание разглядеть мышку как следует, держа на ладони: „никогда мышей вблизи не видел!“.

В соседней комнате с глухим кашлем проснулась сестра. Федор Андреич подождал две минутки, пока затихло, потом взял со стола коробку от макарон, принесенных Мухоловичем, и выправил промятое дно. Мышка мгновенно спряталась. Лихарев встал на коленки и полез под стол. „Как вылезет, так и накрою, никто не видит“.

Окно было по-прежнему подернуто перегнувшимися туда и сюда мезозойскими листьями. В комнате было тихо, везде вокруг тоже была абсолютная недвижность: все вокруг жадно насыщалось сном. Стол был большой, Лихарев любил большие столы, чтоб спать при случае можно было. Вытянув губы калачиком, Федор Андреич затаил дыхание и приподнял край коробки: „вот я ее сейчас и накрою“...

— Только сразу нужно накрывать, а то убежит! — сказал кто-то сзади знакомым голосом.

Лихарев визгнул и, разжимая руку, выглянул из-под стола. На кровати, заложив ногу на ногу, сидел ферт. Свет, скошенный абажуром по кривой, упадал на сложенные руки ферта, — лицо его, ухмыляющееся похабно, оставалось в тени. Дверь в кухню и, следовательно, на улицу оставалась открыта.

Федор Андреич выполз и поднялся. Мозг работал с отчаянным напряжением, а в висках мерно и глухо пульсировала кровь. Бочком, чтоб не выпускать ферта из поля зрения, Лихарев направился к двери.

— Она была открыта, — это я забыл ее закрыть, — вслух сказал он, берясь за скобку.

— Нет... это я, — пройти прошел, а затворить забыл, — возразил ферт и, соскочив с кровати, перед самым носом Федора Андреича прихлопнул дверь. За скобку они держались вместе, рука ферта была как лед. Отходя, ферт задел неосторожно локтем прямо в бок Федора Андреича, под самое сердце.

— Ну, это уж хамство! — с озлоблением выкрикнул и хотел еще кричать, но вдруг сам испугался своим словам Лихарев.

— Слава богу, сдвинулись! — фыркнул ферт. Не рассчитывая на ответ, он снова сел на кровать.

Лихарев не отвечал и все глядел с презрительной усмешкой в это убогое, престарелого недоноска, испитое лицо ферта.

Ферта никакого он и знать не хотел, но мысль о том, что кто-то, хотя бы этот несуществующий, видел его на четвереньках, была ему обидна и болезненна.

— Вы, собственно говоря, не бойтесь, Федор Андреич, я никому про это говорить не стану... Да у меня и память прескверная, все равно забуду! — не переставал лезть с разговором ферт. — Но только и вы уж никому тогда не говорите — вот у нас и будет маленькая наша, своя тайна... - в этом месте ферт даже улыбнулся, доверчиво распялив губы.

Федор Андреич не менял своего решения молчать и не замечать ферта, — но глядел и глядел, не отрываясь. Невольно, вспомнив Елковские слова, подумал Лихарев, что, пожалуй, и вправду не перестать ему, Лихареву, ходить по пятницам в Елковский застенок.

— А с Россией-то что делается!.. — опять с лукавостью начал ферт,

— Да что с ней делается? Ничего с ней не делается...— не выдержал Лихарев.

— Помилуйте, Федор Андреич! — радостно зашептал ферт, ерзая по кровати, так что одеяло должно было бы сбиваться на сторону. — Что вы, Федор Андреич, миленький, да ведь экзамен, так сказать, держат,—ферт патетически всплеснул руками. — Мелкий человек экзамен держит, коленки дрожат, сердчишко трепыхается, — а вдруг да выдержит? — Тут ферт даже с кровати привстал. — Вот Елков уверяет, что мол кирпичики по кирпичику растащут, а вдруг да врет дурак Елков? Он гибели хочет, потому что в ней все его оправдание!.. Нет, а кроме шуток, — вот возьмут да и не растащут. Ведь какие дела-то сотворятся! Все наизнанку вывернется, — светопреставление, смерть мухам... Ох, да ведь у нас с тобой, Федор Андреич, уж больно размах-то нечеловечий... Вот сегодня Ванька, ты сам нынче слышал, человечка-то пришиб, а завтра пойдет он, Ванька этот, кирпичики класть, сооружать деликатное-то зданье свету всему на удивленье и на устрашение миллионам Елковых, чорт бы их взял, а?.. Класть будем и плакать будем... Потом и слезами мир затопим, Федор ты мой Андреич, родненький. Вот дела-то сотворятся, эпопея!.. — ферт, уже не сдерживаясь, затрясся весь в беззвучном смехе.

Ты это нехорошо делаешь, что смеешься, — поморщился всем телом Федор Андреич, внимательно, впрочем, прислушиваясь. — Про такие вещи стоя надо говорить, а ты морду строишь...

— Стоя? Это нам-то с тобой стоя? Да бог меня упаси! Я ж все это тебе для смеху болтал... чтоб тебе же веселей стало. Ты думаешь, и в самом деле не растащут? Да разве ж это люди? Пузыри, на вековой тине пузыри, и вонь внутри... точно! Ах, Федор Андреич, ах, милый, — нельзя же в такие дни таким ребенком быть. Зачем правды бояться, — дрянь — она дрянь и есть, — зачем с нее разных там благородных штук спрашивать!

— Каких это штук? — переспросил Лихарев и тотчас же вспомнил, что уже слышал где-то этот же самый вопрос.

— Человечности, человечности, милостивый государь, вот чего! За благородство, за правду кровью платить надо, а кровь — она дороже всяких правд стоит!..—Тут ферт и свистнул даже.

— Правду дураки выдумали, чтоб легче было жить, — сумрачно вставил Лихарев.

— ... И кто этого Ваньку, — не слушая, захлебывался ферт, — который кирпичик стащил, кто осудит его, кто первым бросит камень?.. Ты и сам ведь утащишь, между нами-то говоря, — без злого умысла, в переносном смысле, а ведь утащишь... вместо пресс-бюварчика хотя бы, на стол положить.

— Ка-ак?..—возбужденно начал Федор Андреич таким тонким и запавшим голосом, что даже смешно, и вдруг перескочил на тягучий бас. — Так ты думаешь, прохвост...

— Ах, да нет же, ну, конечно, нет. Я все это только в теоретическом смысле, так сказать, прикидываю на глазомер. Ну, разве ж посмел бы я сказать, что ты — мелкий человек, — напрасно ерепенишься... — захихикал ферт, возбуждаясь все больше и больше, и вдруг всхлипнул, кидаясь перед Федором Андреичем на коленки: — Феденька, — вскричал он, — до конца дней наших терзаться будем, каким манером мир спасти. Феденька, пойдем кирпичи таскать! Голыми руками будем носить и друг на дружку складывать. Я с тобой с малых лет, Феденька, — пойдем, поможем! — ферт вскинул к потолку мокрое от слез и скошенное свое лицо и на коленках задвигался к Федору Андреичу, который, объятый и страхом и презреньем и обидой, испуганно замахал на него руками. — Феденька, — холодно и голодно и жутко ночью-то... Буран крутит по голым спинам, головы людские кровянятся вдрызг. Аль в тебе, Феденька, кровь, как в прочих, подливкой разбавлена?.. На баррикадки ходил... красной тряпочкой махал... студентик... розовенький... Неужто помочь не хочешь, родной! Ведь Христос...

— Христа не тронь! — яростно крикнул Лихарев и согнулся до полу, запуская гипсовым Томсеном в ферта. Тот ускользнул и метнулся к двери. Лихарев бросился за ним, страшный и тяжелый, сжи-

мая посиневший — весь в отца вырос Феденька! — кулак. Но ферт вовремя успел просочиться в дверь и даже поддразнил нарочным кашлем. Федор Андреич, нижнюю губу закусив, огромным шагом шагнул вдогонку и тут смаху налетел на сестру, разбуженную его криком.

— Ты с кем это... Федя?.. Что с тобой?

— Я ему покажу, — скаля зубы, хрипел Федор Андреич. — Я его на аршин в землю вшибу, мерзавца, — он замучил меня совсем...

— Да кто... кто? — не понимая ничего, жалкая и зябнущая, твердила сестра.

Федор Андреич только ахнул в ответ и, качнувшись дважды упал навзничь в коридорчике. Сердце его, объятое как бы жестким футляром, окунулось в колючую, непереносимую боль и, казалось, перестало колотиться.

Войдя в комнату брата, Елена увидела несчастного Томсена и догадалась. Она потерянно обвела глазами мрачные, сырые, в плесенной сыпи, стены и закашлялась. Это в первый раз за все время с переезда к брату, она кашляла так больно и длительно. Это в первый раз с той минуты, когда закончился дневничок, у Елены горлом показалась кровь.

IX.

В очередную пятницу тем объяснял себе Лихарев свое намерение пойти к Елкову в зверинец, что нужно же, мол, встретить и поговорить с Титусом, который часиков-то Лихаревских в назначенный срок и не принес.

Все уже были в сборе, когда вошел Федор Андреич, — все, за исключением Титуса и Водянова. А из граммофона, взасос прилипая ко всякому уху, уже надрывался горластый мужчина про какой-то крест, висящий у него на груди.

Лихарев поклонился, щурясь от дыма, — сообразил, что за руку можно и не здороваться, огляделся и сел в уголок. И почти тотчас же возле него оказался Кромулин.

— Простите, Федор Иваныч, я на минутку вас оторву... — заговорил он чахлым и прерывающимся голосом.

— Андреич... — сухо поправил Лихарев, ожидая, что Кромулин узнал его и подсел выяснить дело насчет лошадиной головы.

— Разве Андреичем? А мне Иван Павлыч так сказал, что Иванычем... извините, — Кромулинские уши загорелись красным, а сам он заискивающе и виновато заглянул в глаза Федора Андреича. — Я вот о чем сказать хотел вам... об этом вот...

— О чем, чего вы все вертитесь? — раздражаясь блестящим Кромулинским пробором, спросил Лихарев.

— А вот о чем, — начал Кромулин, пытаясь выбирать слова пожестче и попроще, чтоб не так ему, Кромулину, стыдно было. Было в нем нечто, что готово было в любую минуту распуститься неутеш-

ными ребячьими слезами. — Вы... прошлый раз, когда вон там сидели... вы подумали... подумали, что я дрянь, что я даже...

— Позвольте, да откуда же вы взяли?.. — недоуменно выпячивая нижнюю губу, попытался остановить Кромулинский наскок Федор Андреич.

— Да-да, я знаю, вы не отнекивайтесь, — поэт задвигал носом, а руки его стали заметно потеть. — Вы в прошлый раз Сиволапу говорили, что я не чувствую России, не понимаю...

— Ну, — терпеливо ждал Лихарев.

— А я вам хочу сказать, что я не дрянь, потому что я ее понимаю... чувствую... — с дрожанием в голосе закончил он. — А я не могу делать ничего, когда знаю, что против меня кто-нибудь плохое думает...

— Ну, и слава Богу, — вторично попробовал отвязаться от неприятности Федор Андреич.—Ее, Россию-то, главным образом и нужно понимать... а еще того лучше — понимать и любить, а еще лучше — молчать о ней,—в зубах навязло!..

— Зачем же вы презираете меня? — вспыхнул Кромулин. — Я вот что... я вам сейчас стихи прочту, я для вас нарочно и писал... Вы тогда увидите меня... увидите!

— Ну, что ж, спасибо... Только вы напрасно беспокоитесь, я ведь в стихах... не особенно,— Лихарев сконфузился и потому согласился.— Ладно, – читайте уж.

— Ничего, у меня понятные! Я только что написал его... не обработал еще как следует. Называется оно: Тебе, Россия.

Лихарев переспросил, с усталости закрывая глаза:

— Как называется?

— Тебе, Россия! — ответив так, Кромулин подвинулся к Лихареву поближе, кинул досадливый взгляд на Сиволапа, который жевал собственный ус, прислушиваясь, и начал с выразительным подвываньем в голосе читать нараспев в Лихаревское ухо:

В тот страшный вечер перестанут
Слепые ветры гнать судьбу, —
Сберутся птицы и заглянут
На возлежащую в гробу...

И, поднимаясь с грозным криком,
Отчаянным, как в дни Суда,
Они расскажут всем о диком
Конце...

— Я вот тут еще рифму не подобрал... но я для смысла, — вы понимаете? — смутясь, заговорил Кромулин.

— Ну-ну, читайте же дальше! — Федор Андреич жалобно покрутил головой.

Кромулин продолжал окрепшим и бодрым голосом:

Тогда и с Альп и с Гималаев,
Крутясь столбами, в дальний путь

Пойдут снега, чтобы растаяв,
Тебя в кольцо св е замкнуть.

И вновь, как встарь, ледник возляжет
На ветровой твоей груди..
Россия, — кто кому расскажет
О том, что было позади?..

— Все? — спросил Федор Андреич, когда Кромулин затих и щурил глаза на сиволаповский валенок, притоптывавший, словно кого-нибудь давил. — Что ж, стихи у вас ладные вышли, — только вот ветровая грудь мне что-то не нравится. А во-вторых, вы что ж под Гималаями Китай, что ли, подразумеваете?.. Китайцы, ведь, штука опасная!..

— Да... и так и еще в переносном смысле, — увильнул, ужасно багровея, Кромулин.

— Угу, та-ак... — со вздохом протянул Федор Андреич. — У вас что, чахотка?

— Да, у меня оба затронуты... А вы отчего так подумали?—Кромулин, сутулясь, робко поднял на Лихарева голубоватые, цвета линялого ситца, ожидающие глаза.

— Да по стишкам видно! — не выдержав, вмешался Сиволап и подошел ближе.—Вы, молодой человек, по России...—он поправил выглядывавшее из кармашка пенснэ, словно собирался в рукопашную,— не унывайте! У вас Россия не в сердце, а на языке. Вы б пописывали про напрасную любовь, и безвредно, и жалобно, куда вам! Уж больно всем вам хочется, чтоб прежде вас умерла, а она на зло тебе возьмет да и выживет. Ведь непременно хочешь,—настойчиво продолжал Сиволап, хотя Кромулин только одного хотел, чтоб не прилипала к нему эта липкая, грузная масса человечины,—хочешь, чтоб унизилась паче меры,—а когда унизится,—сядешь, возьмешь лиру и восплачешь...— взъярился Сиволап. — В тебе сердце такое, что в наперсток влезет крохотное!.. И как пришли да воспороли всех нас, мужиков и баб, негры, что ли, или эфиопы там...

— Бросьте, нехорошо вы говорите,—поморщился Лихарев и задвигался на стуле.

— Да нет, чего уж там... А ты тайгу знаешь? Ты видел ее, тайгу?..—перекрикивая граммофон, щетинился и кричал Сиволап.

— А вы... вы в чеке не служите?.. — мелко дрожа и с сощуренными глазами прошипел Кромулин, порываясь вскочить на обидчика.

— Я? Эх ты, бычок несуразный... Михрютка...—совсем запьянев пафосом, грохотал Сиволап шатающемуся Кромулину.—Ты поди сам голыми-то руками поля пахать,—вот, тогда и пой...

— А ты пашешь? — напряженно улыбаясь, спросил через всю комнату Елков.

Сиволап беспомощно повернул голову к Лихареву, как бы ища поддержки в нем, но тот отвел глаза. Опять вышла тишина.

— А теперь я попрошу вас вон отсюда! — свистящим голосом сказал Елков, замирая, как в столбняке.

— Я тогда тоже с ним уйду, с Сиволапом,—неожиданно для себя объявил Федор Андреич, но вдруг остановился в нерешительности.

Веселая и нестарая женщина привычно покрикивала из граммофона „свобода, любовь, наслажденья... туда улетим мы с табо-ой"...

Сиволап только что опомнился.

— Это ты... гонишь меня? — вызывающе осведомился он, закладывая руки в боки.—Ах ты...—он стал багровым, но багровость тотчас же перешла в краску стыда, он оборвался. — Виноват-с, пардон... ухожу.

В дверях Сиволап столкнулся с Титусом, бледным, невыразимо пьяным и еле стоящим на ногах.

— Крепись и бодрствуй, Титус!—крикнул Сиволап, проходя мимо.

— Бодрствую и уповаю,—отвечал Титус, покачиваясь.—Боннсуар, господа,—кричал он через минуту торжественно и нагло, направляясь неровным шагом к Елкову. Тот потирал руки и ждал, глядя вслед уходящему Сиволапу.

— Камансава?..—продолжал Титус, останавливаясь в двух шагах против Елкова.

— Ничего, благодарю!..—ответил тот.

— И мамаша тоже здравствует, Иван Петро-семено-павлович?— иголкой затончая голос к концу, еще спросил Титус и склонил голову на бок.

— Да... и мамаша.

— Ну, вот и прекрасно, из-зумительно, как говорят эти... ну да, парижане. А? говорят ведь?—протянул величественно палец в Грещенку Титус.

— Про это незнаком,—ответил тот хрипуче,—а вот что хвост у тебя еще длинней стал, это вижу.

— Хвост? Ну-ну! Право хвост?..—он оглянулся назад.—Действительно вижу,—подивился он такой несообразности.—Господа, объявляю: с такого-то числа Титус награжден хвостом, ха! Хвостом первой степени, с лентами... Поздравления—рапортами!..

Глядеть на него было гнусно и обидно. Лихарев думал: я уйду, я уйду, это плесень, инквизиция какая-то,—и все же не уходил, потому что дома было еще хуже.

Титус сел в кресло и плюнул.

— Я пришел в мир, чтоб слушать граммофон. Иван Петро-семено-павлыч... вы потрудитесь изобразить с его помощью ту самую, которая сердцебиение изображает, как вы сами изволили выразиться.— Титус повелительно махнул рукой на граммофон и, в добавление ко всему, пошевелил ухом. Ухо у него было сильно оттопырено, пошевелить им особого труда не составляло.

— Ага, это из Пиковой Дамы?—завертелся Елков, блестя глазами.—Когда Герман входит?.. Ну, так мы сейчас этого Германа и навострим. Мамаша,—запел он в угол, где старушка захлебывалась сумрачному Грещенке: „как они на том-то свете вертеться станут!"— Мамаша, да перестаньте же вы, каждый вы день словно веревки крутите. Шли бы вы спать, мамаша, ваше дело старое!..—кричал он притихшей старушке.—Да... так значит Германа?

— Послушайте, Иван Павлыч,—вы подождите начинать. Я пару слов должен сказать Титусу, а потом домой пойду.—Лихарев говорил это, не вставая с кресла.—У меня сестра больная, вы извините... непременно нужно быть там.

— Ни-ни-ни,—испугался даже Елков.—Сестра! Что значит сестра в наше время! У меня вот тоже сестра была... Брат, впрочем... Но какая разница, Федор Андреич, миленький, какая разница? И потом я сюрпризик хотел вам поднести... Сергей Яковлич, господа, не приходил? Или, может, был да удрал? Никто не видел Водянова? Ну, сам тогда виноват! Итак, долой мрачность и поплясывать... Что это я болтаю? Вы простите, господа, иногда у меня не то выходит, что надо... А, впрочем, чорт с ним, с Водяновым!..

— Поплясываешь здорово, но можешь сам себе хвост отдавить,— прищурился Грещенко.

— Себе отдавлю, а не тебе,—огрызнулся Елков.

— Не обижай человека!—смешливо протянул Косов.

— Ваше дело горохом торговать,—осадил и того хозяин.

— А каб не горох мой, что б с тобой стало!—безобидно смеялся Косов.—Деньги мне что ль твои нужны? Пипифакты, а не деньги, сам намеднись говорил.

— Ну и ладно, ну и ладно, и молчите,—начал отступать Елков.

— Скоро?..—прервал их задремавший было Титус.—А вы, Федор Федорович,—он повернул голову к Лихареву,—не уходите, вы подождите уходить! У меня к вам тоже есть, как это говорится?—винновый разговор при бубновом интересе. Я сейчас вам про это доложу, а вы резолюцийку наложите. Однако на резолюцийку мне плевать...

— Итак, теперь Герман с сердцебиением,—кричал хозяин,—прошу напрячь все силы ума и сердца! Ти-ра-ра-ра...—подпустил он фальшивую мелодийку и спустил граммофон. Именно спустил, ибо тот захрипел надтреснуто и мучительно и совершенно нежданно хряснул дребезжащим пружинным ударом.

— Сломался, чик и готово,—возвестил миру Титус, устремляя деланно-сонные глаза на Елкова, склонившегося над бездыханным ящиком. Паноптикум весь замер, ибо с поломкой граммофона терялась некая цель и нить во мгле.—Чик... дрык и готово! Так же вот и человек,—в этом сходство с машинкой!—Титус встал.—Чтой-то вы мне давеча сказать хотели?—направился он к Федору Андреичу.—Ну, я готов вы-ыслушать ва-ас,—пропел он нехорошим голосом на оперный

манер, вытягивая руку в сторону.—Тут впервые врезалась в сознание Федора Андреича раздражающая пушистость Титусовой бакенбарды.

Сделав еще четыре шага,—таково было расстояние до Лихарева, сидевшего в углу,—и остановясь в полушаге, он покривлялся:

— Вот и весь я, пожалуйста. Агу-у!..

— Почему вы не принесли тогда часов в назначенный день? Я вас ждал целый вечер, а вы не принесли...—тихо, стыдясь говорить с пьяным, спросил Лихарев, также поднимаясь со стула.

— Я? Ах, это вы про часы-то?—Титус поднял пьяные брови вверх, и бакенбарды подъехали к вискам.—Хотите узнать про часики так? Пра-абегают ча-асики, ка-ак в пру-уду ккарасики-и...—опять запел он и тотчас же сознался откровенно:—часики ваши я продал и... пропил! Вот, глядите, любуйтесь на меня,—несет и даже шибает хоша... хоша кавалер и не цветок, пахнуть не должен! Но того потребовала страждущая душа: язык прилип к нёбу и, одним словом, вдребезгу...—залпом выпалив это, Титус поднял один глаз к потолку, а другой полуприкрыл дрожащей рыжей ресницей.

Тогда Федор Андреич рассеянно протянул руку и взялся крепко за Титусову бакенбарду и стал легонько ее потягивать, не выпуская ни на минуту и стараясь забрать в горсть всю ее.

— Отпустите... да отпустите же, Федор Андреич, ведь заметят же... ведь нехорошо будет...—потерянно шептал протрезвевший Титус, руками шевеля в воздухе, как если бы плавал.—Ведь больно же... да отпустите же, вам говорят!..

Криворогов, сидевший всех ближе, ринулся разнимать,—в ту же минуту Федор Андреич рванул бакенбарду со щеки к себе. Титус, визгнув, стал падать прямо на грудь Федора Андреича, наугад хватаясь за его развязавшийся галстук.

На мгновенье там, среди обступивших людей, из-за спины зеленой Рытовой, мелькнула хитроватая физиономия ферта, но Федор Андреич только зубами заскрипел и, когда рука его, неразжатая, отделилась вдруг от капитанской щеки, вздохнул глубоко и облегченно, пересиливая припадок.

Возможность припадка, правда, миновала, как туча, прошедшая краем, но Елков трясся в припадке злобы, еще худшем, чем Лихарев.

— Какое право имеете... мне людей портить? Чей он, твой или мой?!.. А, да отойди ты, бритый,—наткнулся он плечом на плачущего Титуса, который ребенком, в разлив, плакал, сидя на коленях утешавшего его Криворогова.—Как вам не стыдно, профессор! Как вам...

— Ну, нет, ну нет...—остолбенело бормотал Федор Андреич, отскакивая к дверям.—Так нельзя... так нельзя...—Он отступал, а на него наступали, по его следам, все эти переломанные люди.—Вы все уроды... уроды...—продолжал твердить Лихарев и тут разжал правую свою руку. Пучок шелковистой Титусовой шерсти медленно стал падать на пол. Увидев, Федор Андреич понял все и бросился в перед-

нюю. Провожать его никто не вышел, ибо за притворенной дверью, громкий и скандальный, опять поднялся шум. Когда Федор Андреич надевал второпях вторую калошу, выскочил бледный Елков и крикнул:

— Не уходите, не уходите, Лихарев... потом поздно будет!..

Федор Андреич, отмахиваясь, искал запора. Уже на лестнице услышал Федор Андреич, как двигающемуся и рыкающему зверинцу громогласно возглашал Елков:

— Господа, Лихарев украл кота!..

Федор Андреич только рычал. На ходу вздевая рукава пальтеца и теряя в темноте хлюпающие калоши, обезумевший и страшный, он прыгал по лестнице вниз.

X.

А на улице была оттепель.

Таяло, струилось и капало. Снег был грязный, а ветер мокрый, а переулок темный, а ночь еще темней. Но всего темней были люди, пробегавшие в то неурочное время по Поганому сему переулку.

В оттепель она меняла лицо, улица. Без снеговых белил и без румян утреннего солнца, она мне тосклива и жутка. А теперь в домах, засиженных людьми и мухами, в присевших как бы на корточки и просыревших насквозь, еще раз чуялась, больше чем днем, обреченность на горение и истление без следа. Непролазная усталость стояла в блестящих и зияющих мраком окнах. Так же вот глядят потухшие домны и насмерть обиженные люди.

Все же Федор Андреич несколько освежился,—ветерком его прохладным погладило по лицу и по обнаженной голове, сыростью обхватило и заставило глубже дышать. Голова начинала ясниться, хотя все еще кровоточил неостановимо какой-то клок в душе.

Лихарев шел домой другим путем. И пришлось ему проходить мимо площади. А площадь топорщилась из середины своей рябым горбом вверх, где, на белье непромытое похожие, трепались облака, и с них капало. В длинном, мутном свете одного окна увидел Лихарев одинокого человека, ковыляющего на деревяшке через площадь. Это было единственное живое существо, встреченное на пути, но то, что это единственное было об одной ноге, неприятно подействовало на Федора Андреича, и он свернул в переулок, который с небольшим крюком выводил на Шестаковскую.

Происшествие с бакенбардой привело нашего Федора Андреича в неописуемое смущенье. Теперь он шел и все думал, все думал, как это могло случиться, то самое, чего боялся, как огня. Он вспомнил, что, когда в первый раз увидел бакенбарду на капитанской щеке, тогда же, где-то под затылком, а может быть, и в самой руке поцарапалась исподтишка гримасная и скорее шутливая мысль,—пощупать и,

так сказать, рукой исследовать редкостную пушистость Титусовой бакенбарды. Но каким образом дурацкое намерение обследовать добротность капитанской шерсти перешло в действительно происшедший поступок, этого, как себе голову ни ломал, Федор Андреич не мог выяснить. Правда, история с часами вышла сильно паршивая, но нельзя же из-за глупой вещи обезображивать живого человека, отнимая у него главное украшение с лица, к тому же таким жестоким манером! Кроме того, что это за глупости кричал вслед ему Елков? при чем тут кот! Неужели ж этот гнусак Елков предполагает, чтобы он, Федор Андреич Лихарев... Ах, да нет же, какие глупости,—даже Елков не мог этого подумать. А калоши, вот, жаль!—Так закончились мысли Федора Андреича о происшествиях очередной Елковской пятницы. Оставалось и еще кое-что, что тоже следовало бы рассмотреть и обсудить, но это „кое-что" лежало в душе смрадной кучей, и притрагиваться к ней не хотелось Лихареву.—Все проветрится и выветрится само собою,—будет весна, будут ручьи, вымоет душу дождичком, и пойдут по ней подснежнички расцветать,—приблизительно такого рода был дальнейший ход мыслей Федора Андреича.

Сырым и вязким тестом нависало небо над Поганым переулком, а с того края, откуда солнцу всходить, стояло ныне зарево—багровое, недалекое и безмолвное. Все это подавляло чрезвычайно, но не действовало на Федора Андреича, сосредоточенного всеми своими фокусами на себе самом.

В это время сзади Федора Андреича окликнули: „господин... стойте, господин!". Федор Андреич по трижды указанным причинам не расслышал, и только когда уже за самой спиной раздался низкий и сиплый по-нарочному голос: „сымай шубу, господин!", он обернулся, хотя совсем не собирался любопытствовать, кому это могло понадобиться легкомысленное его, среднего цвета, пальтецо. Он обернулся к грабителю и не сразу узнал в нем Водянова.

— Это... это вы?—Пораженный изумленьем, Федор Андреич протягивал палец в стоящего перед ним ширококостного человека, с подвязанной щекой и в солдатской шинельке. Человек в шинельке несоображающим бычьим взглядом уставился в лицо Лихарева. Так прошло с полминуты, потом Федор Андреич снова стал соображать.—Я... право, я не думал, что вы по ночам... этово... самово... шубы снимаете!..

Голоса в сыром воздухе звучали глухо, как в мешке.

— Федор Андреич... Федор Андреич...—забормотал невнятно Водянов.—Вы поймите, не в шубах тут дело... Мать горит, со всеми потрохами так и полыхает вся... О-о, вон она, Рассея-то! Э-эх, Рассея, мать твою за ногу!—Водянов, как пьяный, выкинул руку вперед, к багровеещему небу.—Вся!.. вся!.. Федор Андреич, дорогёночек, кто ж тушить-то будет?..

— Зачем тушить?—на Лихарева так подействовала обстановка, что он и в серьез собрался возражать Водянову.—Покуда не догорит,

нового жилья не выстроишь. Тут уж лучше, что дотла. И потом как тушить-то, а вдруг головешкой в башку вкатит?..—он усмехнулся, но вспомнил про калоши и нахмурился.- Какого чорта всем вам Россия далась?—только теперь сообразив всю нелепость их, кривился Федор Андреич. Около стоял покривленный на сторону фонарь, а стояли они у темной подворотни.

— Гори... вся гори...—не слушая Лихарева, яростно шептал Водянов, мотая головой.—И пускай сызнова вся лесами зарастет! Какая стала! И домики, и людишки горят. Людишками печи топят... Ах, какая большая трата людей, Федор вы мой Андреич, ах, какая большая!.. За человека грошика не дадут, грошика с дырочкой...

— Слушайте, Водянов, бросьте разливаться,—эк вас до чего Елков довел! Чего тут о людях плакать! Каждая смерть нового человека обещает, хорошего, крепкого,—не человек, а молотилка будет! Зубами рельсу перегрызет! Вы вот что скажите, шубы-то зачем снимать?

— Шубы сымать, дома поджигать...—забормотал бессвязно Водянов.—Затем, дяденька, затем, Федор Андреич, что линия такая идет... В линию, милачечек, войти нужно,—не спроста... Спроста лист не завянет, кура яйца не снесет!..—Лихарев натянул шапку на уши: оттепельный ветер резал лицо.—Вчера... я вчера пальму латанию... Очень я пальму латанию люблю, у ней лист завитушечкой, приятный... Стояла на окошке барыней,—водички ей подольют, земельку ей переменят... А я ее—ты латания? Латания! Так вот тебе, за ногу твою мать!.. И срезал, подошел и срезал,—джикк!.. Меня б за эту пальму повесить надо, а как же вешать, раз линия... ее ведь не замолишь, чтоб остановилась! А нынче вот шубы...

— Ну-ну,—одобрительно отозвался Лихарев,—все это нелепости.

— Шубы... Идет барышня. Я—„стой". Она в слезы,—„у меня говорит, папашенька при смерти, пустите... за доктором"... Я ей,— „распрекрасно, говорю, а шубу сымай"!.. И снял и вдарить в спину хотел, чтоб помнила, а силенок не хватило... Кинулся потом, кишка гонка, жалко стало,—„барышня, кричу, возьмите шубку, наденьте"! А она от меня в бег. Я пуще, в рысь за нею.—„Барышня,—кричу и зубами лязгаю,—ведь простудишься, вот она, шубка-то, не трону я тебя!.."— кинул ей в догонку да и побежал сюды вот, в обратную сторону. А завтра ночью...—Водянову, видно, очень было не по себе...—А завтра домик свой подожгу... Э-эхоньки, как ножи заострились, Федор Андреич, а раз бога нет, кто ж мне теперича по шее даст?..—Водянов то хватался за столб фонарный, то грыз воздух, широко и больно разевая рот.—А как силенки нет у нас для линии, то сидим себе да из подворотен лаем... Ты где был, когда из пушек стреляли?! Где, говори!— завопил громче прежнего Водянов, тряся Лихарева за плечо.

— Где...—неспокойно улыбался Федор Андреич,—дома, конечно, не на пушке же...

— Ага, не на пушке! А на улицу... на улицу не пошел?! А дать тебе эроплан, так улетел бы от Рассеи, куда глаза глядят. Потому, мол, как жисть в Рассее состоять по климату не может боле? Ну, отвечай, ну! Мое дело было по казенным лесосекам орудовать, а ты... ты самая соль из земли...—со злобой фыркал, закусывая губы, он, человек в солдатской шинельке.

— Мне пора домой итти, Сергей Трофимыч... у меня сестра больна,—сказал Лихарев, морщась. Что-то затвердело под Водяновскими ударами. Но они не расходились и молчали. Водянов водил пудовым взглядом по мокрому камню, а Лихарев просто молчал.

— Ну, ладно, прощай, Федор Андреич,—первым заговорил Водянов, но руки сложил за спиной.—Прости, что я с тебя отчета требовaю... я бы ведь и зарезать мог! Давай тебе бог не встречаться со мной боле. Туго мне, так туго,—ох, так туго...—и не сказав ни слова больше, круто повернулся он, уходя в поганую муть Поганого переулка.

Лихарев лениво поворочал пальцами в промокшем ботинке, покачал головой и вяло побрел домой. Возле самого своего дома встретил Лихарев старушку, неуверенно ползшую по скользкому оттепельному насту.

— Где это горит-то, бабушка?—спросил Лихарев, показывая на зарево.

— Да Воронцовские баньки горят, цветик ты мой лазоревый!—старушка всхлипнула, поникая раскосившимся взглядом.—От неизвестного огня возгорелось, сказывают. Теперь и омыться негде будет. Всю теперь меня, старушку, вошки докончут...

XI.

Когда над Еленой Андревной жданная разразилась гроза, она не особенно плакала. Правда, хотелось ей уверить себя, что румянец, такой горячий и бойкий на щеках, происходит совсем не от того, от чего люди умирают. А кашель,—кашель ровно еще ничего не значил. В то скупое на радость время все несли в себе зловещий кашель, и вся разница была только в том, что один кашлял тонко, другой, напротив, толсто, а третий—как кашлянет, так и дух вон. И даже в ночь погибели гипсового Томсена, кровью кашлянув, не задумалась Елена Андревна о близком конце, а напротив даже,—вдруг так захотелось жить, что сил нет.

Только утром однажды, когда не поднялась с постели,—а это случилось на третий день после скандала с бакенбардой,—поняла очень хорошо, что недели еще полторы полежит она неспокойно и, быть может, очень даже больно, но зато потом будет лежать так хорошо, так хорошо, как лежат снега в полях январских, белые, чтоб растаять да утечь вместе с речкой к морям, колодцам настоящей жизни, насто-

ящей живой воды... А потом проплывать бы облачком над родными по земле местами... и чтоб совсем не болело в груди.

Мысль о смерти стала ей привычной,—о ней она думала, когда засыпала нехорошим потным сном, когда просыпалась на захарканной кровью подушке. Она и сама не знала, что еще тогда, на рельсах, все стало ясно, а карты ее были раскрыты уже давно, всем напоказ, так что игра велась впустую. Вместе с тем все то, что казалось таким запутанным и неразрешимым, стало вдруг детски понятным и, потом, таким, что немножко улыбнуться хочется. А улыбнуться еще потому, что явственно подытоживаются где-то меры, числа и качества всего, что сделано, что не сделано, что есть или могло бы быть. Предсмертным своим сознаньем она без труда определила правду о брате, о его недалеком конце.

Кроме того, удивительно, как обострилось зрение: без усилий различать она стала самые мелкие на руке своей, просиневшей, как весенними ручьями, жилками, клеточки своего истощенного, умирающего тела. Примиренным и любящим взглядом своим сумела увидеть она однажды то, чего другой в сто лет и в трубу не выглядел бы. А увидев—меньше стала тревожиться за будущее Феденьки, и там, внутри, хотелось даже, чтоб уж лучше он сперва, а она потом,—все бы ему спокойнее было проходить сквозь считанные дни.

О скором своем уходе она не говорила и только раз один намекнула, когда уже нельзя стало умолчать.

— В очередь я не пойду завтра, Федя... — сказала она ему, проходящему к себе.

— А что выдают? — коротко спросил брат, безразлично глядя на нее, закутавшуюся в одеяло и в старенькую теткину шубку с лисьим воротничком.

— Сальце выдают, — ответила Елена и всхлипнула.

— Да ты что?.. — испугался чуточку Федор Андреич, подходя ближе, но все же — словно мурашки по нему.

— Да ничего... ради бога, успокойся... — испугалась в свою очередь Елена Андревна за брата. — За маслом стояла... и простудилась немножко...

Елена не лгала. Именно благодаря каждодневным стояниям на унывном, убивающем ветру, под снеговыми небесами, на голом ночном льду, быстрей потекли Еленины дни на убыль.

Федор Андреич взял стул и, сев возле Елениной кровати, задумался. Удар был нанесен, конечно, не по сестре, а по нему, профессору Лихареву, ибо какое значение могла иметь для науки Елена Андреевна? Все же стало после этой мысли стыдно Федору Андреичу, и он, склонясь над ней, искал хорошего, быстрого слова, превращающего горе в радость, и не находил. Он заглянул к ней в лицо, и тотчас же отвернулся поспешно: глаза Елены были полны слез и готовы их брызнуть неудержимым потоком и залить все, что еще гордо

осмеливалось выситься по земле. Но Федор Андреич был медвежий человек.

— Ты, Елена, не умирай, — сказал он через силу, потому что и это было уже сантиментом, но Елена, принявшая это за ласку и совсем не знавшая ее, — разве только мать в детстве раннем? — всей душой потянулась к брату, благодарная неизмеримо.

— Ну, что ты, Федя, — ну, зачем умирать... Я встану, — голос ее дрожал и звучал не убежденно, но почему-то это было утешительно очень для Федора Андреича. — Во всяком случае не сегодня еще...—не удержалась она и закусила губы.

Тут увидел Федор Андреич красное пятно на подушке и не понял сперва:

— Это откуда... пятно? — спросил он.

— Это?.. кро-овь... — неопределенно протянула Елена.

— Нет... это так нельзя, так нельзя, — растерявшись, затвердил брат, едва удерживаясь от крика, и выскочил к себе в комнату. Там он кинулся на неоправленную кровать, догадываясь, что приходит новая расстановка обстоятельств, определяющая близость конца. Ему так стало страшно, что он обнажил зубы и так сдвинул брови, что, казалось, должны были они сорваться со своих насиженных мест и не возвращаться туда более.

— Федя... Федор Андреич, — позвала его спокойным голосом Елена, — поди сюда на минутку.

— Ну, что? — выглянул тот в дверную щель.

— Ты сходил бы сам в очередь-то, Федя... Жаль, если сальце-то пропадет... — она запнулась. — Я вот отлежусь, встану, печку затоплю. Сварить надо что-нибудь...

— Ну, уж как хочешь, а вставать я тебе не дам, не дам! — вскричал Федор Андреич, вылезая из своей комнаты. — У нас где мешок-то с картошкой, который, помнишь, у мужика выменяли? Я сейчас сам за дело примусь, я умею, это я могу...

Елена улыбнулась:

— Да весь мешок-то... ведь мы только на одной картошке и сидели.

— Так как же тогда?.. Может, ты оденешься?.. — замер в ожидании Федор Андреич. То мезозойское, от чего грудью своей обороняла брата Елена, пришло и просунуло жестокую узкую морду прямо в Лихаревское сознанье.

И только дня через два, в течение которых в очередь никто не ходил, и Елена Андреевна, не вставая, руководила приготовлением пищи, при чем Федор Андреич особенно налегал на соду, — только через два дня, когда подъедены были все остатки и сожжена была даже коробочка из-под соды,—действительность вставала перед мысленным взглядом Лихаревых во всем своем неприкрашеном виде, — тогда пришел Мухолович.

— А-а, Исак Иваныч!—очень обрадовался Мухоловичу Лихарев.— А я вас так ждал все эти дни, вы мне очень нужны были! — О нужности Мухоловича Федор Андреич повторил несколько раз, успокоенно потирая руки.

— Ждали?.. — восхищенно посунулся вперед Мухолович. — Так значит, господин-товарищ Лихарев согласен?

— На что согласен?.. — не сразу вспомнил Федор Андреич.

— Как на что, а писать! Вы будете писать... и не будете дохнуть, как все они дохнут. Дохнут, потому что работать не хотят! — Мухолович обвел рукой широкий, воображаемый круг, на тысячи верст, проходящий далеко за стенами.

— Я, Исак Иваныч, погорячился в прошлый раз зря, — сконфуженно улыбался Федор Андреич.—Вы меня простите. А рыбку-то я все-таки съел потом, на другой день!

— Даже как! съел и меня не угостил, — попробовала пошутить Елена из соседней комнаты, но оборвалась грубым, низким кашлем.

— Рыба не жирная и не особенно тово... была... — с убежденностью вставил Лихарев.

— Ну, как же, как же! — завертелся мелким бесом Мухолович. — Ой-же, как теперь трудно достать самую маленькую даже рыбку, так трудно. За каждую кусочку хлеба бьешься-бьешься! Ну, а писать о том, чего теперь и нет совсем? — Сделано дело? Ну же, говорите, ну?— он подмигивал, попихивал в воздух рукой и был несравненно смешон и хорош в своем робком ожидании.

— Хорошо, я соглашаюсь. Тем более, что очень нужна мне теперь ваша помощь, у меня сестра заболела... нехорошо заболела... А я в очередь ходить не умею... дров тоже нет. Эха, Мухолович, что бы со мной было, если б не вы? Вам медаль от Красного Креста следовало бы выдать что ли!..

— Ну, ша-же, ша! Кто сказал, умерла культура? — вскричал воскресший духом Мухолович.—И зачем мне медаль?—Буду я на медали верхом ездить? А зачем мне нужно ездить верхом, скажите, ну-у! А что с вашей сестрой?—Еще не дождавшись от Федора Андреича какого-нибудь ответа, Мухолович опять вскочил. — Но как же у вас холодно, так холодно, так холодно... прямо как в оранжерее! — он рассмеялся.— Мне недавно Андроников, — вы знаете, тот профессор, который даже по обеим химиям, и по той и по другой?—он мне говорит недавно, я говорит, себе как в оранжерее живу, таки на окошках меня кокосовые пальмы вросли, хе-хе...

— А при чем же Андроников? Разве вы и Степана Алексеевича благодетельствуете? — догадался Лихарев, вытягивая лицо.

— Кто сказал, — благодетель? Мухолович вам сказал, что благодетель? Зачем вы берете слова Мухоловича и так с ними делаете, что одна начинка? Вы лучше вот что. Я вам, нынче вот, сахарку принес,— перешол он на деловой тон. — А еще я вам крупки принес, потому

что вам нужно кашку кушать! — Мухолович лукаво погрозил перстом, и выложил из кармана другой пакетик, побольше первого, тщательно обернутый серыми газетными полотнищами. — А здесь у меня, — возопил он,—ой, нет, я даже и не скажу, что у меня здесь! Я ж вам даже и показать того не хочу! — На столе появился третий пакетик, с мукой. Тут только заметил Федор Андреич, что Мухолович пришел к нему весь разбухший по бокам, где полагается быть карманам. — А здесь... — он любовно погладил длинную опухоль правого кармана, — здесь, — ах, цыпленочки, если бы вы знали, что я спрятал здесь! — медленно вытягивал Мухолович длинного мерзкого судака из правого своего кармана. Судачий глаз глядит, как известно, невыразимо глупо, но Лихареву был неописуемо приятен неподвижный и голубоватый судачий взгляд, — он улыбнулся.

— Что у вас за карманы, — в такой карман воз дров без труда спрятать можно!..

— Карманы? О, разве ж у меня плохие карманы? Это ж новые карманы, образца девятнадцатого года!—Лихарев снова ощутил неловкость где-то в шее. — А вы, быть может, не хотите рыбки? Ну, зачем мне рыбка, — скажет господин-товарищ Лихарев. А ну, значит, хотите? Ну, так вот вам и рыбка! — он все продолжал вынимать из разных карманов аккуратненькие пакетики, чуть не ленточками перевязанные, так что никак нельзя было угадать, к примеру, что в этом вот сверточке — соль, а не сахарные пастилки.

— Ах, культура, культура, — опять запел с разнозвучными вздохами Мухолович, когда карманов содержимое улеглось немалой горкой на столе. Федор Андреич в периоды Мухоловичевского излияния перед культурой старался отмалчиваться. — Из-за тебя же я себе чахотку делаю! — с наивной жалобой прокричал Мухолович. — У меня, знаете, господин Лихарев, — он закрыл глаза от умиления, — самому маленькому так всего четыре года. И уже такой оратор, прямо сил нет. Ни даже малюсенького сладу! Так вот, как только он начинает кричать, я ему говорю: Еська, пойми ж, культура! И знаете, господин Лихарев, так он совсем тогда перестает кричать! Ай, какая ж у него глотка, у Еськи, — так прямо, как мой карман, — о!

В соседней комнате глухо и трудно закашлялась Елена, вероятно, накрывшись одеялом, чтобы не было слышно брату.

— Кашляет, — сказал Лихарев, прислушиваясь.

— Кашляет? — с тревогой же переспросил Мухолович.

— Да, и каждый день. С каждым днем все больше. Сегодня с самого утра. Кровью кашляет.

— Кровью... — смиренно повторил Мухолович. Он сочувственно подогнул голову, ворочая рассеянно пакетик с солью.

— А ведь знаете, господин-товарищ Лихарев... — начал было он, но в ту же минуту послышался неистовый стук в дверь. — Ну, ай как

громко! — воскликнул Мухолович и, осторожненько скинув на стол пакетик, помчался отпирать. Оказалось, что пришел Елков.

— Ну, зачем же стучать ногой, — разве же у вас рук нет, чтоб ногой?.. Или вам двери задаром выдают? — укоризненно рассыпался Мухолович, идя сзади новопришедшего.

XII.

— Вы зачем ко мне? — коротко спросил Федор Андреич, вставая и почесывая лоб.

— А сесть можно? — тихонько подвинул к нему позеленелое от мороза бескровное лицо Елков. — Я бы и не садился, я не надолго, но я устал очень, затравили черти!

— Ну, садитесь, — без враждебности усмехнулся Лихарев, показав на стул, и сам присел на краешек табуретки.

Елков сел и немедленно достал из кармана затертое письмо. На пол посыпались хлебные крошки. В комнате никого не было, кроме них, двух. Мухолович пошел к Елене Андреевне. Во все время разговора Елкова с Лихаревым оттуда доносился или кашель Елены, или громкие восклицания Мухоловича.

— Пожаловал я к вам не спроста, — приступил к делу Елков, наклоняясь вперед и поглаживая разложенное на коленке письмо. — Я — быстро, вы не беспокойтесь! Эта вот бумажка, которую видите, прислана на мое имя Титусом, который... как, разве я вам не говорил? — Елков невинно согнул брови и поегозил плечами, — который застрелился, да-да! Эта вот бумажка и есть посмертное письмо сего мелкого человека. Прислана на мое имя, но и к вам относится. — Елков шевельнул пальчиком, как бы говоря: вот теперь-то мы вас и прижмем. — А цель моего прихода — посвятить вас в условия конца одного из моих экземпляров, а именно номера шестьсот шестнадцатого. Смею уверить — необычайно характерно для нашего времени!

Их молчание нарушил глухой, точно обрывались последние нити, кашель Елены.

— Сестрица? — прервал свое обстоятельное вступление Елков, щелчками стряхивая снег с пролыселого котикова воротника. Лихарев при этом вопросе задышал усиленно и тяжко, в холодном воздухе заметно закрутился пар.

— Да. У ней бронхит, — сжавшись, чтобы распрямиться ударом, ответил Федор Андреич. — Слушайте, мучитель, может быть, можно и не читать? Я знаю, что мог написать этот сумасшедший.

— Что вы говорите, да как же, разве ж можно! Вы, может, насчет бакенбарды беспокоитесь? Вы и не задумывайтесь—круглые пустяки! В этих смыслах огорчительного ничего нет, ни капелюсеньки! Вы даже причиной являетесь, почему сей мелкий человек совершил единственное разумное деяние за всю свою жизнь. Нет, уж как хотите, а я прочту, тем более...

— Да ну, читайте же, читайте, чорт вас возьми! Вы пытать, что ли, меня пришли, палач...

— А вы не кричите, — тихонько и упруго успокоил Елков, — читать. — „Милостивые государи, — здесь Елков долго сморкался, — и милостивые государыни...“ — Эге, — вставил Елков, удивляясь, словно читал впервые, — мамашу мою не забыл! Я вчера, Федор Мезозаврыч, принужден был и мамашу свою под номерок занести, семьсот сорок второй! Такую ведь вчера штуку отчеканила! Я, говорит, люблю, чтоб зима, а когда она кончается, я вся рыдаю. На меня, говорит, солнце вредно действует. А холодище такой, что два кресла сжег вчера и, представьте, пол-градуса! И вот такую-то старушку... — Елков так и загудел на этом спуске, видимо, собираясь разойтись.

— Не смейтесь над матерью, дурак, — не сдержался Федор Андреич. Вы дочитывайте письмо и больше я вас не задерживаю.

— Ругайтесь, милуша, ругайтесь, — мне даже обидно, когда меня за день-то никто не выругает, пора такая. Что ж, поедем дальше, — вздохнул Елков. — „...И государыни! Настоящим имею довести до сведения вашего, что с сего числа прошу числить меня застрелившимся, то-есть в списках настоящей жизни не состоящим“. — Комик-то какой! — вставил мельком Елков. — „Не желая никого винить, а пуще всего Федора Андреича Лихарева“, — это вас-то-есть, — пояснил недвусмысленно Елков. — „Сообщаю, что застрелиться я решил с тринадцати еще лет, потому что говорили, что я украл гуся, а я гуся не крал, а украла сама Анисья. Сделать того своевременно я не мог, а ныне зато смертию искупаю грех моей жизни“. — Цицероновским слогом каналья пишет! — также, мимоходом, восхитился Елков. — „Но не может на свете такая игра природы жить, как я, мне даны благие порывы, а сделать не умею, выходит наоборот. Через пять минут меня не станет, а толстая тетрадь жизнеописания у хозяйки, я спрятать велел. Пусть узнают, отчего все так помутилось в моих глазах, отчего сошло сердце с круга. За часики прошу извиненья. Хотел сделать доброе, но пропил. Прощайте“. — Вот все, — заключил Елков, пряча в боковой карман бумажку. — Вы-то понимаете, конечно, что́ тут между строк нужно читать? Тут ведь бездна разных вещей спрятана...

— А подпись? — спросил Федор Андреич угрюмо.

— Без подписи. Да и зачем тут подпись. — Он достал Титусову писульку и опять просмотрел. — Нету, — есть закорючка какая-то, но ужасно неразборчиво, словно курица крылом водила... Да и зачем вам по́дпись, — вы мне, что ли, бакенбарду-то рвали, чудак-человек?

С минуту длилось молчанье.

— А... долго вы его уговаривали... Титуса? — в оцепенении обронил Федор Андреич.

— Не-ет, недолго... — тупо выдавилось из Елкова, глядевшего так же остолбенело в потолок. Впрочем, он тотчас же и встряхнулся. — А кстати, представьте, человечек-то: гулял, на пятницы ко мне хажи-

вал и все тихоней прикидывался, а сам пистолетик у себя хранил. Каков, а?

— Каков? — непонятливо переспросил Федор Андреич.

— Да вот, говорю, и доверяй после этого человеку! Ну, а если б арестовали его... Позвольте, а это что? — искренно удивился Елков внезапно появившемуся от Елены Мухоловичу.

— А вот знакомьтесь, узнаете, — с нажимом сказал хозяин.

— Мухолович Исаак, — торжественно сказал Мухолович, протягивая руку и сгибаясь по диагонали спины.

— Что ж, — приподнял брови туда и сюда Елков, — очень хорошо! — Руки он спрятал в карманы и так стоял. Рука Мухоловича обидно висела в воздухе.

— Руку дай! — тихо сказал Лихарев, берясь за стул и приподымая его. — Елков, с огнем шутите!

Совершенно поддаваясь влиянию двух этих крепких слов, Елков протянул руку, которую и пожал оторопелый Мухолович, склоняясь покрасневшим носом долу.

— Я вот еще что хочу... — помолчав, смиренно продолжал Елков. — Если Титус вам гадости про меня станет рассказывать... Вы ему не верьте, очень прошу. Помните тот случай, с гранаткой-то?

— Позвольте, что за глупость, вы же сами читали, что он застрелился. Я сам слышал, — возмутился Федор Андреич.

— Да, видите, вот в чем дело... При нем можно? — с развязной бесцеремонностью указал он в Мухоловича. — От Титуса и не такой мерзости ждать можно. Письмо-то легко написать...

— Ну, какая ж мерзость, если одним человеком на земле больше будет! Так это ж для культуры лучше! — убедительно вырвалось у Мухоловича.

— Отойди, не лезь ко мне! — с брезгливостью визгнул Елков.

— Потише, скандал выйдет, — зловеще задвигался Федор Андреич.

— Скандал? — пуще разъярился он, стуча зубами, как в лихорадке. — По-уши в скандал ушли, как в луже валандаемся. Эка, чем удивить нашел! Чего тут стесняться, когда человек у человека зад изволил увидеть! Все теперь позволено: кусаться, грызть, на стену лезть! да вот вам — я сегодня сам себя под семьсот пятидесятый занес! Давеча приглашают к одному, иду. Квартирища — во! — Елков, брызгаясь, растопырил пальцы. — В буржуйское логово, видите ли, переселились. А у сынишки — тифик. Этакий мальчугашка, ти-ти-ти-па-па-па... Меряю температурку — чуть градусник не лопнул, и зрачки задеревенели вконец. А у меня зуд в башке, я отцу и тово. И он, как волк затравленный, на меня глядит. Вот я и говорю папаше: ему, говорю, мальчишке, котлетки куриные нужно, котлеточек мальчуганчику! Без питания помрет, — однако на все воля единого творца... Молите, говорю, вышнего! А папаша-то и сам так худ, что един пищевод

от человека остался, и френчик поверх пищевода, а сверху пегая головка прикреплена. Мне, что ж...

— Какая же вы дрянь, господин Елков... Ай-яй-яй, какая дрянь,— качая головой с помутневшими от бессильного гнева глазами, запел Мухолович. — И как можно такой дрянью...

— Ты! — завопил, с места срываясь, Елков.

— Да, дрянь, — черной строкою подчеркнул Лихарев. — И злая дрянь, к тому же. Они злы, а ты еще пуще!

— А ты и в самом деле думал, что я сказал это?.. — как бы сразбегу ударяясь головой о камень, воскликнул Елков. — Да разве ж нашлась бы сила эта во мне?.. Шел к вам и злость душила, и выдумал. Три часа прокопался возле паршивца, клизмы сам ему ставил, выходил его, выходил, бегает теперь...

— Вон!! — затопал на него Федор Андреич и тотчас же, словно оглушенный своим криком, сел.

В память ему пришли помимо воли страшные слова метелькиной ночи: Ваньк, ведь ты убил.

— Ой же, уходите, господин Елков, уходите скоренько,—вот шапочка ваша... ну-ну! Какой вы, вас же забрать могут за это... Теперь же и стены слышат! — качал укоризненно головою Мухолович и суетился, блистая лысинкой в голубом сумраке вечера. — Я вам дверку вот отопру, тут порожек, не оступитесь, господин Елков.., вот так... теперь калошки...

Когда Мухолович возвратился из кухни, — Федор Андреич сидел у стола, положив голову на руки, молчащий и вздрагивающий.

— Слушайте, господин-товарищ Лихарев, что вам будет говорить Мухолович. Вы ж поймите, все теперь ясно, все ясно. Вы согласны писать ваш труд по рукописям? Ну ж, говорите быстренько, согласны а? Ведь если вы не пойдете на улицу, так ее затравят, культуру-то. И вы, вы, господин-товарищ Лихарев, будете виноваты, вы! — тряс его за плечо Мухолович. — Ну, слушайте, ну. Мы с вами и еще Андроников, — он по обоим сразу! мы будем делать культуру! Ну ж, говорите да! Ну, кивните головочкой, а я пойму, я такой! Что вы хотите, — жизнь заставит понимать, пятьдесят второй послезавтра побежит!

— Да я буду писать, непременно буду, — зашептал Федор Андреич. — Я его понял теперь, всего понял!

— Ну, да как не понять, — Еська поймет, а куда ему до профессора Лихарева! — погладил Федора Андреича по плечу Мухолович, просветляясь лицом.

— Только теперь вы уходите... сейчас он придет... — беззвучно шевелил губами Лихарев.

Мухолович не спросил, кто должен был притти к Федору Андреичу, и, втягивая, голову, побежал к дверям, гибкий, юркий и беспредельно радостный.

— Дровец, так я завтра на саночках дрова затащу, — улыбчато обернулся он в дверях.

И когда он вышел на улицу, он снова поднял перст и сказал хрипло от неимоверной торжественности:

— Ша! Кто сказал: умерла культура? Культура продолжается!..

Так сказав, он напялил шапку на лысинку и мелко побежал в прозрачную тишь хрусткой морозной ночи.

XIII.

Очередной припадок прошел труднее, чем всегда. Ферт не приходил, и это успокаивало, но тревожило самое учащение припадков. Утром была разбитость во всем теле, словно выкинули человека на перине из семнадцатого этажа. Ныли плечи и под лопатками. Стараясь не слушать учащенного и утрудненного кашля сестры, Федор Андреич встал, думая о бодрости, скипятил чай на керосинке и сел к столу, поставив возле себя стакан с горячей, сладкой водой.

Он достал рукопись и пересмотрел ее. Почерк там был ровный и спокойный и, казалось, принадлежал не ему. Федор Андреич прочел два абзаца и подивился, как у того, кто писал эти умствования, хорошо работала мысль. „Это брат не то, что лошадиные головы или классовая борьба“, — подумал Федор Андреич, точно к кому-то другому относил свое прежнее существование, а не к самому себе.

Нужно было сосредоточиться всем мозгом и перешагнуть некий ничегонеделательный порог внутри себя, а там уж дело само собою шло, успевай выставлять на бумагу торопливые, неугомонные слова, да покрикивать на них, чтоб не торопились попусту. Нынче получалось не так.

Выползли сперва на бумагу шесть слов, фальшивых, черных, скучных, как люди в хлебной очереди; без жалости перечеркнул их толстый чернильный ручей, но и со дна его глядели они умоляюще и жалко. Тогда Федор Андреич рассердился и до тех пор чертил пером по бумаге, покуда не выглянула отрезвляюще сквозь рваную в бумаге щель зеленая обивка стола. Зеленое на белом несколько образумило Федора Андреича. Он положил перо и взял в руки мезозойскую окаменелость, неиссякаемый источник стольких вдохновений, и стал с внимательной рассеянностью глядеть на него.

Получалось занятно. Если вон туда всунуть зерно фасоли, там как раз пришелся бы глаз, а здесь—нос. А если б нос удлинить немножко, получилось бы нечто вроде рукоятки для держания камня в любой руке. Если же не удлинять, а оставить так, как есть, никакой бы тогда рукоятки совсем не получилось. А почему не получилось бы?

Этот вопрос весьма смутил Федора Андреича. С ленивым зевком Федор Андреич потянулся, предварительно швырнув камень на стол.

Потом он сердито скомкал бумагу и разорвал в мельчайшие клочки. После того он пошел к сестре.

— Ну, как у тебя, что?—задал он вопрос, входя.—Да ты что плакала, что ли?—еще спросил он, когда увидел красные и припухшие глаза сестры.

— Да... утром нынче... не выдержала,—она помолчала, с хрипеньем втягивая в себя воздух.—Федя... умирать не хочется...—добавила она тихо.

— Ну, вот, ты скажешь еще: умирать,—неуверенно произнес брат и тотчас же подумал, что не только ему неприятна и неудобна будет смерть Елены, но, пожалуй, и ей самой, Елене.

Это наполнило его страхом, и он поспешил уйти к себе.

Однако работа не ладилась. Глупо было вылавливать из себя рваные клочки ставших ненужными идей и знаний и склеивать липким гуммиарабиком истощенного воображения. Он надел пальто и пошел гулять. Гулять он выходил редко за последние полтора года: каждый выход из дому обусловливался необходимостью поисков какой-нибудь еды,—он даже отвык от мысли, что можно надеть пальто и пойти просто так погулять. Но когда выходил из квартиры и запирал дверь, именно погулять было его непременной целью. Он запер, спрятал ключ и тут обратил внимание на меловую надпись, красовавшуюся перед его глазами. Короткое, звучное слово было написано во всю ширину двери.

Федор Андреич даже не понял сперва и внимательно перечел слово, ища в нем смысла. Смысла не было, а было своеобразное проявление того самого мезозоя, который обступал Федора Андреича все тесней и тесней. По лестнице кто-то спускался. Федор Андреич полез за носовым платком, но платка не нашлось. Тогда рукавом пальто он стал неистово тереть взад и вперед по двери, но даже и в пятно неразборчивое не удалось Федору Андреичу преобразовать крепко выведенного слова. Как раз в тот момент на лестнице объявился быстрый человек с круглыми глазами.

— Водопровод замерз,—дружелюбно сообщил он Федору Андреичу, останавливаясь, чтоб поглядеть, какое действие произведет его сообщение.

Вслед затем он заметил надпись на двери и по-своему догадался:

— А двери-то зачем же поганить?—он подбежал поближе,—что вам, в самом деле, бумаги, что ли, нет, чтоб на дверях в чистописании упражняться!..

— Это не я,—оторопело сказал Федор Андреич, глядя на левую досиня выбритую щеку быстрого человека.

— Ну-ну, конечно же, я пошутил,—засмеялся быстрый человек.—А у вас как, замерз водопровод, вы не пробовали?..

— Нет, действует. Я сейчас только руки мыл.

— Правда, не замерз? — бурно встрепенулся быстрый человек и зверски втянул воздух носом. — Я тогда к вам буду покуда жильцев за водой посылать. Не на реку же за водой бегать!..

— А я не пущу, у меня сестра больна, — хмуро отрезал Федор Андреич. — Как хотите, но я не допущу.

— Врете-с, теперь все больны, — огрызнулся быстрый человек, фыркая, как кот. — Я, — думаете, я не болен? Как чорт болен, однако же, видите, на ногах и в комитете работаю, и вас за делом успеваю застать и бегаю чортом, кроме всего прочего! — так закончив, он со свистом понесся вверх по лестнице.

Федор Андреич, еле удержавшись от желания плюнуть ему вслед, потер еще с полминутки мезозойское слово, подергал — заперта ли дверь, и вышел на улицу.

Ходил он в тот день много, с явным намерением устать... И все разглядывал попадающиеся вещи и людей с одной новой для него точки зрения, а именно, в какой мере всякая вещь глупа и напрасна. Получалось очень смешно. Над ним висело небо, серое и снежное, исполненное скуки и грозящее вьюгой в ночь, а вокруг бегали, шаркали, кашляли и скользили нарочные подобия людей. Каждый, пробегая мимо, старался не показывать лица, словно по нему прочесть можно было все тайное, спрятанное до утра в черепном сундучке. Тут Федору Андреичу и пришло на ум несвязное рассуждение Водянова о линии, которая идет и которую не замолишь.

На перекрестке встретил он похороны. Шагал медный оркестр, и все терли уши в перерывах между двумя дутиями в трубу, ибо было очень холодно. Шли еще разные осунувшиеся люди — они жались на знойком, снежном ветру. Гроб был длинный и красный. А медь бросала на ветер густые, печальные звуки, и ветер волочил их и кидался ими, бил по сердцу ими, звуками отрывистого марша, и уносил их в туманную снеговую высь. И никто не плакал по покойнике, а один трубил навзрыд о чем-то из оркестра... Как-будто так и нужно было: ветер, снег, измученные люди, медь...

Федор Андреич ходил долго, разглядывал уцелевшие вывески, заходил в какой-то подъезд погреться, и одно только помнил с отчаяньем, что дома ждут его темные, умоляющие глаза сестры и белая, жадная, холодная бумага.

Однако, когда стало темнеть, он вернулся, — было около пяти; сестра спала, — кажется, спала. И тотчас же в Лихаревскую квартиру стали являться жильцы за водой. Но водопровод к этому времени замерз и у Лихаревых. Тогда стали бегать по лестницам, забредал и к Федору Андреичу, чтоб обшарить его глубоко запавшими неживыми глазами, пофыркать, поерошиться...

В те времена нежно заботились о водопроводе, — возможно, были правы утверждавшие, что водопроводная труба приобрела в тот год мистическое значение в глазах отощавших жильцов этого света. Когда

замерзал последний в доме водопровод, прибегали к нему ошалевшие люди с ведрами, ведерками, ведрищами, ощупывали трубу с любовной нежностью, столь редкой в те жестокие времена... И готовы были дышать горячо, как Сахара в самумные полдни, чтоб только не холодно было единственному, казалось, в городе чумазому человеку, покуда пыхтел он бензинкой на застывшее водопроводное колено.

В тот вечер повторилось то же самое. Быстрый человек прибежал, сунулся, убежал. Потом снова прибежал, а с ним появился водопроводный человек.

— Разогревайте еще где-нибудь...— ворчал Федор Андреич.

— Не суйтесь, не суйтесь, дело общественное... у вас магистраль! На дверях писать — на это хватает, а вот...— трескотал быстрый человек.

Чумазый человек уже водил пламенным бензинным языком по трубе взад и вперед. Труба не поддавалась, а быстрый человек из комитета лез щупать трубу и неодобрительно мычал. Водопроводный человек сказал:—„Уйди, вертяк, с глаз, чего мешаешь". Быстрый человек мгновенно сократился, а через час пошла вода. Все дико бросились к крану, самые необузданные приходили с пятью ведрами и сердились на стоящего тут же Федора Андреича, что не могут унести всех пяти ведер сразу.

Наконец Лихарев сообразил и сказал:

— Потише... ведь у меня же сестра больна!..

— Кто-о? Ка-ак? Где-е?—задвигались все.

— А что у ней, товарищ?—сурово спросил гражданин с лицом благородного родителя, самый жадный, в енотовой шапке и обшмыганном пиджачке.

— Холера!!—вне себя от ярости, всем животом, выкрикнул Федор Андреич, и все это хлюпающее носами и громыхающее ведрами сборище быстро улетучилось в дверь.

А после бегства необузданных, Федор Андреич сварил кашу из Мухоловичева пшена, поел и, наскоро пощупав серый камень, принялся писать. Что-то произошло, что-то совпало всеми зубцами, работалось Лихареву отлично. Едва успевал он откидывать в сторону исписанные листки, изредка кладя перо, чтоб потянуться сладостно или зевнуть, ибо давным-давно полночь минула, а часики на тумбочке возле кровати все так же быстро пропускали сквозь себя тоненькие струйки минут.

Никогда не смел предполагать он, что работала мысль его сама по себе в пору видимого бездействия, что сохранилась большая ясность в заключениях, что вообще он, профессор Лихарев, еще совсем крепко стоит на ногах, несмотря на кажущиеся немощи. И снова, как три года тому назад, острая радость ощущения, вызываемого быстротой и четкостью мысли, пришла и охватила Федора Андреича.

— Федя!—позвал его неожиданно голос сестры.

— Угу... я сейчас... сейчас,—нехотя ответил брат, дописывая особенно остроумный и едкий вывод из несерьезных исследований Неринга, шведа, счастливо не дожившего до Лихаревской критики.

Он дописал и хотел уже приняться за новую главу, которая, по существу, должна была вообще разделать под орех еще двух-трех легкомысленных французов-палеонтологов, но, на сто первой минуте незабываемого вдохновения, снова услышал зов сестры.

— Иду, иду!—крикнул он ей. — Ну... тебе подать что-нибудь?— нетерпеливо спросил он, входя к ней и чувствуя, как на грех, совершенно необычный прилив работоспособности.

— Да нет...—она неловко помолчала.—Ты занят?.. Опять работаешь?.. Это хорошо...—она стала говорить тише, а руки, сложенные под одеялом на груди, что-то рвали и все не хотели лежать спокойно. — Я с тобой проститься хотела...—она отвернула голову,—прощай...

Страшная одинокость прозвучала в Елениных словах. Непомерными усильями она удерживалась от дикого крика и запирающих горло слез.

— Постой, как же так?.. — Федор Андреич никак не предполагал, что вот это самое, что он боялся назвать, происходит так просто, без молний, без страшных слов, без ломающего камни крика.—Да нет, ты подожди, ты... не надо... Я сейчас за доктором... Я быстро сбегаю, подожди, — потерянно бормотал Федор Андреич, держа в руке перо и тыкаясь по комнате.

— Чего подождать-то... умирать? — задыхаясь и высоко дыша отработавшей грудью, улыбнуться попробовала Елена. Но улыбка не удалась, и лицо больно сломалось в маску невыносимой тоски.

Так было минуты с две.

— Федя, — вдруг быстро заговорила она, не глядя на него беспомощно раскрывая рот,—ты поди на улицу, поищи... огурчика солененького поищи... огурчика хочется... — она сорвалась, махнула рукой и кроваво закашлялась, — словно бы шестерня не попадала на гребенку и жестоко срывала зубцы.

— Да, да... огурчика тебе?.. Я сейчас,—невнятно бормотал Федор Андреич, догадываясь об этом последнем и величайшем проявлении Елениной любви.—Я куплю... куплю!..

Она уже не отвечала, а все ворочалась, блуждая расширенными глазами. И когда выбегал из комнаты ее, из просыревшего полумрака, где умирала сестра, Федор Андреич, не видел он, как руками зажимала Елена свой рот, раскрытый, чтоб кричать, что она не хочет, не хочет умирать.

Накинув пальто на плечи, все еще с ручкой в руке, Федор Андреич бомбой вылетел из квартиры и при самом выходе налетел на человека в темноте, который давно уже и, видимо, безрезультатно стучал к ним в дверь.

— Не дадите ли водицы, товарищ?.. Понимаете, хотим чайком их попоить... обыск у нас, — Христом-богом! — обалдело забарабанил человек.

— К чорту... тебя!..—с ненавистью гаркнул Федор Андреич и, не замыкая двери, как безумный, вылетел на улицу.

XIV.

В прозрачной мгле, пропитанной жестким и мертвенным светом луны,—угрюмы и зловещи силуэты молчащего дома, скривившегося тенью фонаря и неподвижного человека, глядящего безразлично во тьму. Мертво и зыбко от луны, как на глубоком дне ледяного моря. Снег синь и прозрачен, провалы неба темны и лукавы. Человек, шедший медленно, пошел быстрее, пугаясь другого огромного человека, бегущего по темному хрусту, по синей и упругой морозцем мостовой. Третий человек просто спрятался в подъезд,—четвертого не было.

Бежал и знал Федор Андреич, что ищет его теперь Елена жутким, потухающим взором по углам, ищет в смертной истоме Феденьку, для которого все было нипочем, нипочем,—вместо ста далеких, ста любимых, стал он ей один единственным и милым. И не было Феденьки, а лезли в голову тупые и острые, темные, тяжелые углы. И сознавал сам Феденька, что дрянно вышло, и чувствовал, что принять предсмертную, последнюю милость сестры, все равно, что ограбить ограбленного. Закачалось все в Лихаревской голове и вдруг сразу все на свете равно сделалось, как пьяному мужику в самогонном плясе.

Вслед за тем подкатилось к горлу горячим неостановимым клубком, и не сдержался Феденька и заплакал, обидно облизывая губы, как плакал, наверно, зверь узкоголовый в мезозоях, широкой пятой наколовшись на смертельный и острый шип. А лица не вытирал Феденька, плача, ибо горькая, неизведанная сладость обиды и неразделенного горя была в нем от слез, теплыми лавинками сбегающих по небритой отвисшей щеке.

Именно—по одной щеке, потому что плакал у Федора Андреича только один глаз, а другой сощурился и делал вид, что дергался в припадке неудержимого плача, покуда безутешно изливался другой. Это было замечено Федором Андреичем, Федор Андреич вздрогнул, Федор Андреич огляделся, куда он попал.

Стоял он в конце длинных черных ворот большущего дома, возле сугроба, наметенного вчерашней поземкой, а прямо перед ним ширилась низкая грязная стена. По стене шла надпись красной краской: „помои льют там", при чем красная же рука указывала неестественным пальцем в дальний угол двора, где играл с тонким снегом острый ветер и лунный свет. Федор Андреич оглянулся и на другую стену, у которой стоял,—было написано: „воспрещается входить татарам по случаю собак". Все это охладило Федора Андреича, покой и примирен-

ность снизошли на душу, помещавшуюся в нем. Он выбрался из ворот, обходя кучи сора, и, весь разбитый, поплелся домой. Он шел домой и не ошибался улицами и переулками, которые вели на Шестаковскую. Он шел и не спешил, зная одно про себя, что глядеть,—ему, по крайней мере,—на смерть еще тяжелее, чем самому умирать.

Он вошел не сразу, а походил минуты три около, когда же отворял дверь—знал все, что случится через час, через два, через неделю. Он не удивился, когде вдруг валом, заглушающим все желания и мысли, накатила тоска. Даже ощутил радость оправдания этим. Он отворял двери и крался на цыпочках в свою комнату, тихонько, чтоб кого-то не разбудить и кого-то обмануть чтоб. В темноте и не раздеваясь, осторожный, как вор, он сел к столу.

Мысли перестали бежать и шуметь. Федор Андреич боялся только одного, чтоб в комнате Елены не явился какой-нибудь звук. Федор Андреич так слился с тишиной, что если б упала песчинка, вскочил бы он, как ужаленный, криком потрясая покой спящих здесь и спящих там. Биенье сердца его было неровно. Федор Андреич старался заглушить и стук сердца. Оно мешало ему слышать другие звуки, которые,—он это знал,—подкрадывались и готовились сумасшедшей оравой вскочить на него и грызть, грызть, грызть его горящие кровью уши.

Так сидел он долго, один, посреди глубокой ночи, а тоска и страх, и нерожденные, невыявленные звуки кружились вокруг него. Наконец, он услышал:

— Федя, тебя сестра зовет.

— Врешь, она не зовет,—ужасно тонко пискнул Федор Андреич и сам удивился такому вероятию, что она уже никогда не позовет.

Федор Андреич знал, что сзади стоит ферт, но не удивлялся, как он прошел, если дверь заперта, не удивлялся, почему в комнате стало светло, если лампы он не зажигал. Все происходило так, как должно было быть.

— Если я вру, так, может, мне уйти?—спросил ферт вызывающим тоном.

— Нет, нет, ты не уходи, не уходи!— Федор Андреич присмирел и, обернувшись, глядел на ферта, как на всесильного избавителя от раздирающей уши тишины.

— Нет, ты не бойся,—ферт говорил торжественно и четко.—Я не уйду. Никто не слышит. Никого нет,—сказав, ферт устало опустился на кровать.

— Ты тише говори,—показал на притворенную дверь Федор Андреич.—У меня там сестра лежит...

— Я знаю,—кивнул ферт.

Они замолчали оба.

— Ты пересядь на стул, а я на кровать,— попросил Федор Андреич,— я ходил сегодня много... очень устал.

— Хорошо,—ответил ферт и пересел на стул.

Опять замолчали.

— Ты знаешь, ведь она *умерла!..*— пробуждаясь, *показал* глазами на смежную комнату Федор Андреич.

— Ты в этом уверен?—строго спросил ферт, деланным удивленьем кривя губы.

— Да.

Опять стали молчать. Разговор не выходил. Но потоки мыслей, задержанных давеча, как плотиной, тишиной, прорвались, зашумели, загудели, запели.

— *Зачем ты мучишь меня,—ты же знаешь, что я люблю Россию,* зачем ты говоришь, что я отстегнулся от нее?

— Я не говорил этого, это Елков сказал,—морщась, возразил ферт.

— И дальше ты не прав, ты думаешь, что я мелкий человек,— начал лихорадочно Лихарев.—Это неправда,—тот, кто страдает и любит, тот не мелкий...

— Значит крупный?—лукаво вскинулся ферт, залезая рукой в узенькие брючки.

— Ты пьян, вот ты что!..—нахмурился Федор Андреич.

— Просто, линия,—коротко возразил ферт.

— А если тебе линия нужна, а без линии не можешь, значит ты-то вот и есть настоящая мелкота!—по-детски вытянул палец в сидящего на стуле Лихарев.

— Но постой! ведь я—это ты!—засмеялся ферт.

— Знаю, знаю, это ты меня обидеть хочешь. Ничего, вали, я не обидчивый,—так же понятливо подмигнул Федор Андреич. —Я украл голову, ты скажешь—вор, а я и ничего, ха-ха...

— Ты потише,—сказал ферт, указывая глазами, —ведь сестра-то умерла.

— Ты в этом уверен?—пугливо вздрогнул Федор Андреич.

— Да.

Они смолкли, каждый чего-то искал.

— Так что же в том, что умерла? Мертвым спать, нам—жить. Я вот опять, знаешь, о мезозое начал писать,—доверчиво сообщил Федор Андреич.

— Очень нужно это кому-то, твой мезозой! —Ферт остановился и, кося глазами, прислушался к комнате сестры. —Люди людей жрут, а ты по мезозою ползаешь. Культура, скажешь? Сожрет тебя какой-нибудь вместе с твоей культурой... впрочем, не бойся, пуговицы-то от брюк выплюнет!..—презрительно кривился ферт.—Тебе сколько?—вдруг спросил он.

— Мне? пятьдесят четыре.

— Пятьдесят четы-ыре,—передразнил ферт.—Девятьсот тебе! Это ты спал с мезозаврищами, покуда годы шли,—встряхнул бледным лбом ферт и развязно вытянулся тощим телом на стуле.

— Ну, уж и девятьсот, — ты шутишь все, — робко осмелился не поверить Лихарев.

— Уж какие тут шутки! Ты вот пером по бумаге водишь, а минутки бегут, а из минуток годы растут, милый. Ты эти листочки зачем?..—ткнул ферт пальцем в исписанные вечером листки.—Благородную наготу прикрыть, фиговые листочки...

— Ты листков не тронь... я из тебя форшмак сделаю!..—попробовал сдвинуться Лихарев.

— Плечо вывихнешь! Меня же нет. Это я нарочно, будто есть, а меня нет на самом деле.

— Но ведь ты же—это я, ты сам сказал.

— Экий ты, Федор Андреич, все тебе от печки объяснять надо: и тебя тоже нет. И никого нигде нет, а есть так себе,—игра.—Ферт кротко улыбнулся.

Наступило молчание. Стрелки ползли медленно-медленно. Лихарев почесал коленку.

— Слушай-ка, Лихарев,—попросил ферт,—ты затопи печку, а то холодно у тебя стало. Мне холодно и ей тоже холодно, там.

— Я бы затопил и без тебя... только вот дров нет, — не привез Мухолович!..

— А вон листками и топи,—равнодушно показал на исписанную горку бумаги ферт, отворачиваясь взглядом.—Плакать никто не станет. Пусть горят, какая-нибудь штука из пепла вырастет!

— Ладно, что ж, — Федор Андреич потупился. Потом вяло взял со стола исписанные листки, достал еще стопку, потолще, из стола и с целой кипой бумаги сел на пол перед железной печуркой...—У меня спичек нет,—покраснев, как мальчик, вильнул Федор Андреич.

— И у меня тоже нет,—деланно вздохнул ферт,—но вон в том у тебя кармане, помнится, были.

— Ах да, правда, правда... В кармане, правда, есть, — вспомнил, еще больше заливаясь краской, Лихарев.

Несколько спичек не зажглись,—фыркали серной вонью и потухали. Наконец тонкое пламя заколебалось на одной из них.

— ...Россия теперь в гору пойдет. Зальет небо в железо-бетон, проведет по нему трамваи...—в раздумьи говорил ферт, покуда Лихарев поджигал первый лист. Тот горел быстро, упруго сгибаясь по краям и обдавая горячим воздухом Федор-Андреичеву руку. Он сунул догорающий листок в печь,—долго еще чернели там четкие, скупые буквы на угольном, пламенеющем листке, покуда не сломала его в пепел усиливающаяся тяга.

Тогда он стал совать в печку по два, потом по три, и вот сунул пачку целую, помеченную на первой странице главой десятой. Это и была глава о новом ископаемом, глава срединная, соль всего сочинения, суть тридцати ученых Лихаревских лет.

— ... Будут ездить на трамваях по небу... делать хлеб из воздуха... ходить в бархатных штанах...—с грустью и вслух размышлял ферт.

В трубе, обвисшей посреди потолка, загудело, а железное колено у самого устья печки засветилось красным. Федору Андреичу стало жарко, и он откинулся от печки. Железной линейкой, всегда висевшей над столом, а теперь нечаянно очутившейся в руке, Федор Андреич помешал золу, усыпанную искрами, и со стоном подкинул последнюю пачку в огонь. Стало совсем тепло, — железные печки накаливаются быстро. Опять помешал, и в последний раз взметнулись над потускневшей, было, пепельной кучкой усталые золотые огоньки.

И тут ударило его отчаянье. Не выпуская из рук линейки, Федор Андреич поднялся и хмуро пошел на ферта.

— Тебе плохо будет,—сквозь зубы шептал он, смутно догадываясь, что ферта уже нет, а есть он один, Федор Андреич Лихарев, замахнувшийся на самого себя. Но вслед за исчезновеньем ферта, все порвалось вокруг и рассыпалось как бы в золу. Громыхая железной линейкой о железную обивку перед печкой, он упал на пол. Пришло удушье.

Так он и остался лежать, и поднять его было некому.

XV.

Когда сверкнуло утро и переломилось радугами в ледяных листьях зимы, он проснулся, застав себя сидящим на полу. Сердце скучно и вяло исполняло надоевшую обязанность: стучать о Лихаревской жизни. Припоминая ночное, он не поднимался в первые минуты с полу. И только, когда мыслью наткнулся на воспоминание о сестре, вскочил с полу, накинул пальто, валявшееся на полу, и, затаив дыханье, пробрался к дверям. Очутившись на лестнице, Федор Андреич помчался искать быстрого человека, чтоб сообщить ему, что в квартире номер два умер человек. Быстрый человек подергал плечами, нахмурился и сказал: „эх, нечего людям делать, вот и выдумывают!“. Потом он стал звонить по телефонам туда и сюда. Ему ответили, что приедут и возьмут. А когда через два часа жгучей неизвестности приехали люди в брезентовых халатах поверх полушубков и выносили закутанную в простыню Елену Андревну, сам Федор Андреич стоял под лестницей, боясь выглянуть. Все тело его болело невыносимо,—следствие минувшей ночи,— но он, казалось, свыкся и лишь чаще менял положение тела, приноравливаясь к токам боли.

Только одна баба из соседней квартиры, рябая и в фартуке дура, наверно, шептала жалостливым басом, провожая до подъездных дверей барышню Елену Андревну, с которой столько часов вместе провели, замерзая в очередях.

— Кровью барышня-то залилась... кровью. Ах ты, бедная, чахотная, бабий твой удел!..

А когда увезли, Лихарев, войдя в пустую, захолодавшую от брезентовых людей квартиру, сел и вздохнул, как вздыхают те, кому кем-то и как-то обозначен срок. Посидев так, он сказал вслух, дыша как в одышке и растопыривая глаза на закрытую к Елене дверь:

— Леночка... Елена! Пойди сюда, мне нехорошо!

И никто не подходил. И впервые за всю жизнь заплакал Лихарев по-настоящему, обоими глазами, в семь собачьих ручьев, навзрыд, потому что уж очень там, внутри, одиноко и пусто стало. И припомнилось, что, когда у него, восьмилетнего, мама умерла, вот так же он плакал, Феденька, безутешно и тер покрасневшие глазенки кулачком и так же ждал, что утешит его какой-нибудь и уверит, что все это неправда, что не умирают люди, а только так, странная, нечестная игра.

Поэтому, когда пришел Мухолович, встретил его Федор Андреич и с радостью и с опасением, что не найдется в запасе у Мухоловича нужных ему, опустевшему Лихареву, слов.

— Ну-с,—запел Мухолович, усаживаясь на стул,—знаете вы, какое нынче утро было? Ах, какое утро!.. Нет, это, знаете, такое утро, что прямо лучше нет. А солнце? О, прямо-таки съесть хочется кусочек солнца! И потом снег... Вы мне поверите, господин-товарищ Лихарев, я его видеть без слез не могу, снег! Я и говорю: ну вот, Исак, ты все летишь, все летишь куда-то... а посмотри, снег—лежит. И никуда не торопится, вот! А я ж слушаю-слушаю, что другой-то там говорит: так ведь они ж растают. Тогда я ему кричу; пускай тают, новые выпадут,— Исак, ходи веселей!

— А ведь вы, Исак Иваныч, пьяны,—странно сорвалось у Лихарева.

Он думал о ферте, потому и сказалось так.

— Почему пьян, что значит пьян?..—начал отступать Мухолович, оглядываясь кругом.

— Да ничего, ничего... я пошутил... линия! Мне можно шутить, я холостой теперь.—Лихарев замолчал, заикнувшись, Мухолович не прерывал.—У меня сестру-то ведь увезли.

— Куда увезли, в больницу?—осторожно поддержал разговор Мухолович, зорко приглядываясь к непривычно опустевшему Лихаревскому столу.

— Нет, не в больницу... цветик ты мой лазоревый... а в этот, как его... морг, да-а!..

— Разве ж...—начал было Мухолович и тут только, оборвавшись, снял шапку, печально обнажая веселую свою лысинку.

Через несколько мгновений сосредоточенного молчания по покойнице Федор Андреич встал и сказал просто и внятно:

— Вот что, Исак Иваныч,—я не согласен. Я сжег все, что писал... и что вообще было написано. Даже ручку для писанья потерял где-то на улице...

— Да ну? Ха-ха-ха...—в неудержимом хохоте задвигал плечами Мухолович, но глаза его сквозь щелки смеха со священным ужасом

изучали все на Лихареве. Прикрываясь неловкой гримасой смеха, все пытался он проникнуть туда, внутрь, где неужели же лежит только серенькая кучка пепла, остаток всего того, что называл с таким благовением культурой он, маленький человек, Исайка Мухолович.—О, да вы ж шутите... ну, конечно ж, шутите! Андроников, химический профессор, хе-хе, знаете, который даже по обеим химиям, так он мне вчера говорит; все говорят, подумываю...

— Нет, я и в самом деле сжег,—высоким, настойчивым тоном и недовольный тем, что ему не верят, повторил Федор Андреич; потом сел на кровать и закрыл лицо руками.

— Ай? Что? Вы? Вы сожгли ваш труд по рукописям, вы?—он протянул руку в Лихарева, словно не доверял и хотел пошевелить его, чтобы сказал правду.—Так ведь вас же расстрелять нужно за это!! В двадцать четыре минуты, как воров стреляют... пиф-паф. Все сожгли? Ой-ой-ой... — поднял руки Мухолович над головой, рыдая протяжно и тонко, как бьются бабы по покойникам.—Ведь я же,—вырывалось у него между двумя всхлипываниями,—я же... людей... жмал, чтобы принести вам, вам, господин Лихарев... Вы ж разорили меня... все разорили! О, зачем вы лучше не спустили на меня собак, как Носсельрод?.. Кто бы хоть слово сказал вам за разорванного Исайку?.. Или вы думаете, я б сказал? Сара б сказала? Андроников?..

— Э, бросьте! Я вам деньгами все потом выплачу, сколько надо,—сумрачно вставил Федор Андреич, по-своему поняв и потому не трогаясь нисколько взрывом Мухоловича.—А сжечь я имел право, и смысл в этом есть,—он с трудом произнес это,—потому что дело мое никому не нужно. Им что ль нужно?—с внезапным бешенством крикнул он, указывая на улицу.

— Деньги?—пуще взорвался Мухолович. — Он мне деньги сует. Душу... душу вы разорили мне,—визгнул он с отчаяньем,—господин Лихарев! К вам приходил Мухолович... он вам выкладывал душу, он говорил вам: вот вам моя душа, господин Лихарев, поглядите, какая она маленькая, и ей так мало нужно! а вы сапогами... Ой, нет!—ваше дело всякой собаке нужно: каждой собаке, которая по улице никуда бежит!! Ну ж нет, ну скажите, вы не все сожгли? Ведь не все, да? Ну, вы сожгли два, ну три... ну четыре, четыре, господин Лихарев,—я говорю четыре,—листочка! Но ведь остальное ж спрятано у вас, ну, ведь да?—он по-собачьи заглянул в запрокинутое вверх огромное лицо Лихарева и подмигнул ему волосатым глазом, полным слез.—Да? Ну! я ж знал, что господин Лихарев пошутил! Ха-ха! Как же можно! Ведь культура... Ну же, ну!!. Да говорите же вы! ведь я же не могу, у меня ж все печенки дрожат...

— Я сжег все, даже бумагу всю сжег... а ручку для писанья потерял на улице,—добавил он ни к чему.—И потом я не могу выносить, когда человек плачет. Вы уйдите, уйдите... Ведь человек же я, человек, поймите!!—тоже в истерике прокричал Федор Андреич и смолк.

— Ай,—ну ша же, ша... Что может теперь сделать разорванный Мухолович, если сам господин Лихарев говорит: культуре конец. Мухолович плакать умеет... еще он умеет носить рыбку, чтобы культура не умерла... Ай, нет, нет, я лопну весь!!—с новой силой зарыдал он и без шапки, обхватив голову руками, выбежал вон от Лихарева, весь скомканный рыданьями в жалкий и жуткий клубок.

Федор Андреич, совсем потерявшийся и черный лицом, остался один. Он подошел к кровати и лег. Все пути спутались, все линии перечеркнулись друг другом; на улице был день, мороз и солнце, а внутри—ночь, удушье и конец.

Федор Андреич встал и, не спеша, пошел запереть дверь. Душа Федора Андреича преобразилась к смерти.

XVI.

В одну какую-нибудь неделю после ухода сестры Федор Андреич осунулся, поблек, постарел, ибо дни стали мелькать с такой для него быстротой, что он пропускал их сквозь себя, не распознавая, а каждый из них уносил маленькое что-то, чего возместить уже никак нельзя. Федор Андреич, которого рассудок утончился до такой степени, что являлось опасение, как бы не порвался, вдруг однажды узнал, что все эти люди, безустанно семенящие за окном, страшно хотят его смерти, потому что он мешает им жить, мешает входить в линию, ест хлеб, а радостями пользуется из общего котла...

Раз он сидел на кровати и обдумывал, как ему укрыться от людей,—вопрос, имевший для него первостепенное значение... Кстати ему пришло в голову, что его сегодня же должны взять. В ту же минуту раздался стук. Федор Андреич решил, что это они, люди. Он решил не сдаваться. Подойдя к двери, он спросил, кому и что нужно. Там ответили, что Елене Лихаревой письмо прислали. Федора же Андреича трудно было обмануть, он не забыл еще, конечно, что сестра ушла; зоркость ума его стала поразительной.

— Вот не отопру-с,—нарочным басом прорычал он.—Александр Николаич, Петр Сергеич... Павел Иваныч, подите-ка сюда, тут письмецо принесли...—закричал он в глубь квартиры, чтобы показать, что он не один, а целый десяток дюжих мужчин живет вместе с ним в квартире. И правда, тот, кто выманивал Федора Андреича на письмецо, подергал-подергал, да и ушел, не солоно хлебавши.

Вместе со всеми вполне основательными страхами, полонившими Федора Андреича, был страх умереть с голоду. Это опасение вскоре подтвердилось: мышки прогрызли мешочек с крупой. В ужас придя от этого, он разложил всю картошку по ящикам стола, сосчитал ее и записал огрызком карандашика на стене: картошин—97. Затем ржаную крупу он смешал с пшеном, пересыпал в наволочку и повесил все эти остатки Мухоловичевых приношений культуре над кроватью. Есть он

стал меньше, урезая себя всячески,—отлично памятуя, что ледяная мгла сгущается,—а просвету нет,—и будет день, когда мгла, гудя и воя, пойдет на штурм Федора Андреича. Что бы он ни делал, все оглядывался, неузнаваемо одряхлевший, вытянувшийся в длину, затаившийся в себе самом.

На четвертый день после того, как увезли Елену Андревну, он, проснувшись ввечеру, почувствовал, что все лицо его покрыто прыщами. Прыщи были как будто даже в ушах, глазах и в носу. Горело от них все лицо одним сплошным нарывом. Он попробовал почесать, но, как ребенок, закричал от боли. Хотел посмотреться в зеркало, но оно висело в комнате сестры, а входить туда Федор Андреич опасался: „мало ли что может случиться, мало ли что“...—щебетал он тонким голосом. Вдруг так же неожиданно прыщи исчезли. Это случилось однажды, когда Федор Андреич, сидя на кровати с поджатыми ногами, наблюдал, как понапрасну копошатся мышки под столом. Мышек было уже три, две очень робкие, а одна—ужасная нахалка.

Всю неделю никто не приходил, даже ферт. Федор Андреич все свое время проводил на кровати, постоянно о чем-то догадываясь. Догадок этих у него накопилось с гору. Лишь изредка он подходил к двери, чтоб удостовериться, заперта ли, или сварить кашку из Муховичева пшенца. Дров было много, Федор Андреич сделал открытие, что ящики стола горят ничем не хуже настоящих дров. Осью, вокруг которой нанизывались его догадки, были люди. Через пять дней после смерти Елены, он не сомневался уже ни разу, что за дверью, то-есть там, сторожат его трое с улицы с ножами, чтоб залобанить да освежевать, да надругаться над ним вволюшку. Он не мог представить себе, чтоб от его дверей когда-нибудь отошли эти трое с ножами,—нет, он знал безошибочно, что они там бессменно и безотлучно, два Муховича и третьим Водянов. Поэтому старался он и сна избегать, так что порою обильной слезой заволакивало глаза и, когда слипались, не хотелось раскрывать их больше никогда.

Несомненным также казалось, что эти трое с ножами, караулившие Лихарева, в стачку вошли с часами и хотят остановить их, часы, с целью так запутать Федора Андреича в днях и ночах, мелькающих неутомимо, чтоб Федор Андреич сразу свалился, как подкошенный. Эта жестокая догадка привела его к тому, что он при всякой мысли о часах начинал ужасно потеть со страху и весь сам не свой становился.

Часы стояли на столике возле кровати. Федор Андреич переставил их на китайскую полочку, висевшую на стене в уровень его глаз. Часы представляли собою яшмовый домик с белым квадратным циферблатом. После смерти Елены только они одни, дыша, волнуясь о пропущенных мгновениях, и торопясь стучать, одни лишь изображали жизнь в мышиной тишине Лихаревского одиночества. И, может быть, прав был в своей догадке Федор Андреич, что он, Лихарев, почти уж и жить перестал, поручив доживать крохотный остаток своей жизни

часам, которые,—ишь, канальские—не боятся шуметь и все чирикают, все попрыгивают молоточками секунд.

Страшнее опасности с часами не было, конечно, ничего. В конце концов, почему бы и часам не вскрикнуть однажды пружинкой, как сделал Елковский граммофон, и не остановить этим течение Лихаревской жизни. Поэтому вскакивал ночью, подбегал к часам, жег спички одну за другой, прислушивался и грозил им огромным несгибающимся пальцем, прищуривая до узеньких полосок линялые, впалые глаза.

— Смотрите... смотрите, я тут ведь... рядышком. Я лежу, а я—ух, я какой!

Ложился, притворно накрывался одеялом и снова грозился часам:

— Тут я... тут. Все вижу, вы смотрите у меня!..

И лицо у него было такое хитрое, что, казалось, и не оставалось лица, а корчилась одна тугая каша хитрости.

Через день показалось, что часы начали баловаться. Пойдут-пойдут, потом вприпрыжку,—сцепятся стрелки и с кем-то наперегонки. Потом опять идут чинно и размерно, как ребятишки, играющие в путешествующего монаха. Федор Андреич тотчас смекнул и, затопив остатками стула печь, пошел завести часы. Но ключа на месте не было,—гвоздь торчал, а ключа так-таки и не было. Федор Андреич дрогнул,—на мгновенье сознанье, полное и яркое, как солнечный сжигающий разлив, затопило все вокруг него; он выпрямился, недоуменно втягивая носом проплесневелый, гадкий воздух,—потом снова заболело в затылке и в шишковатых надбровьях, в мозгу. Он лениво пошарил глазами по полу, накатила сонливость, лег в кровать. Однако едва сообразил, что часы замышляют против него нечто, что махом прикончит его, Лихарева, он встал и подошел к полочке с часами, устремляя хитрый и подозрительный взгляд на циферблатный квадратик. Обе стрелки стояли тогда на цифре два, он запомнил,—на цифре 2. Первое время он щурился, надувал щеки, грозился, желая напугать, чтоб не баловались. Потом словно ударило его, он очнулся, почувствовал, что в комнате дымно. Обе стрелки стояли на девяти, и все еще продолжали бежать, хотя и с ослабевающей уже силой. Тут он почувствовал, что сейчас постучат в дверь, и в самом деле раздался тихий, осторожный стук.

— Кто там? Вы зачем, а?—запищал у двери Федор Андреич смешным подмененным писком.—Никого дома нет... нет, нет. Хозяева в гости уехали.

— Мне Федора Андреича нужно. Моя фамилия Титус, передайте ему!..—послышалось из-за двери.

— Титу-ту-ту-у...—протрубил Федор Андреич.—Нет, не пущу, не пущу...—и неожиданно для себя самого отворил дверь.

То был действительно Титус, до дикости худой, обросший по щекам, неузнаваемый, в дырявых сапогах и в мятой, зеленой фуражке... Он сильно распахнул дверь, увлекая даже на себя державшегося за

скобку Федора Андреича, и широко вшагнул в квартиру. Титус казался исступленным, голову он держал высоко, картуза своего не снимал, нос, прохудевший до кости, был синь и остер.

— Вы сядете, и я сяду, а то мне спать хочется,—щебетал хозяин, не показывая гостю глаз.—Я работаю много, все пишу, все пишу. Он ведь, знаете, так и сказал мне, что такому человеку, как вы, на том свете делать нечего...—приврал Лихарев, но и порвавшимся рассудком уловил ладность своей лжи.

— Кто это, Елков что ли про меня говорил? Он врет про меня, я про него дрянь знаю,—вот он и врет, чтоб мне не верили,—горячо вздыбился Титус.—А вы изменились как, ужасно изменились, прямо не узнать!..

— Тот же, тот же,—уверял хозяин, со стулом подъезжая к гостю и подмигивая глазом. К тому времени видимость настоящего глаза имел только один левый глаз, правый же казался пятнышком для симметрии.

— С чего вы это хитрите так, Федор Андреич?—тревожно заулыбался Титус, плывя ртом.

— Нет, нет, это вы хитрите,—погрозил пальчиком с такой же улыбкой Лихарев.

В оттепельной улице за окном сгущался вечер. Мезозойские цветы сбежали с окон и грязными лужами ползли под ноги. В прояснившие окна было видно, как пробегали мимо мышиные мелкие и лошадиные всклоченные существа.

— ...Ключика вы у меня не брали, господин капитан?—шутливо спросил Федор Андреич.

— Я не капитан, да и не Титус,—для того и пришел, сознаться чтоб...—с возможной расстановкой спешил высказать все, чем кипел, Титус.

— Ка-ак?—замахнулся головой от удивленья Лихарев. Снова, уже последний, прилив сознанья горячо охватил умирающий мозг.

— Я виноват... так вот, хочу объяснить, как все это вышло, что я такой...—Титус говорил тихо, не глядя на Федора Андреича.—Я, когда с фронта бежал, с товарища своего, убитого, фамилью взял, а настоящая мне фамилья—Собакин. Это я, Собакин, капсюлек-то забыл! И капитаном назвался я нарочно, чтоб больше пострадать, а настоящий на мне чин не тот. И много ж я тогда на себя наплел, Федор Андреич, ужасти наплел, чтоб пострадать! А...—он запнулся,—а ничего и не вышло...

— Наплели-и?—подивился слову Лихарев.

— Да, нарочно себя оговорил,—возбужденно потирая заросшие щеки свои и раскачиваясь телом, говорил гость.—Все мне хотелось, чтоб залобанили меня, голубчика, потому что не стало во мне сил...

— Как вы сказали? Вы сказали—залобанят? Это вы у меня украли, у меня... Жулик вы какой!—в восторге захлопал коленками Лихарев.

— Вы нездоровы, может быть? Я тогда уйду,—с испугом стал вглядываться в хозяина новоявленный Собакин.

— Нет, нет, ты не уходи. Я люблю, когда меня навещают,— заспешил Лихарев, опять подъезжая на своей табуретке.

— ...И вот, в городке одном, на западном фронте, пришел я в чрезвычайку, взял, сел на стул, на самый бархатный, на котором у них главный сидел, и закурил. А они вокруг меня столпились, глядят, и глаза у них... глаза как ножики!..—Собакин наморщил лоб и, расставив ноги, опустил голову.—И вот начинаю я им рассказывать, будто я, Собакин, в исправительном батальоне солдат порол. До обморока, говорю, и зубами поскрежещиваю,—да при всех, говорю, порол, чтоб все, говорю, этот кровяной, вспоротый зад видели! Ах, Федор Андреич, страшно мне и в мысль взять, чтó я тогда на себя врал, но хорошо врал. Ах, великое это дело, Федор Андреич, для мелкого человека—врать хорошо. А сам думаю: как схватят меня сейчас, так и начнется мое просветление. На все я готов был и душой и телом!— Рассказывая, Собакин весь метался и глядел в пепельную часть печки, точно там видел то, о чем рассказывал.—И вру и дрожу весь, словно я голый. И тут выходит один из них...—Собакин выпрямился и мощно глотнул воздуха,—все отступают от меня, а он один выходит на меня, да как гаркнет прямо в ухо: пошел, говорит, вон, гадина!.. Я не выдержал да в рев, а он отвернулся да головкою только покачал. Как сейчас вижу: высокий, в матроске, бородка редкая, недлинная и пот по лбу...—от меня у него пот!..

— Ишь ведь ты как,—искренно подивился Федор Андреич.

— Какие тут мои муки начались... чего я не выкидывал, как не бесновался! Открою, бывало, форточку, да в форточку и кричу: долой, долой, долой Советскую власть! А живу-то я на седьмом, чердачном этаже!.. Птицам да облакам кричал и душу кидал!.. Это я кота украл и на вас сказал. Я у него тоже ботики украл, а он полонил меня. Он меня для поганой книжки своей готовил, специально книжку обо мне писать хотел. И как он меня мучил!..—Собакин вздохнул и невольно отодвинулся: Лихарев подъезжал к нему вместе с табуреткой. Собакин опять инстинктивно отодвинулся, но Лихарев опять наехал. Так они, сами того не замечая, кольцом объехали комнату.—А когда вы бакенбарду у меня тово... тут я...

В этом месте Собакин пристальней вгляделся в Лихарева и, очевидно, понял все. Федор Андреич с перекошенным лицом подъезжал к нему, странно играя глазами, в руке у него кружилась тяжелая железная линейка. Собакин вскочил и быстро выбросил стул из-под себя под ноги Лихареву. Федор Андреич, яростно замахнувшись линейкой, потерял равновесие, шатнулся и рухнул на пол. В то же время Титус, остающийся жить, беззвучно пролетел через коридор в кухню и дальше, на лестницу, телом распахивая двери.

Федор Андреич перевернулся на спину, ощущая приходящее удушье и погружаясь в черный, потный, холодный сон. Приблизительно около этого времени остановились часы. Лихарев как бы спал.

И проснулся он потому, что внезапно, с небывалой четкостью, застучало сердце, словно будильник, возвещающий, что утро настало и что пробуждаться пора. Это было знаком прихода фертова. Он, приходя, никогда не стучал в дверь, но всегда в сердце.

— Ты уже пришел?..—лениво поежился Федор Андреич, сидя на полу.—Что это ты нынче расфуфыренный какой?—Ферт не отвечал.— Ну-ну, я ведь только так... Я ждал тебя, когда ты придешь... все ждал.

Ферт не раскрывал рта и глядел серьезными, грустными глазами на руки Федора Андреича, по рассеянности царапающие пол. Словно так было уже условлено, Федор Андреич встал с пола и стал надевать пальто. Ферт хотел поддержать, но толкнул нечаянно локтем в Лихаревский бок. Локоть у ферта был острый, черный и длинный.

— Да не дергай же так, не толкайся...—плаксиво пискнул Федор Андреич и, капризничая, добавил:—ты ведь знаешь, у меня в груди болит!..

— Ну, ладно,—впервые сказал ферт.—Нечего уж тут. Пойдем.

— Я сейчас... ты подожди минутку. У меня опять сердце очень забилось,—попросил Федор Андреич и присел на кровать. С тоской он оглядел все: чадную лампочку с последним керосином, опрокинутый стул, притворенную дверь к сестре, стол, зияющий пустотами,—ящики были сожжены. Потом он встал и беззвучным шагом пошел к двери. Ферт шел за ним молчащий, важный и черный, как китайская тень на стене.

Когда они вышли из подъезда, все стало очень ясно, но все совсем не так, а как-то шиворот на выворот, хвостом наперед. Федор Андреич оглянулся назад, но ферта не было. Он хотел крикнуть, но, конечно, не крикнул, а подошел к окну своей комнаты и приплющился к стеклу.

В комнате, закапанной желтыми, неровными кусками света, на съехавшем каньовом одеяле, сидел поперек кровати отощавший, длинный и в смешном коротком пальтеце другой, а может быть, и тот же самый Федор Андреич Лихарев, глядя в этого, приплюснутого удивленьем к стеклу, широко-расширенными неживыми глазами.

Декабрь 1922 г.

Атава.

Дм. Четвериков.

Повесть.

Глава первая.

Когда на окнах мотнется слежалый снулый рассвет, первый в доме Колотовых заворочается на железной скрипучей кровати скрипучий старик Антон Денисович.

— Чорт, чорт, чорт...—только и разберешь в старческой воркотне. Почешет затекший бок прокопченной скрюченной пятерней. И сам покосится на пальцы:—От самоварного дыма. Щепками самовар ставить не дело. От щепок труба прогорает. А угли дороги... Зада-ча!

Тащится к умывальнику. Долго ловит скользкий обмылок, долго растирает водою заспанное лицо. Потом кропотливо возится со щепками, тушилкою, расплескивает воду, наливая из ведра.

Долго ищет конфорку, пока не догадывается, что сам же унес ее в спальню, когда искал спички.

Два дела никому не доверяет Антон Денисович: утренний самовар и заводку стенных часов, тех, что с пестиком вместо гири.

Сам взгромоздится на стул, сам осторожно потянет медную цепочку, потом прищурится и скажет:

— Теперь пойдут... Минута к минуте, считай года Анюте. Так-то. Мимо Вариной комнаты молчком:

— Дрыхнет беспутная комсомолка. Надежда—та, бывало, раньше вставала. Потому раньше и замуж вышла. Мужчина завсегда учует, в которой женщине удобства больше.

Самовар поет по-комариному, закипая. Антон Денисович садится на кухонный табурет у плиты и курит.

Слезливые визги у самовара. Слезливые думы у Антона Денисовича.

— Прежде езживал с паровозом, труд большой принимал, зато и сытость была и припасы. Теперь в Рупводе—прямая чепуха. В семье тоже ни от кого помощи не видно. Старших слухом не слыхать, словно волк съел. Варька служит в детдоме, какой прок? Сама бы сыта, а жа-

ловенья третий месяц—ни копья. Кольке поспевай штаны ремонтировать. Старуха на что пустилась: тряпье перешивает, продает. Изворачивается, изворачивается, да, чать, и она не двужильная.

Стар и Антон Денисович. Стар и глуховат, оба уха заштопорило. Оглушили гудки паровозные. Продули сквозняки пронзящие. Ездил старый машинист с товарными, с маршрутными, а после на пассажирские перевели. Всего бывало. Два крушения имел. Четыре раза руку сжигал—всего бывало.

Теперь, поди ты: отказались уши человечью речь разбирать. Шум в ушах. И днем, и ночью, и за обеденным столом, и за газетой—все будто едет Антон Денисович в паровозе. Вот и сейчас. Задумался, из-за шума паровозного не слышал, как Анфиса Федоровна встала.

— Самовар ушел, снимай трубу, многодум!

Вскочил, заторопился, пепел на грудь просыпал.

— Чорт, чорт, чорт...

Бросается брызгами самовар, кипятком табуретку залил, уголь замочил.

— Чай, чай заваривай.

— Какой там чай? Чай-то кусается нонче. Говори—морковку.

— Что?

— Говори—морковку!

— А-а... Ну-ну...

Этим и разговор кончился. Переспрашивает каждое слово Антон Денисович, а Анфиса Федоровна сердится.

— Ишь, старый глухмень.

Все домашние избегают говорить с ним. И от того, что вечно среди своих он одиноко на грохочущем поезде едет—глаза его всегда немного удивленные, а смеется он редко и невпопад. Пьют чай двое. Молчат. Каждый свою думу думает. Анфиса Федоровна вспоминает детей своих, всех по очереди, погодка к погодку—дневник ее жизни, всеобщую перепись радостей и забот. Старший Васенька—инженер. Живет в Минске, семейство большое. Карточку прислал. Бородища—два этажа и внучат Анфисы Федоровны целый табунок... Второй—Сереженька. Тяжело давалась его учеба. Кончил-таки, радости-то! Снарядили дальше учиться, по технической части, а он захворай да помри перед самым отъездом. И то сказать—халявый он был. А матери заморыш—первый у сердца сторож.

Шипит самовар. Звякают чашки. Чай с сахарином, с колючим хлебом.

„Может и лучше, что помер. Ишь какие времена, клюква—времена". Вслух старику:

— Хлеб-то нравится? С горохом подмешано. С лебедой-то горчит.

— Чего?

— Хлеб, говорю, хороший?

— А-а. Ничего. Черноват немного. Ничего.

Короткие речи стариковские. А думы длинные. Думает Анфиса Федоровна о детях своих—Василии, Сергее, мертворожденном Пете, Надежде, Варваре и младшем Коленьке.

Антон Денисович слушает, как гремит поезд с рельсы на рельсу, по стрелкам, по стыкам, мимо телеграфных столбов и семафоров...

Поздно встала Варя. Поздно поднялся и Николаша. Варя не стала и чаю пить. Умылась, причесалась—и на службу в детдом № 2, что по Бекетовой улице. Николаша, было,—за мандолину. „Чардаш" он разучивал, так хотел одно трудное место повторить.

Да смекнул, что хлеба на столе маловато, а сахарину в чашке разведенного на дне. Намыл у рукомойника круг на ладонь вокруг носа. Фыркнул, забрызгал пол, стены и собственную персону. Напустил в уши мыла. Пропел Интернационал, размахивая полотенцем, и уселся за стол.

— Уроков опять не учил?—Анфиса Федоровна вздохнула.

Эти три слова про уроки говаривала она и Васеньке, говаривала и Сергуньке. Слыхивали их и Надежда, и Варечка. Последнего сынка растила. Старость, старость.

— У меня сыгровка,—возражает Николаша, наливая три ложки разведенного сахарина вместо полагающейся одной.

— Поспеешь на сыгровку.

Дожевывая невкусный гороховый хлеб, идет Николаша в комнату Вари. По дороге бросает косой взгляд на мандолину и проезжается пальцем по всем четырем струнам. В девичьей комнате пахнет волосами, чистым бельем. Стопка книг на столе. Одна, недочитанная, под подущкой.

Николаша—дверь на крючек. Прокричал, как мальчишки считаются, когда в стуколки играют.

— Эники, беники, сикили, са. Эники, беники, кнап...—И к столу.

Это любимое занятие его—забраться в сестрин стол, выкрасть тоненькую клеенчатую тетрадку с красным обрезом. Читать секретные девичьи думы—дневники Варины, которые ведет она с гимназических лет: про Каширцева, про недовольство тихой жизнью...

Николаша перелистал прочитанное раньше, потряс перхоть из головы и начал:

„17 марта вечером. Пришла со службы, как всегда, разбитая. Тяжело смотреть на ребятишек в дефективнике. Бросилась на кровать, хотелось забыться, не отдавать себе ни в чем отчета, а просто..."

Жалобно звякнул звонок в прихожей. Николаша торопливо сунул тетрадку на старое место. Потом растопырил локти и склонился над учебником геометрии.

Глава вторая.

Когда Варя вошла в дежурку детдома, там стоял румяный милиционер и держал за руку бойкую девушку.

— Примите под расписку. Замаялся, два раза дорогой убегала. Чистое наказание.

Варя, не раздеваясь, раскрыла большую книгу, озаглавленную: „Запись поступающих воспитанников в детдом № 2 для дефективных детей".

Девушка поместилась под номерком 43. Звали ее Наташа Осина.

В деле Натальи Осиной говорилось, что таковая поймана на краже, что, кроме того, она принадлежит к типу малолетних проституток. Необходим строжайший надзор и, по возможности, изоляция.

— Изоляция,—горько усмехнулась Варя, читая протокол:—у нас только три теплых комнаты—общая для девочек, общая для мальчиков и дежурка. В остальных стекла не везде вставлены.

— Хорошо,—кивнула она милиционеру. Тот облегченно вздохнул, отковырнул снег с валенка и пошел к двери.

— Наташа Осина, я проведу вас сейчас в комнату девочек. Надеюсь, вы нам не будете устраивать неприятностей?

— Чего мне устраивать? Кормят у вас хорошо, что ли? А то в первом детдоме завхоз порции крал. Платье мне выдайте, милиционер кофточку изорвал. Убежать хотела, а он сцапал.

— Куда бежать зимой? Разве здесь плохо?

— А чего же хорошего?

Варя говорит, а у самой мысль все время вертится:

„Я перед ней как младшая. Что я знаю о жизни".

А потом сама себе:

„Завидуешь жизни проститутки? Нечего сказать".

Пришел дежурный руководитель Гольцов. Сморщил большой мясистый нос, брови поднял:

— Новенькая?

Варя поймала в его глазах хищный огонек. Заметив ее взгляд, потупился. Наташа Осина стояла, немного выставляя грудь вперед. Она не походила на пятнадцатилетнюю девочку. Только глаза — веселые, озорные—заставляли примириться на пятнадцати-шестнадцати годах.

Гольцов холодным голосом Осиной:

— Идите переоденьтесь.

Оба ушли.

Завдом опять о Каширцеве справлялся:

— Почему он не приходит? Один урок в неделю не может провести!

Витя Каширцев в детдоме преподает пение. Но зачем Варе выслушивать выговоры за него? Говорите ему самому об его опозданиях.

— Хорошо же,—шипит заведующий,—ждите сокращения штатов. Хорошо!

В этот день Каширцев словно почуял беду. По расписанию был его урок, и он явился, правда, с запозданием на полтора часа, к вечеру.

— Сегодня паек не выдают,—встретил его заведующий.

— То-есть как?—не понял Каширцев.

— Да так, не выдают. Напрасно пришли.

— Я пришел не за пайком, а заниматься.

— Хо-хо-хо-хо! Хо-хо-хо-хо!—Завдом дергался всем тщедушным телом на табурете.

Уточка рябенькая, учительница рукоделия, неожиданно хихикнула и потом долго не знала, куда девать свои глаза и красные длинные руки. Каширцев скоро ушел.

— Ушел...

Варя придвинулась близко к матовому зеркалу. На нее посмотрело опечаленное лицо. Поправила прядку волос. Стала внимательно рассматривать себя: брови—два колоска ржи. Простые добрые глаза широко лучатся и спрашивают. Пушек на верхней губе... Овал...

— Лепешка русская,—сердито сказала своему отражению.

Поправила складки кофты на высокой, сильной груди. Повернулась немного боком. Пошла к письменному столу, углубилась в работу. Нужно составить списки книг для библиотеки детдома...

Вечер. Кончился ужин в детдоме № 2. Тихо в дежурке. В щели окна дрожью весенняя ночь. Мечется по двору тень от уличного фонаря. Варя читает. Скрип. Чьи-то шаги. Вот опять скрипнула половица. Шопот. Ну, да, по одному пришепетыванию можно отличить Гольцова. Шопот еще. Варя привстала. На цыпочках. Распахнула настежь двери, чикнула штепсель. Двадцатипятисвечная лампочка выпустила щупальцы света. Шмыгнули в коридор двое: Гольцов и девочка—Наташа. Разглядела примятое белье, оголенную ногу... Окликнула Гольцова. Помедлил—и вышел. Смерила его злыми глазами:

— Хотите под суд?

— Что такое?

— Стыдно! Думаете, я не замечала, что вы делали с этими девочками—Ксенией и Шурочкой—по очереди, грязно, нехорошо? Я не вмешивалась—их дело. Но дети—это пахнет судом!

— Если вам хочется говорить, идемте в дежурку. Не будить же всех...

Гольцов был красен. Нижняя губа у него дрожала. Одно время Варе показалось, что он хочет ударить ее.

— Ну-с, читайте лекцию о благонравии. Это любопытно. А впрочем... Варвара Антоновна! Конечно, вы правы! Но вы такая наблюдательная, вдумчивая. Как это вы не задали никогда себе вопроса: почему— по-че-му это? Почему все торопятся нажраться, нанаслаждаться, брать, упиваться до рвоты, до тошноты?

Глухо отдавался голос Гольцова. Он ерошил черные волосы и дрожащими пальцами теребил книги на столе. Варя заметила: костюм его не застегнут.

— Хотите, распакую перед вами нутро свое — каков там товар? Вы поймете! Вы—самая умная среди нас. Я вас даже побаиваюсь. Особенно вопросов ваших и взглядов. Хотите и смотрите: а этот каков? А это что за человек? Брр...

Гольцов у печки, плоский, втиснулся. Доска.

— А знаете, в чем дело? Вся суть в том, что вы — ну, плебейка, что ли, пролетарка, черная кость... У вас это как-то просто переживается. Спокойненько вошли в новый быт, точно шубу прошлогоднюю вынули из сундука, нафталин отряхнули—и в рукава. Мы—нет. Мы дергаемся, стараемся шов надорвать. Мы (Гольцов придвинулся к Варе), мы, может, заговоры устраиваем...

„Вы не знаете всей дряни, которая делается изо дня в день. Вы заметили, что я развратник! Садист! Ха-ха! А заметили вы, что происходило наверху после концерта, который вы затеяли? А знаете вы фокус-мокусы с продуктами, что учиняет завхоз? А знаете вы, что меня тошнит, а я все-таки живу с завхозшей? Для выгоды—при распределении пайка...

Варя молчит. Только глаза у нее округлились, как совиные. Гольцову становилось от них страшно.

— Такие, как завхоз, — это крысы, они вгрызаются в советские кули исподтишка, ночью, лишь бы продырявить мешок. Каширцев—ну, это просто парень не промах. Берет, что плохо лежит. Податливых женщин, искусство, если легко дается, паек, если нетрудно достать, смех, если с ним проще живется... Нас много. Я проще всех. Меня вот два раза к расстрелу приговаривали. За старые грешки—есть такие...

Гольцов забегал по комнате. Варе стало холодно почему-то. Мерзли руки. Она встала у печки и прикладывала ладони к теплому железу.

— И вот, смотрю я на жизнь так: урвал лишний кусок — вгрызайся, глотай...

„Ведь мы—трава пере967рослая. Косили траву по времени. Косили косилками—пулеметами. Накосили стога. На прокосах осталась дрянь. Это мы—недотепы. Но прет из земли другая—атава—ядреная, зеленая, накатистая. Ну, и мы тянемся, израстаем, ржавеем, а тянемся. Глушит атава, а мы, цепкие, стараемся корень ей отравить, ростки примять. Мы или вы—нет выбора. У нас—культура, мозги. У вас—силища, чорт вас подери, живучесть. Вот эта Наташа... Вы знали мужчину? Сколько вы знали мужчин? Вы валялись на улице пьяная? Вас били? А вот эта самая Наташа жизнь прошла, боль узнала. И все они такие. Их били, их прокалили, проплавили. Они хороши, чорт возьми, и я их ненавижу...

„Может быть, это театрально вам покажется, а я иногда приду вот в эту дежурку. На стенке—вожди революции. Я оглянусь—один. Кулак Ильичу, вот этак—к носу: „Посмотрим,—говорю,—чья возьмет"... И вас я ненавижу, из ихней вы породы, хоть и „дикая"...

Гольцов засмеялся.

— Впрочем, вам не понять... Еще бы: дочь народа, цельная натура! Чорт,—посчастливится же иным уродиться от прачки, портнихи, от молотобойца или слесаря! Вы в этой атаве. Знаете—выжгут бурьян. И прет потом здоровеннейшая трава. В этом ваше спасенье...

„Когда Штейнах что-то там старикам перевязывал — это не омолаживанье, это—чепуха. А коммунисты омолодили Россию—знатно. Взяли они старого подагрика, дегенерата, импотента геморроидального—вырождающийся класс,—да к чорту на рога его, в тифозный вшивник, в беженскую теплушку, в заграницы, в лагеря его, плешивого. Сдох старец—и смотрите—какая Россия поперла. Быки, завидно смотреть. Вот это я понимаю, омолодили: взяли лохань да выплеснули. А мы, остаточки, так, что по краям прилипло, когда выплескивали — теперь спешим, спешим, спешим... Глотаем жизнь кусками, не прожевывая...

„Был у меня по школе товарищ, офицер Яковкин. Попали мы в переплет с нашим полком. От полка—воспоминание: один барабанщик остался... Окружили нас,—ни взад, ни вперед.

„— Ну,—говорит Яковкин,—возьмут нас—живыми не выйдем".

„Засели мы в деревне, отстреливаемся, смотрим, Яковкин исчез... Вы меня простите, не анекдоты рассказываю, жизнь: нашли его в амбарушке. Девку затащил, насилует. Это под обстрелом-то, за час до смерти.

„Так вот и мы, за час до смерти, жизнь, как девку деревенскую, насилуем. Запомните мое слово, Гольцов — сын фабриканта, белый офицер, хочет по руке гадать; будут у нас жить рядом, бок-о-бок, два мира, чужих, непохожих. Один—догнивать, зловонием смердеть в небо. Другой—культяпо ковырять пером и топором, из шкуры вылазить звериной, из дикаря прорастать... Вот вам моя длинная философия.

— Вы больной человек, вы какой-то обрубок...

Варя помолчала.

Длинные звоны отзванивали полночь. Пробил час и половина второго. Спал детдом № 2. Потухло электричество в окнах квартиры завхоза, потом во втором этаже—у завдома. В спальнях дышали ровно малолетние преступники... В зале, насупясь, молчал рояль.

А в дежурке метался беспокойный, вытаращенный человек, ерошил черные маслянистые волосы, поблескивая золотым зубом.

Глава третья.

После ночного дежурства, исповеди Гольцова, Варя вернулась домой разбитой. Бросилась в кровать и проспала четырнадцать часов под-ряд.

Проснулась—темь. Утро? Вечер? Ночь? Где она? За стеной позвякивают тарелки. Это Антон Денисович получил в пайке селедки, и семья ужинала. Варя прислушалась: чужой голос. Бубнит в одну ноту, как шмель. Никак, опять Гаврила? Вышла, жмурясь, в столовую. Поперхнулся Гаврила, однако фертом:

— Девять с пальцем!

Анфиса Федоровна не говорит,—поет:

— Налить, што-ли, чаю-то? Гаврик ландрину принес, угощаемся... Ну, рассказывай, рассказывай, Гаврюша, перебила я тебя.

— Да-с,—причмокнул Гаврила,—и вот я ему говорю: „На вопрос ваш отвечу, что фамилье мое—Хохряков". Записал он по анкетному порядку и очень просто товары мои ликвидировал. Начинай от печки. От кола до кола и опять в колокола. Опять на паровозе мерзну, в саже копчусь, за трубу держусь. По-малу сызнова деньгу согнал. А коли копил я в романовских дензнаках, кои безусловно аннулировались, то и вышло дело мое опять прогар...

— Громче, громче, Гаврила,—ухо подставляет Антон Денисович.

— Ты, Гаврюша, громче—глухой он у нас,—вторит Анфиса Федоровна.

— Эх, подумаете вы, может—простой торгаш и стрикулист! Нет, и повторно нет. Не стрикулист я и даже имею свои убеждения.

„Было-задержали меня чекисты.

„— Имеешь,—грит,—убеждения?

„— Имею.

„— Совчувствуешь?

„— Совчувствую.

„И по совести говорил, не ради страха... Только свободную торговлю считаю первостатейным делом, потому без торговлишки какое состояние жизни? Одна тифозная эпидемия. А теперь што—озорничают, факт! Сегодня—разрешение торговать. Завтра—облава. После завтрева—обход, опосля обхода—обыск...

„Эх! — Гаврила вскочил со стула. — Разреши Советская власть торговлишку развести—стал бы я словом почище коммуниста политику сознавать. Я, Анфиса Федоровна, такой человек, что настою на своем. И думаю так... Буду я большим воротилой и дельцом, задатки и призвание в себе чувствую, такая сметка есть.

— И очень просто,—кивает Анфиса Федоровна.

Николаша притулился за самоваром, хрупает конфеты, горстями пихая в рот.

Отодвинула Анфиса Федоровна тарелку с монпасье на другой конец стола. Выдала Николаше порционно пять штук.

И снова глаз не сводит с Гаврилы. Даже кран у самовара завернуть позабыла.

Течет вода через край на блюдечко, на поднос, на клеенку.

А Гаврила в грудь себя колотит:

— У меня сила нутреная, упорство, правда, хоча без образованности я—больше догадкой беру. А упорства много! Взять такой случай. Загнал я Петра и керенок мужикам на базаре. Закупил кожу, в Сызрань повез. Натакнули меня,—стоющее мол, дело. Приезжаю, — в Сызрани кожа дешевше нашего. Дал заготовку кондуктору, повез он меня в служебном отделении, контроль увидал—высадили. Хожу с кожей по какому-то полустанку, кожа под мышкой.

„—Эх, думаю, жизнь собачья!

„Однако бодрость не потерял. Шасть на товарный, на площадку тормозную. Так вот висел, да под вагоны прятался до большой станции. Думаю—загнать на пропитание—убыточно. Дотерплю, пока хорошую цену за кожу дадут. Хожу это, прогуливаюсь. Вижу—Ташкентский поезд курьерский. Под вагоном ящик для струмента. Даешь! Так на одном боку, скуртужившись, в город Москву прибыл, ночью по путям плутал, а нашел-таки Сухаревку. Все убытки покрыл, товару забрал, оборот вышел.

— Страшно поди,—моргнула Анфиса Федоровна.

— Наше коммерческое дело—рискучее. Зато и доход большой.

— А матушки! Кран-то утек.

— Держи, держи, его окаянного!

Домой засобирался Гаврила. Варя—как воды в рот набрала. Анфиса Федоровна квохчет.

— Да что вы, да куда вы, да кушай, Гаврюша, ландрину.—И тут же себя:—Ах ты, старая дура, твоим же добром тебя потчую!

И подумав:

— Селедочки, может, покушаешь?

Варя за самоваром в тени. Насупилась. Не любит она мать, вот такую, угодливую. Такая она бывала, когда отец наградные приносил. Тетка к ним богатая приезжала, с ней тоже. Противно.

— Чего, мама, его угощаете? И так разбух, точно мякиш. Смотрите,—пот прошиб.

Сконфузился Гаврила, платок пунцовый из кармана тянет—лоб утирает.

— И-и, матушка,—поет Анфиса Федоровна, спрятав злость на дочь и досаду,—какой пот, цыганский пот. У нас не распаришься, дрова-то нонче осторожные.

Потом вразумительно:

— План тут Гаврюша предлагал, пока спала ты. Прямо такая жалость: будить тебя не хотелось... А дело—оно выгодное дело.

Глава четвертая.

Больше всего мучился Гаврила темнотой своей. Не стыдился, что роду простецкого, из мужичьей семьи, но имени своего стыдился и грубых короткопалых рук. И потому еще напыщеннее, несуразнее делалась речь его. Иной раз такое загнет словечко, что оторопь самого берет,—а все от большого стыда и обиды. Не знал он, с какого конца за дело взяться. Но знал, что только напором дорогу пробьет. И напирал.

Мужицкой смекалкой понял выгоду денег. А больше того напортился, как писарем в германскую войну в городе Витебске сидел. Тогда его и железке обучили, и скверным анекдотам. Тогда и слов

этих мудреных, малопонятных набрался. Перемешали все в голове, взболтыхали — да так и пустили гулять по свету. Что к чему—разбери поди. И вышел Гаврила такой вот нелепый человек, спекулянт и проныра, делец и болтун—неразбери-бери. С приходского училища с Каширцевым Гаврила знакомство вел. В гимназии Каширцев через приятеля бабки покупал, панки, налитки грузкие. А теперь в тугое время приходил чаю напиться, да побеседовать. Начинались беседы с того, что Гаврила банку леденцов на стол ставил, да пол-бруса просоленого масла.

За чаем Гаврила незаметно разговор на Варю наводил.

— А хороша она, сволочь... (Каширцев сам не знал, почему хотелось ему говорить всякие пакости про Варю, выдумывая свои приключения с ней.)

Гаврила выспрашивал подробно, как судебный следователь, о вымышленной истории. Сжимал кулаки, а лицо в улыбку ладил:

— Давно ты с ней?

Каширцев придумывал похабные подробности и не замечал горящих глаз.

Оставшись один, вьюном по комнате,—щиплет себя, бьет кулаками по подушке, зубами ляскает Гаврила.

— Проклятая, проклятая! Целенькой прикидывается!

Потом усмирялся, шептал:

— Прощу, все прощу, Варя! Только бы ты поняла меня.

Живет Гаврила с теткой на Кривой улице. Тетка Марья, кривоглазая—тихоход, шопотун. Ходит, горшки, чугуны ворочает, шабалой брякает. Домишко—горница да кухня. В горнице—фуксии, на кухне—темные образа. Кружева из бумаги выстрижены.

Дельцы оба. Не до убранства.

Гаврила в разъездах, в торговых делах. Тетка Марья за то почитает его. Гаврилой Павлычем величает. За здравие подавала попу бумажку. Всех перечислила—и свояка Анисима, и племянничков Осипа и Василия, а снизу приписала: за здравие Гаврила Павловича, почтительно по имени, по отчеству. Ну и он к ней привязанность имел. Дело какое коснется—к тетке Марье за советом:

— Не купить ли, мол, тетка Марья, мыла ящик? Мыло, говорят, вздорожает.

Марья этак одиноким глазом метнет.

— Спичками интересуйся,—скажет, словно судьбу пророчит.

И верно попадала—глядь через неделю к спичкам доступу нет. Сама тоже большие дела обделывала. Спиртишко продавала из-под полы, вещи на комиссию брала. Все знали домик по Кривой улице, все знали Гаврилу Хохрякова и тетку Марью-Шептунью. Случись именины, крестины, похороны—все к Марье под окно стучатся.

— Эй, тетка Марья, очи карие—отсунь поди ворота.

Тащится по двору, на собаку цепную цикает.

Собаку держали Хохряковы бешеную. Целый день по проволоке через двор на блоке рыщет. Злющая—волкодав.

Цедит мутную жижу старуха из резинового круга, что для геморройных в аптеках продают.

— Этак оно сохраннее, в посудке-то резиновой, кушайте на здоровье.

— Хитрый дьявол,—смеются покупатели.

— Хитри, не хитри—четыре не три.

— Когда это, старуха, на тебя улов будет? Когда, говорю, накроют кооператив-то твой?

— А никогда, — щурит старуха хитрущий глаз,—никогда, вот когда.

Глава пятая.

„ДЕТДОМ № 2". Вывеска небольшая, киноварью писаная. А домище что старый башмак. Окна в заплатах, дверь парадная наглухо заколочена. Ворота расхлябаны, что худая подошва,—все гвозди вылезли.

Если пройти через двор по разбросанным, набухшим кирпичам, перепрыгивая лужи и выбоины, попадешь в темные сени. Тут встретится вам завхозша.

— Нельзя, нельзя сюда,—закричит не своим голосом.

Подхватит юбки и прыснет наверх по винтовой лестнице.

— Что такое, почему нельзя?

— Да они не одеты,—объяснит улыбаясь толстозадая стряпуха Ивановна.—Пройдите в дежурку, а не то в зало.

Впотьмах нужно брести по изгибам коридора. Вправо и влево—двери в классную, в спальню девочек и в спальню мальчиков. Дальше столовая, белые нескобленные столы, большие, пустые окна. Зато разукрашен зал: паутина цепей из цветной и золоченой бумаги. По стенам рисунки углем, карандашем и в краску. В углу—запыленный рояль с отломанной ножкой, пригнанной на планку к кузову. Наконец, вы услышите крик. Это подрались дефективные. Строгий голос воспитателя. Снова тихо. Мертвый дом.

Но вот хлопнула дверь, и нестройный топот покатился к залу.

— Постройся в шеренгу!

Неловкие, смуглые мальчонки, худенькие, длинношеие девочки лепятся один к одному.

— Перекличка...—извещает завдом.

У дежурного длинный список и карандаш — отмечает „находящихся в бегах". Завдом хмурит брови, озирая нестройные ряды.

— Астафьев, Васильев, Елисеев...

— Нету.

— Кого нет?

— Елисеева.

— Данилов, Жирков, Каприцкий, Осина...

После переклички завдом прокашливается. Кашель скребком в горле. Словно пес лапой за дверью скребет.

— Дети, вчера на дежурстве Колотовой и Гольцова похищена из люстры лампочка...

Управдом минуту молчит, рассматривая, какое впечатление произвело сообщение на воспитанников. Иные озираются вверх, с любопытством носы на люстру, словно видят ее впервые. Другие тупо уставились в пол.

— Это уже третья лампочка на неделе. Терпение мое лопается...

— Четвертая,—басит кто-то в рядах.

— Кто сказал четвертая?

— А в сенях-то вывинтили—не считаете?

— Повторяю, терпение мое лопается. Пеняйте на себя. Лампочек в запасе нет. Благодарите тех, кто оставил вас всех в темноте. Света в зале не будет.

Завхоз в стороне. Лицо—ижица... „Да,—говорит эта постная ижица,—я ничего не могу поделать. Лампочек в запасе нет"...

— Никто не желает сознаться?

Молчание.

— Можете разойтись.

Загудели ряды. Покривилась, выгнулась шеренга стриженых шершавых голов. И вдруг вся распалась на комки, на кучки,—и покатилась по углам, по коридорам, зазвенела десятками голосов.

Мальчики закрыли плотно дверь и о чем-то совещались.

Позднее в коридоре поймал Наташу Осину вихрастый Жоргин.

— Погоди-ка.

— Ну?—сердито отозвалась Наташа.—Чего еще? Некогда мне тут с тобой.

— Лампочку-то я на себя приму, слышь.

— Как на себя?

— Твою вину приму,—я, скажу, украл.

— Вот тоже нашелся! Ты думаешь, я напугалась? Фа!

— Не то. Мальчишки резолюцию вынесли—темную сделать. Бить будут.

— Бить? Меня бить?—у Наташи потемнели глаза.—Посмейте только.

— Я и говорю, на себя приму. Только ты языком не болтай. Понятно?

— Принимай на себя. Мне все равно.—Наташа Осина беспечно запрыгала к кухне, а Жоргин не двигался, все смотрел ей вслед.

И досада его брала, и удивленье. Ишь, словно жук в сметану. Никого на свете не боялся, на все плевал, а тут поди ты — робеет перед девчонкой и сам на побой напросился.

— Удивительно это,—уже вслух сказал, уходя.

Ночью Жоргина одеялом накрыли и били. Всполошился дом. Запрыгали огни, забегали тени-горбыли. Избитого перенесли в лазарет,

во второй этаж. На утро лампочку новую ввинтили. Наташа Осина по-прежнему прыгала по обколупанным неуютным залам и глазками этак — Гольцову.

Детдом № 2 забыл эту историю. Даже завхозша перестала попрекать лампочкой дежурных. Пришли дела покрупнее, дни потревожнее. Пришлепнута бумажка с печатью в простенке дежурной:

„Экстренное собрание служащих".

Завдом три раза на дню — рысью в отдел народного образования.

Накануне собрания старые грымзы—Комарова и Кильдюшова, лоснящийся завхоз и завхозша красногубая кушали чай у завдома...

Ночью случилась еще одна неожиданность...

Когда Варя пришла на службу в понедельник, детдом гудел, как печка с большой тягой. На стене рядом с объявлением о собрании другая бумага:

Согласно новых штатов, утвержденных месяца . . . . дня . . . . Губотнаробразом, следующие служащие Детдома № 2 подлежат сокращению:

1. Преподаватель пения В. Каширцев.

2. Руководительница З. Н. Рябова.

3. „ В. А. Колотова.

4. Вторая судомойка Анна Гвоздева.

5. Уборщица Анисья Куклина.

Настоящее вступает в силу с 29 сего числа марта месяца (см. протокол № 11 заседания коллектива).

Завдом Долбашевский.

Объявление настукано на машинке, только внизу, под цифрой 5, химическим карандашем приплюснуты каракули:

6. Руководитель Григорий Гольцов.

Над этой припиской задумалась Варя, когда ее за рукав дернула Наташа Осина.

— Милюня моя! Наконец-то вы пришли!

И жмется, жмется к Варе, как телушка́ к матке:

— А я вас так ждала, думала—прямо из себя выйду. Только вы и можете понять меня. А эти все — покойнички-то наши — ну их! Знаете, у меня горе!

— О чем вы? — испуганно спросила Варя.

И вдруг догадка мелькнула. Неужели верно? Неужели эта девочка сейчас расскажет ей про Гольцова... про Гольцова... ну, да.

Вслух:

— Рассказывайте, Наташа. Про Гольцова, поди?

— Вы уже знаете?—вскинула глазами Наташа.

— Знаю.

— Вы сходите похлопотать за него?

— За кого?

— Да ведь он арестован, вы ничего, как есть ничего не знаете. Григорий Кузьмич арестован.

— А я думала... — бормочет Варя. — А я думала... Ну, да. Я похлопочу... Я могу...

Когда уходила, видела за стеклами мордочки девчат. Словно рыбешки в аквариуме. Чебаки остроносые. Всех отчаяннее рыбешка Наташа Осина. Вскочила на подоконник, барабанит в стекло. Плещется смехом, задором... Улица разбросала десятки костров. У забора протаянка до самой земли — теплая, дышит. Жуланы топорщат перо на рябине... Гул.

— И хорошо, и хорошо, что сократили. И не надо мне ваших пайков. Свободна! Свободна!

Голос знакомый:

— Прыгаете?

— Сократили!

Каширцев перебрался через канаву:

— И меня? Ну, оно к лучшему. А вам-то и вовсе нечего было делать в этом чулане. Замуж бы вам.

— Почему это? — зорко взглянула на Каширцева Варя (обидеться, или это шутка? Что за настроение сегодня у Вити!).

— Неужели женщине только и дела?

— А вы думаете—мало? Детей плодить — не тын городить.

— Старое все...

— Что—старое?

— Слова.

— Хотите услышать новые? Хотите? Да?

— Хочу.

— Так слушайте новое: я люблю вас.

— Занятный способ объяснения в любви.

— Да, если хотите, занятный. Но он также действителен, как способ взламывания замка при помощи гитары и штопанья чулок утюгом. Вы понимаете — я отлично умею объясняться в любви, я умею обращаться с женщинами, как портной с иглой, но противно это: достаточно нескольких простейших приемов — вроде какого-то тур-де-тэта иди двойного нельсона — и результат обеспечен.

— То-есть?

— То-есть на обе лопатки.

— Вы начинаете говорить сальности.

— А, — досадливо отмахнулся Каширцев, — давайте без жеманства, чорт возьми!

Он обломал у карниза пальчики сосулек, потом стал пробивать лед в лужице под водосточной трубой. Лед проломился, Каширцев зачерпнул калошей в луже. Продолжая разговаривать, он снял калошу, выплеснул из нее воду и снова нашлепнул ее на сапог.

— Я предлагаю вам отдаться мне. Не брак, не двуспальную кровать, не кухню с пеленками предлагаю, а губы мужчины—вам, как равной женщине. Хотите?

Варя насмешливо поклонилась:

— С благодарностью отклоняю ваш вызов.

— Боитесь?

— Нет, просто ваше желание не совпадает с моим.

— Видите! Видите! Вам надо мужа, родительское благословение, иконы со свечками, полотенца... Дурак! Чего бы проще взволновать музыкой, беззубыми романсами, прикосновениями и клянясь в вечной любви, взять что надо.

— И вы думаете, вышло бы?

— Меня одна тютелька — дамочка одна — называла демоном с серыми глазами. Вы, демон, говорит, ни одна женщина не устоит перед вами. Чудачка такая... Муж у нее в финотделе служит... А я ей говорю: милая, каждый здоровый мужчина—демон, и каждая здоровая женщина—демоница. Пол прикажет. Пол — главковерх. И революция должна быть революцией пола, революцией любви, так же, как всех сторон жизни.

— Да вы совсем революционер, — усмехнулась Варя,—арцыбашевского толка.

„Чего они все исповедуются передо мной, — подумала про себя, — давеча Гольцов, теперь Каширцев. Неужели каждой женщине приходится выслушивать столько мудрецов... Мудрецы! Всем одного надо от женщины, а слов-то сколько. Обхаживают, размахивают руками, стихами говорят“.

Варя стыдом загорелась от этих мыслей... Словно голого мужчину видела. Перед ней самец, догоняющий самку, распускающий веером хвост или грубо облапивающий... И видно, как распаляется тело, вожделея, дрожит...

Каширцев не понял ее настроения. Клонился, шептал:

— Идемте же... Я хочу вас... Идемте.

— Пригласите жену служащего финотдела, — насмешливо крикнула Варя, сворачивая в свой переулок.

Глава шестая.

Витя Каширцев занимает большую комнату, но столько вещей в ней, такой беспорядок поддерживает у себя Каширцев, что комната кажется крохотной, пошевелиться негде.

Мягкие кресла. На креслах ноты, помятый костюм, недочитанный том Леонида Андреева. Рояль. Желтые клавиши, — как давно нечищенные зубы. На рояли воротнички, сапожная щетка и графин с отварной водой.

Постель Каширцев убирает редко. Ширмы ему страшно мешают, и он их постоянно передвигает по всей комнате из угла в угол. Стол у Вити такой, какие у всех людей, редко бывающих дома. В чернильнице кашица из прошлогодних мух. Перышко привязано ниткой к обкусанному карандашу. Тут же хранится чайная посуда и воткнут в чернильницу камертон.

Утрами схватывает Витя камертон, ударяет о край стола и пробует тон на зубах.

Потом берет несколько нот, поднимающих на ноги всех домашних.

„До-ми-соль-до... До-соль-ми-до".

— Господи, опять поет наш-то, — стонут квартиранты-соседи.

— В прошлый месяц горло застудил, так как хорошо было!

Только квартирная хозяйка Корнелия Ивановна и единственная ее дочь Музочка, прислушиваясь, умиляются:

— Бахатный багитон, — картавит Музочка.

— Не баритон, а тенор, — возражает мать:—надо бы ему в Петербург. Ой, пропадет он без Петербурга...

Прочистив горло, Каширцев отыскивает разбросанную по креслам одежду и начинает медленно натягивать ее на себя. От времени до времени делает перерыв. Выкуривает папиросу и сплевывает на пол.

Потом Каширцев пьет чай и вещает Корнелии Ивановне о значении девятой симфонии Бетховена.

Часто Каширцев Гавриле рассказывает:

— И мамаша и дочка — обе хари нецензурные. Но что же делать? Можно платочком закрыть. Зато гарантия: не женят. Потому обе ревность друг к другу питают. Затем: квартирная плата — фикция... Музочка — балда стоеросовая — заботится о здравоохранении, нарпитании и ноты достает. Обе ладоши обивают, ежели случится мне на концерте петь. Мамаша — нарпит, дочка — наркомпрод и распред... Лафа!

— Ты с обеими?

— Чубук! Это так, между делом...

Каширцев наклоняется к уху Гаврилы, чтобы рассказать подробности о румянящейся Корнелии Ивановне и рыженькой дурнушке Музе.

У Гаврилы слюна к губам подступает. Взвизгивает.

— Здо-рово... Ей богу? А ты что?... Хо-хо-хо.

Каширцев шепчет, пришептывает, наклоняется близко, смакует.

Гаврила знал только простых женщин. С ними сходился он всюду— под нарами теплушек, на тормозных площадках, на сеновалах, на гумнах, на чердаках...

Мечтою его была женщина с тонкими руками, с белой мягонькой кожей.

— Брось ты, — спорил Каширцев,—что в них, в пухлых руках — это аптека: вазелин-велюр да яичное мыло. Деревня шершава, зато силища какая—во!

Гаврила морщился и не соглашался.

— Окромя вазелина тут еще что-то есть.

Зажмуривал глаза.

Видел перед собой Варю, ее летние глаза, сквозящее платье, улыбку.

Шептал:

— Денег. Денег побольше... Денег.

Глава седьмая.

— Можно видеть в Чека главного?

Вели Варю коридорами, залами, загогулинами. Жуть. Назад и не выберешься. Так иногда только во сне водят по длинным улицам, незнакомым комнатам, комнатам без конца и начала. Но явь была страшнее. Дергалось сердце кухонным звонком: Дын... Дын...

Глаза по стенам царапались. Голые стены, пустые. Винтовки в дверях. На штыках пропуска натыканы. Кто прошел через двери, того пропуск-бумажка с печатью на штык надевается. И это страшно. В кабинете кожаная мебель и длинный стол. В бумагах, ворохе бумаг, затерян вихрастый затылок. Корявым перстом кто-то листки перевертывает. Скуртужился. Ворот расхристан. За приземистым широколобым столом—не к месту, на притыке. И собою курносый, большеротый: деревня—чернозем—Охлябинино. Глаза—блюдечная синька-глазурь (только блеск в них, как на штыке от солнца). Вихорья—солома овсяная (только на лбу под вихром трещина—морщина). Плечи—косяк. Одно слово—обрубок.

— Мне бы главного,—мимо парня глазами Варя.

— Пожалусто. Пожалусто,—заокал говором широким:—Олексей, дай-ко стул-то.

Варя проглотила улыбку.

— Это и есть свирепая Чека?

И тут же ощутила холодную дрожь.

— Во-от, топеря садитесь,—не понял, почему замешкалась Варя.

И—должно быть для важности—выволок из кармана платок и издал носом трубный звук.

— Грязный платок,—подумала Варя. И стало ей проще и легче.

— Страшно у вас,—прошептала, вздрагивая.

— Во-от тожо! Оно страшновато, коль совесть мослом. А то што? Вы хлопотать пришли? За контр-революционеров?

Варя услышала целую речь, всю как митинг.

— Буржуазея... соглашатели... нож в спину революции... пролетариат...

Вспомнился Гольцов:

„А вы пойдете от каменного века".

Сказала сдержанно:

— Они для меня больше, чем просто граждане.

— Во-от. Коды отец родной против пошел—и отцу родному в рожу...

Заглянул в бумажку Вари:

— По детдому... Тово, как ево... может Коширцова охлопотать-то пришли?

— Как?—не поняла Варя.

— Говорю, может за Коширцова, што вечор арестовали, хлопочете.

Варя вытянула губы, половила воздух и, не поймав, охнула и сникла.

— Воду! Тощи-ко воду, Олексей,—услышала голос в тумане.

— Под сердце подошло! Биды!

Кто-то поил водой. Кто-то уговаривал топорно-приветным говором:

— Не волнуйтесь, гражданка. Коли он ничего, то и ему ничего... Во-от тоже...

После того дня Варя добрую неделю вихрем по исполкомам, нарсудам, парткомам. Глаза ввалились, почернела как-то. Сама себя не сознавала. Дороги ли ей те, за кого просила? Кто-то посылал ее, и шла. Кто-то подхлестывал ноги и язык. Шла. Говорила. Требовала. Везде встречали недоумением.

— Вы дочь машиниста? Не партийная? Гм. Зачем вы за них хлопочете? Они вам родня?

Один—очкастый такой—словно листовку прочел:

— В нашу эпоху винтовка не бремя, а привилегия, монополия господствующего класса...

— Ну и что?—рассердилась Варя, что с ней заводят отдаленные разговоры.

— А то, что нельзя посередке стоять. Тут дуло, там дуло. Чего вертитесь?

Много еще говорил человек в очках. Варя не понимала его слов. Видела—шевелятся губы. Видела—морщинка на лбу складывается буквой З. А слов нет, одно гуденье.

— Может, зубы заговаривает, а их давно ухлопали?

Спросила—и сверлом в лицо, пытает—ну же, чего он не машет руками, не клянется, не протестует?

Наконец-то. Шевельнулось у губ.

— Ну, что вы! Ну, что вы!

Улыбнулся. Варя удивилась, какое доброе лицо в улыбке.

— Это скоро не делается. Это постигает только злостных врагов революции...

И снова.

— Буржуазия... соглашатели... нож в спину революции... Пролетариат...

„Стена, стена,—заныло внутри,—глухая стена, не перескочишь"..

Метнулась к другим.

Другие—рабочие мастеровые—коротко отвечали:

— Невиновны—отпустят, а виновны, так чего ж?

Вздрагивала Варя. Стена к стене. Бьются, сошлись. Строй на строй, дуло в дуло. А она сквозь строй—и никак не найдет свои ряды, свое место. Или бабам нет места в рядах? Бабы не в счет? Влипала взглядом в лица угластых четырехугольных женщин в парткоме. Они казались ей зубчатыми, стальными. И вовсе даже не женщины. Вон у этой, которая сидит на столе и курит. Разве у нее могут быть дети? Стол завален агитлитературой, листовками, плакатами. Плакаты и по стенам. В три краски: зеленое, черное, красное. Выше, над ними, портреты маслом: густобородый дедушка Маркс, Троцкий с мефистофельским подбородком, прищуренный Ильич. Телефонный звонок. Женщина сбросила пепел с папиросы, неторопливо взяла телефонную трубку. Стальной голос. Остроугольное движение локтем.

— Алло. Партком... Слушаю... Мой доклад в половине девятого. Автомобиль—восемь.

Очкастый, тот самый, что говорил про винтовку, возле.

Женщина что-то говорит ему.

Что ни слово—заклепка, так уж она говорит его, паяя, пристукивая.

— Так, так...—поддакивает очкастый:—будет сделано, товарищ, будет сделано.

У Вари вдруг пропала охота бегать, просить. Накипали стыд и досада.

„Почему она просит? Нужно, чтобы у нее просили. Чтобы она была вместе с этими кручеными крепкими людьми".

Это не подумалось отчетливо. Это, не родившись в мысль, забродило в извилинах мозга и сбивало с толку. Вышла на улицу. Визги. Крик. Чириканье. Всхлипы кирки по талому льду и пир воробьиный бисером нижущий клики:

— Ни-тинь-тили-ли. Ни-тинь-ти-ли-ли.

Бодро зашлепала по замазке дороги. Размахивала руками, словно ведра несла на коромысле. И, кажется, говорила (или думала про себя?):

— Все заново, заново, заново, заново.

И под каждое слово в лужу ногой.—Раз-з, раз-з, вдребезги! В гущу, в зарево, вместе со всеми весенними ручьями продалбливать, прошлогодний снег. Вспомнила белую бороду Маркса, хитрый подмигивающий взгляд Ильича. Улыбнулась ответно:

— Знаю сама, дура я слепая, вялая. А захочу—пробужусь, напружинюсь.

И опять, шлепая по лужам:

— Пробужу! Пробужу! Пробужу! Пробужу!

Гольцов говорил—они, чужие, глотают не прожевывая, они, беззубые.

Ей хотелось вгрызаться в жизнь, забирать охапками, шматьями, кусками, дробить зубом—крепышем. Глотает воздух—острый, как та-

лые льдинки. Идет серединой дороги, чтобы шире—животом вперед. Словно забеременевшая женщина, услышавшая впервые как взыграло во чреве дитя.

Этой улицей недавно провезли Гольцова. Но шла она в противоположную сторону. Не к окраине, а туда, где улица густела домами, ширилась, набухала гамом и вхлестывалась, наконец, в главную, Ленинскую, улицу с бульварами и мощеной дорогой. Оглянулась озорным взглядом, хотелось закричать на всю улицу:

— Стену проломить!

И еще прочитанное в парткоме на плакате: „Бытие определяет сознание!“

Это значит: человек,—словно рыба. В студеной воде—холодный, в горячей—и кровь ключем? Так, что ли? Домой пришла взбудораженная, забрызганная вешней капелью, пропахнувшая крепким ветром, разрумяненная. Швырнула муфту на стол и крикнула матери:

— Я согласна!

— Чего еще там?—встревожилась мать.

— Еду в Питер с Гаврилой! Собирайте в дорогу! Решено!

И про себя опять:

— Стену, стену пробить.

И еще:

„Бытие определяет сознание“...

Вечером в приоткрытую дверь из комнатки своей видела, как беззубым ртом старался разжевать Антон Денисович заклеклую корку. Анфиса Федоровна вышла из кухни. Варево там какое-то готовила. Раскраснелась у печи. Лоб, что кастрюля медная. Глянула на стол, ахнула:

— Хряпать выдумала без часу, без времени? Жор напал? До ужина терпежу не стало? Прорва окаянная, не знаете, что у нас даже крысы из дому ушли—поживиться нечем!

У Вари захолонуло сердце.

— Что же это? Почему я никогда не замечала? Разве это правильно? разве это так?

Смотрела и не могла оторваться от двери. Антон Денисович отдернул корку от рта. Потом вдруг взвизгнул по-стариковски, разбрызгав слюну. Швырнул коркой с размаху в Анфису Федоровну.

— Жри сама, сволочь, не надо мне ваших корок, сдохну и без них.

Варя выбежала из своей комнаты.

— Папа! Не надо! Ведь я уже решила поехать. Заработаю, наторгую денег. Ты думаешь, я не умею спекулировать? Я завтра же пойду и скажу Гавриле, что я согласна, на все согласна... Господи! Из-за корки подрались, из-за обгрызка черствого.

Притихли старики. Анфиса Федоровна в подол захлюпала. И после, когда Николаша с улицы прибежал—загорланил:

— Снег на улице!.. Гололедица!..

Он вдруг осекся и замолчал.

За столом сидели старики с дочерью. Все трое плакали, плющили вспухшие носы. Гуторили ласково, как заживут они заново, как подмога нужна им, как тягомотно в трухлявые годы без посоха молодого, упористого.

— Думаешь, я работать не могу?—храбрился Антон Денисович.— Могу-у. Что угодно могу. Ты только поправиться дай немного, на ухабе потяни...

Николаша послушал, послушал разговоры их размягченные, подумал по-взрослому: „от голода это они“.

И терпеливо стал дожидаться еды.

В этот вечер Варя не ушла в свою комнату, не заперлась на крючек.

Всей семьей сидели за невкусным варевом, и каждый старался съесть поменьше, чтобы оставить другому.

Глава восьмая.

Пар валит от лошадиных заиндевевших морд. Хлопают варегами рыжие мужики.

— Стужа-то-ого! Вот-те апрель месяц.

Мерзлую рыбу на рогоже запушило снегом. Весы на трехножке. Вместо гирь—кирпичный обломок. Баба тычет вилкой в латку с солеными огурцами.

Отсчитываются деньги на возу.

Сивая кобыла раскопала кошелку с овсом, просыпала овес на дорогу.

— Какой волости?

— Касимовские будем.

— Бишаул-Унгаровской нет?

— Таких нет. Все православные.

Ходит по базару Антон Денисович, земляков отыскивает. Анфиса Федоровна послала—иди, говорит, попутчика высматривай, в Акташево съездить, масла закупить.

В четверг, базарный день, глянули в окна Анфиса Федоровна и Варя: по гололедице апрельской розвальни раскатываются. В розвальнях татарин чернобородый кнутовищем лошадь по заду бьет. Рядом Антон Денисович притулился, торчит, что гриб.

— Николаша, духом за Гаврилой!.. Варя—лучину щепать!..

Мужчины натащили холоду и снега. Пока Варя обувала чулки шерстяные да старую фуфайку Антона Денисовича напяливала, примчался и Гаврила.

Деловито подергал чересседельник, подтянул супонь, загривок из-под хомута вынул.

Татарину мельком:

— Арума, знаком.

— Смотри, Гаврюша, не сплошай, товар-то выбирайте получше.

Поет Анфиса Федоровна. Приторно делается Варе, но борется с собой, бережет теплое, оставшееся от задушевной беседы со стариками.

— Знакомься, Гаврила,—кричит Антон Денисыч хлопоча:—мой закадычный друг—Мардыгалям... Шурум-бурумыч—сопляком еще знал, опосля вместе паровозный дым нюхали...

Мардыгалям распоясал зеленый кушак, повесил его на спинке стула, расставил широко ноги в стеганых штанах и допивал четвертую кружку кипятку.

— Чай караша! Ущинь караша!

— Пей, пей, князь, дорога дальняя. Сахарину наливай.

— Сахарин не нада. Сахарин ашал, на бабу мужик слаб будит. Вредный.

И опять хлопочет Антон Денисович. Туда и сюда, туда и сюда. Словно паровик-маневровик старомодный, „Кукушка“.

— Удружи, Мардыгалям, подсоби продукту хорошего сыскать, у тебя пущай и заночуют. Да ты уж сделаешь! Свой, чай, деповский. Вместе на пробном-то чуть башку не сломали. Славный ты татарча... Ну и перли же мы с тобой на паровозе!

Антон Денисыч повернулся к Гавриле:

— Кричу ему: „Абдулка, брындахлыст, убавь ходу“.

„А он ладошками, на манер кота, рожу умывает, молится по-ихнему, значит, и базлает:

„— Кончал, башка, нет больше живем. Ямка летаем, паровоз ломаем“...

„Ничего, благополучно сошло. Законтропарил, затормозил. Есть такое дело...

Мардыгалям шумно потянул с блюдечка чаю и сказал веско, будто о том и речь шла:

— Уй-уй, плахой дорога.

— У тебя конь хороша,—кричал, топорщась, Антон Денисыч и снова суетился—мельтешил.

— Второй звонок! Отправление на Самару! Нагоняйте пары! Плацкартные по местам! В тендер угля! Ту-у-ту!

Ухал как паровоз, пыхтел, свистел, руками лопасти изображал.

Затем снова начинал Мардыгаляма подчивать. Пришибленного глухменя не узнать. Еще бы: сегодня его надо спросить, сегодня и он нужен. Ведь Мардыгалям-то его знакомый, не чей-нибудь другой.

Анфиса Федоровна поулыбывается, глядя на мужа.

— Ну-ну, поезжайте, поезжайте с богом. После про крушения-то свои доскажешь. Всякому охота про крушения рассказать, да время знать надо.

Насупился старик.

— Я к делу поди. Надо растолковать. Не все тяп-ляп. А то был у нас такой случай. Заторопились мы на станции Полетаево, словно на крестины опоздать боялись, ну и...

— Ладно, ладно... Все поняли, поняли все, чего там растабаривать... Масло-то попробуйте. Бывает, горчит иногда.

— Будьте покойны,—гаркнул Гаврила, перепутав кто из них глух— Анфиса Федоровна или Антон Денисыч.

И потом браво:

— Ну, Сундукай Ермолаич, пришпандоривай.

Татарин надел все вместе: и шапку, и вложенную в нее тюбетейку на сизую бритую голову. Сунул каждому, по очереди, потную ладонь:

— Прощай, прощай, знаком. Город—базар езжаю, твоя гости гуляю.

— Милости прошу к нашему шалашу,—вторил Антон Денисович.

Мардыгалям не понял, но смеется.

— Ишь, зубы-то волчьи. А у меня, брат, нету зубов. Сахар ашал, зубы кончал. Понимал?

Варя в фуфайках, шубах, шалях, в стеганом одеяле — кочан капусты.

Гаврила рядом с ней—сухарик махонький перед ковригой. Щуплый, тонконогий, в обмотках, в кожушке.

— Чтобы дела на ять!

— Езжайте скорее!

Мардыгалям облизал стриженные вокруг губ усы и сказал:

— Скоро пойдешь—упайдешь. Тише лучше хороша.

Дернула, завихляла мухрастая татарская лошаденка. Когда вымахнули на ветер, за город, Варю полоснула мысль о Каширцеве, о рябом начальнике Чека, о черном автомобиле, в каком, видела она, расстреливать возят... „А черствую корку забыла?"—одернула себя... Дремалось. Укачивало на рытвинах. В городе—весна, гололедица. А здесь еще ровная синь. Не скоро весна докатывается до деревенских улиц. Жерди тына торчмя на снегу. Накатанная дорога. Длинный путь под сонное звяканье уздечки. Зазвездится снег в сугробе, взвизгнут полозья, в башкирской степи расплывутся, растают и визги, и шелест, и фырканье коня.

— Один жена есть, два жена есть,—увесисто повествует татарин, дергая вожжи.—Один—старый морда, другой—якши морда. Матур... Красивы...ых.

Выпутал вожжу, захлестнувшую хвост кобыле и добавил:

— Старый подарка везу, молодой подарка везу.—Ухмыльнулся в бороду и настегал лошадь.

Мерзнется.

Ветер забирается под подол. Варя ежится и молчит. Ноги отсидела, но не хочется шевелиться. Дряблая кровь.

Гаврила, тот весел, вьюном. То за санями бежит вприпрыжку, то сядет смирненько в сани. Сбивши снег с каблука, заводит беседу с возницей.

— Кобылу, бабай, не хлещи почем зря. Не то по декрету секим башка твоя будет.

— Наша не боится. Самой смерти нисява не будет.

Гаврила коверкает язык, стараясь быть понятным. И оттого, что Мардыгалям не умеет говорить по-русски, у Гаврилы—ухватки учителя и говорит он этак свысока, с ужимкой. Мардыгалям Кинзикеев посмеивается... веселый татарча.

В морщинках-осколочкэх желтое скуластое лицо—Азия! Черная борода, словно зургамыш-хмель по берегу реки Уфимки. Усы Чингисхана, а шапка на голове зеленая плисовая — купол зеленой мечети.

— Который жена больше любишь?—кричит, переползая по розвальням к переду, Гаврила.—Теперь декрет вышел—старуху любить.

— Оба любим,—поджимает губы татарин.—Защем не любим? Оба нада любим. Одна баба хозяйство мало. Два баба—два дела идет.

И долго распространялся о своих бабах и о порядках, какие водятся у него в семье, о мусульманском законе.

Варя думала о своем. Почему-то вспомнилась Наташа Осина, быстроглазая девочка из детдома... Извилисты дороги женской доли. Но ведут к одному перекрестку. Вот татарин денег наторговал—двух жен закупил. А Гаврила—ее, Варю, думает купить за [сытость стариков—Антона Денисовича и Анфисы Федоровны.

„А те не продаются", — вспомнила партком, телефон, острые локти, впаянный голос.

Варя думала с закрытыми глазами, и чудились ей в визге полозьев женские растерзанные визги.

Открыла глаза — поле. Вышка зеленой мечети вынырнула из-за лысой глыбы. Тын. Выгон. Взмыленный конский круп. Фыркая, прытко бежит кобыла. Дым. Быстрый хлыст Мардыгаляма. Выкрики: Ы-о-о... Ы-о-о...

— Просыпайтесь, — дышит над самым ухом Гаврила: — вылазить пора.

— Я не сплю,—отзывается Варя, а пошевелиться не может, замерло тело, устали ноги, затекли жилы.

И в дымной избе, грея руки над чашкой кирпичного темного чая, Варя все еще не может очнуться. Сквозь дрему озирает беленые стены, лавки, вышивные—зеленое с желтым—полотенца и скатерти.

Мардыгалям—старый кочегар—кормит на славу гостей.

— Вот поди-ты,—удивляется Гаврила,—не подумаешь, что голод был на Поволжье, в Приуральи.

— Был,—хмурится Мардыгалям,—ашали кора, ашали трава, ашали дохлый щелавек... Тулька наша волость голод кругом гулял...

Между тем вынула липовый мед, золотистый, как серп на мечети под солнцем, старая жена—Юлдуз. Выставила сахар и жирную баранину, преснушки медовые, лепешки на каймаке.

Молодая, Гайша, разливала чай. Ай, хороша, молодая аней у Мардыгаляма. Белотелая, словно майский кумыс. Стройная, как акша-тополь. Черноглазая, глаза—ягоды-карагат, ягоды—ежевика. На руках у Гайши браслетки. В черном толстом волосе—звонкая деньга. По-русски ни слова Гайша. Только кланяется, кланяется,—как подвесной рукомойник у крыльца, бьет поклоны.

Гаврила и так и сяк ей. Все посмешить Варю старается. Весь свой запас татарских слов израсходовал. Знал он „рахмет"—спасибо да „мин сины яратам"—я тебя люблю. Так „рахмет" говорил он старому Мардыгаляму, а „мин сины яратам"—молодой жене Мардыгаляма, Гайше.

Хмурится Мардыгалям этой шутке.

— Русский парнишка—шалтай-болтай.

Однако ничего, не мешался.

Смолчал и тогда, когда взвизгнула за пологом белозубая Гайша, выбежала красней барбариса из-за занавеси от Гаврилы.

Попили чаю. Вытер лоб Мардыгалям, рыгнул, сказал с расстановкой:

— Самаур каньщал, таперь спать нада.—И сделал знак прислуживавшим женам убрать со стола.

Ну и подушек у Мардыгаляма! Ай бай, сколько подушек, целая гора! Красные ситцевые, желтые—сатин, байковые—в полоску, в цветок—каких только нету! Столько жен не было у турецкого хана в гареме, сколько подушек у Мардыгаляма.

Знатную постель смастерили жены Мардыгаляма для Вари. Заметила при этом Варя, что молодая бьет старую Юлдуз. Место свое уступил Мардыгалям, а сам лег на припечьи. Гаврила приткнулся на лавке у стола, а жены Мардыгаляма—за пологом.

Только положила на подушку голову Варя—и поплыл вбок куда-то тараканий потолок, замелькали опять крутояры, лесные да пади, заскрипели полозья и ветер-шатун зашуршал соломенной подстилкой в санях.

А после снились ей странные восточные женщины. И будто не в глухой Башкирии это, а на Востоке цветистом, узорчатом.

Женщины подходили нескончаемой вереницей, в пояс кланялись и шли дальше.

Варя увидала трон из золота и железа. На троне хан, щетинистый—похотливый самец.

А на каждой женской чадре белая четкая цифра—это стоимость каждой, догадывалась Варя в испуге. И вдруг заметила: она тоже идет в этой толпе. Она тоже в широкой одежде и чувствует—цифра белеет на ее спине.

— Кланяйся, кланяйся,—пронесся приглушенный шум.

— Не хочу, не хочу!—хотела закричать.

Но только шевелила губами.

Оглянулась,—а позади толпы женщин в шелках, в кружевах, оголенные, в прозрачных тканях, в оправе красивых вещей.

И все это стало таять, таять, пока не превратилась опять вереница женщин в засыпанный снегом тын, а хан—в купол зеленой мечети.

— Шайтан! Проклятый!

— Это уже не сон,—подумала Варя и проснулась.

Кто-то кричал в темноте приглушенным шопотом. Ему отвечал другой, ровный (как будто Гаврилы голос)...

Гавриле не спалось, когда погасили огонь и замолкли.

— Пойти бы к Варе,—подумал, вытягиваясь всем телом:—нет, пожалуй, закричит, прогонит.

Еще дорогой он возбуждался мыслью, что он ночует в одной комнате с ней. Мысленно заголял ее платье, целовал горячее тело.

Эх, отдельная бы светелка...

Распалился. Туго ударила кровь.

Прислушался.

Дыханье спящих—носовые пересвисты. Вот громкий храп Мардыгаляма... вот кашель старухи Юлдуз... а вот дыханье Гайши или Вари? Тихое... Шелест ковыльный...

— Шайтан... Шворт...—шипел голос Мардыгаляма.

— Что случилось? — испуганно спросила Варя.

Голоса затихли, только не мог угомониться с воркотней и кряхтеньем Мардыгалям.

Что это? Женский шопот и плач. Татарский говор, гортанные выкрики, снова всхлипы.

Что такое? Страшно даже!

Варя проснулась совсем и села в постели.

Есть слово, страшнее выстрела, нигде никогда не записанное, нигде не рассказанное, ни в каких книгах. Перевести его не может ни один человек, а сказать его—и много горя узнают услышавшие.

Если муж при чужих людях скажет слово это жене—не медля ни часа, должна покинуть мужнин дом, уйти, куда понесут ноги.

От этого слова, хрустнув, рушатся обеты и клятвы, привычка и счастье, звено, связывающее мужчину и женщину.

После заклятого слова не может жена вернуться обратно. Так нельзя повернуть на зиму весну.

Таков мусульманский обычай.

Если даже раскается вспыльчивый муж и захочет исправить свою горячность,—нету возврата и нету заклятий против разрывного слова ни у одного плешивого муллы, ни у одного высохшего в науках мугаллима.

Одно спасенье, если сказал только половину слова—тогда жена может вернуться, но не раньше, как пожив с другим мужчиною. Слово это, значенье его—смутно знала Варя, Антон Денисович рассказывал об этом обычае дома.

— Хар-лам-талак, — прозвучало зловеще в темноте.

Вскрикнула женщина. Замер вопль. Метнулась на петле дверь. И мертвая тишь калмыцким узлом завязалась в ночи.

Никогда не видать Гайше мужнина крова. Никогда не прозвенит здесь чистый, как звон мониcто, голосок. Никогда не рассыплются серебряным смехом струйки монет в тяжелом спутанном волосе.

Упал плашмя Мардыгалям. Зажал голову, челюсти стиснул, как амбар на затвор. Голос супонью тугой перевязал, крик задавил, хрипит, как недорезанная лошадь:

— Хар-лам-талак...

И нежным бульканьем слез:

— Гайша, Гайша. Киля-ля... Иди сюда.

И снова яростно:

— Хар-лам-талак...

Утром пришла соседка помочь прислуживать старой Юлдуз за столом. Черноглазой Гайши не было. Мардыгалям—степной камень. Молча исполнил все, что требовало гостеприимство. Закупил масло. Насовал в карманы и в руки Вари гостинцы. С Гаврилой ни слова. Молчок. Варя готова провалиться. Стыд. Стыд. Неужели Гаврила... посмел... посмел... Вспомнился Гольцов и Наташа Осина.

Как собаки... Только бы баба.

Заторопилась, заторопилась, наспех поблагодарила хозяина, наскоро расплатилась за масло. Подали лошадей, мохнатых как малахай. Мардыгалям подошел к Гавриле, помолчал, выбирая слова.

— Плахой щеловек, — сказал торжественно.

Повернулся и ушел в избу.

Тронули лошади. Недобрые, исподлобья, взгляды проводили русских гостей. Дико гикнул татарченок-возница, и вылетела кошевка за околицу. Снова простор—оком не обоймешь. Полосы солнца по пологу поля, по логовам, падям. Роют полозья толокно дороги. Околки. Солодовое остожье. Галки на тыну. Промерзлое болото — сторож осоки, морожки да желтого поповника. Порою осокорь—торч одинокий с чалой отсохшей макушкой. Поодаль дрогнет кривулиной полумесяц мечети, озорные голоса долетят, охнет болт у ворот да ботало тощих коров.

И снова—башкирская степь, логова, поле, остожья.

Дорогой спросила Варя:

— Гаврила, скажите, что произошло?

Гаврила выдавил из себя:

— Так, чепуха. Этот... подумал, что мне его татарка нужна... а я шел-то... Просто дверей в темноте не нашел... Дикий народ.

Варе показался нетвердым его голос. Больше не расспрашивала.

Ехали молча, с тяжелым сердцем, без дум. Азям возницы. Спинища в пол-степи. Ни разу не обернулся за всю дорогу. Только в городе, выгружая поклажу, сказал:

— Город можна каждый баба лезать. Наша нельзя каждый баба лезать. Город—один закон, деревня—другой закон.

Варя покраснела, а Гаврила только рукой отмахнулся. Анфиса Федоровна масло на безмене прикинула. Николаша пробовал мед золотой, пахнувший пчелами, медуницей. Варя рассматривала Гаврилу.

„Неужели у мужчин так просто и так гадко. Приехал. Увидел женщину. И в ту же ночь... Нет, это путаница, ошибка какая-то. Да ведь Гаврила тогда со стыда бы сгорел! Да ведь он влюблен в нее, Варю... Поклеп, поклеп на него взвели"...

Варе стало жалко Гаврилу. Она даже предложила ему остаться. Весело болтала, стараясь рассеять неприятное впечатление от поездки. Даже уж не кокетничала ли? Долго в этот вечер ворошились у Колотовых. Анфиса Федоровна два раза осматривала ночью замки: не выкрали бы масло. Антон Денисович на свету приплелся к постели своей супруги в нижнем белье и сказал:

— Блины хорошо бы испечь. Давно не делали. Испекла бы...

Глава девятая.

В воскресенье пекла Анфиса Федоровна блинчики, начадила на всю квартиру. В чадном дыму галченком на пожарище носился Николаша. Антон Денисович в печке уголья мешал, кочергой искры выбивал. Варя в комнатке своей голову уткнула в подушку: так лежит с глазами сухими, сухим сердцем, с подступившей болью.

Горьки блинчики—мука Гаврилина, а денег за муку не брал.

— В счет барышей,—говорит,—поквитаемся.

Варя крутит головой—больно, больно. А боли не вытравишь. Боль в мозгу, мысли пятерней ухватила, жмулит...

— Впрочем, что я (подняла голову) контракт подписала? Обязана? Обещала кому? Ну, еду, еду спекулировать, компаньонкой в торговле. А что мне он? Пустое место.

Голоса за дверью сквозь шип сковородок:

— Пройдите, она там, в своей комнате.

Голос матери. Ну, видно, Гаврила прется. Это еще что за новость посылать его к ней в комнату? Вскочила. Дрожит. На языке углем горячим страшное слово о матери:

— Сводня!

Стук в двери. Варя грубо:

— Кто еще там?

Щелкнул крючек. На пороге Дворжецкий—верзила в расхристанном пальто. Пуговицы с мясом выдраны, вихляются. У Вари отлегло от сердца.

— Ну и улица у вас. Четыре раза тонул. Вы бы хоть спасательные круги развешали...

Огляделся, метнулся по комнате...

— Приперся я потому, что слухи носятся будто в Питер удумали вы. Я ведь из Питера по вызову: батька был плох. Теперь он снова стругает—столяр он, а задержался я зря, так, по одному своему делу. Через недельку сыпну сам, а пока пару цедулек хочу с вами. Там пустяки, на траме шаркнете, 21 в Лесной ходит. Одно—инженеру Караваеву (симпатяга парень), другое—нашей братве—шушуборе.

Варя слушает, как подробно растолковывает адрес Дворжецкий. Рассматривает молча: „Ишь! Как струганный брус. Простой такой и строгий, точный. Только волосья неточно, кто куда, стружками сосновыми разметались. Руки на шалнерах. Пахнет столярным клеем, что ли? Лаком?"

Рубанком по комнате из конца в конец:

— Одна в комнате? Вот где заниматься! У вас именины, што ли? Жарят там, я проходил. Старики-то у вас не очень коммунистов жалуют? Иконы-то больно здоровенные висят.

Варя улыбнулась. Хотела отвечать. Даже слова придумала, какие скажет.

Только вдруг прикусила язык: в самом деле. Коммунистов? Жалуют? Да разве хоть раз, хоть раз заговорили в доме о партиях, новых людях, новой жизни, борьбе?

Газетку приносит иной раз Антон Денисович. Только вычитывать в ней ухитряется о грабежах, о налогах, о случаях заболеваний холерой. И будто идет все ни шатко, ни валко, ни на сторону. Как сто лет назад, как пятьдесят лет назад и десять лет назад. Слов одних сколько новых появилось! А в доме привились счетом четыре: детдом, рупвод, паек да комсомолкой отец Варю дразнит. Дворжецкий спрашивает и сам отвечает. Будто стругает, быстро так говорит и весело:

— Говорите, говорите еще...

Посмеиваясь щиплет губу Дворжецкий.

— Чудасья вы! Какая-то восторженная.

— Вот вы говорили—кружок. Ну и что же там делали?

— Здесь тугое место, тугие люди. Раскачать много сил надо, сучковатый народ. Ну, ничего, колуном приходится сучковатое полено тяпать. В Питере на рабфаке у нас—ого. Артельные ребята, что надо... Кирпич к кирпичу. Вот где бы вы узнали действительно жизнь. Кройте?

— Ну-у...

— Чего ну? Не век же в подоле маменьки путаться. Вы зачем едете-то сейчас?

— Так, со знакомыми...

— То-есть как так? Гостить?

Варя поискала ответа и бросила, не найдя, что бы соврать:

— Спекулировать.

Дворжецкий ухмыльнулся, но тотчас же спрятал усмешку. Остались только иголочки где-то в зрачках.

— А-а...—потянул он.

Пропала разговорчивость. Сунул письма, засобирался домой. От чаю, от блинчиков отказался. Давно захлопнулась за ним кухонная дверь. Два раза звали из столовой обедать. Варя сидела и прислушивалась к неотзвучавшему еще в комнате голосу:

— Кирпич к кирпичу... Артельные ребята... что надо...

Да, это—настоящий, настоящий. От него запах постройки, негашеной извести, нового сруба. Клубок иногда сползает с бумажки, на которую намотан и весь перепутается, словно колючая проволока за окопами, словно выпавший с воза ком сена. Так у Вари сейчас: нерассосавшаяся боль за Каширцева (погиб... исчез? все оборвалось?), ржавчиной стыд перед поездкой (торговля собой? сделка с совестью?) нетерпение, дрожь ожидания (уехать, уехать... переломить жизнь, чтобы коснуться нового)... Подбежала к окну—не видать ли еще уходящего Дворжецкого? Нет. И след простыл. Форточку распахнула. Как чебак на мелком месте—ртом хватает воздух.

На перекате. Мелко. Скорее бы в яроводье, в пенный плеск, в крутоверт.

Глава десятая.

Варя с утра в хлопотах. Нужно достать документы. Домашние взбудоражены. Словно сдвинутая мебель: не у места, бестолково, зря. Антон Денисович зачем-то вытащил из чулана старые расхлябанные счеты.

— Без счет не умею,—словно извинялся он перед собой.

Пересадил очки из воспаленной выемки переносицы на свежее место. Затих. Анфиса Федоровна сеет муку. Мука сквозь сито на стол рыхлой горкой. Отпечатала сито на макушке, шепчет мучнистыми губами, палец за пальцем загибает: сорок, сорок с половиной. За такое-то и все пятьдесят. Тоже нельзя шаляй-валяй. Сбурили и ладно. Нужно цену держать... И добавила неожиданно для самой себя какое-то незнакомое слово, застрявшее в голове, может быть, на базаре:

— Закупсбыт.

Николаша животом на холодную клеенку стола. Клеенка, что карта географическая. Африками пятна химических чернил. Города и столицы от угольков самоварных. Тропинки и меридианы—это где мать хлеб режет...

Фаберовский карандаш (у Вари стащил) карябает по бумаге:

$50 \times 40 = 200$

200×4 пуда $= 800$ т. рублей

— Билет,—заглядывает через плечо Николаши Анфиса Федоровна:—пиши билет.

— Она по командировке поедет,—радостно потирает руки Антон Денисович,—вычеркнет Николай билет.

— Прокорм в дороге... Кипяток... то, се, пято-десято...

— Кому туза, кому ни аза...

— Ну, скажем 50 тысяч... и то много...

— Не много. Клади пятьдесят,—с отчаянной решимостью щелкает костяшками Антон Денисыч,—с лихвой вернем...

— Не форси, пробросаешься, — скупится расчетливая Анфиса Федоровна:—ишь мастак-от проживает пятак-от, а ты по пути рупь сколоти.

Николаша записал 50,? переправил на 40, а после подробного исчисления по пунктам, записал:

„Туда и обратно—75".

— Гаврюша говорил: по 200 тысяч сбудет...

Ну хватила, Фита Ивановна, по двести... Скости немного, дурында.

— Что̀ скости, цены, мотри, без запросу.

Сошлись на 150.

Николаша никак не мог помножить 150 тысяч на 40. Запутался в нулях, и нули расползлись у него по всей бумаге—круглые, плоскогрудые, кривобокие нули... В это время вбежал, запыхавшись, Гаврила, взмокший, красный: поезд отходит в 4 часа, ответили с вокзала, из самой билетной кассы. Затянул ремнями Варину постель: девичьи подушки в мережку с вышивными метками, красное байковое одеяло и шаль, которую давала на дорогу Анфиса Федоровна. Антон Денисыч пыхтун-маневровик:

— Чупурышку, чупурышку, главно дело. Без чупурышки в дороге—карачун.

Сам начал мыть синюю эмалированную кружку, сам ткнул ее между подушками в постель. Николаша толкается всюду. У пирожка капустного выщипал начинку. Помог разматывать веревку, отыскал ножницы, чтобы отрезать вихлявшийся конец...

В заключение сел на картонку и продавил верх.

Ходил взъерошенный, злой, оскорбленный. Насмешливо насвистывал, когда вытаскивали на извозчичьи сани багаж.

— Спекулянтка, — крикнул в форточку, высунув стриженую лесенкой голову, похожую на еловую шишку, — спекулянтка.

Варя оглянулась удивленно:

— Чего он задирает, несносный мальчишка?

А Николаша злится, злится до слез. Особенно ненавидит он этого Гаврилу. Ишь шибзик какой. Сманил сестру.

— Витька Каширцев!—крикнул он в форточку снова. — Ты влюблена в Витьку Каширцева. Я читал дневники.

— Трогай,—нахмурился Гаврила.

— Пошел от окна, углан. Простудишься!—прикрикнула Анфиса Федоровна, поскрипывая талым снегом.

Передрогла она в одной кофтейке, а не уходит. Все смотрит, смотрит на дочь. Ох, сколько раз вот так провожает она. Всю жизнь провожает. Слез никаких не хватит на проводы.

— Смотри же,—кричит,—остерегайся тифозной заразы. Нафталин-те, нафталин присыпай. Помогает...

— Торгуйте хорошенько, купцы,—вдогонку и Антон Денисыч.

Старики не смотрят друг на друга. Антону Денисовичу показалось даже одно время, будто ему стыдно, что отправили дочь с чужим человеком в опасный путь.

— Позарились на легкие деньги!

Поднял бороденку кверху, кадык почесал. Снова мысленно прикинул выручку в случае удачи. Махнул рукой.

— Ладно. Идем, старуха, а не то голову отморозишь.

Полозья взвизгивают: вверх, вниз, Варя притихла.

Из улицы в улицу, будто развертывают вышивку. Что ни пятнышко города — узелок. Тянет нитку, цветистые дни вышивного детства.

И нежность питает Варя к Гавриле за то, что молчит, не мешает думать.

Вздрогнула.

— Каширцев... Черный автомобиль...

А через минуту отвлек внимание какой-то сгорбленный прохожий с поднятым воротником у витрины. Мимо...

Мальчишка несет каравай. Видны только ноги и движущийся каравай...

В домах самовары — медные божки — взгромоздятся на стол, по-киргизски сложивши ноги.

Обжигаясь, чьи-то губы будут с блюдечка тянуть кипяток.

И все будет по-прежнему, а они уедут...

— Но-но-о... о-о...

А они уедут, уедут...

Спуск с горы, крутой заворот, стоп... лабазы, азямы... Висельниками воблы на перекладинках. Баранки. Пар от котлет, пельменей, от варева.

И еще:

Длинные маневровые разговоры. Каменноугольный дым. Тачки, чемоданы. Очередь у крана...

— Дорога никудышная. Прибавку надоть, товаришш-барин.

Пока Варя сидела у багажа, озирая кишмя кишевшие залы, Гаврила обегал все комендантские и бригадные. С кем-то перешепнулся. Кому-то подмигнул. Кого-то выругал саботажником. Когда из рыжих коридоров вагонов вынырнул запыхавшийся пассажирский поезд, на руках Гаврилы были уже два зелененьких билета и багажная квитанция с зубчатым корешком. Бородач с бляхой на груди подхватил самые тяжелые места, и они полетели по скользкому перрону. Головы. Говор. Горы громоздких узлов. Копоть. Топот. Толкотня.

Дзинь, дзинь, дзинь...

Все покатилось, сломя голову, по вагонам. Ухнуло. Рвануло. Город завертелся каруселью. Вот пробежали мимо деревянными конями

перила моста. Станционные желтые здания сменились крохотными хибарками предместья. Реже, реже дома. Пустырь... Коза подняла бородатую голову, посмотрела на поезд и снова жует прошлогодний лопух. Баба с узлом белья. Словно обложка календаря: расписной подол, зеленый с желтым платок. Ком белого дыма накатился, упал. Исчезли коза и баба.

А когда рассеялся дым, открылись дали, вздутая река, синие затоны.

Гаврила вынул картофельные шаньги, монпансье, кружку, затевает чаепитие.

— Вор хитрый,—рассуждает он, роясь в чемодане и подмигивая верхней полке.—Берем пример. Вы покупаете билет у кассы. И вдруг: „Граждане, берегите карманы, остерегайтесь воров". Вы специально хватаетесь за карман. Цел. А какой интерес кричать? Я спрашиваю вас, товарищ пассажир, какой интерес?

Гаврила грозит кому-то завернутой в газету краковской колбасой.

— Он, он, кричал, — чтобы определить местонахождение капитала. Вы, примерно, полапали правый боковой карман френча. Есть. Подошли к окошечку: „будьте добреньки, товарищ кассир, билет с плацкартой до станции Бердяуш".

— Хвать — бритвой прорезано, ровненько так, чтобы кармашек не попортить.

— Бьют их об рельсу головой, как орехи колют... Али так просто обнакновенным способом...

Два голоса то вырастают до крика, то сникают, когда поезд останавливается, екнув, на разъездах и полустанках.

Варя молчит. В груди ущемило что-то и не пускает.

С верхней полки мотнулся волосатый кулак. Потом голова вылезла — овсяный сноп.

Полбеным голосом прогудела:

— На крестьянский съезд еду. От Калашниковского уезду. Слыхали такой? От Калашниковского. Мукой славится. Маслом.

Прогудела и скрылась. Болтается только волосатый кулак.

Гаврила ухватился за новую пищу:

— Калашниковский? Знаю! — и пошел.

С крестьянами говорит Гаврила о земле, с чиновниками — о непорядках, разрухе. Для женщин у него есть запас познаний,—о пайке и продовольствии. Красноармейцам он выкладывает весь полевой устав, о сомкнутом и разомкнутом строе и о том, как чистить винтовку, какие ее главные части.

Со всеми находит он нужные слова. Удобный человек.

Этому станции название сообщит, тому разъяснит порядки советские. Посочувствует, историйку занятную расскажет, сбегает за кипятком...

Варя слушает как сплетаются два голоса: писклявый Гаврилы и густой, дегтярный — калашниковского овсяного делегата.

Такой же голос у начальника чека. И все они такие — аржаные.

Гордость поднимается в Варе, может, впервые:

— Отец—машинист, она с ними, с аржаными, наваристыми.

Грохает поезд. Подрагивает свежей краской пахнущий, новенький вагон.

Вот жухнет краска, тускнеют окна.

Перед глазами сизый туман.

Вот волосатый кулак раздулся в громадный узел и поплыл вместе с гудящим голосом к вентилятору. Что это? Слезы?

Дома сейчас садятся за ужин. Колька стащил ломоть и уплетает у окна. Мать старательно размешивает каплю подсолнечного масла в горшке гречневой каши. Напрасно. Масло впиталось давно, а каша суха.

Сух кашель отца. И суха жизнь городка. Чахлая поросль на обсыпающемся неверном, подмытом берегу.

И рядом, бок-о-бок, полногрудая, полносильная хлещет в берег река.

Сладко захлебнуться хлещущей пеной переката, ринуться в пенный хлещ.

Отерла слезы. Жадными глазами хватает куски прогалин, падей, бездорожья.

Столб за столбом, столб за столбом, неисхоженные яры, неиссмотренные крути.

Новь, новь.

(Продолжение следует.)

Письмо матери [1].

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж,
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб тебя не видя умереть,

Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось,—

[1]) Отношение редакции к творчеству С. Есенина выражено в № 1 (18) журнала „Красная Новь".

Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

Сергей Есенин.

* * *

Годы молодые! С забубенной славой!
Отравил я сам вас горькою отравой.
Я не знаю, мой конец близок ли? далек ли?
Были синие глаза, да теперь поблекли.
Где ты, радость? Темь и жуть. Грустно и обидно.
В поле, что ли? В кабаке? Ничего не видно.
Руки вытяну и вот — слушаю на ощупь:
Едем. Кони. Сани. Снег. Проезжаем рощу.
— Эй, ямщик, неси во-всю! Чай, рожден не слабым!
Душу вытрясти не жаль по таким ухабам. —
А ямщик в ответ одно: — По такой метели
Очень страшно, чтоб в пути лошади вспотели.
— Ты, ямщик, я вижу, трус. Это не с руки нам! —
Взял я кнут и ну стегать по лошажьим спинам.
Бью, а кони, как метель, шерсть разносят в хлопья.
Вдруг толчок, и из саней прямо на сугроб я...
Встал и вижу: что за чорт! Вместо бойкой тройки,
Забинтованный лежу на больничной койке.
И заместо лошадей — по дороге тряской
Бью я жесткую кровать мокрою повязкой.
На лице часов — в усы закрутились стрелки.
Наклонились надо мной сонные сиделки.
Наклонились и хрипят: — Эх, ты, златоглавый!
Отравил ты сам себя горькою отравой.
Мы не знаем: твой конец близок ли, далек ли?
Синие твои глаза в кабаках промокли.

Сергей Есенин.

Мыс Меганон.

Не проснуться. Поднимешься рано —
Точно в сон переходишь из сна:
Голубого, сухого тумана
На ресницах лежит пелена.

Что ни мысль, промаячит и мимо.
И как будто в Крыму и—плыву.
Иль и впрямь я далекого Крыма
На ресницах ношу синеву?

Дни Тавриды — не кликнешь теперь их!
Все забыл. Ну, а помню, да как,
Злополучный алуштинский берег,
Стародавнюю даль Судака.

Глянешь с кручи: изумрудная россыпь.
У просмоленных молов и днищ —
Развалившиеся, как матросы,
Синеблузые крымские дни.

Эти днища не краб покарябал.
И моряк напевает одно —
Что какой-нибудь бравый корабль
О морское расколется дно.

Я сказал: я спокоен, как ране.
Он ответил: спокойный смешон —
Потому что сегодня в тумане
Легкомысленный мыс Меганон.

Я в матросах, я в лоцманах не был.
Я взглянул: как в былые разы,
Голубую небесную небыль
Колыхала зеленая зыбь.

Но недаром, бессонно дежуря,
Маяки окликали беду:
Театрально заухала буря,
Маякам отвечая: иду!

И в причалов оскаленный камень,
В белизну санаторий и штор,
Громовыми, глухими плевками
Катастрофу выплевывал шторм.

А к утру—с оловянного вала
Золотое литье потекло,
И жара в тишину наливала
Золотое, густое стекло.

Только след этой бури не высох!
Дорогая, ты видишь иль нет,
Что опять задымились на мысах
Голубые туманы примет?

Голубое, большое молчанье.
Злополучный алуштинский сон.
Берегись! Я сегодня в тумане,
Как немыслимый мыс Меганон.

Ты с поэтом, ты с морем в соседстве,
Но не веришь в их зыбкую ложь.
Ты не чаешь невиданных бедствий
И неслыханных песен не ждешь.

Будто шторм берегов и не грабил!
Ну, а я—я запомнил одно—
Что какой-нибудь бравый корабль
О морское расколется дно.

Эммануил Герман.

* * *

Я стихами по горло сыт,
Очертели мне лунные ночи,
Пусть болотом всосет меня быт,—
Быт крестьянина и рабочего.

Брошу сердце тяжелой гирей
В этот свет, в эту темь, в эту грязь...
Ну, какой же я к чорту лирик,
Если кровь у меня бунтаря?

Ну, какая же радость и польза
О высотах читать и писать,
Если в бородах вши еще ползают,
Если лешие бродят в лесах?

И сказать нужно ярче и проще:
Разве там не болотное дно,
Где рыдает гармоника тощая,
Где режутся в двадцать одно?

Где еще на глухих перекрестках
Чертят ведьмы клюкою круги,
Где в тоскующих бревнах и досках
Нет ни сказок, ни песен других...

Я стихами по горло сыт,
Очертели мне лунные ночи,
Пусть болотом всосет меня быт,—
Быт крестьянина и рабочего.

В. Александровский.

Луговая песня.

(Из цикла „Городские поля".)

За рекою на горе
Ветер негодует, —
Рано, рано на заре
К бору подойду я.

В луговинах полыны,
Лебеда шальная.
Сердце брызгами волны,
Радость разливная.

В луговинах шелко-швей,
Шелко-швею вольно...

За рекою много швей
И ткачих довольно.

За рекою на горе
Звонкоиглы ели.
На озерном серебре
Тростники запели.

На озерном серебре
В перевивчатой игре
Растянулись травы;
Травы,
Павы,
Цвето-травы,
Цвето-травы,
Павы.

Ой, вы, травы,
Я бы, право,
С вами перевилась,
Да спешу,

Спешу за речку,
К елям поспешаю...

Далеко еще
Далечко —
До зеленой хвои...

И спешу я,
Поспешаю,—
Кто же,
Кто же помешает
Мне спешить за речку?
. . . .
. . . .

За рекою
Иглы остры,
Иглы четкие остры,—
За рекою
Мои сестры,
И у каждой у сестры
Косы свесилися хмелем,
Косы вьются по плечам...

В теле бодрость горяча,
Бродит бодрость
В жарком теле...
. . . .
. . . .

Сосны, сосны,
Ели, ели
Захлестнули корпуса,
Дымовые паруса
Натянули сосны, ели.
. . . .
. . . .

Утро стелет
Россыпь рос,
Утро тонким звоном кос
Пораскинулось в долинах.

То рябина,
То калина

Засмеется на лужайке,
На лужайке засмеется.

. . . .
. . . .

Сердце бьется,
Сердце чует
Лет стрекоз над камышами.

Сердце бьется,—
Скоро, скоро
Запоет гудок над бором.

И спешу я,
Поспешаю
На работу молодая.

Лугом, лугом,
Долом, долом.

То дороженька упруга.
То мягка, как плис пушистый.

Лугом, лугом,
Рощей мшистой
Долом, долом,
По опушкам,
По сиреневым монистам.

То дороженька упруга,
То мягка, как плис пушистый.

. . . .
. . . .

Я ткачиха,
Челночиха;
Полюбилась я ткачу.

Я ткачиха,
Челночиха;
Тку полотна кумача,
Черноглазого ткача
Полюбила я, ткачика.

Я ткачиха,
Челночиха,

Быть подругою хочу
Чернобровому ткачу.

. . . .

. . . .

Лугом, лугом,
Долом, долом,
По пшеницам и овсам.
К лесо-синим небесам
Брызжет песней перепел, —

Перепел —
Не перепел
Песни тростниковые.

Снова
Ново
Новые
На озерном серебре
Тростники запели.

За рекою на горе
Звонкоиглы ели.

За рекою на горе
Ветер негодует,
Рано, рано на заре
К бору подойду я.

Иван Доронин.

Из цикла „Городская вечерня".

У синего порога вечеров
Кто не стоял за городской вечерней!
Шум площадей упорней и безмерней,
Шум площадей, как стоязычный рев,
И как прибой безумен и суров,
А в небе час звезды, о тихий час вечерний!

Вожжами золотыми фонари
Развешены у каменных подножий
И в даль бегут, в глухое бездорожье,
Где до шафрановых костров зари
Одна звезда зеленая горит,
Как сторож вечности, который не поможет...

Но город ты! Надолго ли твой путь
Заброшен лапой каменной за вехи?
Закон полей, закон пустыни ветхий
Раздавит ли твою живую грудь,
Чтоб плакаться в осеннюю погудь,
Иль в ассирийский зной дремать под лаской ветки?

Случится ль так—одно, идешь вперед,
Во мгле веков качая фонарями.
Навстречу бьется дождь о серый камень,
Навстречу завтра буря заревет,
Но падает, стекая, небосвод,
И пьяно трубишь ты один за облаками.

В. Наседкин.

Тыл.

Развернула ночь большое знамя,
Черное с гудящими краями.

Фонари глядели, точно совы;
Чудилось,—они взлететь готовы.

Здания, заборы, дали
Наклонились, сжались, ждали.

Я сказал товарищу: нас двое
Только и осталось после боя.

Тяжело Москве—и нет подмоги
Далека Москва—и нет дороги...

Ничего товарищ не ответил —
Между нами вырос третий.

Вырос третий, знали о котором
Сумерки, да хмурые заборы.

Я подумал: он когда-то
Встретит пулей сердце брата.

Изрыгая радостное пламя,
Ожили каменья под ногами.

Чтобы город не пугать винтовкой
Подал мне товарищ мой веревку.

Вражье тело на себе почуя,
Покачнулось дерево, тоскуя.

Здания.
            Заборы.
                        Дали.
Мы опять с товарищем шагали.

Мих. Голодный.

Сороки.

В жизни всему свои сроки,
Всякому лиху пора...
Две белоперых сороки
Сядут на тын у двора.

Все по порядку гадалки
Вспомнят, что сам позабыл, —
Что погубить было жалко
И, не губя, погубил.

Словно бродяги без крову,
В окна заглянут года...
Счастье — как пряник медовый,
С солью краюха — беда.

Лень ли за дверь оглянуться,
Палкой воровок спугнуть: —
Жалко теперь обмануться,
Трудно теперь обмануть!

Вечер пройдет и обронит
Щит золотой у ворот. —
Кто ж тебя за руку тронет,
Кто же тебя позовет?!

Те же, как веточки, руки
Те же росинки у глаз...
Только теперь и разлуки
Не посулят ни на час...

Юность — пролет голубиный!..
Сердце — пугливый сурок!..
То лишь краснеет рябина,
В стрекоте вещих сорок.

С. Клычков.

Г. С. Хрусталев-Носарь.

Опыт политической биографии.

Дм. Сверчков.

В те годы...

(Необходимое предисловие.)

Либеральная буржуазия и мещанство выдвинули в 1905 году двоих «героев» революции, не заметив истинного и единственного героя первой революции — рабочего класса в его совокупности.

Имена этих двоих «героев» прославлены были на все лады тогдашними газетами и известны чуть ли не всей Европе. Это — Георгий Гапон и Георгий Хрусталев-Носарь.

9 января 1905 года громовым раскатом раздалось по всей России. В один день русский рабочий класс понял и истинную сущность революционной борьбы, и значение революционных партий, и собственную роль пролетариата в революции.

Перед 9 января руководителем движения, учитывавшим революционную природу рабочего класса и пытавшимся уложить ее в рамки мещански-поповских воззрений, был священник Георгий Гапон. После 9 января гапоновская ряса перестала сразу играть какую бы то ни было роль в жизни и борьбе революционного пролетариата. Мозг масс прорезал свет понимания действительности, в памяти встали предупреждения революционных партий, и их лозунги, от которых зачастую отворачивался рядовой рабочий, стали близкими, понятными, вполне осознанными. Десятки лет настойчивой пропаганды и агитации не могли бы дать такого результата, который принес один единственный день — 9 января.

Влияние партийных организаций в рабочей среде возрасло в тысячи раз. Только партия давала верный ответ и верную оценку происшедшему. Только после 9 января до очевидности ясными обозначились перед всеми те пути, по которым пойдет русская революция.

Однако при ближайшем ознакомлении с программами и тактикой различных существовавших тогда революционных партий и фракций, рабочие ощущали крайнюю трудность разобраться в причинах их споров. Теперь,

когда Советская власть существует уже 6 лет, когда Октябрьская революция поставила весь рабочий класс и все трудовое крестьянство по одну сторону баррикад и отшвырнула в лагерь белогвардейщины социалистов-революционеров и меньшевиков, когда истекли годы нечеловеческой напряженнейшей и небывалой в истории мира борьбы за существование Советской республики с отечественными и иностранными врагами и капиталистами всех национальностей, — не представляет никакой трудности разобраться в тех разногласиях, которые существуют между коммунистами и всеми остальными враждебными им группировками. Теперь уроки русской революции разделили весь мир на два лагеря, между которыми нет никакой связи и которые находятся в ожесточенной борьбе между собою, исход коей в пользу пролетариата предрешен историей. Теперь, кроме программы коммунистической партии, зовущей вперед, к всеобщему труду, основанному на всеобщем равенстве, кроме коммунистической тактики захвата власти рабочим классом и, путем установления диктатуры пролетариата, низвержения политического и экономического господства буржуазии, — нет других не только революционных, но даже просто прогрессивных программ, ибо все они в конечном результате охраняют власть капитала и являются консервативными или реакционными. Тогда социал-демократическая партия делилась на две фракции: большевиков и меньшевиков, тактические разногласия между которыми уже ясно содержали в себе основу для нынешнего расхождения, тогда партия социалистов-революционеров толковала на всех перекрестках о главенствующей роли крестьянства и крестьянской общины, как преддверия к социализму, и применяла охотно террор по отношению к крупным представителям царского правительства. Эти партии тогда одинаково привлекали к себе отдельных революционно настроенных представителей трудового населения. Рабочий класс во всей его совокупности правильно чувствовал приемлемость для него только марксизма, но непреодолимой трудностью стояли перед ним только еще начавшие оформляться разногласия между фракциями единой социал-демократической рабочей партии и вызывали только недоумение. Массе рабочих казалось таким естественным, чтобы все революционные партии об'единились для низвержения царского правительства, и совершенно ненужными представлялись теоретические споры о роли пролетариата и крестьянства в революции, о будущем после революции, об организации власти и т. д. Но к их удивлению партия не оставляла этих вопросов, ибо хорошо понимала, что, свалив старую власть, нужно гарантировать рабочий класс от капиталистической кабалы, нужно готовить немедленный штурм другого врага — буржуазии.

Перед 9 января широким рабочим массам не было очевидно, что кроме революции и вооруженной борьбы другого исхода для пролетариата и крестьянства нет. Поэтому масса пошла за попом, показавшим какую-то другую дорогу, но выставила, однако, в своей петиции царю те требования, которые содержались в программе социал-демократической партии.

После 9 января необходимость революционного пути стала очевидна для всех, но разногласия и споры между партиями приводили к мысли об'единить движение под представительством беспартийного революционера, не дорос-

шего еще до понимания партийной программы и партийных разногласий, а выставлявшего на-ряду с массами лозунг об'единения всех для борьбы с самодержавием и не задумывавшегося о завтрашнем дне.

Таким беспартийным представителем явился в 1905 году помощник присяжного поверенного Георгий Степанович Носарь-Хрусталев.

Теперь, когда жизнь его прошла перед нами и закончилась такой же бесславной смертью, как и священника от охранки Георгия Гапона, можно подвести итоги и выявить, что̀ представлял собою этот второй «герой» 1905 года.

I. Рыба ищет где глубже...

Георгий Степанович Носарь был сыном интеллигентного крестьянина Пирятинского уезда Полтавской губернии. Его отец был прикосновенен к народовольческому движению, участвовал в крестьянских беспорядках, будучи волостным писарем, за что поплатился ссылкой в Сибирь. Он был знаком с Н. К. Михайловским, который считался крестным отцом его сыновей, и поддерживал связи с народниками из «Русского Богатства».

После ссылки отец Г. С. Носаря поселился в Переяславле, где занимался частной адвокатурой и сотрудничал оттуда в петербургских газетах.

В семье Носаря любили рассказывать про предков, бывших запорожскими казаками, обращенных Екатериной II в крепостные, про отказ прапрадеда Г. С. Носаря выполнять крепостные повинности и про жестокие порки, которым он подвергался за это на барской конюшне. Прапрадедом гордились и считали, что его заветам должны следовать все его потомки.

Г. С. Носарь поступил в Переяславскую гимназию, потом перевелся в Киев, где и окончил гимназический курс в 2-й Киевской гимназии, где во время ученичества уже принимал участие в политическом движении среди гимназистов. По окончании гимназии он поступил на юридический факультет Петербургского университета.

Бурный 1899 год, явившийся первым годом широкого развития студенческих беспорядков, застает Носаря студентом. Студенческое движение того времени нельзя назвать революционным, ибо оно в высшей степени слабо касалось политики и преследовало лишь свободу землячеств и студенческих касс взаимопомощи и свободу преподавания. Тем не менее, против руководившего движением студенческого «организационного комитета» выросла черносотенно-белоподкладочная организация «студентов-академистов» (Белоподкладочниками их называли потому, что они отличались франтовством и щегольством и в большинстве носили студенческие сюртуки на белой шелковой подкладке).

Г. С. Носарь примкнул к этим черносотенным академистам и принимал все меры к тому, чтобы не допустить студенчество стать на путь политической борьбы, а ограничить свои стремления лишь частичными изменениями студенческого устава. С речью в этом смысле он и выступил от имени академистов на общей сходке студентов Петербургского университета, созванной для обсуждения вопроса о забастовке.

Речь Носаря, однако, никакого успеха не имела, и забастовка была декретирована огромнейшим большинством студентов, всего против нескольких единичных голосов.

По окончании сходки, Носарь немедленно подошел к членам организационного комитета, руководившим движением, и заявил им следующее:

«Видите ли, я вполне солидарен с вами и выступал против забастовки только потому, что не надеялся, что она может пройти. Мне казалось, что студенчество еще не созрело даже для скромных политических требований. Я ошибся, и потому открываю вам свое настоящее лицо и прошу принять меня в члены организационного комитета»...

Я не знаю, как отнеслись тогда студенты к этому повороту Носаря на 180 градусов, но в том же 1899 году против Носаря в губернском жандармском управлении возбуждается дело, как против одного из руководителей студенческих организаций, его арестуют и высылают под гласный надзор полиции на три года без права жительства в университетских городах и фабричных центрах.

Политическая карьера начата, но Носарю не хочется бросать мечты и о маячащем вдали университетском дипломе...

Он вступает из ссылки в переписку с министром народного просвещения генералом Ванновским. О чем писал высланный студент генералу-министру, чем именно заинтересовал его и привлек к себе его симпатии — неизвестно, но в результате генерал Ванновский сделал распоряжение о предоставлении Носарю—совершенно исключительного права—держать экстерном государственные экзамены при Демидовском лицее в Ярославле.

Чтобы выдержать экзамены — нужно к ним подготовиться, а подготовка требует времени и усидчивой работы. Сократить об'ем экзаменов можно, получив у профессоров удостоверения о сдаче зачетов по предметам студенческого курса. Носарь и здесь проявляет недюжинные способности: он посещает одного за другим профессоров Петербургского университета, явившись нелегально в Петербург, и, перед одними ссылаясь на свое бедственное положение, как сосланного студента, перед другими приводя другие мотивы, получает записи о сдаче зачетов, которых он никогда не держал.

В результате — разрешение министра Ванновского пущено в ход, — и Носарь — обладатель диплома, дающего ему право стать помощником присяжного поверенного и нацепить на себя университетский значок.

Носарь поступает на службу помощником юрисконсульта на Харьково-Николаевскую железную дорогу и занимается на юге России широкой адвокатской практикой, используя связи своего отца.

Защищая правой рукой в качестве юрисконсульта интересы железной дороги на суде против пред'являемых к ней исков (в том числе, конечно, и со стороны рабочих), Носарь левую руку держит в либерально-оппозиционных сферах, не желая терять некоторого стажа, который ему дала студенческая ссылка. Работа его в качестве защитника интересов железной дороги — сначала Харьково-Николаевской, а потом Николаевской (ныне Октябрьской) железных дорог была столь успешна, что, просидев год в тюрьме по делу

«Петербургского Совета Рабочих Депутатов 1905 года», будучи осужден и отправлен в ссылку на поселение, бежав оттуда в Париж, Носарь и в Париже все еще получал от железной дороги проценты за выигранные на суде начатые им дела.

В своей речи на суде в 1916 году Носарь сказал:

«Я был юрисконсультом управления железных дорог и считался необходимым человеком как специалист по железнодорожному праву. В течение моей непродолжительной службы я выиграл казне на 2½ миллиона рублей исков. И долго спустя после моего бегства из России я получал судебные издержки и процентное вознаграждение по выигранным делам».

II. На пути к славе.

Гапоновское движение и январские дни 1905 года застают Носаря в Петербурге. Никакой роли во время Гапона Носарь не играл, но всеми силами стремился завязать связи с рабочими, в чем ему покровительствовали, видя в нем своего человека, тогдашние «освобожденцы»,—впоследствии «кадеты» во главе с Прокоповичем, Кусковой и петербургскими кругами их заграничного идеолога П. Б. Струве.

После 9 января 1905 года царское правительство учредило «для безотлагательного выяснения рабочих нужд в Петербурге и его пригородах» комиссию сенатора *Шидловского*. Рабочим было предложено выбрать своих представителей в эту комиссию по расчету 1 делегата на 500 рабочих, при чем было обещано, что депутаты рабочих не понесут наказания за «деловые суждения».

Революционная социал-демократия выставила по отношению к этой комиссии следующую программу действий: выборщики должны пред'явить к правительству ряд требований, — освобождения всех арестованных за участие в движении 9 января, гарантии неприкосновенности рабочих за высказываемые суждения и проч. и в случае неисполнения этих требований—отказаться от участия в комиссии.

Таковы были предложения революционной рабочей социал-демократической партии, но не таковы были желания либеральной буржуазии, мечтавшей об «успокоении» рабочего класса каким бы то ни было путем и видевшей в комиссии сенатора Шидловского один из способов такого успокоения. Проводником этих своих планов господа либералы избрали Носаря.

Вначале Носарь имел намерение пройти в комиссию Шидловского в качестве депутата от рабочих печатного дела, с которыми у него завязались связи. Однако в исполнении желания рабочих выставить своими депутатами интеллигентов им было отказано. Тогда Носарь уговорил рабочего депутата фабрики Чешера Петра Алексеевича Хрусталева уступить ему свои документы и под именем Хрусталева явился в комиссию Шидловского с намерением проводить в ней органическую работу и без тенденции ее бойкотирования.

Как известно, комиссия не успела даже сорганизоваться, как была закрыта, избранные депутатами рабочие были арестованы, и дело кончилось только этим. Был раскрыт и псевдоним Носаря, и способ, каким он проник в комиссию. Он был арестован. На жандармском дознании по этому делу Носарь об'яснил в своем показании, что он проник на выборы в Народный дом Нобеля 18 февраля, интересуясь вообще рабочим вопросом и собирая материалы для своей диссертации...

Не знаю, насколько жандармы поверили этому об'яснению, но история с проникновением в число выборщиков в комиссию Шидловского Носаря с чужими документами нашумела в Петербурге. Либерально-буржуазные круги, конечно, принимали все меры, чтобы как можно более широко рекламировать таланты того, кто—единственный!—брался проводить в рабочих кругах их идеи и вербовать сторонников их политики.

События способствовали такой рекламе.

В июне 1905 года роль «успокоителя» рабочих приняло на себя организовавшееся после 9 января «Общество для активной борьбы с революцией», во главе которого стояли черносотенцы Дезобри и Полубояринова и в числе членов которого находились Юскевич-Красковский и другие лица, прославившиеся впоследствии убийством члена Государственной Думы Герценштейна и покушением на Витте, которого они также считали «революционером». Общество это пригласило рабочих на широкое собрание в зале городской думы для выяснения нужд рабочего класса и способов их удовлетворения. Наша партийная публика призвала всех к бойкоту этого собрания. Тем не менее, в назначенный час в городскую думу явилось свыше тысячи рабочих.

Дезобри открыл собрание и хотел начать речь, но его прервали и заявили, что председателя собрания надо выбрать. Он вынужден был предложить наметить кандидатуры. Напрасно рабочие искали в своей среде кого-либо из известных им партийных работников, чтобы предложить их в председатели. Они отсутствовали, но на-лицо был Носарь, известный уже по комиссии Шидловского. Была выставлена его кандидатура, и он был выбран председателем почти единогласно. Заняв председательское место, он прежде всего предложил Дезобри и его присным покинуть собрание и открыл митинг, на котором говорились речи о необходимости свергнуть самодержавие. Этот митинг и обстоятельства его организации еще более увеличили известность Носаря.

Популярность была создана в достаточной мере, и Носарь немедленно решил приступить к ее использованию.

Он не имел ничего общего с социал-демократической средой. О своих политических убеждениях Носарь сам говорил в речи на суде в 1916 году следующее:

«...Я никогда не примыкал ни к каким политическим партиям и никогда не подписывался под их программами, избегая широких торных дорог, я плелся на задворах жизни, где, в тревогах личной уединенной совести таких же искателей, как я, искал новой правды жизни»...

Как это бывает очень часто, непринадлежность ни к какой политической партии и «искание новой правды жизни» привели его окончательно к таким же «искателям», которые состояли в рядах противников революционного рабочего движения, и «тревоги личной уединенной совести» замолкли, как только Носарь попал в среду либеральной буржуазии... Успокоенный Носарь нашел «новую правду жизни» в «Союзе Освобождения» — прародителе «конституционно-демократической партии» и родном детище известного профессора Павла Николаевича Милюкова.

Носарь стал во главе попытки этого «союза» создать среди рабочих желтую организацию сторонников либеральной буржуазии и проводников в рабочую среду взглядов П. Н. Милюкова и П. Б. Струве.

Из материалов департамента полиции, находящихся ныне в нашем распоряжении, видно, что 3 июля 1905 года в квартире Носаря на Удельной было арестовано собрание союза рабочих группы «Освобождение», при чем Носарь являлся главным организатором этого «союза» и его главным руководителем. В последнем жандармы ошиблись: руководителями «союза» были, конечно, Милюков, Струве, Прокопович, Кускова и их присные, а вовсе не «искатель новой правды жизни» беспринципный Носарь.

Как бы то ни было, но Носарь был арестован, содержался в тюрьме до 2 сентября 1905 года, после чего был выслан с воспрещением жительства в Петербурге и в Петербургской губернии.

Вначале к Носарю отнеслись весьма серьезно и заключили его в Петропавловскую крепость. Впоследствии, комендант Петропавловской крепости, генерал от инфантерии Эллис, жалуясь на нарушения Носарем крепостной дисциплины во время его заключения по делу Совета Рабочих Депутатов, вспоминал в официальной бумаге, что когда Носарь сидел в крепости с 26 июля по 2 сентября 1905 года, т.-е. по освобожденческому делу, он «вел себя тихо» и неуклонно исполнял все пред'являвшиеся к арестованным правила (Письмо коменданта Петропавловской крепости директору департамента полиции от 8 декабря 1906 г. № 86).

III. Политическое кредо Носаря.

Как я уже говорил, часто беспартийность означает принадлежность ко всем партиям и течениям, враждебным революционному рабочему движению. Этой же «беспартийностью» характеризуется и политическая физиономия Носаря-Хрусталева на всем протяжении его жизни.

Предоставим слово ему самому:

«Еще студентом первого курса юридического факультета Петроградского университета я веду библиографический отдел в «Русском Богатстве», встреченный радушно выдающимся русским публицистом Н. К. Михайловским. Но официальное народничество меня не удовлетворяет, так как оно не освещает всех запросов моего духа. По личному опыту, как представитель труда, и бессознательным подсказыванием интуиции, я чувствовал, что русское освободительное движение выльется в форму рабочего движения, или оно

совсем не будет иметь места в России (Здесь Носарь — совершенно неосновательно — хочет намекнуть, что «мы пахали» вместе с Плехановым, который в 1889 году произнес свое знаменитое пророчество, что «русская революция восторжествует как рабочая революция или не восторжествует вовсе». *Д. С.*) Но я не примкнул к шумному потоку марксизма, хотя хождение тогда в марксизм и пролетариат было самой модной интеллигентской болезнью вроде инфлуэнцы. Марксизм экономических чертежников, выводивших перпендикуляром из брюха все от идеологии до религии и искусства включительно, претил моей натуре своей схематичностью, явным упрощением и извращением всей сложности жизни. Вследствие этого я не примыкал и к социал-демократам и в то же время настойчиво и страстно порывался подвести разраставшееся стихийное рабочее движение под приемлемую для меня и освещавшую формулу. И я искал ответа во всех направлениях. Предисловие П. Н. Милюкова к его «Истории русской культуры» побудило меня вступить в переписку с П. Н. Милюковым, бывшим тогда профессором Софийского университета в Болгарии... Люди, которые имели в моей жизни наибольшее влияние или к которым я чувствовал наибольшее личное влечение ввиду личных отношений, были: Н. К. Михайловский, П. А. Кропоткин, генерал-адъютант П. А. Ванновский, И. И. Мечников, Жан Жорес и В. Д. Бурцев...» (Г. Хрусталев-Носарь. «Из недавнего прошлого». Переяславль 1918 г.).

Все эти личные искания Хрусталева-Носаря, естественно, прежде всего привели его к тому, что он в опубликованной в газетах и приведенной им в цитируемой мною брошюре речи, произнесенной перед царским судом 16 сентября 1916 г., прежде всего обрушился с обвинениями против революционной социал-демократии, как это он сделал впрочем еще раньше из-за границы в письме, с радостью помещенном Сувориным в черносотенном «Новом Времени».

На суде он говорил:

«Партийные бюрократы, отождествляя партийную бумагу с историческими силами, творящими жизнь, впали в другую крайность и свели к нулю историческое значение акта 17 октября 1905 г. только потому, что он был написан на бумаге, хотя от этой даты начинается новая история России.

«...Вся тактика должна была сводиться к укреплению занятых позиций и их защите, но партийная бюрократия, чуждая верной оценке исторических сил, хотела одним прыжком перескочить из безводных пустынь Сахары в социалистический Эдем, и потому она очутилась у разбитого корыта... Подпольная бюрократия называла проявление общественной мысли «хрусталевщиной», «гапоновщиной» и шельмовала его... Представьте вы, господа, подсудимого между двумя бюрократиями подпольной и надпольной (правительственной), между молотом и наковальней. Я не только их ненавидел всеми силами своей души, но на борьбу с ними отдал всю свою молодость и всю свою энергию. Странное дело. Борясь на оба фронта с обеими бюрократиями, я считался нужным человеком в каждой из них» (Там же, стр. 22 — 24).

Что касается последнего, здесь необходимо сказать, что Носарь жестоко ошибался: партийная «бюрократия», как он ее называет, совершенно

не считала его нужным для себя, — в результате чего и получились все его заграничные блуждания. Что касается до того, считала ли Носаря нужным для себя бюрократия царского правительства—ни утверждать, ни отрицать этого у меня нет данных, так что я не могу в этом оспаривать заявления самого Носаря.

IV. На вершине славы.

С таким программным багажем Носарь-Хрусталев появился на широкой арене революционного рабочего движения осенью 1905 года.

Возвратившись нелегально в Петербург в конце сентября 1905 года, он предложил свои услуги в качестве юрисконсульта «союзу рабочих печатного дела», стал выступать на общих собраниях союза и всеми силами искал доверия и популярности.

Началась небывалая в истории революционной борьбы всеобщая забастовка в октябре 1905 года. Социал-демократы, стремясь об'единить силу удара всего восставшего рабочего класса, бросили призыв на фабриках и заводах выбирать представителей в «Совет Рабочих Депутатов», занявший почетное место в истории русской революции и явившийся прообразом государственного устройства вступившей ныне в седьмую годовщину своего существования Советской России.

Союз рабочих печатного дела, по расчету входивших в союз членов, должен был выбрать 10 депутатов в Совет. Последним из десяти—несколькими голосами — прошел в Совет Хрусталев-Носарь.

На втором заседании Совета, председательствовавший т. Зборовский заболел, и в порядок дня стал вопрос о выборе другого председателя. Решено было выбирать председателя на каждое заседание отдельно, чтобы не дать возможности главенства над Советом кому-нибудь из его членов, в случае избрания его постоянным председателем. Но и на этих условиях между депутатами Совета, принадлежавшими к разным партиям и разным фракциям, возникли споры. Каждый хотел провести в председатели представителя своей партии. Вопрос был решен избранием «беспартийного», каковым рекомендовал себя Носарь.

На следующих заседаниях вопрос о выборе председателя не поднимался: слишком непозволительным казалось тратить время на выполнение формальностей, когда каждый день представлял собою целую эпоху революционной борьбы. Носарь-Хрусталев хорошо вел собрания, и его молчаливо решили оставить на прежнем месте. Мы не учитывали и не предполагали нежелательных последствий этого, с которыми пришлось иметь дело потом.

Хрусталев—председатель Совета Рабочих Депутатов. С самого начала он афиширует всюду себя. При помощи услужливых газетчиков из мелкобуржуазной печати, его имя становится известным всему Петербургу. Либеральная буржуазия ликует: ее представитель и единомышленник, который только что—три месяца назад—организовывал рабочую группу милюковского «Союза Освобождения»—выскочил во главу широчайшего революционного рабочего движения. Он не даст рабочим развернуть борьбу с капиталистами.

Он удержит их от выявления их классовых требований. Он постарается влить их силы и энергию в дело борьбы с самодержавием, и как только цель — создание буржуазного парламента с господством в нем промышленников и помещиков будет достигнута,—он постарается, чтобы рабочие сложили оружие и предоставили господам Милюковым и Струве пожинать плоды их кровавой борьбы. Надо только увеличить его популярность. Надо сделать так, чтобы революционная рабочая социал-демократическая партия не смогла противодействовать его политике, чтобы всякое несогласие с Носарем считалось рабочими как святотатство, как кощунство над их «вождем».

Старания эти вполне совпали с желаниями самого Носаря. Он почувствовал себя главой революции. Он сам с гордостью называл Совет Рабочих Депутатов — «правительством Хрусталева-Носаря». А мы все, члены Совета и его Исполнительного Комитета, виновны в том, что своевременно не оборвали зазнавшегося выскочку, что смеялись над его честолюбием и самомнением, твердо зная, что рабочее революционное движение идет не по тому пути, который желателен Хрусталеву, что он сам вынужден извиваться, чтобы не разойтись с настроением всего рабочего класса, что он плывет по течению революции, тщетно стараясь удержаться за попадающиеся по пути щепки, напрасно хватаясь за протягиваемые из «Союза Освобождения» руки его либеральных единомышленников. Он видел и понимал, что сколько-нибудь заметный уклон в сторону Милюковщины моментально вышвырнет его из рабочей среды и из Совета.

Выше я приводил заявление Хрусталева-Носаря на суде в 1916 году о том, что он никогда не примыкал ни к каким политическим партиям и не подписывался под их программами. Это неверно. Уже на втором или на третьем собрании Совета Рабочих Депутатов Хрусталев-Носарь заявил официально, что он примкнул к социал-демократической рабочей партии, а равно сказал на нашем суде в 1906 году, что он — член социал-демократической партии. Сделал это он, конечно, против своей воли, но он вынужден был к этому, дабы сохранить свою популярность в рабочей среде и не подорвать доверия к себе: он видел, что огромное большинство членов Совета Рабочих Депутатов принадлежат к социал-демократической партии, что предложение Федеративного Совета партии всегда является точной и ясной формулировкой настроений и стремлений широких рабочих масс, что в партии рабочие видят свой передовой боевой отряд и что вне партии рабочие не признают своих вождей.

Федеративный Совет партии, Ленин, Троцкий, — вот на ком сосредоточилась во время деятельности Совета вся ненависть Хрусталева-Носаря.

Он был настолько умен, что сознавал свое политическое бессилие в каждом выдвигаемом революцией вопросе и свою безграмотность при его решении. Он в этом далеко уступал каждому рядовому рабочему, так как у него не было присущего пролетарию революционного чутья, не было хотя бы бессознательно правильной оценки момента, не было порыва, создаваемого классовой солидарностью и беззаветным стремлением к жертве собой во имя торжества в борьбе с капиталом и освобождения всех трудящихся от ига

эксплоататоров. Носарь был связан воспринятой от Милюкова и его компании буржуазной идеологией и являлся олицетворением насмешливой песенки, сложенной Ю. О. Мартовым в эпоху экономизма 1890 годов по адресу рецептов их органа «Рабочего Дела» — «Медленным шагом, робким зигзагом, тише вперед, рабочий народ...».

Носарь не терпел конкуренции, — и вынужден был по каждому вопросу обращаться за советом и указаниями к т. Троцкому... Носарь мнил себя выше всех,—и в силу необходимости подчинялся директивам Федеративного Совета партии... Это выводило его из себя, это заставляло его захлебываться от бешенства, и он не забыл эпохи Совета. Впоследствии не было случая, чтобы он не оклеветал партию, чтобы он не возвел какую угодно гнусность на ее руководителей...

Искренно и правдиво Носарь-Хрусталев излагал свои взгляды на Совет и на революцию 1905 года не в трескучих речах на собраниях Совета, не в невыносимо «левых» резолюциях, предлагавшихся им и постоянно проваливавшихся в Исполнительном Комитете, а тогда, когда ему не перед кем было больше заискивать, когда он свободен был от воздействия на него революционной рабочей массы. Прежде всего в тюрьме, после ареста по делу Совета.

В обвинительном акте по делу Совета Рабочих Депутатов 1905 года жандармы с удовольствием изложили точку зрения Носаря на Совет:

«Обвиняемый Георгий Носарь первоначально отказался от дачи об'яснений, а затем собственноручно изложил свое показание, в котором, исходя из того соображения, что Совет Рабочих Депутатов—председателем коего он состоял — стремился лишь к ограждению интересов рабочего населения и твердо стоял на правовой почве, проведенной в жизнь манифестом 17 октября, доказывал, что в деятельности этого Совета не могло быть и не было «ни ноты насилия»... (стр. 51 обв. акта).

«Вся тактика (Совета) должна была сводиться к укреплению занятых позиций и их защите»,—заявляет Носарь суду в 1916 году по поводу деятельности. Спб. Совета 1905 года и жалуется, что «партийные бюрократы» не согласились с этой предлагаемой Носарем тактикой. Дальше, не стесненный больше рамками царского самодержавия (если они когда-нибудь только стесняли Носаря), он высказывается еще определеннее. В цитированной мною уже книжке, выпущенной им в Переяславле в 1918 году, Носарь-Хрусталев обвиняет тов. Троцкого в том, что тот в Совете 1905 года «своей «левой» тактикой отрезал возможность мирного соглашения с абсолютной монархией на почве конституционной монархии...» (стр. VIII). Это — чистейшая программа Родзянко-Милюкова, с которой они носились в дни Февральской революции 1917 года и которая, к их глубочайшему неудовольствию, потерпела полный крах благодаря петербургским рабочим.

Говоря перед Петроградским окружным судом в 1916 году защитительную речь (Носарь привлекался за побег из ссылки на поселение), он не находит ничего лучшего, как обрушиться с грязнейшей клеветой на партию. Рассказывая о Лондонском партийном с'езде, на который он был будто бы выбран, не состоя членом партии и вопреки своему желанию (!), Носарь за-

явил, что на этом с'езде он окончательно порвал с партией. «Я не занимаюсь анатомией самоубийц, а партия окончила свою жизнь самоубийством на конгрессе в Лондоне, и я порвал последнюю связь с этим живым трупом»...

Во время деятельности Совета Рабочих Депутатов 1905 года было иное. Там Носарь расшаркивался перед партией и говорил о том, что гордится состоять в ее рядах.

Первое политическое выступление Носаря в Совете относится к заседанию 14 октября 1905 г., когда он предложил послать депутацию в городскую думу с требованиями: 1) немедленно принять меры для урегулирования продовольствия многотысячной рабочей массы, 2) отвести помещения для собраний, 3) прекратить всякое довольствие, отвод помещений и ассигновки на полицию и жандармерию и 4) указать, куда израсходованы 15.000 руб., поступившие в думу для рабочих. В требованиях этих не было ничего революционного, но—помимо инициативы Носаря—к ним были прибавлены партийными рабочими еще два: 5) выдать из имеющихся в распоряжении думы народных средств деньги, необходимые для вооружения борющегося за народную свободу петербургского пролетариата и студентов, перешедших на сторону пролетариата. Руководство этой частью народной революционной армии должно находиться в руках самого пролетариата. Суммы должны быть переданы общему Рабочему Совету и 6) Рабочий Совет, находя, что закрытие водопровода может вредно отразиться на здоровьи населения, требует от городской думы немедленного принятия мер к удалению войск из здания городского водопровода и предоставления его в распоряжение рабочих. В противном случае Совет предупреждает о возможности закрытия водопровода.

Хрусталев-Носарь был ошеломлен этими требованиями ровно настолько же, насколько ужасными они показались представителям либеральной буржуазии. Он не мог высказываться против них, но, войдя в число депутатов, отправившихся с требованиями в думу, в своей речи ровно ничего не сказал о пятом требовании и предоставил защищать его другому из депутатов—товарищу Б. М. Кнунианцу.

В дальнейшем ни одного из политических выступлений Носаря в Совете я не помню. Он не пропустил ни одного заседания, аккуратно и умело председательствуя на них, при чем старался быть совершенно об'ективным по отношению ко всем представителям партий, входивших в Совет.

С утра Носаря можно было видеть каждый день в помещении Исполнительного Комитета Совета. Он кончил тем, что переселился туда совсем на жительство, избрав маленькую заднюю комнату. Он старался принять всех, приходивших в Исполнительный Комитет, сам внимательно выслушивал каждого, обращавшегося к нему, и старался у всякого оставить хорошее впечатление о себе. В особенности он не пропускал случая афишировать себя как председателя Совета решительно повсюду, подписывал письма и ордера Совета своей полной фамилией и в результате, как видно из документов по делу Совета, стал известным охранке с первых дней существования Совета. Перед арестом Совета жандармское управление запрашивало Петербургскую охранку о составе Исполнительного Комитета, а охранка жаловалась в ответ, что

кроме председателя Совета Хрусталева-Носаря установить фамилии остальных членов Исполнительного Комитета не представилось до сих пор возможным. Этот ответ тем более любопытен, что он относится к тому времени, когда Совет открыто действовал уже 1½ месяца, при чем никто из нас, членов Исполнительного Комитета, никаких особых мер для конспирации не принимал, а только не афишировал там, где это не нужно, свое участие в Совете и Исполнительном Комитете.

Не будучи в состоянии осуществлять политическое руководство революционным движением, Носарь устремил свое внимание на авантюристические выступления. Он совершенно серьезно советовался как-то со мной о плане ареста председателя Совета министров графа Витте. Молва об этом ходила по городу не без участия самого Носаря. Он собирался захватить графа Витте в его квартире или на улице при помощи десятка вооруженных рабочих и отправить его под конвоем для содержания под стражей в одну из путевых железнодорожных будок, о чем вел переговоры с железнодорожниками.

В бумагах Носаря были найдены записи, показывающие, куда была направлена изобретательность этого человека. Он серьезно разрабатывал план ограбления оружейных магазинов Чижова и Венига, для чего имел намерение снять квартиры над этими магазинами и произвести кражу оружия (охотничьего) через пролом потолка. А через месяц, попав в руки к жандармам, он категорически отрицал какое бы то ни было отношение к идее вооруженного восстания и—через несколько лет—обвинял в неудаче революции тех, кто говорил о вооруженном восстании, стремился к вооружению рабочих и подготовлял почву для перехода войск на сторону революции.

18 октября—на следующий день после опубликования манифеста—к зданию Рождественских курсов, где заседал Совет, пришла огромная толпа манифестантов и обратилась с просьбой, чтобы Совет стал во главе шествия по городу. Мы выбрали троих «главнокомандующих»—Хрусталева, Троцкого и Кнунианца, которые стали во главе шествия под красным знаменем Совета, на котором горели слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Главнокомандующие повели манифестацию на Невский.

Когда мы вышли с Знаменской площади, перед нами открылся широкий Невский проспект, совершенно пустой почти до Литейного проспекта, возле которого Невский перерезывала поперек рота солдат. Мы бодро с пением революционных песен подвигались к ним. Пустое расстояние между нами уменьшалось. Что будут делать солдаты? Утром уже раздавались залпы войск по манифестантам, уже были убитые и раненые.

Тов. Троцкий, шедший во главе манифестации рядом с Хрусталевым, рассказывал мне, что Носарь совершенно преобразился. Он с'ежился, беспрестанно задавал вопросы будут ли стрелять, говорил, что хочет уйти, что он не совсем здоров и, наконец, заявил Троцкому, что свернет в первую улицу, так как чувствует себя совсем нехорошо и принимать участие в манифестации не может.

Тов. Троцкий резко сказал ему, что если он хочет в одну минуту потерять всю свою популярность в рабочей среде то для этого нет лучшего случая,

как покинуть сейчас манифестацию и уйти домой. Хрусталев, скрепя сердце, остался. Солдаты не стреляли.

С каким гордым и геройским видом он потом рассказывал всюду, как он руководил громадной манифестацией рабочих 18 октября!

18 октября—первый день существования «конституционной» России—ознаменовался, как я уже говорил расстрелами рабочих Совет Рабочих Депутатов решил устроить 23 октября торжественные похороны жертв новорожденной «конституции». С заявлением об этом, а равно с требованием убрать с улиц, по которым пойдет шествие, войска и полицию были командированы к председателю Совета министров графу Витте члены Совета Рабочих Депутатов: депутат Обуховского завода П. А. Злыднев, депутат металлического завода Н. М. Немцов и депутат союза рабочих печатного дела М. Л. Киселевич. Граф Витте дал им письмо к петербургскому градоначальнику. Письмо это было доставлено ими в Исполнительный Комитет Совета, и мы решили к градоначальнику не обращаться, а письмо возвратить нераспечатанным его автору.

Носарь-Хрусталев не пропустил случая изложить всюду это постановление Исполнительного Комитета в таком виде: Исполнительный Комитет поручает председателю Совета Рабочих Депутатов Хрусталеву-Носарю возвратить письмо председателю Совета министров графу Витте. С особым удовольствием он смаковал эту придуманную им редакцию постановления Исполнительного Комитета: им ведь подчеркивалось, что Хрусталев-Носарь является равнозначущим с графом Витте! Какая честь! Уже это одно дает возможность Носарю распространять всюду и везде версию, будто Совет Рабочих Депутатов является «правительством Хрусталева»...

Я не буду подробно останавливаться на истории Совета, излагать которую невольно пришлось бы, поскольку Хрусталев-Носарь являлся председателем его. Роль Носаря в Совете достаточно освещена в литературе об этой эпохе [1]. Скажу только, что сразу же после манифеста 17 октября Носарь, оставаясь председателем Совета по официальному положению, был нами отстранен от политического руководства выступлениями петербургских рабочих. Предварительное обсуждение тактики, которую должен предложить Исполнительный Комитет по выдвигаемым революцией вопросам, происходило в тесном кругу членов Исполнительного Комитета в отсутствие Хрусталева, а потом—на заседании Исполнительного Комитета—мы высказывались уже все единодушно, и Носарю не оставалось ничего делать, кроме как присоединяться к предлагаемым нами решениям.

Чувствуя, что социал-демократы—несмотря на то, что Носарь заявил о своем вступлении в партию—ему не доверяют, он начал окружать себя беспартийными рабочими, слепо верившими в его авторитет и значение, представителями партии социалистов-революционеров и т. д. На сцену появился брат Хрусталева, Степан Носарь, игравший какую-то роль в бомбистских предприя-

---

[1] См., напр., мою книгу „На заре революции“.

тиях эс-эровского толка и старавшийся внести и в Совет атмосферу боевой организации с.-р. партии.

Как страдал потом один из таких рабочих — тов. И. Л. Голынский, бывший честным и искренним революционером, хотя не принадлежавший ни к одной из партий, когда убедился, что только вследствие предательских показаний Хрусталева на жандармском дознании по делу Совета Рабочих Депутатов он попал на скамью подсудимых и получил — в числе 14 осужденных — ссылку на поселение с лишением всех прав, хотя он даже не был членом Совета. Хрусталев раскрыл роль Голынского при захвате типографий для печатания «Известий» Совета, и т. Голынский против которого не было в материалах нашего дела ровно никаких серьезных обвинений, в результате оговора со стороны Хрусталева отправился вместе с нами в Обдорск...

Однако я начал писать главу, озаглавив ее «На вершине славы», а говорю уже о бесславии...

V. По наклонной плоскости.

Когда началось падение Хрусталева-Носаря? В момент, когда он, убедившись, что даже об'явив себя членом партии не сможет играть руководящей роли в рабочем движении, начал противопоставлять себя партии и искать «новых путей» прежде всего для возможности своего главенства.

То обстоятельство, что с первых дней существования Исполнительного Комитета мы отмежевались от него, помогло ему прежде всего на жандармском дознании, где он противопоставлял свою тактику нашей, а потом при его дальнейших политических выступлениях, когда он неудачу революции 1905 года об'яснял тем, что рабочее движение не пошло по проводимому им руслу соглашательства с абсолютной монархией (уже не говоря о буржуазии) вследствие злонамеренной нашей деятельности, отвлекшей рабочие массы от Хрусталевской (Милюковской тож) тактики.

Просматривая в архиве дела 1905 года, я натолкнулся на довольно любопытный документ.

Вот его точная копия:

Его сиятельству графу С. Ю. Витте.
Пишу на машинке сам.

Ваше Сиятельство!

Ради бога запретите арестование Хрусталева и кого бы то ни было из делегатов рабочих. Такая мера вызовет взрыв и окончательно подорвет доверие. Между тем, по сведениям, которые я продолжаю собирать, Хрусталев более и более обрисовывается человеком, сдерживающим страсти. Ваша полиция ничего не понимает.

Прошу принять уверение в совершенном почтении и преданности. Петербург, 7 ноября 1905 г.

В. Белов.

Это письмо граф Витте переслал директору департамента полиции. Последний, естественно, прежде всего возмутился, что какой-то Белов позволяет себе говорить о том, что полиция ничего не понимает, и приказал доложить ему, что это за Белов. По наведении справок оказалось, что В. Бе-

лов — директор правления Юрьевского металлургического общества, знаком с высокопоставленными лицами и часто бывает в гостях у великого князя Александра Михайловича. Последнее обстоятельство моментально примирило директора департамента полиции с отправителем таких дерзких писем.

Фамилия Белова связана еще с кое-какими обстоятельствами жизни Совета Рабочих Депутатов. На одном из заседаний Исполнительного Комитета Хрусталев-Носарь заявил, что одно лицо предложило ему принять пожертвование в 30.000 рублей на расходы по издательской деятельности Совета и просил обсудить это предложение. Мы, естественно, поинтересовались, что это за щедрый жертвователь, и на каких условиях он дает деньги. Что ответил на это Хрусталев — точно не помню, но мы решили от этих денег отказаться, ибо — как это мы и заявили в прениях — от них сильно пахнет самим графом Витте. По некоторым, собранным мною, данным предложение денег исходило от этого самого В. Белова. Кстати отмечу, что (хронологически) после отклонения нами этого предложения граф Витте вступил в переговоры с Гапоном, обещал ему отпустить тоже 30.000 рублей, договорился, за получением этих денег Гапоном был послан Матюшинский, который благополучно украл из них 23.000 рублей, а остальные 7.000 передал Гапоновской организации, пытавшейся в конце ноября 1905 года оживить свою деятельность. На докладе своим единомышленникам Гапон говорил (удивительно схоже с заявлением Хрусталева), что неизвестное лицо, чрезвычайно симпатично относящееся к рабочему движению, хочет пожертвовать 30.000 рублей на рабочую издательскую деятельность...

Выводов из этих двух эпизодов делать не берусь, но думаю, что если бы удалось расследовать их, то могла бы получиться довольно любопытная картинка...

Какие именно «сведения» собрал Белов, убедившие его в том, что цель деятельности Хрусталева — это «сдерживание страстей» рабочих, — неизвестно, но нельзя отказать этому заявлению Белова в некоторой основательности...

Почти с первого дня своего возникновения Совет Рабочих Депутатов решил издавать свою газету, которая во время всеобщей забастовки освещала бы положение и осведомляла население о происходящих событиях (газеты не выходили). Но как это осуществить? В распоряжении Совета не было типографий. В кассе его лежали скудные гроши, собранные изголодавшимися за 1905 год рабочими. Организовать газету на тех началах, на которых существовали органы периодической печати стоило десятки тысяч рублей. Продавать нашу газету и тем покрывать расходы на ее печатание мы не могли. Оставался один выход: при помощи союза рабочих печатного дела использовать существующие типографии и печатать в них наши издания.

Организацией этого занялся депутат союза рабочих печатного дела и член Исполнительного Комитета Совета тов. А. А. Симановский.

Первый номер «Известий Спб. Совета Рабочих Депутатов» мы отпечатали в какой-то типографии за деньги, как частный заказ. Для издания второго номера была захвачена ночью десятком рабочих типография, и дело

было сделано. Захват типографии наделал много шума. Владельцы типографий потянулись с запросами в Совет: как им быть? Отказать в предоставлении типографии для отпечатания «Известия Совета» — нельзя, ибо слишком сильна и авторитетна сразу стала эта боевая организация рабочего класса в глазах всего населения. Предоставить добровольно свою типографию для нужд Совета — опасно, ибо правительство не преминет привлечь к ответственности тех, кто содействует изданию революционного печатного органа Совета. С письмом к Хрусталеву по этому поводу обратился и старый лакей самодержавия, издатель и редактор официозной погромно-черносотенной газеты «Новое Время», старик А. С. Суворин. Что писал Хрусталеву Суворин — неизвестно, но вот ответ Хрусталева в том виде, как он изложил его сам на жандармском дознании по делу Совета:

Милостивый государь, господин Суворин!

На ваше предложение отвечаю, что приехать для переговоров не могу. В настоящее время „Известия" будут выходить прежним порядком. Редакциям газет, в том числе и „Новому Времени", придется стать на революционный путь, когда мы будем у Вас печатать. Насчет будущих забастовок издание газеты или „Известий" будет зависеть от Совета. Председатель Хрусталев" (Обвинит. акт. по делу Совета Рабочих Депутатов 1905 г. стр. 52).

Струсившие владельцы типографий договорились с Хрусталевым об одном: для предоставления ими своих типографий Совету и вместе с тем избавления их от ответственности перед правительством, представители Совета при печатании у них «Известий» или других изданий Совета будут инсценировать насильственный захват типографий... Таким образом и овцы будут целы, и волки сыты.

Этот договор, на словах заключенный Хрусталевым с издателями газет и владельцами типографий, Хрусталев не преминул целиком рассказать жандармам на допросе. Вот как изложили жандармы и прокурор в обвинительном акте по делу Совета (стр. 51 и 52) показания Хрусталева-Носаря:

«...В частности, переходя к вопросу о завладении типографиями, Носарь утверждал, что захват их происходил по обоюдному согласию владельцев типографий или их заместителей и Совета (т.-е. Хрусталева. *Д. С.*). По словам обвиняемого, Совет, вынужденный для проведения всеобщей стачки приостановить выпуск газет в Петербурге, счел необходимым издавать собственный орган, носящий характер бюллетеня. По этому поводу Совет снесся с редакциями некоторых газет с целью выяснить, не уступят ли они для этого своих типографий. Ответы получились однородные: редакции заявили, что они, сочувствуя рабочему движению, готовы были бы помочь, но опасность уголовной кары не позволяет сделать этого. Ввиду сего он, Носарь, предложил «компромисс» такого рода: фиктивное насильственное занятие типографий по ордеру Совета, сопровождающееся якобы арестом застигнутых там служащих, и поэтому в случае возбуждения уголовного преследования против лиц, заведывающих типографиями,—полная безответственность последних. Предложение это было принято и, между прочим, занятие типографии газеты «Русь» было произведено именно на этих условиях, по сношению с заведываю-

щим ею. На том же основании Носарь утверждает, что если бы «Новое Время» отказало ему в предоставлении типографии для напечатания «Известий», то он, в свою очередь, отказался бы и от пользования этой типографией».

Таким образом—чего уже вероятно никак не ожидали газетчики с Сувориным во главе—«революционер» и «вождь рабочих» Хрусталев-Носарь—как только попал в руки жандармам—тотчас же разоблачил все «секретные договоры», заключенные им с представителями буржуазной и реакционной печати...

Все показания Хрусталева-Носаря изложены в обвинительном акте по делу Совета совершенно правильно. Мы были ошеломлены его предательством по всем пунктам и, получив возможность ознакомиться с 33 томами жандармского дознания о Совете, прежде всего бросились к показаниям Носаря и прочитали написанное его собственной рукой именно то, что было со смаком изложено жандармами в обвинительном акте.

Хрусталев-Носарь был арестован 26 ноября 1905 г. На его аресте правительство делало пробу предстоящей ликвидации всего Совета.

Вместе с Хрусталевым был арестован беседовавший с ним вождь партии социалистов-революционеров, известный В. М. Чернов. Однако полиция, по установлении его личности, немедленно освободила его.

У Хрусталева отобрали массу бумаг и всяких записок, в комнате, расположенной рядом с той, которую он занимал, нашли бомбу. Она была приготовлена для взрыва аккумуляторов почтамта, как об'яснял нам потом сам Носарь. Мы о существовании ее не подозревали.

Насколько Носарь небрежно относился к самым элементарным правилам конспирации, можно судить по тому, что в его бумагах найдены записки вроде следующей, имевшей, конечно, печальные последствия для упомянутых в ней лиц и организации:

«Ново-Черкасский полк. Семен Рыжиков, унт.-офиц. Он желает литературы, т. к. у них имеется своя организация и сильно нуждается в литературе...» (Дело департамента полиции, Госуд. архив).

К аресту Носаря правительство прибегло не сразу. Вопрос все время стоял в порядке дня на заседаниях Совета министров (это видно, между прочим, из вышеприведенного письма В. Белова), но правительство ждало, пока революционные выступления рабочих против капиталистов не отбросят всю либеральную буржуазию в об'ятия царского правительства. Расчет был верен. Уже на ноябрьском с'езде Милюковской конституционно - демократической партии раздались сильные голоса лидеров нашего российского либерализма в этом смысле. Профессор П. Н. Милюков крайне был обеспокоен вспыхнувшим в Севастополе восстанием на броненосце «Очаков» под предводительством лейтенанта Шмидта (14 ноября), но через день вздохнул свободно и радостно сообщил с'езду, что «восстание, слава богу, подавлено». Другой лидер либеральной буржуазии, распинавшейся в своем сочувствии рабочему движению, г. И. И. Петрункевич, заявлял на с'езде: «Я не социалист, но если бы мне кто-нибудь сказал, что социалисты спасут Россию, я первый протянул бы им руку... Пока же правительство—единственный орган, вокруг которого можно об'единиться...» («Право» № 44. 1905 г.).

Уже на учредительском с'езде партии «народной свободы» (к.-д.) в дни Октябрьской революции было установлено, что вопрос идет о том, как заменить «стихийный взрыв» мирным движением. А в ноябре, в дни голодной борьбы рабочих за восьмичасовой рабочий день, в партии «народной свободы» под гром аплодисментов говорилось следующее: «Необходимо бороться со всеми течениями, стремящимися принизить культуру (!), не страшась никаких обвинений... Страшна хозяйственная дезорганизация страны!» (П. Б. Струве на собрании членов к.-д. партии 11 ноября 1905 г.). Еще через неделю тот же оратор партии на учредительном собрании петербургского отдела *бросает ничего «не страшась» обвинение социал-демократической* партии в том, что она «проповедует принципиальную дезорганизацию общества»,—иными словами, проповедует разрушение общества,—и он звал либеральную буржуазию итти походом в рабочие кварталы отвоевывать себе у революционной социал-демократии членов в партию «кадетов» (Стрельский. Партии и революция 1905 г.).

В половине ноября 1905 г. петербургский отдел партии «кадетов»—по докладу того же Струве—отказался от демократических требований своей программы. На ноябрьском земско-городском с'езде Милюков, Струве и компания отказались от требования Учредительного Собрания и на последующем с'езде «кадетской» партии всеми силами старались увлечь мелко-буржуазные и промежуточные слои населения на борьбу против революции, называя это «организацией общественного мнения».

Немецкая буржуазная «Франкфуртская Газета» писала в ноябре 1905 г. о Московском с'езде земских и городских деятелей: «Среди них не нашелся второй виконт де Ноайль, который предложил бы отказаться своим товарищам от прав и привилегий дворянства, как это было в ночь на 4 августа 1789 года во время Великой Французской революции. На Московском с'езде тоже нет недостатка в красивых словах и громких фразах, но там не заметно того идеализма и воодушевления, которое обнаруживали в начале великой революции все французские сословия: буржуазия, дворянство, духовенство»... Да. Но зато на с'езде был А. И. Гучков, который заявил: «Я против отмены военного положения»...

Правительство чрезвычайно чутко прислушивалось ко всем речам либеральной буржуазии и ее партий, и 19 ноября 1905 года на свет появился следующий документ:

С.-Петерб. Градоначальника

Отдел по охранению общественной безопасности и порядка в столице.

19 ноября 1905 г.

№ 20967.

Секретно.

Начальнику С.-Петербургского Губернского Жандармского Управления.

Во время всеобщей политической забастовки, организованной и возникшей в октябре сего года по инициативе „Союза Союзов“, в столице выступила на сцену новая, весьма серьезная организация, присвоившая себе наименование „Совет Рабочих Депутатов“, фактическим руководителем и вдохновителем которой является известный присяжный

поверенный Григорий Степанович Носарь, скрывающийся в столице без прописки и в Совете известный под псевдонимом Хрусталева. Под этим псевдонимом Носарь впервые выступил 18 февраля сего года в Народном доме бр. Нобель во время собрания выборщиков в комиссию Шидловского (отношение Отделения от 19 февраля с. г. за № 3084).

Совет Рабочих Депутатов, являясь организацией беспартийной, имеет целью об'единить действия столичного пролетариата в его революционной борьбе с правительством и современным капиталистическим строем за демократическую республику и социалистический строй.

В состав Совета, число которого 262 человека, входят представители от разных организаций и делегаты со всех фабрик и заводов. Председателем Совета состоит его организатор Носарь (Хрусталев), при чем из Совета выделен Исполнительный Комитет,— фактический вершитель всех дел. В Исполнительном Комитете, состоящем из 10—15 членов, преимущественно интеллигентов, председательствует тот же Носарь.

Хотя октябрьская забастовка возникла по инициативе „Союза Союзов", но уже и тогда Совет Рабочих Депутатов стал проявлять свою деятельность в рабочей среде. Тогда же появился официальный орган Совета—его „Известия", печатаемые, как известно, в легальных типографиях с безмолвного согласия одних и посредством насильственного захвата других. В эту забастовку Совет Рабочих Депутатов серьезного значения не имел и руководителем забастовки, несомненно, был „Союз Союзов".

Самостоятельно на арену политической борьбы выступил Совет Рабочих Депутатов и бросил революционный вызов правительству и обществу сего 1-го ноября в знаменитом заседании в Соляном Городке, где решено было об'явить на следующий день в столице всеобщую политическую забастовку, как протест против об'явления Привислинского края на военном положении и суждения обвиняемых в Кронштадтских беспорядках военно-полевым судом.

Забастовка состоялась, и Совет Рабочих Депутатов таким образом доказал, что в среде столичной рабочей массы он пользуется громадным авторитетом и влиянием.

Во время забастовки состоялся под председательством Носаря ряд заседаний Совета Рабочих Депутатов, в которых обсуждались вопросы, связанные с забастовкой, современной политической жизнью страны и борьбой с правительством и капитализмом.

Все отчеты о заседаниях Совета напечатаны в „Известиях" №№ 5, 6 и 7, выпущенных во время забастовки.

На этих заседаниях был возбужден и обсуждался вопрос о революционном введении 8-часового рабочего дня на местных фабриках и заводах, и на заседании 6 ноября была вынесена следующая резолюция:

(Следует резолюция о 8-часовом рабочем дне.)

Ввиду этой резолюции, с прекращением забастовки 7 ноября, рабочие на некоторых фабриках и заводах, под давлением делегатов, стали вводить 8-часовой рабочий день, самовольно уходя с работ до свистка. Особенно это движение отразилось на заводах, расположенных по Шлиссельбургскому тракту.

Так как заводчики и фабриканты решили бороться с самовольным сокращением рабочего дня, а рабочие не уступали, то некоторые фабрики и заводы были закрыты, а рабочим об'явлен расчет.

12 и 13 ноября состоялись два экстренных заседания Совета Рабочих Депутатов по вопросу о 8-часовом рабочем дне, на которых вынесена резолюция о необходимости повсеместной агитации за сокращение рабочего времени. Подробный отчет об этих заседаниях с резолюцией прилагается.

В настоящее время, по имеющимся сведениям, в Совете предполагается обсудить вопрос о новой забастовке.

Из изложенного видно, насколько вредна и опасна в смысле государственном деятельность Совета Рабочих Депутатов, главным руководителем которого является вышеназванный Носарь, почему Господин Управляющий Министерством Внутренних Дел выразил желание о возможно скорейшем задержании его.

Сообщая о вышеизложенном вашему превосходительству на предмет возбуждения по настоящему делу формального дознания, Отделение присовокупляет, что если вопрос о привлечении Носаря будет решен в положительном смысле, то будет указано время и место, где может быть арестован Носарь.

Начальник полковник *Герасимов.*

Делопроизводитель *М. Красовский.*

В этом секретном письме прежде всего обращает на себя внимание та полнейшая политическая безграмотность, которой обладали его составители, призванные для борьбы с революцией.

Организацию и руководство октябрьской забастовкой охранное отделение приписывает «Союзу Союзов». Для тех, кто не знает, что это была за организация, скажу, что многочисленные союзы либеральной буржуазии, возникшие в 1905 году, об'единились в этом своем центральном органе для координированных выступлений. Туда вошли: союз профессоров, союз врачей, союз адвокатов, союз инженеров, союз журналистов, союз равноправия евреев, союз равноправия женщин и т. п. Стоит только вспомнить, кто начал октябрьскую забастовку и под какими знаменами она проходила, чтобы стало ясно, что ни профессора, ни адвокаты и инженеры, ни врачи не имели к ней почти никакого отношения, а к руководству ею—уже безусловно никакого. Российским рабочим классом никогда не руководила либеральная буржуазия.

Охранка правильно отметила огромную опасность для правительства в существовании Совета Рабочих Депутатов. Но пока на кадетских и других либеральных и радикальных с'ездах не зазвучали ноты недовольства революционным настроением рабочих, пока Милюковы и Петрункевичи не стали открыто заявлять, что в выборе между социалистами и царским правительством они предпочитают последнее, — никаких мер противодействия работе Совета не предпринималось. И лишь, прочитав протоколы кадетских с'ездов и аналогичные им документы, характеризующие поворот либерализма на путь контр-революции, министр внутренних дел «выразил желание о возможно скорейшем задержании Носаря»...

Хрусталев арестован. Немедленно по доставлении его в жандармское управление он гордо заявляет, что куда бы его ни запирали — Совет освободит его из заключения. В результате этого заявления Носаря отправили в Петропавловскую крепость.

В крепости первое время Носарь ведет себя крайне вызывающе и вынуждает коменданта ее неоднократно жаловаться в департамент полиции и противопоставлять его нынешнюю резкость с кротостью, которой он отличался три месяца назад, когда сидел там же по «освобожденческому» делу.

Реакция торжествует. Рабочие изолированы. Изнуренные нечеловеческой борьбой в течение всего 1905 года, они не имеют одни достаточно сил для сопротивления. И 3 декабря 1905 года правительство арестует почти весь Совет. Письмо охранного отделения по поводу ареста Совета тоже очень интересно, почему привожу его целиком:

С.-Петерб. Градоначальника

Отделение по охранению общественной безопасности и порядка в столице.

6 декабря 1905 года.

№ 21767.

Секретно.

Начальнику С.-Петербургского Губернского Жандармского Управления.

После ареста председателя Совета Рабочих Депутатов Георгия Степановича Носаря, Совет Рабочих Депутатов в заседании 27 мин. ноября выбрал исполнительное бюро в лице известного писателя социал-демократа Н. Троцкого (Яновского), рабочего Обуховского завода Петра Злыднева и Введенского-Сверчкова, которые коллегиально должны были исполнять обязанности председателя.

Таким образом деятельность Совета Рабочих Депутатов не прекратилась, и в первом же после ареста Носаря заседании Совет Рабочих Депутатов постановил продолжать подготовку вооруженного восстания с целью ниспровержения революционным путем существующего государственного, экономического и социального строя в России.

Для достижения этой цели и подготовки ожидаемой крайними партиями в скором будущем революции, Совет Рабочих Депутатов и другие революционные организации решили подорвать финансовое положение Империи и с этой целью выпустили об'явление, озаглавленное „Манифестом", заключающее в себе открытый призыв к деянию бунтовщическому и неповиновению закону, выразившийся в призыве: отказаться от взноса выкупных и всех других казенных платежей. Требовать при всех сделках при выдаче рабочей платы и жалования уплаты золотом, при суммах меньше пяти рублей — полновесной звонкой монетой. Брать вклады из сберегательных касс и из Государственного банка, требуя уплаты всей суммы золотом. Не допускать уплаты долгов по всем тем займам, которые царское правительство заключило, когда явно и открыто вело войну со „всем народом". Этот „Манифест" был отпечатан в газетах „Сын Отечества", „Новая Жизнь", „Наша Жизнь", „Свободный Народ", „Начало", „Русь", „Свободное Слово" и „Русская газета", против редакторов которых возбуждено судебное преследование.

3 сего декабря вечером, согласно уведомлению, полученному приставом I-го уч. Нарвской части от Председателя II отделения Вольно-Экономического Общества—проф. Явейна, в помещении названного общества, на углу 4-й роты и Забалканского пер. должно было состояться заседание Совета Рабочих Депутатов, а до этого, по имевшимся сведениям, предполагалось отдельное заседание Исполнительного Комитета.

Ввиду полученных распоряжений о задержании Совета Рабочих Депутатов, в 7 часов 20 мин. вечера в помещение Вольно-Экономического Общества был введен наряд полиции и войск, при чем в общем зале застигнуто 230 человек и отдельно, в так называемой „Советской" комнате, в верхнем этаже—37 человек, заседавших за столом. Когда был замечен приход полиции, один из заседавших в „Советской" комнате через окно, выходящее в общий зал, где предполагалось заседание Совета Рабочих Депутатов, крикнул приблизительно следующее: „Товарищи, Исполнительный Комитет постановил и об'являет, чтобы вы не оказывали сопротивления и не называли себя". При входе чинов полиции в „Советскую" комнату, где, как выше указано, заседало 37 лиц, один из них—Н. Троцкий—он же Яновский, встав с места, предложил собравшимся не называть себя, заявил протест против насилия и об'явил „собрание Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов закрытым". При последовавшей за тем переписи задержанных здесь лиц и при личном обыске никто себя не назвал, и лишь по разным документам установлены следующие лица: врач Андрей Юльевич Фейт, дворянин Николай Дмитриевич Авксентьев, сын купца Иосиф Исакович Гинзбург, провизор Семен Моисеев Клячко, наборщик Михаил Леонидов Киселевич, помощник контролера Балтийской жел. дор. Павел Васильевич Балашев, мещанин Николай Михайлов Немцов, Константин Яковлевич Масалов, кр. Александр Никитич Плеханов, Федор Флорианович Шанявский, Василий Иванович Зайцев. Александр Буров и Алексей Журавлев. Остальные не установлены, хотя, судя по приметам, одна

из трех задержанных в числе членов Исполнительного Комитета женщин есть известная Вера Засулич.

При личном обыске у некоторых задержанных отобраны разные документы, указанные в приложенной к протоколу описи. Затем в комнате, смежной с „Советской“ на шкапу найдены при обыске 4 конверта с разными документами, касающимися деятельности Совета Рабочих Депутатов, в том числе протокол заседания 3 с. декабря Исполнительного Комитета, из которого усматривается, что Исполнительный Комитет обсуждал вопрос о возможности немедленного вооруженного выступления и всеобщей забастовки. Тут же обнаружена печать с надписью: „С.-Петербургский Совет Рабочих Депутатов“.

В комнате, где происходило заседание, собрано много изорванных бумаг, а под шкапами—8 браунингов и один револьвер, каковое оружие оставлено для нужд Отделения.

Все застигнутые в этой комнате члены Исполнительного Комитета арестованы согласно прилагаемых постановлений.

Сообщая об изложенном, Отделение препровождает на распоряжение вашего превосходительства:

1) протокол, составленный о задержании собрания и об обыске;

2) список задержанных лиц;

3) все отобранное у них по личному обыску и по обыску в помещении, где происходило заседание;

4) постановления об аресте (будут присланы дополнительно).

Начальник полковник *Герасимов.*

И. д. делопроизводителя *М. Красовский.*

В течение первых месяцев заключения Носарь держался стойко. Коменданту крепости приходилось неоднократно посылать бумаги вроде следующей:

Управление коменданта
С.-Петербургской крепости.
14 декабря 1905 г.
№ 1126.

Секретно.

Заведывающему политической частью
департамента полиции.

Содержащийся в крепости арестованный Георгий Носарь третий день не ест, с кровати не встает и на прогулку не ходит. Говорит, что его неправильно арестовали и в особенности озлобился, когда получил ответ, что ему не разрешено департаментом полиции выписать двух книг.

О чем довожу до сведения вашего превосходительства.

Комендант, генерал от инфантерии *Эллис.*

На этой бумаге имеется резолюция директора департамента полиции: «не обращать никакого внимания».

В делах департамента полиции, находящихся ныне в Ленинградском отделении государственного архива, нет больше интересных документов, относящихся к Носарю. Однако переписки о Носаре чрезвычайно много. В особенности часто он занимался подачей жалоб на коменданта Петропавловской крепости и других лиц из крепостной администрации, за что был подвергаем наказаниям вроде лишения свиданий, прогулок и передач, а один раз был даже посажен на сутки в темный карцер.

В феврале — марте 1906 г. он изменил тактику и начал давать жандармам предательские показания, о которых я говорил выше.

(Окончание следует.)

Химическая война.

М. Павлович.

1. Применение удушливых газов в прошлом.

Литература о химической войне все более разрастается за границей, особенно в Англии, Америке и Франции. У нас в С. С. С. Р. кроме переводов двух интересных книг: 1) крайне тенденциозной, но содержательной работы майора Лефебюра «Загадка Рейна. Химическая стратегия в мирное время и во время войны» (183 стр. Издание «Военного Вестника») и капитального Труда А. Фрайса и К. Веста «Химическая война» (506 стр. Издание В. В. Р. С.), мы имеем целый ряд статей о перспективах применения химии в будущей войне в наших специальных журналах — в «Военном Вестнике», в «Военной мысли и революции», в «Военном Зарубежнике» и т. д. К сожалению, наша периодическая литература не специального характера совершенно не останавливалась до сих пор на вопросе о применении химии в будущей войне, вопросе, который на фоне современных международных отношений и нарастающего антагонизма между целым рядом капиталистических государств, равно как возможности нападения той или другой группы если не великих, то малых держав на С. С. С. Р., приобретает все более острый характер.

Если верно, что применение ядовитых газов во время мировой войны ведет свое начало с 22 апреля 1922 г., когда германцы в битве при Ипре сделали первую газовую атаку с применением баллонов хлора, давно и хорошо известного газа, совершенно неправильно думать, будто химический способ войны, отметивший новую эру в современных методах войны, ведет свое начало от германцев. Как рассказывает А. Фрайс: «Первая попытка одолеть неприятеля посредством выпуска ядовитых и удушливых газов, как кажется, была сделана во время войны афинян со спартанцами (431—404 до Р. Х.), когда, при осаде городов Платеи и Белиума, спартанцы пропитывали дерево смолой и серой и сжигали его под стенами этих городов, с целью удушить жителей и облегчить себе осаду. О подобном же применении ядовитых газов упоминается в истории средних веков. Действие их было похоже на действие современных удушливых снарядов, их выбрасывали при помощи шприцов или в бутылках, подобно ручным гранатам. Сказания передают, что Претер Джон (около XI столетия) наполнял медные фигуры взрывчатыми

и горючими веществами, дым которых вырывался изо рта и ноздрей этих фантомов и производил большое опустошение в рядах противника».

Чтобы не заходить далеко в глубь истории, укажем, что идея борьбы с противником путем применения газовой атаки намечалась в 1855 г. во время Крымской кампании английским адмиралом лордом Дэндональдом. В своем меморандуме от 7 августа 1855 г. Дэндональд предложил английскому правительству проект взятия Севастополя при помощи паров серы. Этот документ настолько любопытен, что мы приводим его целиком:

Краткое предварительное замечание.

«При осмотре серных печей в июле 1811 г., я заметил, что дым, который выделяется во время грубого процесса плавки серы, сначала, вследствие теплоты, подымается кверху, но вскоре падает вниз, уничтожая всю растительность и являясь на большом пространстве губительным для всякого живого существа. Оказалось, что существует приказ, запрещающий людям спать в районе 3-х миль в окружности от печей во время плавки.

«Этот факт я решил применить для нужд армии и флота. По зрелому размышлению, мною был представлен меморандум Его Королевскому Высочеству Принцу-Регенту, который соизволил его передать (2 апреля 1812 г.) в Комиссию, состоящую из лорда Кейтса, лорда Эксмаутса и генерала Конгрева (впоследствии сэра Вилльяма), которые дали о нем благоприятный отзыв, а Его Королевское Высочество соизволил приказать держать все дело в совершенной тайне».

7 августа 1855 г. Подписано (Дэндональд).

Меморандум.

«Материалы, необходимые для изгнания русских из Севастополя: Опыты показали, что из 5 частей каменного угля выделяется одна часть серы. Состав смесей из угля и серы для употребления в полевой службе, в которых весовое отношение играет очень важную роль, может быть указан проф. Фарадеем, так как я мало интересовался сухопутными операциями. Четырехсот или пятисот тонн серы и двух тысяч тонн угля будет достаточно.

«Кроме этих материалов необходимо иметь некоторое количество смолистого угля и тысячи две бочек газовой или иной смолы, чтобы сделать дымовую завесу перед укреплениями, которые должны быть атакованы или которые выходят во фланг атакуемой позиции.

«Необходимо также заготовить некоторое количество сухих дров, щепок, стружек, соломы, сена и других легко воспламеняющихся материалов, чтобы при первом благоприятном, устойчивом ветре быстро развести огонь.

7 августа 1855 г. (подпись) Дэндональд.

«Примечание: Ввиду специального характера поставленной задачи, вся ответственность за успех возлагается на лиц, руководящих ее выполнением.

«Предполагая, что Малахов курган и Редан являются целью атаки, необходимо окурить Редан дымом угля и смолы, зажженных в каменоломне, чтобы он не мог более обстреливать «Мамелон», откуда следует открыть атаку сернистым газом, чтобы удалить гарнизон Малахова кургана. Все пушки Мамелона должны быть направлены против незащищенных позиций Малахова кургана.

«Не представляет никакого сомнения, что дым окутает все укрепления от Малахова кургана до Бараков и даже до линии военного корабля «12 апостолов», стоящего на якоре в гавани.

«Две внешние русские батареи, расположенные по обе стороны порта, должны быть окурены сернистым газом при помощи брандеров, и их разрушение будет закончено военными судами, которые приблизятся и станут на якорь под прикрытием дымовой завесы».

Меморандум лорда Дэндональда, вместе с об'яснительными записками, был передан английским правительством того времени комитету, в котором главную роль играл лорд Плейфар. Этот Комитет, ознакомившись со всеми деталями проекта лорда Дэндональда, высказал мнение, что проект является вполне осуществимым, и обещанные им результаты, несомненно, могут быть достигнуты; но сами по себе эти результаты так ужасны, что ни один честный враг не должен воспользоваться таким способом. Поэтому комитет постановил, что проект не может быть принят, и записка лорда Дэндональда должна быть уничтожена. Каким путем сведения были получены теми, кто так неосторожно опубликовал их в 1908 г., мы не знаем; вероятно, они были найдены среди бумаг лорда Панмюра. Адмирал лорд Дэндональд, без сомнения, не принимал никакого участия в их опубликовании.

Конечно, проект, предложенный Дэндональдом, был отвергнут совсем не потому, что «ни один честный враг не должен воспользоваться таким способом». Из переписки между лордом Пальмерстоном, главой английского правительства в момент войны с Россией, и лордом Панмюром явствует, что успех способа, предложенного Дэндональдом, возбуждал сильнейшие сомнения, и лорд Пальмерстон вместе с лордом Панмюром боялись попасть в смешное положение в случае неудачи санкционируемого ими опыта. Если принять во внимание уровень солдат того времени, не подлежит сомнению, что неудача опыта выкурить русских из их укреплений с помощью серного дыма не только бы рассмешила и подняла дух русских солдат, но еще в большей мере дискредитировала бы английское командование в глазах союзных войск (англичан, французов, турок и сардинцев). Следует заметить, что немецкий удар на Ипре, который произвел ошеломляющее впечатление на французские войска, впервые подвергшиеся газовой атаке, и вывел из строя 5.000 человек убитыми и громадное число тяжело отравленных, не был использован до конца и не дал желаемых результатов отчасти по той причине, что сама немецкая армия не была подготовлена к использованию нового способа войны. Совершенно правильно майор Лефебюр, об'ясняя неудачу немецкого плана, указывает, что идея химиче-

ской войны, подготовка удара на Ипре была разработана несколькими немецкими учеными, сама же германская армия, настроенная пока скептически, оставалась в выжидательном положении. Десятки тысяч немецких солдат, принимавших участие в сражении на Ипре, после десяти месяцев тяжелой войны, которая в самом начале казалась им легкой «военной прогулкой» к Парижу, перестали уже верить всяким рассказам о возможности закончить войну одним ударом и крайне скептически *относились к новому оружию. Более того, каково бы ни было* мнение химиков, главных инициаторов опыта, германский генеральный штаб относился к проектируемому опыту с некоторой осторожностью и не верил в необычайные успехи, которые предсказывали ученые.

Между тем многие французские и английские командиры утверждают теперь, что если бы немцы сумели использовать до конца свой успех на Ипре, они прорвали бы фронт и открыли бы себе путь к Ламаншу, что могло бы быстро привести к окончанию войны.

Если предположить, что в таком утверждении есть немалая доля преувеличения, все же из опыта их на Ипре можно сделать один вывод. Если, с одной стороны, всякое новое могущественное изобретение, применяемое в войне, может дать реальный результат, поскольку оно является полной неожиданностью для неприятеля, с другой стороны, успех нового способа борьбы зависит, наоборот, от степени подготовки к этому способу, применяющей его впервые армии, и от степени уверенности последней в целесообразности и действительности нового средства нападения или борьбы.

Химический способ борьбы не ведет свое начало от германцев, от битвы на Ипре в апреле 1915 г. Однако не случайно, что впервые этот способ борьбы был именно Германией применен в широком, невиданном дотоле, размере и положил начало новому чреватому глубочайшими последствиями этапу в истории военного дела.

2. Химическая промышленность в Германии, химическая индустрия и война.

Накануне мировой войны Германия была первой страной в Европе по развитию своей химической промышленности. Эта отрасль немецкой индустрии была одной из важнейших основ экономического могущества Германии и главным фактором немецкой промышленности и торговой гегемонии на мировых рынках. Уже в 1897 г. общая ценность продукции химических фабрик определялась, по официальным данным, в 1 миллиард марок.

Среди других отраслей немецкой промышленности, работавших на иностранные рынки, химическая промышленность Германии занимала четвертое место, и в течение тридцати лет немецкие химические фабрикаты были вне конкуренции. Сумма экспорта немецких химических фабрикатов,

достигавшая 278 миллионов марок в 1891 г., равнялась 408 миллионам марок в 1901 г., 753 миллионам марок в 1911 г., 812 миллионам марок в 1912 г. Немецкие химические фабрикаты шли во все страны Европы, при чем одна Франция импортировала в 1912 г. из Германии химических фабрикатов на сумму 60.944.000 франков.

Именно гигантское развитие немецкой химической промышленности, в частности красильного производства, дало возможность Германии начать химическую войну в широком масштабе. Мы знаем, что главным продуктом, на переработке которого основан ряд важнейших отраслей химической промышленности, является так называемая газовая смола или каменноугольный деготь. От этой густой, черной, дурно пахнущей жидкости, как от центра, ведет свое начало фабрикация бесчисленного множества красок (анилиновых, ализариновых, азокрасок, сернистых красок и др.), поражающих взор красотой, яркостью и разнообразием оттенков; от него же исходит получение большого числа медикаментов, из которых достаточно назвать столь популярные: антифибрин, салициловую кислоту, аспирин, салол, фенацетин, антипирин, сальварсан и мн. др. Из каменноугольного дегтя фабрикуются и важнейшие взрывчатые вещества, применяемые и в военной технике и в горном деле (пикриновая кислота, тротил, нитронафталины и др.). *Важнейшие взрывчатые вещества, те самые, которые являются наиболее действительными материалами для начинки снарядов (пикриновая кислота, тротил, нитронафталины и пр.), получаются из того же самого исходного материала, который служит и для получения искусственных красок и лекарств—из жидких продуктов сухой перегонки каменного угля.*

Значительная часть химических операций, производимых на заводах, изготовляющих краски и лекарства, сохраняет свое значение и для фабрикации взрывчатых веществ, удушающих газов и т. п. Для получения пикриновой кислоты, напр., этого сильнейшего взрывчатого вещества, приходится раньше готовить карболовую кислоту, которая сама применяется в медицине и из которой на заводах готовят далее салициловую кислоту, салол, аспирин—всем известные лекарства. Для получения другого взрывчатого вещества (тротила) из бензола готовят анилин, который, в свою очередь, служит материалом для приготовления ряда красок (фуксин, метил-фиолет, метиленовая синь и много друг.) и таких лекарственных препаратов, как антифибрин, антипирин, сальварсан и др.

Благодаря этому, представляется возможным путем сравнительно небольшого переустройства и главным образом дополнительного оборудования превратить заводы мирного характера в заводы взрывчатых веществ (а также удушающих средств).

Одним из вопросов, волнующих французских и, отчасти, английских империалистов, является вопрос о контроле над производством химического оружия в Германии. Очень легко контролировать производство танков, ру-

жей, пулеметов, тяжелых и легких орудий и т. д. в Германии, ибо изготовление этого оружия требует сложных установок, которые трудно скрыть. Но как контролировать, как ограничить изготовление химического оружия? Чтобы отнять у Германии возможность готовиться к химической войне, необходимо попросту уничтожить крупную промышленность мирного времени—красильную промышленность, производство фармацевтических веществ и др. Мы знаем, что химические заводы, служащие мирным целям, в одно мгновение могут быть превращены в военные арсеналы.

Производство химических препаратов не похоже на производство пушек, танков и т. п.

Производство какого-нибудь химического военного состава может сделать необходимым применение четырех фаз или сложных операций, четырех превращений, из которых только последнее дает ядовитое вещество. Здесь контроль совершенно невозможен. Три первых реакции почти всегда будут иметь тесную связь с важным в коммерческом отношении веществом—красками, лекарствами, химическими препаратами и пр. Поэтому продукты этих реакций легко могут быть положены в склады и сохраняться готовыми для быстрого производства последней реакции. Даже и эта последняя операция может быть осуществлена, и полученное военное вещество может быть легко спрятано в какой-нибудь резервуар, скрытый в большей или меньшей степени. Чтобы быть действительным, контроль должен вмешиваться в технические тайны заводов; легко впасть в заблуждение еще и потому, что промышленная химия находится на пути постоянного развития. Число необходимых инспекторов и контролеров работы и жизни заводов превысило бы личный состав, обслуживающий заводы.

«Заводы Леверкузена, например,—пишет Лефебюр,—обнимают целый ряд различных производств: они рационально организованы, и место каждой составной части точно определено. Такое методическое устройство, безусловно, делает осуществление здесь контроля более благоприятным, чем где бы то ни было. Тем не менее его осуществление остается очень трудным. Каждый из двадцати громадных корпусов завода содержит несколько отделов и предназначен для производства промежуточных или конечных веществ. Для обнаружения ядовитых составов, о которых идет речь, наблюдение за двумя первыми корпусами было бы бесполезно, так как вещества для мирных целей и и для нужд войны идентичны. Дифференциация будет иметь место в других зданиях, предназначенных для производства готовых продуктов. Но в каждом из этих громадных корпусов можно одновременно вырабатывать более ста различных веществ и каждое из них может потребовать двух, трех или четырех различных операций. Раз члены одной официальной комиссии потребовали, чтобы им показали завод, где вырабатывался парамидофенол, важный состав, применяемый в красильной и фотографической химии. Их повели в большое здание, наполненное различными установками; проводники сказали им: мы не имеем специального завода для производства этого вещества; мы изготовляем его в этом здании вместе с большим числом других веществ; наш принцип — не иметь заводов, предназначенных для производства только од-

ного вещества, а наоборот — иметь заводы, способные быстро приспосабливаться для производства различных веществ. Кроме того, во многих процессах производства, вещества, после их доставки на завод, невооруженному глазу не видны и под давлением своей собственной тяжести переходят из одного закрытого аппарата в другой. Для осуществления контроля важно производство экспертиз в каждой фазе производства. Трудность контроля, даже при наличии более благоприятных обстоятельств, бесспорна; для этого понадобится значительный личный состав; кроме того, заводы Рейна — не больше, как уголок мировой промышленности. Наконец, и шансы на успех минимальны. В большинстве случаев противник, располагающий развитой органической химической промышленностью, не имеет никакой необходимости предпринимать производство в мирное время. Он сможет начать производство на заводах даже с началом войны.

Затем подымается вопрос о применении химических веществ. Новое химическое вещество решающего значения может установить новый образец химического снаряда. Оно может также применяться в баллонах, бомбах и проч.

Газомет Ливенса, имеющий большое значение, уже измененный германцами и могущий быть еще более усовершенствованным, без особого труда вырабатывается на заводах, изготовляющих трубы и трубки, где возможно также и производство снарядов. Действительно, одной из особенностей химической войны является то обстоятельство, что для целей ее нет необходимости в большой меткости, откуда — и упрощение производства минометов. Из сказанного вытекает, что с помощью контроля, обреченного на неудачу, никакая охрана достигнута быть не может. Необходимо искать другие средства.

Существует большая разница в подготовке механической и химической войны. Эта разница имеет свое значение с точки зрения разоружения. Механические средства войны в общем очень сложны: пушка Левиса, например, имеет бесчисленное число частей; тяжелые орудия снабжены сложными механизмами и пр... Это вызывает необходимость особого производства и наличия специальных заводов. Что же касается работ и опытов по их усовершенствованию, то к ним надо приступить в широком масштабе. В этих условиях контроль осуществляется легко. Сложность и точность оружия имеют следствием необходимость тщательного подбора личного состава; в настоящее время нужно много времени, чтобы подготовить хорошего артиллериста или пулеметчика, который должен не только уметь пользоваться своим оружием, но должен также быть в состоянии разбирать его и производить мелкие исправления. Следовательно, условия для формирования личного состава уже сами по себе представляют затруднения для каждого государства, пожелавшего неожиданно расширить свое вооружение.

Но подготовка химического способа действий носит совершенно другой характер. Ценность вещества заключается в его воздействии на человеческий организм и в тех разрушениях, которые оно производит. Конечно, если конструкция пушки сложна, то и состав какого-нибудь вещества может быть также сложным, но средства применения во втором случае значительно проще и необходимый контроль гораздо легче.

Открытие наиболее важных во всем мире химических составов может быть осуществлено при помощи самых простых лабораторных средств: несколько колб, несколько чашек и мисок и небольшое количество обыкновенных составов достаточно, чтобы со всем этим оперировал ученый специалист. Какова бы ни была структура вещества, атомная или молекулярная, она не мешает предпринимать опыты в широком масштабе. Неправильно было бы говорить, что можно провести параллель между сложностью молекулы и заводом, который ее произвел. Сложные мышьяковые вещества Синего Креста изготовлялись в Германии на заводе, который был олицетворенной простотой, по сравнению с отличнейшим оборудованием, созданным для производства олеума, сгущенной формы серной кислоты и основного вещества при производстве взрывчатых составов. Вместо того, чтобы строить громадный токарный станок, кузницу или сложные установки, вы самым простым способом устанавливаете известную температуру или давление, или изменяете среду, в которой происходит реакция. Конечно, вопросы тех или иных установок имеют свое значение в промышленной химии, но их размеры, сложная конструкция не имеют ничего общего с составом химической молекулы; наоборот, производство орудий механической войны так же сложно, как и сами эти орудия. Кроме того, мы полагаем, что эта разница в будущем только увеличится.

Таким образом мы видим, что химическое оружие стремится, как общее правило, уклониться от каких бы то ни было ограничений, которые для механического оружия остаются, наоборот, вполне возможными.

Известно, с какой легкостью и какой быстротой могли быть мобилизованы германские заводы красильных веществ для производства ядовитых газов в широких размерах. Понадобилось более сорока лет, чтобы создать эти заводы, но в продолжение 40 дней, даже часов, они могли производить огромное количество ядовитого газа. В некоторых случаях, еще задолго до войны, они вырабатывали вещества, пригодные для изготовления боевых припасов. Заводы, когда-то изготовлявшие индиго, отравляли во время войны армию противников страшным горчичным газом.

Таким образом, *чтобы отнять у Германии возможность вести в будущем химическую войну, остается лишь уничтожить немецкую химическую промышленность, убить в корне производство в Германии красок, лекарств, всякого рода кислот и т. д. Эту цель открыто ставят ныне перед собой французские империалисты.*

3. Мировая гегемония немецкой химической промышленности и борьба с последней англо-французо-американских химических трестов.

С самого начала мировой войны английские и французские империалисты всеми силами старались доказать, что единственным средством предотвратить в будущем новую войну является уничтожение немецкой металлургической промышленности и прежде всего заводов Круппа.

В своей лекции «Борьба за право», прочитанной 18 июля 1915 г. в Королевском колледже в Лондоне, главный редактор отдела иностранной политики в «Таймсе» Стэд доказывал, что для того, чтобы помешать повторению в будущем новой катастрофы, вроде той, что разразилась над Европой, нужно раз навсегда сокрушить могущество Германии, а для этого, во-первых, отнять у Германии Эльзас-Лотарингские безграничные залежи угля и железа, которые она аннексировала в 1871 г., во-вторых, угольные копи в Вестфалии, в-третьих, разрушить ее крупные металлургические заводы, вроде Круппа.

Стэд, конечно, был уверен в том, что если первая металлургическая страна в Европе—Германия—будет сведена на-нет на мировом металлическом рынке, от этого выиграет прежде всего вторая на европейском континенте «металлургическая» держава, именно Великобритания с ее Бирмингамом, Шеффильдом, Лидсом и другими центрами тяжелой индустрии. Если будет сокрушен Крупп, не выиграют ли от этого Армстронги, Виккерсы и другие английские пушечные короли, выстроившие уже во время войны сотни новых многоэтажных зданий для изготовления оружия, при том зданий из самого крепкого материала на самом прочном фундаменте. Английские империалисты, очевидно, рассчитывали, что этим новым фабрикам предназначено просуществовать и работать на славу британского оружия, в интересах английского милитаризма и маринизма еще много лет после окончания войны.

Или вот что знаменитый английский романист Уэльс, автор «Войны миров» и других нашумевших произведений, писал в предисловии к «Иллюстрированной войне» о роли германской военной индустрии в мировой войне:

«Прусский империализм в течение сорока лет являлся чумой для всей Европы. И эта чума с каждым днем принимала все более опасный характер. Германские государственные деятели, германские профессора открыто проповедывали циничную доктрину господства силы над правом и хвастливо подчеркивали, что «кровь и железо» явились цементом германского единства... Вся Германия заражена этим преклонением перед грубой силой, этим политическим материализмом... Рядом с императором над всей Германией господствует фирма Круппа, эта вторая голова германского генерального штаба. На ступенях самого трона расположился трест вооружений, эта организованная разбойничья банда, которая в своей ненасытной жажде новых и новых барышей, подкапывается под основы всей цивилизации, грозит культуре и безопасности государств над ней, вдохновляет национальную литературу и развращает своим тлетворным влиянием университеты и школы.

«Мы увидели слишком поздно, что человечество совершило безумный акт, позволив частным предприятиям извлекать свои барыши из подготовления к войне...

«Нынешняя война есть война за мир. Ее цель—разоружение. Ее цель—достижение такого порядка, который положит конец вооружениям. Всякий солдат, который сражается ныне против Германии, сражается против войны.

Нынешняя война, самая грандиозная из всех войн, не является войной, подобной предшествующим, ибо она является последней войной.

«Не будет более кайзера, не будет более Круппа. Мы твердо решились добиться этого. Нужно положить конец этому безумию».

Знаменитый романист был безусловно прав, подчеркивая растлевающее влияние Круппа и германского треста вооружений на всю внутреннюю жизнь Германии, на ее внешнюю политику, на ее литературу, на ее университеты, на ее дипломатию, но он умолчал о том, что если война поведет к тому единственному результату, что немецкий Крупп будет уничтожен, согласно планам французских и английских империалистов, но за то останутся по-прежнему и не будут одновременно стерты с лица земли Армстронги, Виккерсы, Шнейдеры и др. английские и французские пушечные короли и бароны, то никто не выиграет от разрушения Крупповских заводов, кроме английского и французского металлургических трестов и синдикатов.

В результате мировой войны и Версальского мира германская металлургическая и специально военная промышленность понесли тяжелый урон. Германская армия сокращена до 100 тысяч человек, немецкий военный флот сведен фактически к нулю. Немецкая военная промышленность, имевшая в самой Германии Вильгельма обширный внутренний рынок, державшая в своих руках мировую гегемонию, накануне войны снабжавшая своими тяжелыми орудиями, снарядами и т. п. не только многочисленную немецкую армию и флот, но и целый ряд стран: Турцию, Болгарию, Румынию, отчасти Италию, Россию, Голландию, Швецию, Японию и Южно-американские государства, не имеет теперь ни внешнего, ни внутреннего рынка. Немецким заводам Круппа, Тиссена, Эргарда запрещено изготовлять орудия разрушения, Германия не может иметь ни военной авиации, ни тяжелой артиллерии. Производство в Германии пушек, танков, аэропланов, пулеметов, винтовок находится под строжайшим контролем союзных военных контрольных комиссий. Теперь Англия и Франция, не боясь немецкой конкуренции, могут снабжать всем необходимым военным материалом те страны, которые являлись до войны верными клиентами Германии. Английские и французские тресты вооружений могут торжествовать свою победу на мировом рынке, грозный конкурент Шнейдера (Крезо), Армстронга, Виккерса и др., Крупп уничтожен. Но этого мало победителям.

За время мировой войны в Англии, Франции, Америке создались сотни новых химических заводов. В С. Штатах, например, расцвет химической промышленности приобрел за время войны сказочный характер. Так, по данным, опубликованным в американских «бюллетенях» в апреле 1918 г. (№ 14), только в течение ноября месяца 1917 г. в С. Штатах открылось 25 новых компаний для фабрикации лекарств, химических продуктов и красок. Утвержденный капитал, вложенный в эти предприятия, достиг 54.777.000 долларов. Эта цифра приблизительно в 9 раз превосходит общую сумму за октябрь, когда она достигала 6.022.000 долларов.

Сказочный характер развития химического производства в Соединенных Штатах с начала войны нашел своего барда в лице министра внутренних дел, Лэна, в годовом отчете которого мы находим следующие места:

«Америка всегда была поставщиком сырых материалов. Наша гордость заключалась в том, что мы можем производить миллионы тонн стали, угля, миллионы боченков масла или миллионы футов строевого леса. Мы вели свои громадные обороты теми продуктами, которые нам щедро отпускала природа, и в таком виде, в каком они лежали в ее обширных складах, не думая и не беспокоясь о том, сколько таинственных ценностей они скрывали.

«Но война заставляет нас приняться за усиленное изучение того, на что мы способны. Мысль и работа — вот ответ на проблемы, которые поставлены пред нами ограниченностью материальных рессурсов. Рост химической промышленности в Соединенных Штатах с 1914 года был феноменален. Фабрики не только принялись за производство тех продуктов, которые раньше служили предметом ввоза, но большего развития достигли даже те производства, которые удовлетворяют увеличившемуся спросу на все химические продукты. В настоящее время страна производит буквально все, что требуется от различных отраслей химического производства. О росте капитала, помещенного в химическую промышленность, можно судить по следующим данным: в 1915 г. он достигал 65.565.000 долларов, в 1916 г. — 99.244.000 долларов и к сентябрю 1917 г. он превышал цифру предыдущего года на 65.861.000 долларов. Новые химические индустрии открываются в настоящее время с невиданной быстротой, благодаря потребностям, вызываемым войной, и энергии американских химиков и физиков. До начала войны 90% всего количества химических красок и красящих составов ввозилось, и было только 5 или 6 предприятий, которые работали с 400 человек рабочих и производили 3.300 тонн в год. В настоящее время у нас есть свыше 90 предприятий, из которых каждое вырабатывает особые сорта красок, и 100 предприятий, работающих над сырыми и полуобделанными фабрикатами».

Само собой разумеется, что короли создавшейся в результате мировой войны химической промышленности в Англии, С. Штатах и Франции не могут примириться с фактом существования могучей химической промышленности в побежденной Германии, которая все же остается, в целом ряде отраслей индустрии, грозным конкурентом Антанты. Английский майор Лефебюр в своей талантливой, но необычайно циничной, книге недвусмысленно ставит вопрос о необходимости уничтожения немецкой химической промышленности, борьба с которой на мировых рынках не по силам французским и английским фабрикам. Подобно тому как Уэльс, Стэд и другие английские патриоты во время мировой войны писали о необходимости в случае победы окончательного разрушения заводов Круппа в интересах сохранения мира, теперь под этим же предлогом ставится требование об уничтожении немецкой химической промышленности. Карфаген должен быть разрушен. Немецкая химическая промышленность, этот хамелеон, который из мирного,

безобидного существа может неожиданно превратиться в хищное и опасное животное, не имеет права на существование.

«Кому из нас, например, известно,—пишет Лефебюр,—что немцы возлагали больше всего надежд на применение газов для обеспечения успеха своего большого наступления в марте 1918 г., которое должно было изменить судьбы народов. Между тем сам Людендорф говорит нам, в какой степени он рассчитывал на решительность их результатов. Много ли найдется людей, способных понять, что операции 1918 г. потеряли характер войны при помощи взрывчатых веществ? В этот период германские пушки выпускали более 50% снарядов, начиненных газами и ядовитыми составами. Внимательное изучение этих фактов приводит нас к открытиям, еще более знаменательным. Весь мир знает о грандиозности национальных мероприятий, предпринятых для выполнения нашей программы по заготовке взрывчатых веществ. Для того, чтобы удовлетворить настоятельным нуждам, возникли внезапно химические заводы в размерах, до того неслыханных в Англии, которые вырастали, как грибы после дождя. Какой соответствующий эквивалент имела Германия и где находились те громадные резервуары газов и химических веществ, которыми снаряжалось бесчисленное количество снарядов? Крупп в Эссене казался великим в глазах каждого гражданина, каждого союзного солдата: там находилась одна из скрытых сил, которая приводила в движение чудовищный механизм. Но пушки без своих посланий были бесполезны. Кто готовил эти смертоносные послания? Для того, чтобы ответить утвердительным образом на этот вопрос, необходимо изучить многочисленное германское общество I. G. (Interessen Gemeinschaft) —самое большое предприятие в мире в области органической химии, монополия которого грозила закончить войну нашей гибелью. И вот, эта могучая организация выходит из войны с приростом новых сил. Наши великолепные, но импровизированные, заводы истощили во время войны лучшие силы народа, и мы видим теперь их заброшенными и бесполезными. В Германии же, напротив, опыт химической войны точно влил свежую струю в старые заводы, которые кажутся ныне чрезвычайно окрепшими, точно под влиянием благотворной прививки. И этот прирост сил в будущем она может применить против нас. Я не утверждаю вовсе, что эта организация преследует в настоящее время какую-либо определенную экономическую или военно-политическую цель, направленную против всеобщего мира. Но факты красноречиво говорят сами за себя. Последующие страницы докажут, что одно лишь существование в Германии автономной химической монополии, в виде всей совокупности рессурсов I. G., уже само по себе представляет серьезную опасность, вне всякой зависимости от образа мыслей и нравственных убеждений руководителей этой обширной организации. Последнюю можно сравнить с миной, плавающей по волнующемуся океану всеобщего мира и постоянно угрожающей взрывом, которую не успели еще убрать. Существование этой гигантской монополии возбуждает ряд неразрешенных экономи-

ческих и военных вопросов жизненной важности, которые представляют настоящую «загадку Рейна»[1]).

Итак, ларчик просто открывается. Оказывается, что вся политика Франции на Рейне, — захват Саарского бассейна, оккупация Рурского бассейна и т. п.—имеет главной целью овладение химическими рессурсами Германии.

В подкрепление своих взглядов об опасности, с точки зрения сохранения мира, факта существования в Германии могучей химической промышленности Лефебюр ссылается на Митчеля Пальмера, уполномоченного по делам иностранной собственности в С. Штатах, который следующим образом характеризует в своем официальном отчете германские методы экономического наступления:

«Я не сочувствую каким-либо мерам бойкота, мести или репрессий за убытки, причиненные Соединенным Штатам. Я не хочу продолжать войну после войны. Я приверженец мира. Я убежден, что наиболее ярким результатом этой войны является сознание, что почти вечный мир будет царствовать отныне между народами вселенной. Но я хотел бы помочь этому сознанию превратиться в твердую уверенность путем отказа Германии в средствах, дабы они не оказались использованными для враждебных целей, раз мир уже заключен. Сокрушающие удары союзников разрушили военный аппарат Германии, но территория ее осталась нетронутой. Если после войны она не пострадала территориально, то она может снова восстановить прочное управление и вновь завоевать господство на своих заграничных рынках, при помощи столь же вероломных и предательских способов, которые она не побоялась применить на полях сражений, и мы принуждены будем принести еще новые гекатомбы. Изменятся, быть может, приемы борьбы, но цель останется та же самая, которую Германия преследовала и раньше, в роковой день июля 1914 г., когда она готовилась завоевать весь мир».

Здесь Митчель откровенно выбалтывает затаенные мысли Лефебюра, этого агента английского химического треста. Опасность войны — сама по себе, принятие мер предосторожности против военного усиления Германии само по себе, а пока все-таки основная цель — борьба с конкуренцией Германии на заграничных рынках. Здесь-то и зарыта собака.

Неудивительно, что такие горячие патриоты, как пресловутый бандит маршал Фош и «верный союзник и друг» последнего английский фельдмаршал Генри Вильсон пишут восторженные предисловия к книге Лефебюра.

Заметим здесь в скобках, что автор русского предисловия к книге Лефебюра Г. Попов не совсем понял смысл предисловий «выдающихся военных деятелей Англии и Франции», поставивших свои визы на книге Лефебюра.

---

[1]) Курсив везде наш. *М. П.*

4. Загадка Рейна. Тайна книги Лефебюра.

Маршал Фош и фельдмаршал Вильсон совсем не потому в восторге от книги Лефебюра, что она «написана с большим знанием дела, с всесторонним освещением фактической стороны и трезвым взглядом на будущие химические войны» (см. Лефебюр. Загадка Рейна. Предисловие Г. Попова, стр. 3). Мало ли выходит книг по военным вопросам, написанных действительно с большим знанием дела, всесторонним освещением фактической стороны и т. д. Не ко всякой такой книге столь высокие особы, как Фош и Вильсон, написали бы предисловия, тем более восторженные. Суть, конечно, не во всестороннем де освещении вопроса, а в циничной, открыто бандитской точке зрения Лефебюра, заключающейся в проповеди новой войны против Германии, войны мирным или «насильственным путем» до полного уничтожения химической промышленности в Германии, войны до окончательного разрушения всех рессурсов экономического возрождения и без того ограбленной и беспощадно эксплоатируемой страны. Я уверен, что даже буржуазные пацифисты, вроде Кайо и Нитти, нашли бы книгу Лефебюра книгой разбойничьей по ее духу и преследуемым ею целям, а вот Г. Попов главного-то в этой работе не заметил. Основная идея Лефебюра заключается в самом титуле его книги: «Загадка Рейна. Химическая стратегия в мирное время и во время войны». Цель Лефебюра не столько описать, что будет происходить во время войны, какой характер будет носить химическая война, сколько обратить внимание на то, что нужно сделать во время мира «против самой угрозы химической войны» (стр. 16), на те «предупредительные меры» против Германии и «соответствующие предосторожности», которые необходимо де принять, чтобы предотвратить возможность обороны Германии против союзников путем химической войны. Конечно, с точки зрения Лефебюра, провоцировать будущую войну может только Германия. Все технические подробности о слезоточащих газах, об огнеметах, об облаках фосгена и проч. и проч., о которых рассказывает Лефебюр в своей книге, имеют основной целью взбудоражить общественное мнение в Англии, Франции, Америке, напугать миллионы обывателей в этих странах перспективами новой страшной войны, которую снова подготовляет побежденная, но еще не уничтоженная Германия, и заставить находящиеся под влиянием желтой прессы массы населения сказать свое решительное «Добей его». Как же добить Германию, как и когда вырвать у последней страшные химические зубы, которые были оставлены ей непредусмотрительными и слишком великодушными врагами? На этот вопрос Лефебюр отвечает так:

«Основная причина возможности химического способа войны заключается в неправильном и опасном мировом распределении органическо-химической промышленности. До тех пор, пока не будет спешно произведено новое справедливое распределение ее, она будет являться слабым местом всякого плана всеобщего разоружения» (стр. 17).

Вот здесь и лежит весь секрет пресловутой «Загадки Рейна». Подполковник французской службы Мюссель в статье «Химия после войны в Германии и Франции», напечатанной в «Revue Militaire Française», №№ 14 и 15 за 1922 г., рекомендует Франции обратить сугубое внимание на развитие своей химической промышленности, приняв во внимание следующее: «Германия, владея Рейнской областью, обладает в три раза большими механическими и в пять раз большими химическими возможностями, чем Франция. В настоящее время Франция держит под своей угрозой $^2/_3$ механической и $^4/_6$ химической мощи Германии. Франция должна удержать за собой Рейнскую область». В этом-то, очевидно, и должно заключаться то новое справедливое распределение «органическо-химической промышленности», о котором говорит Лефебюр.

Заметим, что книга Лефебюра была написана в то время, когда англо-французские отношения не носили того обостренного характера, какой они приняли за последнее время, и когда многие английские империалисты были уверены в том, что Великобритания сумеет осуществить все свои разбойничьи планы на черном и желтом континентах, главным образом в Малой Азии, при поддержке Франции путем отдачи последней на разграбление всей Германии и, главным образом, предоставления полной свободы действия г-дам Мильеранам, Пуанкаре, Фошу в их рейнской политике. Но этот план сорвался, главным образом, благодаря сопротивлению той части английской буржуазии, которая не могла согласиться с программой добровольного «ухода из Европы», программой, которую отстаивали слишком рьяные сторонники азиатской и заокеанской политики, потерпевшие поражение на декабрьских выборах 1923 г., приведших к власти правительство Макдональда.

Восторгаясь книгой Лефебюра, английский фельдмаршал Вильсон пишет: «Майор Лефебюр взялся показать в своей книге, что никакие конвенции, гарантии или договоры о разоружении не смогут помешать не признающему их противнику использовать ядовитые газы, особенно, если этот противник открыл для них новый сильный действующий состав или, если он располагает,—подобно Германии с ее богатой и хорошо организованной химической промышленностью,—средствами, позволяющими ему немедленно по получении приказа изготовить в больших размерах нужные продукты».

Итак, богато и хорошо организованная химическая промышленность Германии представляет де страшную угрозу международному миру, давая возможность Германии в подходящий момент начать химическую войну против союзников, которые только и пекутся о том, как бы осуществить на земле царство вечного мира. Что же такое представляет «химическая стратегия во время мира» и сама химическая война, каковы перспективы последней в надвигающемся, конфликте, конфликте, в котором, по всей вероятности, оба вчерашних друга и союзника, английский и французский маршалы очутятся по разным сторонам баррикады? На эти вопросы мы ответим в следующей статье.

(Окончание следует.)

Китай и Советская Россия.

Письмо из Пекина.

А. Ивин.

«Господа французы,—заявил как-то Пуанкаре,—не должно забывать, что они являются теперь гражданами не 39-, а 120-миллионной Франции». В этом заявлении представителя французских банкиров и промышленных магнатов скрывается весьма прозрачный намек на то, что та олигархия, которая в настоящее время правит Францией, не постесняется прибегнуть к помощи негров и аннамитов, чтобы потопить в крови народное восстание. Если принять во внимание все увеличивающийся контингент французских колониальных войск, то придется признать, что вышеприведенная угроза не является простой бутадой. Это—во Франции. Что касается Великобритании, всем известно, какую громадную роль играет в поддержании ее мирового могущества умелое использование того колоссального человеческого резервуара, каким является Индия. Наконец, вербовка китайских кули еще во время англо-бурской войны и уже в несравненно большем масштабе в период последней европейской бойни ясно указывает на тенденцию империализма опереться для достижения своих целей и на неисчислимые людские запасы Китая. Для всякого, кто интересуется судьбами социальной революции, вопрос о роли Азии, ее народов, не может уже поэтому не являться одним из наиболее грозных, во всяком случае, заслуживающим самого внимательного изучения.

К сожалению, даже для сознательного социалиста бывает трудно отрешиться от того инстинктивно-полупрезрительного отношения ко всему, что лежит за пределами т. н. «цивилизованного мира», которое можно об'яснить только нашим невежеством, тем, что в наших школах почти совершенно игнорируется все, что касается даже Азии, хотя по своей территории мы сами являемся скорее страной азиатской. В самом деле, что дает в этой области учащейся молодежи даже средняя школа? Если в учебниках всеобщей географии можно еще найти скудные сведения об «отсталых, нецивилизованных странах», то в учебниках «всеобщей истории» вы, как общее правило, и таковых не найдете. Вся древняя история почти не выходит за пределы территории Великой Римской империи, как будто единственным очагом человеческой культуры был бассейн Средиземного моря, и ни Великая Индия, ни Вели-

кий Китай никогда и не существовали, хотя на самом деле почти вплоть до второй половины XVIII века их цивилизация не только не уступала, но иногда на протяжении целого ряда столетий стояла выше европейской. Лишь паровая машина, а затем акционерная компания вознесли европейско-американские народы на ту головокружительную высоту мирового могущества, откуда все остальное человечество слилось в одну серую бесформенную массу.

Хотя, начиная с Октябрьской революции, судьбы народов Азии, тесное сближение с которыми составляет одну из основ внешней политики Совроссии, начинают привлекать в себе внимание широких кругов, тем не менее, все мировое значение азиатской проблемы, ее непосредственная связь с такими неотступными вопросами сегоднешнего дня, как крах капитализма, социальная революция, остается еще для многих весьма туманной. Все ли те, кто ежедневно пишет, обсуждает, полемизирует, не говоря о читателях и слушателях, представляют себе—не абстрактно, но ясно, конкретно чрезвычайную сложность этих вопросов, сложных уже потому, что капитализм до сих пор остается почти исключительно явлением Запада, который представляет собою лишь остров среди океана народов, все еще пребывающих в докапиталистической стадии.

Недавно возвратившийся из поездки в Юнань амер. посланник в Пекине д-р Шурман немало поразил многочисленную аудиторию тем, что чуть не половину своей публичной речи-реферата посвятил описанию того, как велик Китай и какая уйма народу его населяет. Verités à la Palisse, особенно для тех, кто сам живет в Китае, и однако самый факт, что такой ученый доктор вдруг стал ломиться в открытую дверь, доказывать всем, казалось бы, очевидные истины, свидетельствует о том, как поразили его самого эти истины, когда предстали не в виде абстрактного географического понятия, а как живая реальность. Нужно, действительно, самому побродить по необозримым просторам Азии, ближе присмотреться к населяющему ее человечеству, чтобы глубоко ощутить, как мал евр.-американский мир и какие грандиозные проблемы встали бы завтра перед победоносной евр.-амер. революцией, если бы она решила стать мировой.

Не менее трудные задачи ставит та же Азия уже на самом пути, ведущем к социальной революции; так, например, говорить о крахе капитализма, не изучив самым тщательным образом эволюцию Восточной Азии, т.-е. главным образом Китая, значит упускать из виду одну из наиболее важных сторон решаемой нами проблемы. «Рабочие Англии и других стран,—читаем мы в любопытном недавно появившемся труде одного английского миссионера,—проливали свою кровь, чтобы китайский народ мог покупать их продукты и тем самым оплачивать их труд; но приближается время, когда английскому рабочему будет грозить голодная смерть, вследствие того, что Китай, «открытый» его усилиями, явится конкурентом на английском рынке. Английский капиталист, направляющий политику, достаточно зорко следит за тем, куда дует ветер. Вот он уже в Китае, вот он уже строит в Шанхае и других больших городах фабрики и заводы, которым суждено процветать, в то время как заводы и фабрики метрополии будут обречены на вымирание. Индивидуальные капита-

листы, как в самой Англии, так и в других странах, будут брошены на произвол судьбы, но и другие, и таких будет не мало, скорее окажутся в выигрыше, чем в проигрыше. Британский капитал, вкладываемый в китайские фабрики и заводы, является в известной мере страховкой на то время, когда китайская индустрия подорвет британскую не только на внутреннем рынке самого Китая, но и на мировом». Такие же или подобные им взгляды вы можете встретить и в трудах американских и даже французских буржуазных авторов, мечтающих о блестящем будущем Индо-Китая. Цитировать их нет надобности, ибо нашей целью является лишь указание на те упования и надежды, которые империалисты всех стран возлагают на Азию и прежде всего на Китай. Недаром за последние годы буржуазная печать так много говорит о перемещении центра тяжести мировой истории на берега Тихого океана. Здесь в Восточной Азии, на дешевом труде десятков миллионов «послушных пролетариев» мечтают уже многие капиталисты индустрии и заправилы финансового мира создать непобедимую цитадель нового капитализма, о которую разбились бы волны европейско-американской социальной революции.

Правда, вопрос о возможностях иммиграции европ. капитализма на тихоокеанское побережье является весьма спорным. Как раз один из наиболее видных японских business men, говоря о перспективах капиталистического развития Китая, высказывает совершенно противоположный взгляд. «Что особенно примечательно, — заявил он в интервью, появившемся на страницах «Japan Advertiser», — это упорный, хотя и медленный процесс индустриализации Китая, происходящий несмотря на непрекращающуюся смуту, которая царит на всей территории республики. Японская торговля уже чувствует на себе результаты этого процесса, в будущем почувствуют их и Великобритания, и Соединенные Штаты. Англия, Америка и Япония, помещая свои капиталы в Китае, сами себе роют могилу, ибо в недалеком будущем они будут вытеснены. Подобно тому, как иностранные фирмы вынуждены были с развитием японской индустрии убраться из Японии, точно так же придется им с развитием китайской торговли и индустрии убраться и из Китая».

Не входя в обсуждение этих любопытных вопросов, мы хотим лишь остановить внимание читателя на тесной зависимости судеб евр.-амер. капитализма от ближайшей эволюции Китая. Не будет большим преувеличением сказать, что последний по своей важности для всего мирового империализма начинает играть почти такую же важную роль, как Индия в жизни Великобритании. Недаром большинство буржуазных писателей, говоря о неизбежности новой войны, имеют в виду непримиримость интересов великих держав в Китае. Как, однако, ни велико это взаимное соперничество империалистов, все они сходятся до сих пор в одном: отстоять во что бы то ни стало Китай от «зловредного влияния большевизма», понимаемого здесь главным образом как борьба китайцев за свою национальную независимость, за уничтожение тех «священных договоров», которыми их великая страна превращена в полуколонию. В Китае Совроссии приходится таким образом вести борьбу не с той или иной из капиталистических стран, но со всей их совокупностью, и, являясь представителем мира социализма, противостоять натиску

всего капиталистического мира, ибо, по существу, дело идет о том, кому из этих двух миров удастся вовлечь в свою орбиту народ, включающий в себе одном половину Азии. Ни в какой другой стране эта борьба двух враждебных сил не проявляется с такой рельефностью, как здесь, ни в какой другой стране вы не встретите такого планомерно организованного идеологического воздействия всего капиталистического мира на целый народ и прежде всего на его молодое поколение. Одним из наиболее разительных примеров этого «воздействия» может служить грандиозная «культуртрегерская работа» Америки. О размерах ее вы можете судить хотя по следующим цифрам и фактам.

√ В Китае функционирует более четырех тысяч американских школ, четырнадцать колледжей и четыре университета.

. Американские духовные миссии и образовательные учреждения имеются в каждой китайской провинции; вычислено, что частные пожертвования, посылаемые на это дело из Америки, выражаются в среднем в один миллион долларов в месяц.

По словам китайского посланника в Вашингтоне, Альфреда Ши, земли и постройки, занимаемые религиозными и воспитательными учреждениями американских миссионеров, представляют собою капитал, почти вдвое превышающий общую сумму, вложенную американскими business men в различные индустриальные предприятия в Китае.

Наконец, английский язык—одно из главных орудий проведения американской культуры—преподается не только в высших и средних, но даже в низших учебных заведениях Китая, не говоря уже о миссионерских школах. В прошлом году редактор одной английской газеты, издающейся в Ханькоу, писал, что если он не доживет, то «молодые читатели, возможно, доживут до того времени, когда единственным языком Китая станет английский язык». Заявление, конечно, наивное, основанное на полном незнании культурной жизни страны, но все же характерное, как показатель изумительного процесса, сделанного английским языком в Китае. Если читатель хорошенько вдумается в вышеприведенные цифры и факты, а также примет во внимание деятельность английских и католических миссионеров, в чьих школах тоже насчитываются сотни тысяч учащихся, он, вероятно, вынужден будет согласиться с тем, каким важным фактором в духовной эволюции Китая является та колоссальная «культуртрегерская» работа пионеров евр.-американского империализма. То, что дело идет об империализме, а не только о «спасении душ», лучшим доказательством этого может служить всем известный здесь факт, а именно: не только американский или английский, но и французский посланник не может удержаться на своем посту, если возбудит против себя неудовольствие миссионеров.

Бертран Руссель, которого никто не может заподозрить в экстремизме, в «The Problem of China», говоря о деятельности американских миссионеров, писал: «Они являются не миссионерами христианства, хотя часто им кажется, что они его проповедуют, а американизма... Если американское влияние возьмет верх, нет сомнения, благодаря гигиене оно спасет жизнь мно-

гих китайцев, делая их в то же время не стоящими спасения». Вообще, работа иностранных воспитателей, «кажется, исключительно преследует, хотя часто и бессознательно, цель создать послушные орудия капиталистического проникновения в Китай купцов и заводчиков соответствующей страны».

Если Рокфеллеры и Морганы вкладывают весьма значительные капиталы во всякого рода религиозные, педагогические и благотворительные предприятия в Китае, то дивиденды с них они рассчитывают получить еще в сем мире. Вот, между прочим, любопытный документ, тем более ценный, что исходит он от могущественной американской организации: «Положение в Китайской республике,—телеграфировала американская коммерческая палата в Шанхае президенту Хардингу во время его путешествия на Аляску,—чрезвычайно серьезное и требует к себе самого внимательного отношения, как с вашей стороны, так и со стороны других американских лидеров, иначе четыреста милл. китайского народа будут вынуждены отказаться от мечты о демократии, построенной по американскому образцу, и принять руководство тех, кто враждебно относится к нашим идеалам мира и человеческого благополучения. В потенции, американские интересы в Китае—величайшие во всем мире и заслуживают исключительного внимания, если мы желаем охранить их для настоящего и будущих поколений».

Итак, сделать английский, вернее, «американский» язык чуть не единственным языком Китая, забрать в свои руки идейное руководство 400-милл. народом, всемерно противодействовать тем, кто враждебно относится к «американским идеалам», чтобы в результате американские коммерческие интересы в Китае превратились в «величайшие во всем мире»—такова программа и цель сложного американского аппарата, работающего над «просвещением и воспитанием язычников-китайцев».

Посмотрим теперь, как реагирует сам Китай на этот поход американской культуры?

Китай уже давно вступил в эпоху переоценки всех ценностей. Он, который на протяжении тысячелетий считал себя носителем всей человеческой культуры, родиной всех величайших поэтов, музыкантов, философов и государственных деятелей, установивших во всех областях человеческой жизни и деятельности такие же незыблемые законы, как законы природы, вынужден был, наконец, отказаться от своей мудрости, отбросить свою гордость и смиренно сесть на школьную скамью евр.-американской культуры, чтобы жадно, без разбора, глотать все, что ему ни преподносят.

Кропоткин, Маркс, Гёксли, «Дама с камелиями» и «Общественный договор»; Эйнштейн, Бергсон, Дарвин; проф. Dewey и Мопассан; Бернар Шоу и Гомер; Толстой и Арцыбашев; Ницше и Смайльс; Бертран Руссель и Конан-Дойль; Спенсер, Лабиш, Шопенгауэр, Александр Дюма, Чехов и великое множество других авторов и произведений, зачастую совершенно случайно переведенных, — все читается и изучается с одинаковым благоговением.

Как когда-то, много столетий тому назад, шли китайские пилигримы в страну Сакья-Муни, чтобы на самой родине великого учителя получить истинное знание, так и теперь, но уже более широким непрерывным потоком, стре-

мится китайская молодежь на далекий Запад, растекается по университетам Америки, Англии, Германии, Бельгии, Франции, чтобы «овладеть наукой».

Наступает война и превращает сотни тысяч китайских кули, навербованных Европой, в гордых пролетариев, развертывается великая эпопея титанической борьбы рабоче-крестьянской России, проносится над всей страной, как освежающая буря, национальное движение 1919 года, и вот из столпотворения новых идей, чувств и настроений, разом нахлынувших со всех сторон, из великого творческого хаоса начинает все яснее и рельефнее проступать тройной лик Китая: сильно потускневший лик старого Китая, его друго-враг— американизированный Китай и юный гордый лик передового Китая, так разительно напоминающий лик революционной России.

Правит все еще старый китаец—мандарин, правда, под другим именем, но уже иностранную политику поручено вести бывшему американскому студенту, как на него же и его коллег, бывших студентов европейских и японских университетов, возложена вся ответственная работа министерств и главных «ямын'ей». Ибо американизированный Китай не только говорит по-английски, строит заводы и фабрики, участвует в банковских операциях, заботится о гигиене, танцует one step и fox trot в иностранных отелях, расхаживает под барабанный бой с Армией Спасения, гордится безукоризненным покроем своего смокинга—он еще более, чем великая армия безработных literati, служит опорой тому своеобразному полуфеодальному строю китайской республики, который он жестоко критикует, но с которым постоянно входит в компромисс.

Было бы, однако, несправедливо сваливать в одну кучу всех бывших студентов заграничных университетов. Не мало из них самоотверженно и бескорыстно работают в деле истинного просвещения, участвуют в общественном движении, являются деятельными работниками Национальной и Коммунистической партий. Как раз одному из наиболее блестящих американских питомцев, ученику философа Dewey—мы говорим о знаменитом профессоре Ху-Ши-чи — принадлежит инициатива борьбы против господства мертвого языка, являвшегося такой колоссальной препоной в деле возрождения Китая. Эта борьба, в которой на-ряду с Ху-Ши-чи и Цын-Сюан-тон'ом принял видное участие вождь кит. комм. партии Чэн-Ту-Сиу, привела к тому, что живой разговорный язык, так называемый Куо-ю (нац. яз.), уже сделался литературным языком всего передового Китая и, наконец, лег в основу народного образования. Помимо чисто национального значения эта величайшая культурная победа важна и в том отношении, что окончательно ломает ту «великую китайскую стену» классического языка, перебираться через которую до сих пор отваживалась лишь горсточка синологов, и открывает широкий доступ всем тем, кто интересуется Китаем, ибо овладеть живым литературным китайским языком не более трудно, чем, скажем, немецким или французским. Таким образом мечты англо-саксонцев о вытеснении китайского языка английским разлетаются в прах: не китайский народ забудет свой национальный язык, а народы Европы и Америки скоро будут вынуждены, принимая во внимание

с каждым годом растущее мировое значение Китая, ввести у себя широкое преподавание современного китайского языка.

Говоря о росте мирового значения Китая, мы имеем в виду не только его роль в современном мировом хозяйстве, но также и то почетное место, которое в недалеком будущем займет он во всех областях культурной жизни. Одним из самых значительных вкладов Нового Китая в сокровищницу человеческих знаний будет уже то, что его все увеличивающаяся армия молодых исследователей прольет, наконец, научный свет на многотысячелетнюю историю одного из величайших очагов человеческой цивилизации, выведет, наконец, синологию из младенческого состояния, в котором она пребывает и по сие время.

Недавнее еще слепое увлечение всем западным проходит, и как одна из наиболее крайних реакций против него является то течение, которое мы назвали бы китаефильством, ибо многими чертами разительно напоминает наше славянофильство. Как и последнее, оно по существу своему является течением далеко не революционным, хотя и насчитывает в своих рядах таких людей, как Лиан-Ти-чао, бывший на протяжении десятилетий властителем дум современного Китая, как блестящий публицист Чан-Син-ен, как Леан-Шу-мин, автор столь нашумевшего труда: «Культура Востока и культура Запада», и много других, вплоть до Тьян-Кан-ху, одного из первых китайских социалистов западного образца. Во всяком случае, несмотря на свою реакционность, даже «китаефильство» подчеркивает тот факт, что в самом Китае растут и крепнут силы, которые смогут дать и уже дают отпор стремительному натиску американско-духовной культуры.

Первый серьезный удар пылким надеждам американских миссионеров завербовать молодое поколение был нанесен еще два года тому назад, когда на созыв интернационального конгресса христианских студентов в Пекине молодой Китай ответил широким антирелигиозным движением, целым потоком пропагандистской литературы, в которой зеленая молодежь храбро вставала «на защиту науки против предрассудков». О всем значении этого движения можно судить уже по силе бешенства американской печати, и здесь, само собой разумеется, усмотревшей всесильную руку Москвы. Наконец, только что утихший спор о «науке и миросозерцании», не сходивший в течение шести месяцев с столбцов китайской печати, спор, за которым со страстным вниманием следило все образованное общество, закончился «полным разгромом метафизики». Это был первый публичный экзамен научных и философских сил передового Китая, и нужно отметить тот громадный успех, который выпал на долю блестящих статей Чэн-Ту-сиу, выступившего на защиту экономического материализма против эклектизма Ху-Ши-чи.

Посмотрим теперь, как обстоит дело с «мечтою четырехсотмиллионного народа о демократии, построенной по американскому образцу».

Повидимому, опасения, высказываемые американско-коммерческой палатой о возможности принятия китайским народом «руководства тех, кто враждебно относится к нашим (американским) идеалам мира и человеческого благополучия», были не совсем лишены оснований. Чтобы не навлечь упрека

в суб'ективизме, мы позволим себе привести по этому вопросу мнение такого почтенного человека, как Н. Т. Hodkin, М. А. М. В. секретаря Нац.-Христианского Совета: «Поражаешься, — говорит он, — как широко большевистские идеи распространены среди китайской молодежи... Не указан ли Россией тот путь, по которому может последовать и Китай? — Вот вопрос, который ставился всеми мыслящими людьми в Китае перед моим от'ездом в конце 1920 г. По возвращении я заметил некоторую перемену... Наиболее вдумчивые лидеры, кажется, отходят от большевистских идей, боясь насилия и крайностей для такого народа, как китайский, хотя коммунизм все еще имеет над ними сильное обаяние. Капитализм повсеместно критикуется китайскими демократами, а ведь мир еще не видел другого опыта организации современной индустрии. Это придает России известный престиж, окружает ее ореолом, который затрудняет правильное суждение. Я лично думаю, что, поскольку дело идет о методе, здравый смысл Китая будет отталкивать его от русского образца, но что китайские мыслители будут постоянно руководствоваться русскими удачами и неудачами, будут во многих отношениях подходить к проблеме, разительно сходной с Россией».

В тот момент, когда Китайско-Национальная партия, сыгравшая такую видную роль в свержении Цин'ской династии, реорганизуется «по русскому образцу» и когда Сун-Ят-сен, крупнейшая фигура в китайском политическом мире, последние месяцы, не уставая, доказывает, что единственным спасением Китая является следование русским методам борьбы — было бы излишним подчеркивать всю несостоятельность утверждений почтенного миссионера относительно того, что диктует китайцам их здравый смысл. Впрочем, подобные утверждения для секретаря Национального Христианского Союза вещь неизбежная, иначе он не мог бы оставаться и секретарем, и не в них, конечно, дело, а в том, что человек, принадлежащий к противоположному нам лагерю, вынужден признать, как высоко стоит авторитет Совроссии и какую значительную роль играет в жизни передового Китая ее героический пример. Но следует ли отсюда, как и из всего вышесказанного, что уже можно кричать ура и торжествовать победу? Конечно, нет. Борьба только развертывается и исход ее, по крайней мере, для ближайшего будущего, еще гадателен. Было бы грубейшей ошибкой не дооценивать мощи наших противников, с каждым годом все увеличивающих сеть своих школ и привлекающих все более и более значительные массы китайской молодежи в свои университеты. Но что мы можем сделать, чтобы ослабить силу этого культуртрегерского натиска буржуазного мира на вышедший из старой колеи, жадно ищущий новых путей китайский народ?

Очень многое, если только решительно станем на путь культурного сближения двух народов. Не входя здесь в детальное изложение всех возможных форм подобного сближения, укажем лишь на те вопиющие пробелы, которые нами в этом отношении допущены.

На протяжении десяти тысяч верст мы граничим с великой древней страной, целым отдельным миром, который можно поставить в параллель лишь с миром древнего Рима, граничим с одной из главных ветвей челове-

ческой цивилизации, давшей гуманитарную философию, дивную живопись, великую поэзию и включавшей в свою богатейшую историю — историю чуть не трех четвертей Азии. Но что знает об этом богатстве наше молодое поколение, наша будущая Россия? Столько же, как если бы Китай был не нашим соседом, а находился на другой планете.

Кому из учеников нашей средней школы не известны имена философов древней Греции и даже схоластов средневековья, но имена Лао-дзы, Конфуция, Мэнция, Мо-дзы, Ян-чжу, Хан-Фей-дзы, как и Чу-Си и Ван-Ян-мин'а, ничего или почти ничего не говорят даже студенту наших высших учебных заведений. Не суметь рассказать о Мазарини или Ришелье рассматривается, как признак необразованности, но не знать Цин-Ши-Хуан-ти, Ван-Ман'а или великого реформатора Вань-Ань-ши считается вполне естественным. Знаем об Аттиле и его коне, но ровно ничего о той упорной, беспощадной борьбе, которую на протяжении многих и многих столетий выдерживал наш сосед, Китай, с теми же гуннами. Заставляем молодежь зубрить десятки страниц о монгольском иге и не останавливаемся на том, что под тем же игом пребывал и Китай. Кто из русских детей не учил о Колумбе, но много ли взрослых слышали о Марко Поло? В наших учебниках «всеобщей истории» можно найти сведения даже о незначительных немецких княжествах и ничего о народе Юе-чи, сыгравшем такую важную роль в ознакомлении между собою трех великих культур: эллинской, индийской и китайской. Подобными и еще более любопытными сопоставлениями можно было бы заполнить десятки страниц, и, конечно, никому это так хорошо не известно, как нашему ученому миру, на плечах которого лежит ответственность поддерживать и развивать просвещение в стране. И вот, спрашивается, считают ли наши университеты, наша академия, и в частности наши ученые востоковеды, нормальным оставлять молодое поколение при старых учебниках «всеобщей истории», иначе говоря — в полном невежестве всего, что касается $^{9}/_{10}$ Азии, и не является ли их долгом перед Сов. Россией хотя на время оторваться от своей узкой специальности, чтобы как-нибудь общими усилиями дать, если не оригинальный, то хотя бы компилятивный учебник по истории азиатской культуры?

На протяжении десяти тысяч верст мы являемся соседями страны, роль которой в мировом хозяйстве растет с поразительной быстротой, соседями четырехсотмиллионного народа, ближайшая эволюция которого определит в значительной степени судьбы всей Азии. Никакая другая страна не следит с такой симпатией, как Сов. Россия, за тяжелой борьбой этого возрождающегося к новой жизни гиганта с мировым империализмом, видящим в его эксплоатации один из якорей спасения, и, однако, кажется, ни в какой другой стране язык этого великого народа так не игнорируется, как у нас. Конечно, значительная доля вины в этом лежит на русских синологах, почти ничего не сделавших, чтобы ознакомить русское общество с великим культурным завоеванием последних лет, каким является победа живого литературного китайского языка над мертвым классическим, и все еще продолжающих твердить, подобно старому китайскому бакалавру, что это язык «простой, пресный язык, лишенный литературной насыщенности и литературно-традиционной

образности», твердить, не понимая, что говорить так о языке, давшем такие бессмертные творения, как Хан-Лоу-мон и Жу-Лин-Вай-ши, все равно, что говорить о «вульгарном языке» Данте, Петрарки и Боккачио или о «подлом штиле» Пушкина.

Этот язык не «простой, пресный», а прекрасный, гибкий, несравненно более совершенный, чем мертвый классический, в ближайшем же будущем благодаря народной школе станет, действительно, национальным языком всего Китая. Изучение его представляет, как мы уже говорили выше, не больше трудностей, чем любого из европейских языков, и таким образом одно из главных возражений против широкой постановки его преподавания отпадает. Если мы, действительно, отдаем себе отчет в необходимости более тесного и скорейшего сближения с Китаем и остальной Азией, то ограничиваться восточными факультетами не приходится. Необходимо кардинально изменить программу нашей средней и высшей школ в смысле уделения должного внимания истории культуры, экономике и языкам азиатских народов и, конечно, прежде всего — китайского.

Введение изучения современного китайского языка, хотя бы в ограниченном числе наших средних и высших учебных заведений, в качестве необязательного предмета, имело бы еще то значение, что непосредственно повлияло бы на судьбы русского языка в Китае. В связи с отказом Сов. России от так называемых «боксерских вознаграждений» (700—800 тыс. мексик. дол. в месяц), для поддержания и развития народного образования в Китае,— вопрос о введении преподавания русского языка в программу китайской средней школы, выдвигается на очередь дня. Вопрос колоссальной важности, ибо от того или иного разрешения его зависит, в какой степени Сов. России удастся отвести в свое русло тот громадный поток китайской молодежи, которая непрерывно вливается в евр.-американские университеты. Разрешить же его вполне удовлетворительно можно будет лишь тогда, когда мы на деле докажем, что и в культурной области Сов. Россия вырвала с корнем все предрассудки капиталистического мира, в том числе и самый живучий — мы говорим о европейском шовинизме.

Владимир Ильич Ленин.

Макс Адлер.

От редакции. Статья Макса Адлера переведена из № 3 „Der Kampf". Адлер принадлежит к соглашательскому крылу Интернационала $2^1/_2$. Это обстоятельство наложило свой отпечаток на ряд совершенно ошибочных суждений его о т. Ленине. Но тем знаменательнее та общая оценка, которую дает автор т. Ленину. Редакция считает полезным ознакомить читателей „Красной Нови" со статьей М. Адлера.

1.

21 января 1924 года в маленьком местечке под Москвой скончался человек, весть о смерти которого потрясла во всем мире всех, как противников, так и приверженцев, впечатлением стихийной катастрофы: Ленин мертв! Ленин—на вершине своей исторически-мировой работы—скончался. Это казалось как бы крушением некой могучей стихии, разрушительной силы которой боялись одни и ей противоборствовали, другие же с восторгом познали в ней силу, которая могла освободить жизнь для новых путей. И эти противоположные ощущения и у могилы великого вождя мирового пролетариата пробудили тот же спор и борьбу мнений и оценок, возникавших еще при жизни Ленина во все решительные моменты его деятельности.

Вокруг его облика неизменно бушевала страстная борьба мировоззрений; неизменно его личность, его речи и писания были подобны знамени, под'ятому для безошибочного указания определенного пути, для неустанного преследования одной цели: линии революционной классовой борьбы пролетариата, конечного дела марксизма: победы над классовым обществом.

В этом — не было никогда колебаний ни в его сердце, ни в его сознании — он был живой стрелкой магнита, которая никогда не могла отклониться от своего направления в сторону социализма, ибо его социалистически-революционное мышление, почерпнутое у Маркса и Энгельса, наполняло его и влияло на всю его духовную сущность, подобно тому, как земной магнетизм влияет на стрелку компаса. Этого нетеряемого и никогда не покидавшего его ощущения пути к социальной революции одного было бы достаточно для определения исторической роли Ленина, как великого народного борца за марксистский социализм, если бы он даже и не был в дальнейшем одним из могущественнейших двигателей пролетарской классовой борьбы, доведенной им до той стадии, в которой, как никогда ранее, он должен

был обрести отчетливое ощущение своих социально-революционных устремлений.

Ибо, в противовес современным политическим теориям о развитии классовой борьбы, Ленин впервые выявил политические методы пролетариата в их принципиальных различиях от буржуазно-демократического мышления. При таком значении Ленина, которое неизбежно должно было обострить классовую борьбу, нет ничего удивительного,—напротив, естественно,—что влияние его личности и после смерти заставило вспыхнуть страстные противоречия в его оценке, ибо это было тем же противоречием классов, в борьбе меж которыми Ленин принял такое громадное участие.

Ненависти и озлоблению буржуазии противопоставлялась соответственно—любовь, обожание и благодарность другого класса, класса пролетариата. Но вот здесь-то, у гроба этого великого двигателя истории, выявляется ужасающий и одновременно смущающий факт, что критика и оценка Ленина в социалистическом лагере, внутри самого пролетариата, которому Ленин посвятил всю свою горячую жизнь и неустанную работу, которому он отдал свою мысль и труд в условиях лишений, опасностей и жертв с ранней своей молодости,—носит не менее страстный и ожесточенный характер, чем у врагов пролетариата. В то время когда миллионы рабочих и крестьян в России превозносят и прославляют имя Ленина, как своего освободителя, и совершают паломничество к его могиле, как к святому месту, в то время как за пределами России сотни тысяч пролетариев преклоняются перед ним и обожают его, как героя и прообраз социального революционера, — другие миллионы о нем почти ничего не знают, кроме того, что он—вождь русского большевизма, которому они не доверяют и которому они должны не доверять тем в большей степени, чем бессмысленнее ослабляющее рабочее движение поведение так называемых коммунистических партий вне России, постоянно ссылающихся на его авторитет. Таким образом случилось, что для многих, особенно для вновь вступивших в ряды социал-демократии, название «коммунизм» стало почти чуждым, даже враждебным, им не было понятно, что всякий настоящий социал-демократ одновременно является коммунистом и должен быть таковым, — и в силу этого «коммунист» Ленин стал им чем-то чужим, враждебным, вместо того, чтобы каждый классово-революционный пролетарий при полном сохранении права итти своими путями и иметь свои личные мнения, должен был в деятельности Ленина взволнованно и с увлечением почувствовать прежде всего неслыханное и историческое проявление своего собственного революционного духа.

Как получилось такое расхождение воззрений, такое неестественное противоречие в природе пролетарской классовой борьбы?

Это вопрос, который может прозвучать и в некрологе Ленину, ибо ответ на него может быть дан не только там, где до сих пор одни лишь партийные страсти диктуют оценку; постановкой такого вопроса легче выяснить историческую ограниченность этой пролетарской враждебности к Ленину и одновременно ясно указать пределы его непосредственной исторической деятельности.

2.

Ответ на наш вопрос должен быть следующий: во враждебности к Ленину в пределах пролетарской классовой борьбы не проявляется только простое личное чувство, но выступает нечто иное, именно кризис самого социализма, кризис, возникший с момента развала Интернационала в начале войны, или, вернее, превратившийся тогда из давно уже скрытого и ползучего в явный.

Этот кризис в значительной мере является кризисом самой пролетарской духовной жизни и поэтому плохо выражен популярными противопоставлениями реформизма и революции. Это обозначение характеризует, конечно, весьма значительные и явные элементы этого противоречия, но оно слишком чревато недоразумениями, которые привели как с одной, так и с другой стороны к пагубным самообманам, и способно затемнить то настоящее противоречие, которое происходит при кризисе социализма.

Ибо, если радикализм, вследствие своей «принципиальной» борьбы против оппортунизма, чувствует свое превосходство перед «компромиссным» реформизмом и если, с другой стороны, этот последний упрекал первый в доктринерстве и отсутствии понимания практической политики, — пусть правы оба или неправы, — во всяком случае, соревнование это не решало вопроса, на чьей стороне был тот революционный дух, который живым основным настроением должен господствовать над каждым выступлением пролетариата и в духовной своей сущности должен противопоставить себя буржуазному государству и капиталистическому обществу, в оковах которого физически он еще пребывал. Имей это место,—он мог бы беззаветно изменять тактику своей непосредственной политической и экономической борьбы, приноравливая ее к текущим обстоятельствам, как этого требовал «оппортунизм»; не имей он места, — тогда даже самое принципиальное марксисткое утверждение обозначало бы не что иное, как лишь простую словесную болтовню. Последняя, однако, является особенностью современного социализма у очень значительной части пролетариата всех стран, который из политических и экономических соображений,—здесь мы их ближе не можем касаться, впрочем, они достаточно часто приводятся,—вместо того, чтобы жить в пролетарской революционной идеологии, направленной к уничтожению существующего положения рабочих, живет типичной мелко-буржуазной идеологией, которая направлена исключительно на улучшение существования рабочего. Но при таком исповедании дух социализма утерян и стал бездушным, без воодушевляющего под'ема, а потому и без внешней притягательной силы для молодежи; — таков социализм ныне везде, где он продолжает итти по старым путям.

Именно в этом противоречии между бездушным социализмом и социализмом, в котором горит горячая душа «практики переворота» Маркса и Энгельса, душа социальной революции—именно в нем лежит подлинная причина сегодняшнего раскола и слабости социализма. И вот Ленин, в противовес

указанной слабости, являлся гигантским воплощением этой пламенной души социализма, этой неспокойной и всегда бодрствующей «практики переворота». И именно поэтому ему было чуждо это столь обыденное и ничего не выражающее противоречие между доктринерским радикализмом и реально-политическим реформизмом. Ибо не было более крупного и смелого реального политика, чем Ленин, не было более строгого и беспощадного врага пустой революционной фразы, равно как и всякого закостенелого радикализма, и в то же время не было более фанатического приверженца социальной революции. Так, мы читаем у него: «Недостаточно быть революционером и приверженцем социализма или быть только коммунистом. Нужно уметь в любой момент найти особое звено цепи, чтобы ухватиться за него со всей силой, дабы удержать всю цепь и подготовить перехват следующего звена». В другом месте он пишет: «Выразить свой «революционный дух», только браня парламентарский оппортунизм, только отвергая свое участие в парламентаризме,—дело легкое, но именно потому, что это легко, это не является резрешением трудной задачи». Ленин никогда не отделывался простой формулой в вопросах парламентаризма и участия в буржуазном правительстве, борьбы с империализмом, в вопросах внешней политики, в вопросах милитаризма и войны. Излюбленная ныне фраза, что современный социализм не может быть таким же, каким он был во времена Маркса, ибо за это время для пролетариата возникло так много новых положений и задач, «о которых Маркс ничего не знал», — эта фраза не может быть здесь применена там, где речь идет об устремлении реальной политики Ленина, направленной именно к тому, чтобы новыми методами революционной классовой борьбы разрешить эти новые положения и задачи.

Конечно, э т а реальная политика была возможна лишь потому, что ее пронизывал пыл революционной воли, и оттуда проистекала захватывающая сила, способная спор в собственной партии превратить в захватывающую убедительность. Для этой основной линии, превращающей простую тактику прежде всего в социально-революционную энергию, Ленин дал, еще в пору своей эмигрантской жизни в Швейцарии, правда, некрасиво звучащее, но чрезвычайно выразительное и внушительное определение — именно «профессионального революционера». Только в пору капитализма, который из каждой профессии сделал «гешефт» и не отделял, в силу этого, одного понятия от другого, и, говоря о выполнении одной профессии, подразумевает только «гешефт»,—только в эту пору высокий и идеалистический смысл этого определения Ленина мог быть не понят или даже получить презрительное толкование. Но ощущение р е в о л ю ц и и, к а к п р о ф е с с и и, было не чем иным, как возрождением великого марксистского осознания исторической роли пролетариата при созидании нового общества,—было не чем иным, как одухотворенным указанием Лассаля на высокое историческое назначение рабочего класса. Быть профессиональным революционером — это призыв к каждому пролетариию быть во всех своих помыслах, чувствах и деятельности тем, чем назвал его уже «Коммунистический Манифест»,—могильщиком сегодняшнего и пионером будущего общества.

Это означает, что каждый пролетарий, который действительно хочет обрести право на историческое почетное звание социалиста, должен быть проникнут во всякое время и везде,—т.-е. не только в больших политических действиях и профессиональной борьбе, но и в своей повседневной мелочной работе и во всем своем жизненном поведении,—чувством ненависти и презрения ко всей буржуазной организации и воззрениям, как это возможно лишь там, где в пределах буржуазного мира чувствуешь себя не дома и поэтому не хочешь в нем устраиваться прочно. Солдат во вражеской стране постоянно готов «по призванию» к нападению,—таков и профессиональный революционер. Таким профессиональным революционером был Ленин:—для него борьба с капитализмом и империализмом против буржуазного классового государства, а равным образом и против обуржуазивания мыслей и чувств в самом пролетариате, была призванием, наполнявшим всю его жизнь и превращавшимся в профессию служения пролетариату и развитию более высоких форм общественной жизни. Поэтому его фигура возвышается над несчастным расколом в пролетариате, как пример, который должен быть дорог каждому революционному пролетарию; тем более должна она быть таковой, ибо убеждения Ленина,—как только они станут всеобщими,—содержат вернейшую гарантию возрождения единства пролетариата и его Интернационала.

3.

Надо установить, таким образом, раз навсегда настоящее социалистическое значение Ленина, именно в деле развития революционного классового духа пролетариата, которое нельзя устранить никаким партийным спором,—спором социалистических партий, могуче раздутым Лениным, спором, который неоднократно мог затемнить истинное значение Ленина, ибо он сам поставил очень внушительные пределы его проявлению, так что часто спор этот вредно влиял на развитие социализма вне России. Но и тут это мнение должно понести весьма значительные поправки, если только оно не останется в том плане мышления, которое привело к кризису социализма, но станет на почву социал-революционного классового мышления пролетариата. Тогда не только будет дана справедливая оценка Ленина,—что не имеет такого уже значения, ибо сама история исправит ошибочную оценку,—но тогда придут к собственному лучшему постижению его личности и к пониманию современного социализма.

Несомненно, странным и полным противоречий останется то обстоятельство, что Ленин, который быль столь неслыханно верным тактиком в русской революции, заставлявшим поражаться по праву его почти баснословному инстинкту в ощущении необходимости момента, сделал такую чреватую последствиями ошибку в отношении социалистической тактики за пределами России, именно хотел управлять ею из центра, из Москвы, и притом лишь теми методами, которые применялись в России. Это тем более удивительно, что именно Ленин постоянно учил, что тактика социализма не везде носит

общий характер и ее нельзя установить навсегда, но что она должна проистекать из существующих условий. Он сам еще до революции поставил для себя требование признать своеобразный характер русской тактики. Так, он заявил однажды (1905 г.) на попытку Бебеля примирить большевиков и меньшевиков: «Мы относимся к Бебелю с величайшим уважением, но когда идет вопрос о том, как на нашей родине побороть царизм и буржуазию, то да будет нам позволено иметь на этот счет свое собственное мнение». В силу этого Ленин был далек от того, чтобы не сознавать, что успех большевизма в русской революции был результатом лишь единственных в своем роде обстоятельств, которые имелись только в России. В письме к швейцарским рабочим перед своим от'ездом в Россию он говорит: «Мы отлично знаем, что пролетариат России менее организован, подготовлен и классовое его сознание менее развито, чем у рабочих других стран. Не особенность его свойств, но особое стечение исторических обстоятельств превратило русский пролетариат на некоторое, быть может, короткое, время в форпост революционного пролетариата всего мира». Как же об'яснить это, если принять во внимание, что Ленин все-таки повел столь чреватую последствиями политику так наз. Третьего Интернационала?

Если не остаться погруженным в этом вопросе в гуще партийных предрассудков, то необходимо иметь ясный взгляд в двух направлениях. Нельзя «путчизм», в который выродился «коммунизм» за пределами России, отождествлять с Лениным, но нельзя в путчизме видеть только путчизм; для этого нужно прежде всего, чтобы у себя самих в соц.-демократической партии не все казалось в розовом свете подлинной революционной жизни. У кого нет глаз и понимания того, что я выше назвал «бездушием» социализма, тот никогда не поймет, что «путчизм» для многих его лучших и идеальных приверженцев,—и это особенно об'ясняет притягательную силу «коммунизма» у молодежи,—представляет *страстную реакцию против этой бездушности*. Именно как такую реакцию против революционной атрофии пролетарского социализма следует прежде всего понимать интернациональную деятельность Ленина. Это было гигантское стремление снова пробудить революционный классовый дух, высечь его словно искру из холодного кремня, даже ценой организационного единства партии, выявляющей лишь показную величину и силу, которых в действительности нет. Если Ленин написал в начале войны в резолюции партии большевиков: «Надеяться создать настоящий социалистический интернационал без окончательного отпадения оппортунистов — значит отдаваться вредным иллюзиям», — то эта мысль дает основной тон всей международной тактике Ленина, которая с той поры, именно с поры несчастного развития германской социал-демократии, все более познается правильной и во многом вне III Интернационала. Рассматриваемая в этом свете, тактика Ленина в деле раскола старой соц.-демократической партии была ошибкой, так как она должна была повести к братоубийственной войне и вообще к разложению пролетарских сил, тогда как цель могла быть достигнута сильной оппозицией в старой партии без такого ее ослабления и путем внутренних преобразований, но это ошибка, ко-

торая связана, как всегда у великих людей, с достоинством страстной и стремительной силы новой революционной воли.

Далее, нельзя оставить без внимания, что, несмотря на все различие условий внутри России и вне ее пределов, и даже при том особенно сильном насаждении социал-патриотическими и социал-империалистическими элементами средне- и западно-европейского социализма, надежда на громадную революционную перегруппировку пролетариата, особенно в дни переворотов в Германии, не должна была бы быть лишь иллюзорной. С другой стороны, мы видим только теперь,—когда внутренняя история русской революции стала более ясной, чем это могло быть в бурный период ее первой заграничной пропаганды,—как пролетарская революция, тогда почти задушенная контр-революционными движениями, созданными Антантой, должна была дожидаться восстания германского пролетариата, как освободителя. Если мы теперь можем точно указать те экономические и политические основания, благодаря которым восстание это не произошло и не могло произойти, то едва ли найдется кто-либо, кто бы мог отрицать, что о б'е д и н е н н ы й пролетариат Германии смог создать такую ситуацию, которая, по крайней мере, не дала бы возможности до такой степени развиться современной реакции, превратившей самый сильный пролетариат в мире в беспомощный фактор в государстве и в социалистическом движении. Мы были правы, называя всегда буржуазных критиков Маркса и Энгельса ничего не понимающими, так как они насмехались над тем, что эти оба большие революционера столь часто после 1848 г. предвидели новую, более значительную революцию, которую они ожидали всю свою жизнь. Их теоретическое благоразумие рекомендовало им терпение, но их революционный пыл увлекал их снова, ибо они были не только холодные исследователи истории, но были и людьми дела с необузданной энергией и сокрушительной волей. Поэтому пусть насмехается над Лениным, над тем, что в нем бурное стремление к мировой революции победило обычную холодную тактику, тот, кто никогда не чувствовал сам в себе подобного стремления, тот, кто всегда имеет терпенье и может выжидать, ибо он ощущает свою значительность лишь в пределах своей самодовольной действительности.

И вот ответ на вопрос, каким образом такой крупный, быть может, самый значительный до сего времени реалист социал-революционной политики вел такую нереальную политику в отношении социалистического движения вне России: это была прежде всего ошибка в переоценке революционной силы мирового пролетариата, который, благодаря тогдашней слабой осведомленности о мировых событиях, казался ему действительно подготовленным; впрочем, это тогда не он один предполагал вследствие русской пролетарской революции и лихорадочно ускоренного войной возмущения пролетариата во всех других странах. В этом смысле знаменательны его первые слова, после его возвращения из Швейцарии, на родине: «Недалек тот час, когда народы откликнутся на зов нашего товарища Карла Либкнехта и направят свое оружие против эксплоататоров, против капиталистов... В Германии уже все находится в брожении. Не сегодня—завтра, каждый день может на-

ступить катастрофа всего европейского капитализма». Затем была ужасная внутренняя и внешняя опасность русской революции, которая должна была вызывать все новое и новое гигантское напряжение получить пролетарскую революционную помощь извне, пролетарскую выручку осажденной крепости. Это были тяжелые ошибки Ленина, от которых страдает и по сей день социалистическое движение; но именно здесь-то Ленин и был тем человеком, который мог бы их преодолеть, если бы ему не помешала длительная болезнь и преждевременная смерть. Ибо что создало его громадную историческую деятельность?—именно то, что он не был человеком формулы, он не был рабом своей тактики, но обладал поистине беспримерной неустрашимостью и беспощадностью к себе и к своим приверженцам, если дело касалось изменения тактики. Это он доказал в тяжелые дни поворота революции в вопросе заключения мира с германским империализмом, в отказе от социализации недвижимых имуществ и, под конец, в переходе к НЭП'у,—он любил все это называть добродетелью отступления. «Лишь по этому большевики,—так говорил он однажды радикалам,—имели успех, что они беспощадно изгнали всех революционеров пустой фразы, которые не понимали, что может стать необходимым начать отступление, и что нужно уметь начать это отступление». В другом месте он верно дал свою собственную характеристику, как политика большого масштаба, говоря: «Умен не тот, кто не делает ошибок; таких людей нет и не может быть. Умен тот, кто делает не особенно крупные ошибки и может их быстро и легко исправить». Смерть не дала Ленину времени, которое вообще было слишком коротким, преодолеть эти ошибки,—ведь пяти лет для практического осуществления этой задачи слишком мало, ибо чем были, тем более, эти пять лет, как не дикими судорогами и борьбой за существование вырабатывающейся новой исторической роли пролетариата. Здесь большая задача выпала в виде наследства наследникам Ленина. Да будет она им под силу!

4.

В противовес к методам Ленина, можно было бы, конечно, гораздо менее резким путем достигнуть единодушия между социалистическим центром и большевизмом.—Это имело бы для об'единения вновь всего пролетариата совершенно неисчислимые последствия, если бы вполне понятное отрицание путчизма с их стороны не проистекало из совершенно немарксистского, чтобы не сказать «лойяльного», образа мыслей многих марксистов и при том проводилось ими в жизнь и укрепляло сознание исключительно в пределах легального демократического развития социализма. Это, во всяком случае, не в духе пролетарского классового сознания в понимании Маркса и Энгельса,—и теоретическая заслуга Ленина, несомненно, в том, что он снова с решительностью обратил на это внимание. Он словно снова открыл учение Маркса о классовой борьбе и напомнил о смысле марксистского понимания государства как об организации господства классов,—понимания, превратившегося в пустую фразу; он восполнил это понимание живыми и непосредственными историческими задачами, в которых доказывал, что это определение применимо не

только к буржуазному, но и к пролетарскому государству. Понятия: демократия и диктатура получили совершенно новое освещение только благодаря толкованию, что завоевание политической власти пролетариатом в каждом случае—проводится ли оно демократическим путем, или путем захвата—неминуемо должно вести к диктатуре, ибо только благодаря ей может быть осуществлена классовая воля пролетариата в отношении буржуазии.

Выяснилось, что демократия, пока существует классовое государство, является и будет являться противоречивой формой, ибо самое демократическое государственное устройство предполагает, что или буржуазные, или пролетарские партии имеют большинство, равновесие их постоянно бывает лишь временным, ибо в непримиримости их экономических тенденций лежит повод к уничтожению этого равновесия при первом удобном случае. Поэтому и демократия означает собою, что большинство господствует над меньшинством, и, когда его положение становится критическим, оно прибегает к диктатуре, к чрезвычайному положению, к военному суду и пр. В демократическом буржуазном государстве и сейчас (и прежде) господствует буржуазная диктатура, точно так же, как в пролетарском государстве будет господствовать диктатура пролетарская. Демократия и диктатура, таким образом, в классовом государстве не являются противоположными понятиями, и речь может итти только о том, чтобы найти предпосылки к диктатуре пролетариата. Будет ли она при том проведена в «демократической» или другой форме, является вопросом несущественным и от воли нашей независящим. При таком освещении исчезает ряд проблем, которые до сих пор раз'единяют пролетариат.

«Демократия» более—не принципиальный вопрос, парламентаризм—не место ловли для политической работы,—конечно, при всем этом для западно- и центрально-европейского рабочего класса эти понятия не теряют совершенно исключительного практического значения. Не кто иной, как Ленин, подчеркнул это с особенной резкостью. Он называл долгом «разрушить буржуазно-демократические и парламентские предрассудки» масс, но не для того, чтобы отстраняться от парламента, а, напротив, работать в этом осознании. Ленин никогда не играл в демагогию, говоря рабочим: «Вся власть Советам» или «Необходимо в одну ночь заменить парламентскую систему советской». Надо только прочесть, как он в своей книге «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» осуждает эту тактику германских и австрийских «коммунистов», но отрицание этой демагогии не может отвергать духа политической критики демократии и происходящей благодаря ей легализованности движения, для которого еще Энгельс нашел жестокие слова. Борьба с путчизмом у одних не должна выродиться в трусость собственного политического мышления,—что приведет к могиле всякое понимание марксистского государственного устройства и пролетарской классовой борьбы. Кто продумает эти оба понятия со всеми условиями классового принципа, — этим мы обязаны точке зрения Маркса, — тот найдет основание, почему Ленина, который впервые осуществил эти особенности понимания, назовут за раскрепощение политической мысли от массы предрассудков и мнимых задач не в меньшей

степени духовным освободителем, чем социалистом. Если кто-нибудь пугается тоги террора, одевающей его фигуру, то пусть тот поучится именно у него, тоги террора, одевающей его фигуру, то пусть тот поучится именно у него, равно как и демократические, ибо они были классовыми движениями, и что если необходимо быть террору, то красный террор все-таки оставляет больше надежды, чем белый, безотносительно от того, что он никогда не бывает столь кровав, как белый.

5.

Значение Ленина для России и ее освобождения — ныне исторический и незыблемый факт, не подвергающийся спорам партий и классовых воззрений. Если историческим смыслом каждой революции является дать свободу и простор, уничтожая и отбрасывая пережитые и тормозящие законоположения и формы жизни для дальнейшего развития общества, — то не было более радикальной революции, чем русская, не было более беспощадного уничтожения старого мира, чем через большевизм. Это целиком дело Ленина, который взял в руки могучую инициативу в октябре 1917 года, в тот момент, когда даже его друзья еще колебались; его стихийная смелость, в соединении с упорной и неотступной силой и поразительным дипломатическим искусством, преодолела все опасности революции. Это грандиозное дело имеет значение не только для России: это—часть дела освобождения всего мира. Никогда не забудется современниками и останется в сердцах пролетариев то громадное впечатление, как в октябре 1917 года, когда еще культурный мир находился в кровавых оковах войны, когда всякая надежда на прекращение бедствия была утрачена—особенно после того, как даже героический поступок Фридриха Адлера остался без последствий,—как из Петербурга в это время раздался зажигательный клич: «Ко всем», что русский пролетариат признал войну законченной и пригласил народы к мирным переговорам. И как этот исторический акт являлся действительным 'духовным освобождением из величайшей безнадежности и отчаяния, так разрушение старой России означало физическое освобождение совершенно неожиданным способом всего мира, с которого, наконец, был сброшен гнет царизма, равно и империализма русской буржуазии, который еще при Милюкове и Керенском мог запятнать русскую революцию новым наступлением в угасающей мировой войне. Конечно, не по вине Ленина не былла осуществлена власть пролетариата,—и союз советских республик—не пролетарское государство в том смысле, что пролетариат является лишь одним господствующим классом. Власть здесь только господствует, давая подавляющему большинству населения—крестьянам—известные уступки, дает концессии и допускает теперь даже, в силу новой экономической политики, в известном смысле, и буржуазию. Если противники русского большевизма, который надо резко отграничить от вне-русского, хотят в этом видеть его банкротство и даже над этим насмехаются, то они вовсе не имеют понятия о различии в строении государства, рожденного из революции и стремящегося к тому, чтобы только сохранить, по возможности, свое первоначальное напра-

вление, от государства, в котором вовсе не может быть такого устремления, так как такое государство насквозь контр-революционно. Пролетариат всего мира, поэтому, никогда не переставал с верным революционным чутьем смотреть на российские советские республики, как на драгоценнейшее и славнейшее достояния пролетарского движения на пути к социализму, как на великий форпост в борьбе против буржуазного капиталистического мира. Цепи, разорванные *в России Лениным, были цепями, приготовленными и для нас,* и надежды и горячее сочувствие мирового пролетариата в том, чтобы дело его было сохранено и мощно развивалось. Поэтому печаль, навеянная его смертью, была велика в пролетариате и соединялась со страхом, ибо одновременно к этому присоединялась боязнь за будущность русской революции. В этом смысле в чувстве каждого пролетария слились воедино—*Ленин и дело* пролетарской революции.

6.

И человек, носивший в себе такое громадное историческое значение,— это должно войти в надгробную речь,—оставался простым, скромным, почти по-мужицки живущим пролетарием, жил ли он в бедной лачуге или в царском дворце в Кремле. Он и здесь оставался символом революции: могуче распрямляясь в разрушительной и созидательной своей силе, царственно пренебрегая всей мелочностью и узостью жизни, без претензий к роскоши и оставаясь постоянно скромным в своей жизни. Под этим впечатлением Горький сказал о нем: «Его частная жизнь такова, что в религиозное время из него сотворили бы святого». Человек, который мог бы сделаться русским царем, если бы им руководили личное властолюбие и жажда славы, а не идея социальной революции, умер в комнате прислуги в загородном дворце, из многих комнат которого он хотел жить только в этой. Это не было эффектной игрой, это не была демагогия, наверняка, уже чуждая смертельно больному человеку,—это был инстинкт человека, который иначе не мог поступать, ибо существу большой пролетарской идеологии, которую он исповедывал, для которой он жил, мог соответствовать только пролетарский образ жизни. Таким был Ленин,— великое единство мысли, поступков и чувств. Дух целого класса, дух пролетариата проносил и образовывал это единство, чтобы благодаря ему сделаться богаче и полным духовной силы. Поэтому Ленин останется жив не только в памяти пролетариата, но и тем более пребудет живым, чем больше пролетариат поймет и выполнит свою историческую задачу, которую Ленин оставил на примере своей жизни.

Перевод проф. *Б. Ф. Адлера.*

Литература о Ленине.

В. Кряжин.

I.

Всего каких-нибудь три месяца отделяют нас от трагических дней 21—27 января, а литература о В. И. Ленине приобретает все более и более внушительный характер. В этом стремительном, безостановочном накоплении «Ленинской литературы» находят свое выражение самые разнообразные импульсы и потребности: страстное желание широких масс узнать что-нибудь о жизни и деятельности своего «Ильича», глубокая печаль об утрате великого вождя, испытываемая его оставшимися соратниками, наконец, огромный, можно сказать, всеобщий энтузиазм, вызываемый мощной фигурой мирового революционера. Не надо быть пророком, чтобы предсказать, что в скором времени изучение В. И. Ленина, по своему масштабу, сравняется, если не превысит «шекспирологию», располагающую десятками журналов, огромными библиотеками и специальными кафедрами почти во всех университетах Старого и Нового Света.

Охват всей деятельности В. И. Ленина представляет, понятно, колоссальнейшие трудности. «Написать сколько-нибудь подробную его биографию, — правильно замечает Г. Зиновьев, — значит изложить историю двух русских революций, II Интернационала и борьбы его левого крыла против правого; это значит, далее, рассказать о возникновении III Интернационала, о создании нашего Советского государства, об его великих боях за существование и т. д., и т. д.».

Такая задача сейчас, конечно, не по плечу одному исследователю или даже целой группе их, в особенности при тех явно недостаточных материалах, которыми мы пока располагаем. Лишь планомерная, коллективная работа нескольких поколений исследователей сможет раскрыть с достаточной полнотой гигантскую личность и не менее гигантскую деятельность В. И. Ленина.

Вся вышедшая до сих пор литература (я оставляю в стороне газетную и, в значительной степени, журнальную) задается, впрочем, гораздо более скромными целями. Она пытается приблизить к массам фигуру ушедшего вождя, дать хотя бы предварительную оценку оставленного им богатого теоретического и практического наследия,—одним словом, дать суммарную характеристику Ленина и ленинизма.

Посмертную «Ленинскую литературу», для удобства рассмотрения, можно разбить на три большие категории: в первую входят сборники, биографии, очерки популяризаторского характера; во вторую—чисто теоретические произведения, разрабатывающие проблемы теории и практики ленинизма, и, наконец, в третью—статьи и материалы биографического характера. Нечего, конечно, и говорить, что это деление носит весьма приблизительный характер. Много очерков и статей можно рассматривать в любом из намеченных разрезов. При отнесении их в ту или иную категорию приходится поэтому отправляться от их преобладающего содержания.

II.

Как и следовало ожидать, наиболее обширной в настоящее время является первая, «популяризаторская», категория. Чисто стихийная потребность дать немедленный отклик на смерть В. И. Ленина вызвала к жизни несколько сборников, составленных из газетных материалов, опубликованных в связи с памятными событиями: покушением на В. И. Ленина, 50-летием со дня его рождения и 25-летием существования Р.К.П.

Пожалуй, наиболее полным является сборник статей о Ленине, вышедший в Харькове, в издательстве «Молодой Рабочий» [1]). Сборник этот в огромной части состоит из газетных очерков, к которым прибавлено 3—4 журнальных статьи и кой-какие извлечения из книг (глава из книги П. Лепешинского «На повороте», статья Емельянова «Таинственный шалаш» и др.). Из помещенных в журнале очерков хочется напомнить блестящую характеристику Л. Троцкого: «Ленин как национальный тип», где он фигуру последнего приводит в связь с русской пролетарско-крестьянской стихией: «Свобода от рутины и шаблона, от фальши и условности, решимость в мысли, отвага в действии,—отвага, никогда не переходящая в безрассудство,—характеризуют русский пролетариат и вместе с ним Ленина». Но в то же время «у этого самого бесспорного из вождей пролетариата—не только мужицкая внешность, но и крепкая мужицкая подоплека». Недаром самая «интуиция действия», столь присущая Ленину, по мнению Л. Троцкого, «это—мужицкая сметка, только с высоким потенциалом, развернувшаяся до гениальности, вооруженная последним словом научной мысли». В изящном, необычайно любовно написанном, «Рисунке пером» Н. Осинский дает внешнюю характеристику В. И. Ленина, его наружности, манеры его речи, его ораторского жеста и т. п.

Из историко-биографических материалов наиболее волнующее впечатление производит «Разговор Ленина с Кронштадтом по прямому проводу», когда войска Керенского наступали на Ленинград, и В. И. Ленин с вулканической энергией организовывал оборону красной столицы.

---

[1]) „Ленин". Составили В. Крайний и М. Беспалов, под ред. Д. Лебедя. Изд. 2-е. 1924 г. Стр. 255.

К сборнику приложена очень недурная библиография произведений В. И. Ленина и список главнейшей биографической литературы о нем. В предислови к сборнику указывается, что он «может быть только первой страницей в той книге, которую еще в наши дни «должно написать». Несомненно что эту скромную роль сборник выполняет.

Второй сборник «Памяти Ленина» выпущен в Москве Высшим Военно-Редакционным Советом [1]). По своему содержанию он почти целиком совпадает с харьковским сборником. Здесь прибавлено лишь 3—4 небольших статьи (Г. Зиновьева—«Ленин», чрезвычайно интересные воспоминания В. Бонч-Буревича—«Покушение на В. И. Ленина в Москве» и др.), но зато кое-что в сравнении с харьковским сборником опущено (отмеченный раз говор по прямому проводу и др.).

Отличием московского сборника является его прямо-таки великолепная внешность. Напечатанный в виде альбома на прекрасной бумаге, сборник заключает десятки интереснейших фотографий: портретов В. И. Ленина и его семьи, групповых портретов (членов Ц. К. разных созывов, редакций большевистских газет), многочисленных снимков с разных документов, имеющих историческое значение, автографов В. И. Ленина и т. п. Весь литературный материал обрамлен титульными листами, многочисленными заставками и концовками, принадлежащими таким художникам, как Ю. Анненков, Моор и др. Благодаря своей художественной внешности, сборник ВВРС, действительно, является достойным литературным венком на могилу В. И. Ленина.

Третий сборник памяти В. И. Ленина «Великий строитель» [2]) имеет более узкий характер. Он состоит из статей, печатавшихся исключительно в «Экономической Жизни» и посвященных оценке В. И. Ленина, как «вождя, руководителя и вдохновителя хозяйственного строительства первых и единственных в мире рабоче-крестьянских республик». Учитывая то огромное внимание, которое уделял В. И. Ленин экономическому строительству СССР, — сборник, несомненно, представляет интерес, в особенности при изучении ленинизма в ВУЗ'аз. В особенности ценен 4-й раздел сборника: «Основные задачи экономической политики в период революции в формулировке В. И. Ленина», составленный из многочисленных тезисов и цитат из соответствующих сочинений и речей.

Наименее долговечным является последний сборник «В дни скорби», изданный «Московским Рабочим» [3]). Он состоит из многочисленных заметок, статей и стихов, появившихся в столичной и провинциальной прессе во время траурной недели (21/I — 27/I). Главным достоинством этой книги является то, что она живо отражает те непосредственные чувства, ту психологическую реакцию, которую вызвало во всей России известие о смерти любимого

---

[1]) „Памяти Ленина“. Сборник. Составлен М. Сербоцким, под ред. В. Полонского Изд. ВВРС. М. 1924 г. Стр. 150.

[2]) „Великий строитель“. Памяти В. И. Ленина. Изд. „Экономическая Жизнь“. М. 1924. Стр. 125.

[3]) „В дни скорби“ (21/I — 27/I — 1924). Изд. „Московский Рабочий“. Стр. 248.

вождя[1]). Из популярных очерков, посвященных В. И. Ленину отдельными авторами, необходимо отметить прежде всего серию брошюр, выпущенных Г. Зиновьевым: «В. И. Ленин», «Влад. Ильич Ленин», «На смерть Ленина»[2]). В большинстве случаев мы имеем здесь воспроизведение речей, произнесенных Г. Зиновьевым, дополненных его статьями, опубликованными после смерти В. И. Ленина. Написанные одним из самых близких учеников и соратников В. И. Ленина, все перечисленные брошюры дают живые, ярко и популярно написанные очерки жизни и деятельности В. И. Ленина, начиная с периода 90 годов и до 1924 г. Особенно полезной является небольшая статья «В. И. Ленин и наша партия», дающая прекрасную историко-хронологическую канву для изучения ленинизма в марксистских и комсомольских кружках.

Наиболее обширную биографию В. И. Ленина дает Ем. Ярославский[3]). Его книга—«Жизнь и работа В. И. Ленина»—рассчитана на самые широкие круги рабочих и крестьян, которым она хочет «просто, бесхитростно раскрыть образ того, к кому тянутся в порыве любви, скорби и благодарности миллионы трудящихся всех наций»... Шаг за шагом Ем. Ярославский прослеживает детство и отрочество В. И. Ленина, его студенческие годы, работу в Ленинграде, ссылку, эмиграцию и т. д. С чисто биографической точки зрения наиболее интересны первые главы книги (до 1905 г.), где автор располагает обильными материалами, исходящими от близких к В. И. Ленину лиц. Далее биографический элемент стирается и заслоняется эволюцией идей, изображением революционной и государственной деятельности В. И. Ленина, путем обильных цитат из его сочинений.

Вторая часть книги дает сжатые, суммарные очерки ленинизма, т.-е. «марксизма в действии» («Ленин — организатор диктатуры пролетариата», «Ленин — вождь угнетенных национальностей» и др.), а также характеристики его деятельности в различных областях политической жизни («Ленин и Комсомол», «Ленин и раскрепощение женщины» и др.). Чрезвычайно интересным в этом отделе является очерк «Ленин, крестьянство и Р.К.П.», где приведен ряд крестьянских писем, бесхитростных мужицких рассказов о своем «Ильиче». В одном из этих рассказов необычайно метко схвачено значение для В. И. Ленина непосредственного общения с крестьянством: «Он не меня, конечно, слушал, как персону необыкновенную, а через меня он слушал все крестьянство и через меня он учел всю сложную обстановку на низах».

---

[1]) Чисто преходящее значение имеет сборник „Ленин—вождь трудящихся" (изд. „Прибой". Ростов-на-Дону — Москва. 1924. Стр. 53), состоящий также из старых статей и газетных материалов, но гораздо более неполно и случайно представленных, нежели в вышеуказанных сборниках.

[2]) Г. Зиновьев. „В. И. Ленин". Изд. „Красная Новь" и Госиздат. 1924 г. Стр. 40. Его же. „Влад. Ильич Ленин". Госиздат. Его же. „На смерть Ленина". Изд. „Красная Новь". Стр. 62. Госиздат. Стр. 38. Все брошюры снабжены прекрасно исполненными фототипиями.

[3]) Ем. Ярославский. „Жизнь и работа В. И. Ленина. 23 апреля 1870 г.— 21 января 1924 г.". Госиздат. Стр. 296.

Вообще, читая эти рассказы, мы незаметно переходим из сферы истории в область легенды, создаваемой народными массами России о своем великом вожде.

Третья часть книги посвящена болезни и смерти В. И. Ленина; помимо материалов, помещенных и в других посмертных ленинских изданиях, здесь приведено большое количество рабочих резолюций, а также отзывов заграничных социалистов и политических деятелей, ярко демонстрирующих, насколько импонировала гигантская фигура В. И. Ленина даже врагам. Недостатком этой части книги, так же, впрочем, как и большинства разобранных сборников, является то, что они почти не воспроизводят писем рабочих и крестьян, написанных по поводу смерти В. И. Ленина. А между тем, именно эти, действительно, бесхитростные, документы могут ознакомить с интимными переживаниями рабоче-крестьянских масс, взбудораженных великой утратой. Из фототипий, приложенных к книге, особенно интересен семейный портрет Ульяновых, относящийся к первым гимназическим годам В. И.

Из популяризаций ленинизма, наиболее удачной является брошюра Н. Попова и Я. Яковлева «Жизнь Ленина и ленинизм» [1], написанная авторами в течение всего двух суток и набранная типографскими рабочими в течение суток.

Краткое жизнеописание, принадлежащее Н. Попову, дает, в сущности, лишь литературно-политическую биографию В. И. Ленина. Недаром биография поделена на такие этапы, как «90-е годы», «Искра и ликвидация экономизма», «II с'езд партии» и т. п., которые являются одновременно этапами жизни и развития партии. В ряде небольших, продуманных главок автор прекрасно справился со своей задачей и дал не только эволюцию теоретических и тактических взглядов В. И. Ленина, но и достаточную характеристику противоборствующих течений, напр., «экономизма», «ликвидаторства» и т. п.

Наиболее интересной является вторая часть книги «Ленинизм». Основой последнего является «исключительное единство мысли Ильича. За три слишком десятка лет своей работы на посту организатора социалистической революции, Ленин дал рабочему классу всего мира оружие борьбы и победы». Именно поэтому мысли Ленина это — «рычаги, которыми Ильич подымал рабочий класс к победе над капиталом».

Три формулы являются руководящими для понимания ленинизма. Первая, это—то, что русская революция означает новую эпоху в жизни человечества; вторая, указывающая, что для осуществления социализма необходимо осуществление пролетариатом руководства над крестьянством, иными словами, сочетание крестьянского восстания с рабочей революцией; третья формула подчеркивает, что подлинный интернационализм может быть достигнут лишь на основе союза рабочих передовых стран с отсталыми, национально угнетенными, народами. Детальному рассмотрению этих основных уставов ленинизма и посвящена статья Я. Яковлева, дающая прекрасный сжатый очерк ленинской теории, стратегии и тактики.

---

[1] Н. Попов и Я. Яковлев. „Жизнь Ленина и ленинизм". Изд. „Красная Новь". М. 1924 г. Стр. 104.

Небольшая брошюра К. Радека «О Ленине» [1]), состоящая из трех газетных статей, дает эскиз большой работы о Ленине, задуманной автором на фоне истории международного рабочего движения, начиная с социальной борьбы «меньшевиков» и «большевиков» в английской революции XVII в. Автор дает суммарную характеристику Ленина как революционного вождя, выросшего на марксизме и одновременно необычайно интимно и интесивно связанного с русской социально-экономической средой. Недаром один из злейших политических врагов В. И. Ленина, П. Б. Аксельрод, рассказывал автору, что, при первой же встрече с Лениным за границей, он почувствовал, что имеет дело с «человеком, который будет вождем русской революции. Он не только был образованный марксист, — таких было очень много, — но он знал, что он хочет делать и как это надо сделать. От него пахло русской землей». Это сочетание теории с глубочайшим реализмом и позволило В. И. Ленина создать, на-ряду с плехановской алгеброй, «арифметику русской революции». Наиболее интересной главой книги является «Ленин как основатель Коминтерна». К. Радек живо передает, как ошеломила его решимость В. И. Ленина расколоть германскую социал-демократию после совершенного ею предательства во время мировой войны. «Мы дорожили единством партии, как ничем,—пишет К. Радек.—Между тем, Ленин ребром поставил вопрос, что, собственно, представляет из себя политика Второго Интернационала: ошибку или предательство интересов рабочего класса. Об'яснения К. Радека Ленин прервал словами: «Это есть историцизм, все находит об'яснение в смене эпох, но могут ли вожди реформизма, которые еще перед войной систематически вели пролетариат в лагерь буржуазии, которые с момента войны перешли в этот лагерь открыто, могут ли они стать проводниками революционной политики?». Я ответил ему, что в это не верю. «Тогда, — заявил Ленин, — надо бить отжившую эпоху в лице вождей реформизма». Ленин настаивал на самой резкой форме идейной борьбы с социал-патриотами, настаивал на необходимости открытого выяснения их предательства, именно предательства. Это слово он повторял много раз и в дальнейшем, при совместной работе».

Создание III Интернационала было для В. И. Ленина средством оформления революционного движения, орудием победы над империалистической войной. Три основных документа пишет В. И. Ленин для второго конгресса Коминтерна: брошюру «Детская болезнь „левизны“ в коммунизме», представляющую собой «квинт-эссенцию всей философии большевизма, его стратегии и тактики», набросок условий вступления в Коминтерн и такой же набросок его тезисов о колониальном вопросе. Эти документы, еще не вполне гениально указывают дальнейший путь всему международному пролетариату, вошедшие в плоть и кровь западных коммунистических партий, тем не менее,

Небольшая брошюрка А. Мартынова дает художественный, необычайно яркий образ В. И. Ленина как «пролетарского вождя» [2]). «Владимир Ильич

[1]) К. Радек. „О Ленине“. Изд. „Красная Новь“. М. 1924. Стр. 66.

[2]) А. Мартынов. „Великий пролет. вождь“. Изд. „Красная Новь“. М. 1924. Стр. 32.

был не только врожденный вождь, но именно врожденный плебейский, пролетарский вождь. У него не было и следа русской интеллигентской дряблости. Этот человек обладал могучей, железной волей, и исторические корни его сидели глубоко в недрах русского трудового народа. Поволжанин Ленин был сродни героям нашей понизовой вольницы. Он был могучий, властный человек, и вместе с тем у него не было и тени тщеславия».

Первый подвиг, который совершил этот «революционный Геркулес»— было создание революционной большевистской организации. Именно благодаря революционному пафосу В. И. Ленина знаменитый Лондонский с'езд 1903 года напоминал «заседания французского революционного Конвента». «На с'езде была такая напряженная атмосфера, что малейшее отклонение от намечаемого вождями с'езда пути клеймилось как оппортунизм и вызывало грозу, и над всем этим якобинско-марксистским с'ездом витал дух Владимира Ильича. Он создал его настроение».

Недаром большевики и меньшевики назывались первоначально «твердыми» и «мягкими», при чем последние устами Мартова протестовали против «осадного положения», вводимого в партии Лениным. И впоследствии ему была присуща необычайная революционная смелость. «Уже незадолго перед своей смертью Владимир Ильич эту самую мысль выразил весьма образно. Он писал: «Я в своей жизни руководился правилом Наполеона I: «on s'engage et puis on voit». По-русски это значит: «Сначала ввяжемся в драку, а потом видно будет». Ленин никогда не предлагал делать того, для чего не созрели революционные силы и об'ективные условия, но он также не был кабинетным доктринером или философским колпаком». Неслыханная смелость сочеталась у В. И. Ленина с гениальным искусством маневрирования; он был великим стратегом, умевшим не только отважно наступать, но, когда нужно, и отступать во-время. Недаром он писал: «Мы при известных условиях должны руководиться французской поговоркой: «il faut reculer pour mieux sauter» («Нужно отступить, чтобы сделать лучший скачок»).

«Ленин был величайшим в истории революционным героем, но героем в марксистском, материалистическом смысле этого слова... Вся его отвага была основана на том, что он правильно учитывал направление развития классовой борьбы, на том, что он глубоко опускал свой зонд в пучину революции, улавливая глубокие народные революционные течения».

Цикл статей о В. И. Ленине дал журнал «Новый Восток» в № 1—5. Статьи М. Павловича «Ленин и народы Востока» и Н. Нариманова «Ленин и Восток» ярко освещают огромное революционизирующее влияние В. И. Ленина на народы Востока. Дополнением к ним является статья Ходорова «Ленин и национальный вопрос».

Заканчивая обзор первой популяризаторской категории литературы о Ление, необходимо упомянуть еще две брошюры: В. Невского: «Ленины» [1]),

---

[1]) В. Невский. „Ленин“. Госиздат. 1924. 2-е изд. Стр. 39. И. Ходоровский. „В. И. Ленин“. М. Госиздат. 1924 г. Стр. 32. Совершенно особняком стоит брошюра Л. Вражина „Ленин“ (Изд. „Художественная Печать“. М. 1924. Стр. 15), являющаяся вредной, беззастенчивой макулатурой.

представляющую исправленное переиздание популярной брошюры, изданной в 1920 г., и И. Ходоровского—«В. И. Ленин», дающую сжатый очерк, рассчитанный на рабоче-крестьянского читателя.

III.

Вторая, научно-исследовательская категория произведений, посвященных В. И. Ленину, несравненно малочисленнее первой. В этом нет, понятно, ничего удивительного. Не забудем, что после В. И. Ленина осталось не только огромное идейное, но и колоссальное литературное наследие. Уже сейчас опубликовано 2 десятка томов его сочинений. Однако это первое издание, заключающее около 650 листов произведений самого В. И. Ленина, является далеко не полным. Как указывает его «литературный душеприказчик», Л. Б. Каменев [1]): «Первое собрание сочинений Ленина является только первой попыткой собрать наследие Ильича». Институт Ленина уже сейчас поставил перед собой задачу подготовить издание полного собрания сочинений Ленина, при строго научном характере этого издания. Будущее второе издание будет состоять из следующих семи отделов: 1) работ, предназначенных самим Лениным для печати; 2) работ, не предназначенных в момент их написания для широкого опубликования; 3) проекты, резолюции и постановления, разного рода извещения, заявления «от редакции» и пр.; 4) письма, которые уже сейчас собраны Институтом в количестве 500 номеров; 5) рукописи предварительных работ, речи и доклады В. И. Ленина и, наконец, 7) декреты, постановления, телеграммы и пр., написанные самим В. И. Лениным как главой государства.

По предварительному подсчету, все эти материалы займут не менее 40 томов, т.-е. увеличат вдвое имеющееся собрание сочинений. Ясно, конечно, что пока не будет проделана эта предварительная грандиозная работа, пока не будет опубликовано комментированное издание трудов и переписки В. И. Ленина, — исследовательская работа может носить лишь предварительный характер и не может претендовать на окончательные выводы.

С другой стороны, совершенно естественной является попытка установить уже сейчас руководящие вехи, которые облегчили бы дальнейшую, более углубленную, работу. Именно эта законная потребность вызывает уже сейчас появление книг, стремящихся не только популяризировать Ленина и ленинизм, но и подвергнуть их серьезному теоретическому рассмотрению.

Наиболее удачной попыткой этого рода надо признать большой том журнала «Под знаменем марксизма», исключительно посвященный В. И. Ленину [2]). Шестнадцать авторов—крупнейших теоретиков марксизма—подвергли анализу идейное наследие, оставленное В. И. Лениным в области философии, революционной стратегии и т. п.

---

[1]) Л. Б. Каменев. „Литературное наследство и собрание сочинений Ильича". Журнал „Коммунистический Интернационал". 1924 г., № 1.

[2]) „Под знаменем марксизма". Февраль 1924 г., № 2, стр. 289.

Две статьи: А. Деборина — «Ленин — воинствующий материалист» и В. Невского—«Ленин как материалист в своих первых работах» анализируют материалистическое мировозрение и диалектику В. И. Ленина. А. Деборин устанавливает, что В. И. Ленин в своей замечательной книге «Материализм и эмпириокритицизм» пытается переработать новейшие достижения естествознания с точки зрения диалектического мировоззрения. Он дает детальный обзор, основанный на колоссальной эрудиции новейших физических теорий и связанных с ними гносеологических проблем. Повсюду он открывает два основных течения: стихийно-материалистическое и физико-идеалистическое. Чем же порождается, по мнению В. И. Ленина, физический материализм? С одной стороны, самим развитием физики, ведущей к замене материи математическими уравнениями; с другой—принципом релятивизма. В общем и целом, В. И. Ленин справедливо видит за каждым философским вопросом, выдвигаемым физикой, борьбу материализма и идеализма. «Новейшая философия,—указывает он,—так же партийна, как и две тысячи лет тому назад... Об'ективная классовая роль эмпириокритицизма всецело сводится к прислужничеству фидеистам в их борьбе против материализма вообще и против исторического материализма, в частности». «Так воинствующий материализм Ленина,—отмечает А. Деборин,—из области теории, философии переходит непосредственно в политику».

Близко примыкает к указанным статьям интересный этюд А. К. Тимирязева—«Ленин и современное естествознание». Автор отмечает ту гигантскую работу, которую должен был проделать В. И. Ленин для того, чтобы написать те 70 страниц V главы «Материализма и эмпириокритицизма», где идет речь о новейшей революции в естествознании. Однако лишь благодаря этой работе, да, конечно, своей гениальности. В. И. Ленин в наиболее важном вопросе естествознания—энергетике, который «тщательно запутан философами и беспомощным барахтаньем в философских вопросах большинства естественников, сразу намечает правильную линию, совпадающую с той, по которой идут исследователи в процессе своей работы».

Но для чего понадобилась В. И. Ленину вся эта работа? А. Тимирязев отмечает, что мы только теперь можем понять ту опасность, которая угрожала отступавшей в 1905 г. пролетарской партии со стороны идеализма. «Мы видим, что вырастающие на наших глазах болезненные явления—вроде «Рабочей Правды»—тесно связаны с отступничеством от нашей материалистической философии. Теперь это всем ясно, но тогда, в эпоху дикого царского самодержавия, увидеть опасность в каких-то философских выводах из новейших физических теорий! Какой зоркий глаз надо было для этого иметь!».

В. Ваганяну принадлежит чрезвычайно интересная статья—«В. И. Ленин и искусство вооруженного восстания в свете первой русской революции». Автор указывает, что в эпоху Второго Интернационала именно В. И. Ленину выпало на долю поставить и разрешить «одну из самых сложных и самых опошленных на Западе оппортунистами проблем марксизма—вопрос о вооруженном восстании». Шаг за шагом, базируясь на произведениях самого В. И. Ленина, В. Ваганян рассматривает постановку им этой проблемы до

первой революции и в тот момент, когда она разразилась. На третьем с'езде партии В. И. Ленин выставлял уже как основную задачу «практическую координацию всего движения, создание единого всенародного восстания». После восстания на «Потемкине», гениально предвосхищая ход событий, В. И. Ленин указывал на необходимость создания революционной армии, «потому что только силой могут быть решены великие исторические события, а организации силы в современной борьбе есть военная организация. И кроме остатков военной силы самодержавия, есть военные силы соседних государств, у которых молит уже поддержки падающее правительство»...

Московское восстание представляло из себя как бы огромный опыт вооруженного восстания, и вот, учитывая, анализируя этот опыт, В. И. Ленин строит простой и одновременно детально продуманный план организации гражданской войны, который и был осуществлен на практике 12 лет спустя.

Суммируя содержание своей статьи, В. Ваганян указывает, что «В. И. Ленин ввел в искусство не только вооруженного восстания, но и в искусство делать революцию свой великий вклад, которым не только русский, но и международный пролетариат непременно будет пользоваться до момента решительного уничтожения угнетения, до момента, который Маркс так энергично назвал «экспроприация экспроприаторов».

В настоящей статье, конечно, совершенно невозможно, хотя бы бегло, охарактеризовать остальные статьи ленинского номера «Под знаменем марксизма», напр., Б. Горева, В. Милютина, Е. Преображенского и др. Укажу лишь, что разбираемая книга, несомненно, закладывает первый камень будущего здания теоретического постижения В. И. Ленина.

Из отдельных авторов теоретическую разработку проблем ленинизма дал пока лишь М. Павлович (М. Вельтман) в книге «Ленин. Материалы к изучению ленинизма» [1]).

Книга эта составилась из статей, печатавшихся в журналах: «Под знаменем марксизма», «Красная Новь», «Прожектор» и др.

Мы не имеем здесь строго-научной работы исследовательского типа, так как для последней, как указывалось выше, еще не созданы необходимые предпосылки. Однако автор проделал трудную и кропотливую работу—путем детального сопоставления цитат из различных сочинений Ленина—проследить разработку последним той или иной проблемы, освещая ее в то же время теми фактами, которые были им лишь предугаданы. Книгу М. Павловича поэтому следовало бы назвать не «материалами к изучению ленинизма», а скорее «этюдами по ленинизму». Первые две статьи посвящены борьбе В. И. Ленина с народничеством и с питомцами его—эс-эрами [2]). В основу последней статьи легли «тезисы», опубликованные В. И. Лениным в 1902 г. и носящие характерное название «Почему с.-д. должна об'явить решительную войну соц.-революционерам». Путем детального разбора этих тезисов и сопоставления

---

[1]) М. Павлович (М. Вельтман), „Ленин. Материалы к изучению ленинизма". Изд. „Красная Новь". 1924 г. М. 204 стр.

[2]) „Ленин как разрушитель народничества" (2-ая гл.); „Ленин и эс-эры" (3-я гл.).

их с другими материалами, М. Павлович устанавливает, что они предсказали всю дальнейшую эволюцию партии эс-эров, а также характер той борьбы, которую с ними вел сам В. И. Ленин. Совершенно справедливо М. Павлович отмечает, что тезисы Ленина «крайне интересны для изучения психологии творчества гениальных умов, одаренных необыкновенной интуицией»; с помощью последней, гениальный мыслитель устанавливает «сразу вехи работы, которую он ведет затем в течение десятков лет».

Большая и чрезвычайно нужная статья—«Ленин и национальный вопрос»—рассматривает одну из самых основных проблем ленинизма. М. Павлович подробно разбирает постановку национального вопроса у К. Маркса и Михайловского, знаменитый спор В. И. Ленина с Розой Люксембург из-за § 9 программы Р. С.-Д. Р. П., говорящего о праве наций на самоопределение, собственные взгляды на национальный вопрос В. И. Ленина и т. п.

К этой статье близко примыкает этюд «Национальные антагонизмы и национальные войны в эпоху империализма». М. Павлович подробно обосновывает здесь один из блестящих прогнозов В. И. Ленина, утверждавшего во время полемики с Розой Люксембург в 1916 г., что в эпоху империализма национальные войны не только неизбежны со стороны колоний и полуколоний, но они вполне вероятны даже в Европе. Подробно рассматривая национальные антагонизмы, создавшиеся после мировой войны в Центральной Европе: Польше, Чехо-Словакии, Австрии, Венгрии, а также в Юго-Славии и в Румынии, М. Павлович указывает, что национальные противоречия, достигшие в Европе необычайной остроты, в любой момент угрожают ей взрывом. Так, послевоенная политическая действительность оправдывает гениальный прогноз В. И. Ленина.

Последняя статья[1]) книги посвящена чрезвычайно интересной критике В. И. Лениным теории «сверх-империализма», выдвинутой К. Каутским и доказывающей, что перенесение политики картелей на внешнюю политику создаст новую фазу капитализма; последняя, по Каутскому, будет характеризоваться прекращением войн и заменой их общей эксплоатацией мира интернационально об'единенным финансовым капиталом. В. И. Ленин беспощадно разбил эту «империалистическую идиллию», созданную Каутским, и доказал, что всякие «интер-империалистические» или «ультра-империалистические» союзы носят лишь кратковременный характер и являются только «передышками» между войнами. «Теория ультра-империализма,—метко и прозорливо указывает В. И. Ленин,—служит Каутскому для оправдания оппортунистов, для изображения дела в таком свете, что они вовсе не перешли на сторону буржуазии, а просто «не верят» в немедленный социализм, ожидая, что перед ними может быть «новая эра» разоружения и длительного мира».

М. Павлович детально анализирует опыт сверх-империалистической политики держав после мировой войны: Вашингтонскую конференцию, торжество европейского протекционизма, новый рост маринизма и милитаризма,

---

[1]) „Ленин и теория сверх-империализма". Статья эта вошла также в разобранный номер журнала „Под знаменем марксизма".

наконец, фактическое крушение Антанты, и на фактах доказывает, насколько прав был В. И. Ленин в своей критике теории К. Каутского. Путь к преодолению империализма лежит поэтому не в возвращении назад к эпохе манчестерства, а в революционном преодолении капитализма, чему и учил в теории и на практике В. И. Ленин.

IV.

Третья категория ленинской литературы заключает биографические материалы о В. И. Ленине. Выше уже отмечалось, насколько вся имеющаяся сейчас популярная литература бедна как раз именно личным, биографическим элементом. Все появившиеся до сих пор жизнеописания, характеристики и пр. дают, в сущности, лишь описание партийно-политической деятельности В. И. Ленина, почти без всякой попытки преломить ее в призме его личной жизни. Это явление представляется, впрочем, вполне закономерным. Прежде всего, общеизвестно, что ничто не было так противно В. И. Ленину в окружающих, как выпячивание своей личности, эффектные фразы, позы и т. п. Будучи глубоко замкнутым в своей личной жизни человеком, «В. И. Ленин ничего так не презирал, как всякие пересуды, сплетни, вмешательства в чужую личную жизнь. Он считал такое вмешательство недопустимым» [1]).

Помимо этого, колоссальная и притом всесторонняя деятельность В. И. Ленина: научная, литературно-агитационная, организационная, боевая и т. д. и т. д. — почти не оставляла места для личной жизни. Конечно, и здесь не могли не присутствовать личные моменты и нюансы, но их уловить и передать могли лишь лица, интимно связанные с В. И. Лениным.

При этой скудости биографических данных, все вновь публикуемые материалы вызывают, понятно, огромный интерес. Разумеется, здесь всегда возможны психологические перегибы, добросовестные ошибки и неправильные психологические оценки. Недаром совсем недавно раздался по этому поводу предостерегающий голос Н. К. Крупской: «О Владимире Ильиче очень много пишут теперь. В этих воспоминаниях В. И. часто изображают каким-то аскетом, добродетельным филистером-семьянином. Как-то искажается его образ. Не такой он был. Он был человеком, которому ничто человеческое не чуждо. Любил он жизнь во всей ее многогранности, жадно впитывал ее в себя... Каждый шаг В. И. пропускают через призму какой-то филистерской сентиментальности. Лучше бы поменьше на эти темы писать».

Наиболее интересные биографические материалы, имеющие историческое значение, появились, как и следовало ожидать, в специальном ленинском номере «Пролетарской Революции» [2]). Целый ряд более или менее близких к В. И. Ленину лиц сообщает здесь о своих встречах с ним, беседах или о совместной работе.

---

[1]) Н. Крупская. „О Владимире Ильиче". „Правда" № 83 от 11/IV — 1924.

[2]) „Пролетарская Революция". Журнал Истпарта. Ленинский номер, № 3 (26). М. 1924. Стр. 275.

Огромную историко-биографическую ценность имеет статья А. И. Елизаровой: «Владимир Ильич в тюрьме» (декабрь 1895 г.—февраль 1897 г.). А. И. Елизарова ежедневно отправлялась на «свидания за решеткой» к своему гениальному брату, исполняла все его легальные и нелегальные поручения, служила для него живой связью с волей и т. п. Понятно, что ее воспоминания об этом периоде имеют исключительный интерес.

В. И. Ленин, попав в тюрьму, прежде всего проявил прямо-таки гениальные способности конспиратора. В первом письме (2/I—1896), полученном от него из тюрьмы, он говорит о плане той работы, из которой получилась его книга «Развитие капитализма в России».

«Письмо это, конечно, адресуется собственно товарищам, оставшимся на воле, что даже и отмечается в письме: «Может быть, вы сочтете небесполезным передать это письмо кому-нибудь, посоветоваться». Но серьезный тон длинного письма с приложенным к нему длиннейшим списком научных книг, статистических сборников искусно замаскировал тайные его цели, и письмо дошло беспрепятственно, без всяких помарок. А между тем, Владимир Ильич в нем ни больше, ни меньше, как запросил товарищей о том, кто арестован с ним; запросил без всякого предварительного уговора, но так, что товарищи поняли и ответили ему тотчас же, а бдительные аргусы ничего не заподозрили.

«—В первом же письме Владимир Ильич запросил нас об арестованных, — сказал мне с восхищением Сильвин, — и мы ответили ему».

«К сожалению уцелеа только первая часть письма—приложенного к ней списка книг нет: очевидно, он застрял и затерялся в процессе розыска их. Бóльшая часть перечисленных книг была. действительно, нужна Владимиру Ильичу для его работы, так что письмо метило в двух зайцев и, в противовес известной пословице, попало в обоих. Я могу только восстановить по памяти некоторые из тех заглавий, которыми Владимир Ильич, искусно вплетая их в свой список, запросил об участи товарищей. Эти заглавия сопровождались вопросительным знаком, которым автор обозначал якобы неточность цитируемого на память названия книги и который в действительности отмечал, что в данном случае он не книгу просит, а запрашивает. Запрашивал он, пользуясь кличками товарищей. Некоторые из них очень подходили к характеру нужных ему книг, и запрос не мог обратить внимания. Так, о В. В. Старкове он запросил: «В. В. Судьбы капитализма в России».—Старков звался «Веве».—О нижегородцах: Ванееве и Сильвине, носивших клички «Минина» и «Пожарского», запрос должен уже был остановить более внимательного контролера писем заключенных, так как книга не относилась к теме предполагавшейся работы, это был Костомаров — «Герои смутного времени». Но все же это была научная, историческая книга, и, понятно, требовать, чтобы просматривающие кипы писем досмотрели такое несоответствие, было бы требовать от них слишком большой дозы проницательности... Однако же не все клички укладывались так сравнительно удобно в рамки заглавий научных книг, и одной из следующих, перемеженных, конечно, рядом действительно нужных для работы книг была уже: Брем—«О мелких грызунах». Здесь вопросительный знак запрашивал с несомненностью для то-

варищей об участи Г. М. Кржижановского, носившего кличку «Суслик». Точно так же по-английски написанное заглавие: Mayne Rid «The Mynoga» означало Надежду Константиновну Крупскую, окрещенную псевдонимом «рыбы» или «миноги». Эти наименования могли бы, как будто, остановить внимание цензора, но серьезный тон письма, уйма перечисленных книг, а кроме того, предусмотрительная фраза, стоявшая где-то во втором (потерянном) листке: «разнообразие книг должно служить коррективом к однообразию обстановки»,—усыпили бдительность аргусов».

Находясь в тюрьме и настроившись «на долгое сидение», В. И. Ленин, как известно, проделал огромную работу, изучая материалы, на которых была построена впоследствии его первая, создавшая эпоху, работа—«Развитие капитализма в России». Но, при своей вулканической энергии, В. И. Ленин не мог удовлетвориться одной лишь научной работой.

«И вот Ильич стал писать, кроме того, нелегальные вещи и нашел способ передавать их на волю. Это, пожалуй, самые интересные страницы из его тюремной жизни. В письмах с воли ему сообщали о выходящих листках и других подпольных изданиях; выражались сожаления, что листки не могут быть написаны им, и ему самому хотелось писать их. Конечно, никаких химических реактивов в тюрьме получить было нельзя. Но Владимир Ильич вспомнил, как рассказывал мне, одну детскую игру, показанную матерью: писать молоком, чтобы проявлять потом на свечке или лампе. Молоко он получал в тюрьме ежедневно. И вот он стал делать миниатюрные чернильницы из хлебного мякиша и, налив в них несколько капель молока, писать им меж строк жертвуемой для этого книги. Владимиру Ильичу посылалась специально беллетристика, которую не жаль было бы рвать для этой цели, а кроме того, мы утилизировали для этих писем страницы об'явлений, приложенных к номерам журналов. Таким образом шифрованные письма точками были заменены этим более скорым способом. В письме точками Ильич сообщил, что на такой-то странице имеется химическое письмо, которое надо прогреть на лампе...

«Владимир Ильич мастерил намеренно чернилицы крохотного размера: их легко было проглотить при каждом щелчке форточки, при каждом подозрительном шорохе у волчка. И первое время, когда он не освоился еще хорошо с условиями предварилки, а тюремная администрация не освоилась с ним как с очень уравновешенным, серьезно занимающимся заключенным, ему нередко приходилось прибегать к этой мере. Он рассказывал, смеясь, что один день ему так не повезло, что пришлось проглотить целых шесть чернильниц.

«Помню, что Ильич в те годы и перед тюрьмой и после нее любил говорить: «Нет такой хитрости, которой нельзя было бы перехитрить».

Таким путем были написаны им и переданы на волю листовки, брошюра «О стачках», программа партии и подробная об'яснительная записка к ней.

Несколько страничек воспоминаний М. Ингбер знакомят с любопытным эпизодом, с чтением В. И. Лениным в 1902 г. лекций в Парижской «Высшей Русской Школе Общественных Наук», основанной либеральными профессо-

рами—Е. де-Роберти, Ю. Гамбаровым и М. Ковалевским. В. И. Ленин был приглашен слушателями с.-д. буквально контрабандой, так как профессора, руководители школы, не подозревали, что В. Ильин, автор легальных экономических книг, и революционер-эмигрант В. Ленин—одно и то же лицо. Узнав об этом, либеральные профессора сильно «сдрейфили», пытались даже сорвать лекции, а когда это не удалось, начали украдкой посещать их, боясь даже познакомиться с В. И. Лениным.

Ряд интересных деталей, относящихся к жизни В. И. Ленина в Лондоне (1902—1903 г.г.), сообщает Н. А. Алексеев. Жили В. И. Ленин и Н. К. Крупская в Лондоне необычайно скромно.

«Н. К. сама вела свое скромное хозяйство—покупала провизию, стряпала на керосинке обеды, мыла полы и т. д. Ее хозяйственные хлопоты несколько облегчала старушка-мать, приехавшая в Лондон позже и чувствовавшая себя очень неуютно на чужбине. В. И. об'яснил мне тотчас по приезде, что прочие искровцы будут жить коммуной, он же совершенно неспособен жить в коммуне, не любит быть постоянно на людях. Предвидя, что приезжающие из России и из-за границы товарищи будут, по российской привычке, не считаясь с его временем, надоедать ему, он просил по возможности ограждать его от слишком частых посещений».

Помимо членов редакции «Искра» В. И. Ленин ни с кем не поддерживал частых сношений. Время от времени к нему являлись россияне, приезжавшие по партийным делам, бежавшие из тюрьмы и т. п.

«Не могу не упомянуть еще об одном визитере—П. Н. Милюкове. Он тогда носился с мыслью об'единения всей русской оппозиции. Я встретился с ним у Ф. А. Ротштейна, пригласившего—кроме меня—еще К. М. Тахтарева и нескольких бундистов, из которых помню Александра Кремера. Узнав от меня, что в Лондоне находятся В. И. Засулич и некоторые члены редакции «Искры», П. Н. Милюков пожелал повидаться с ними и с этой целью зашел к нам в «коммуну». Беседовали с ним главным образом Ю. О. Цедербаум и В. И. Засулич (Владимир Ильич при беседе не присутствовал, с ним Милюков виделся потом отдельно). Милюков, отмечая огромную популярность марксизма, очень упрекал искровцев за полемику против террора после убийства Балмашевым Сипягина и уверял нас, что еще один-два удачных террористических акта—и мы получим конституцию...

«Дорожа своим временем, В. И. не особенно долюбливал тех из приезжавших россиян, которые с этим не считались. Помню его негодование на ежедневные визиты покойного Лейтейзена (Линдова), приезжавшего из Парижа и зачастившего к нему. «Что у нас — праздник, что ли?»—выражался В. И., жалуясь на это в «коммуне».

«Но при всем своем стремлении экономить время В. И. охотно принял предложение вести занятия с кружком русских рабочих-эмигрантов, организованным при моем ближайшем участии еще до приезда искровцев в Лондон».

И. Волковичер, на основании неизданных материалов Женевского партийного архива, рисует работу В. И. Ленина по собиранию партии вокруг старой «Искры». Все приводимые материалы указывают на руководящую роль

В. И. Ленина в этом деле, представлявшем тогда огромные, почти непреодолимые трудности. Недаром один и искровских работников, проделавший большую работу в Питере, так характеризует свою работу: «Везде оперирую ленинским плугом, как самым лучшим, производительным возделывателем почвы. Он прекрасно сдирает кору рутины, разрыхляет почву, обещающую произвесть злаки. Раз повстречаются на пути плевелы, посеянные «Р(абочим), Д(елом)», он всегда уничтожает их с корнем».

В отделе втором журнала «Материалы и документы» впервые опубликованы несколько статей В. И. Ленина, написанных между 1896—1914 г.г. Прекрасно составленная биография дает характеристику и разбор посмертной литературы о В. И. Ленине.

Наиболее яркие воспоминания о В. И. Ленине, как по художественности передачи, так и по значительности содержания, были даны Л. Д. Троцким в его небольшой книге «Ленин и старая Искра» [1]). Материалы, сообщаемые Л. Д. Троцким, представляют исключительный психологический интерес— «ибо именно за эти короткие годы (1900—1903) Ленин становится Лениным». Беседы и споры, свидетелем или участником которых был Л. Д. Троцкий во время своего пребывания в Лондоне, а позже в Женеве, настолько увлекательны и исторически ценны, что их все, в сущности, хочется воспроизвести. Но это означало бы процитировать добрые ¾ его книги.

Воспоминания Л. Д. Троцкого впервые знакомят нас с теми трениями и неладами, которые существовали уже в те годы между «молодыми» членами редакции «Искры» (Лениным, Мартовым и Потресовым) и «стариками» (Плехановым, Засулич и Аксельродом). Перед поездкой Л. Д. Троцкого на континент, В. И. Ленин, посвящая его во внутренние дела редакции, говорил о том, что Плеханов настаивает на переводе всей редакции в Швейцарию, но что он, Ленин, против перевода, так как это затруднит работу. «Тут впервые я понял, но лишь чуть-чуть, что пребывание редакции в Лондоне вызывается соображениями не только полицейского характера, но и организационно-персональными. Ленин хотел в текущей организационно-политической работе максимальной независимости от стариков и, прежде всего, от Плеханова, с которым у него уже были острые конфликты, особенно при выработке проекта программы партии. Посредниками в таких случаях выступали Засулич и Мартов: Засулич—в качестве секунданта от Плеханова, и Мартов—в таком же качестве от Ленина. Оба посредника были очень примирительно настроены и, *кроме того, очень дружны между собою...* Об острых столкновениях между Лениным и Плехановым по вопросу о теоретической части программы я узнавал лишь постепенно. Помню, Владимир Ильич спрашивал меня, как я нахожу программу, тогда только что опубликованную (кажется, в № 25 «Искры»). Я, однако, воспринял программу слишком оптовым порядком, чтобы ответить на тот внутренний вопрос, который интересовал Ленина. Разногласия шли по линии большей жесткости и категоричности в характеристике основных тенденций капитализма, концентрации производства, распада промежуточных

[1]) Л. Д. Троцкий. „Ленин и старая Искра". Истпарт. М. 1924. Стр. 48.

слоев, классовой дифференциации и пр.—на стороне Ленина, и большей условности и осторожности в этих вопросах—на стороне Плеханова. Программа, как известно, изобилует словами «более или менее»: это от Плеханова. Насколько вспоминаю, по рассказам Мартова и Засулич, первоначальный набросок Ленина, противопоставленный наброску Плеханова, встретил со стороны последнего очень резкую оценку в высокомерно-насмешливом тоне, столь отличавшем в таких случаях Георгия Валентиновича. Но Ленина этим нельзя было, конечно, ни обескуражить, ни испугать. Борьба приняла очень драматический характер. Вера Ивановна, по ее собственному рассказу, говорила Ленину: «Жорж) (Плеханов)—борзая: потреплет, потреплет и бросит, а вы—бульдог: у вас мертвая хватка». Очень хорошо помню эту фразу, как и заключительное замечание Засулич: «Ему (Ленину) это очень понравилось. — Мертвая хватка? — переспросил он с удовольствием». И Вера Ивановна добродушно передразнивала интонацию вопроса».

Особенно разногласия между членами редакции «Искры» обострились перед 2-м с'ездом.

«В Женеву с'езжались первые делегаты будущего 2-го с'езда, и с ними шли непрерывные совещания. В этой подготовительной работе Ленину принадлежало бесспорное, хотя и не всегда заметное, руководство. Шли заседания редакции «Искры», заседания организации «Искры», отдельные совещания с делегатами по группам и общие. Часть делегатов приехала с сомнениями, возражениями или с групповыми претензиями. Подготовительная обработка отнимала много времени.

«На с'езд прибыло всего трое рабочих. Ленин очень подробно беседовал с каждым из них и завоевал всех троих. Одним из них был Шотман из Петербурга. Он был еще очень молод, но осторожен и вдумчив. Помню, вернулся он после разговора с Лениным (мы с ним жили на одной квартире) и все повторял: «А как у него глазенки светятся, точно насквозь видят»...

«Большое место в совещаниях уделялось уставу, при чем одним из крайне важных моментов в организационных схемах и спорах были взаимоотношения Ц. О. и Ц. К. Я приехал за границу с той мыслью, что Ц. О. должен «подчиняться» Ц. К. Таково было настроение большинства «русских» искровцев, не очень, впрочем, настойчивое и определенное.

«— Не выйдет,—возражал мне Владимир Ильич.—Не то соотношение сил. Ну, как они будут нами из России руководить? Не выйдет... Мы—устройчивый центр, и мы будем руководить отсюда.

«В одном из проектов говорилось, что Ц. О. обязан помещать статьи членов Ц. К.

«— Даже и против Ц. О.?—спрашивал Ленин.

«— Конечно.

«— К чему это? Ни к чему. Полемика двух членов Ц. О. могла бы еще при известных условиях быть полезной, но полемика «русских» цекистов против Ц. О. недопустима.

«— Так это же получится полная диктатура Ц. О.?—спрашивал я.

«— А что же плохого!—возражал Ленин,—Так оно пр нынешнем положении и быть должно...

«— Самый острый вопрос для Ленина состоял в том, как органиовать в дальнейшем центральный орган, который должен был играть по существу одновременно и роль Центрального Комитета. Ленин считал невозможным сохранить старую шестерку. Засулич и Аксельрод во всяком спорном вопросе почти неизменно становились на сторону Плеханова, и тогда в лучшем случае получалось трое против трех. Ни та, ни другая тройка не согласилась бы на удаление кого-либо из коллегии. Оставался противоположный путь: расширение коллегии. Ленин хотел меня ввести седьмым, с тем, чтобы затем из семерки, как широкой редакции, выделить более узкую редакционную группу.

«Однако в лице Г. В. Плеханова весь этот план натолкнулся на решительное сопротивление и рухнул.

«На 2-м с'езде Ленин завоевал Плеханова, но ненадежно; одновременно, он потерял Мартова, и—потерял навсегда. Плеханов, повидимому, что-то почувствовал на 2-м с'езде; по крайней мере, он сказал тогда Аксельроду, в ответ на его горькие и недоуменные упреки по поводу плехановского союза с Лениным: «Из такого теста делаются Робеспьеры». Я не знаю, приводилась ли когда-либо эта замечательная фраза в печати, и известна ли она вообще в партии, но за точность ее я ручаюсь».

Трудно исчерпать весь первоклассный по интересу материал, заключающийся в воспоминаниях Л. Д. Троцкого. Чего стоит, напр., его рассказ о трагикомическом столкновении, происшедшем в одном из женевских кафе между В. И. Лениным и В. И. Засулич из-за того, что левые члены «Искры» слишком нападали на либералов.

«— Вот смотрите, как они стараются,—говорила она, глядя мимо Ленина, но имея в виду, прежде всего именно его.—В последнем номере «Освобождения» Струве ставит нашим либералам в пример Жореса, требует, чтобы русские либералы не порывали с социализмом, ибо иначе им угрожает жалкая судьба немецкого либерализма, а брали бы пример с французских радикалов-социалистов.

«Ленин стоял у стола в надвинутой на лоб мягкой соломенной шляпе «под панаму» (заседание уже кончилось, и он собирался уходить).

«— Тем больше их надо бить,—сказал он, весело улыбаясь и как бы дразня Веру Ивановну.

«— Вот так-так!—воскликнула она с полным отчаянием,—они идут нам навстречу, а мы их—бить!

«— Вот именно. Струве говорит своим либералам: надо против нашего социализма принимать не грубые немецкие меры, а более тонкие французские, привлекать, задабривать, обманывать, развращать на манер левых французских радикалов, заигрывающих с жоресизмом...

«...Возвращались мы с ней вместе. Засулич была удручена, чувствуя, что карта Струве бита. Я не мог доставить ей никакого утешения. Никто из нас, однако, не предчувствовал тогда, в какой мере, в какой превосходной степе-

ни бита была карта русского либерализма в этом маленьком диалоге у дверей кафе «Ландольт».

Небольшая книга Л. Д. Троцкого не только является необходимым материалом для изучения Ленина эпохи «Искры»; она представляет из себя великолепный образец историко-биографического подхода к огромной, многогранной личности В. И. Ленина, столь обесцвечиваемой обыкновенно его биографами.

Второй психоневрологический с'езд.

Г. Даян.

(Окончание.)

VII.

Учение о доминанте.

Огромный интерес, и вполне заслуженный, вызвал к себе на с'езде доклад проф. А. А. Ухтомского — «Доминанта как рабочий принцип нервных центров».

Основное положение проф. Ухтомского заключается в том, что нормальное отправление органа (напр., нервного центра) в организме не есть предопределенное, раз навсегда неизменное качество данного органа. Оно не статически постоянное и единственное его качество. Роль нервного центра существенно изменяется. В различных состояниях тот же центр может приобрести существенно разное значение в общей работе его соседей, в структуре всего организма.

В нормальной деятельности центральной нервной системы текущие и переменные задачи в непрестанно меняющейся среде вызывают в нервной системе «главенствующие очаги возбуждения».

Эти очаги возбуждения существенно разнообразят работу центров. Господствующий очаг возбуждения, в значительной степени предопределяющий характер текущих реакций центров в данный момент, проф. Ухтомский обозначает термином «доминанта». Этот термин он берет в том же значении, в каком его употребляет Рихард Авенариус.

В своей книге «Kritik der reiner Erfahrung» (2, 1890, 275) Авенариус говорит:

«В конкуренции зависимых жизненных родов один из них приходится рассматривать как доминанту для данного момента, в направлении которой определяется общее поведение индивидуума».

При этом проф. Ухтомский считает доказанным, что способность формировать доминанту является не исключительным достоянием коры головного мозга, но общим свойством центров. Доминанта — не привилегия высших нервных этажей, но общий рабочий принцип нервных центров.

Головной аппарат высшего животного характеризуется проф. Ухтомским как орган со множеством переменных, чрезвычайно длинных щупалец, из которых выставляется вперед, как бы для предвкушения событий, то одно, то другое. Головной мозг, это аппарат, представляющий из себя множество переменных, калейдоскопически сменяющихся органов предупредительного восприятия, предвкушения и проектирования среды.

Доминанта создается односторонним накапливанием возбуждения в определенной группе центров как бы за счет работы других центров.

В высших этажах центральной нервной системы и в коре полушарий принцип доминанты является физиологической основой акта внимания и предметного вышления. При этом разнообразные слабые раздражения при процессе внимания способствуют его концентрации.

Zoneff и Meumann в «Philosophische Studien», 1901, 51, указывают, что концентрация внимания усиливается при возбуждении дыхательного и сосудистого центров.

Тормозя прочие центры, господствующее возбуждение само переживает своеобразное состояние: оно способно подкрепляться весьма разнообразными и отдаленными раздражениями организма.

Достаточно стойкое возбуждение, протекающее в определенный момент в центрах, приобретает значение доминирующего, господствующего фактора в работе прочих центров.

С точки зрения проф. Ухтомского, всякое «понятие и представление» есть след от некогда пережитой доминанты. Этот след, а подчас и вся пережитая доминанта, могут быть вновь вызваны в поле внимания, как только возобновится, хотя бы частично, раздражитель, ставший для нее адэкватным. Старый и дряхлый боевой конь весь преображается и попрежнему мчится в строй при звуке сигнальной трубы.

Доминанта характеризуется своей инерцией не только в том смысле, что, однажды вызванная, она стойко держится в центрах и подкрепляется разнообразным раздражениями, но и в том, что, однажды вызванная, она может восстановляться.

Сфера подкрепляющих доминанту раздражителей постепенно сужается. Из массы поводов будут закрепляться лишь те, которые биологически интересны именно для данного индивидуума. Доминанта выловит из множества доводов лишь те, которые окажутся в биологическом сродстве с нею. Так, мать, крепко спящая под гром артиллерийской пальбы, просыпается на легкий стон своего ребенка.

Способность доминанты восстановляться по кортикальным компонентам сказывается особенно ясно на так называемых инстинктивных актах. Выясним это на следующем примере.—Возбудимость полового аппарата прекращается навсегда после кастрации, если до кастрации coitus не был испытан. Половая доминанта в таком случае просто вычеркивается из жизни кастрированного. Но если до кастрации coitus был испытан, и мозговая кора успела связать с ним зрительно - обонятельные и соматические впечатления, половое возбуждение и попытки ухаживания будут возобновляться. Доми-

нанта скажется чисто нервным путем, рефлекторно, по кортикальным компонентам.

Надо ли представлять себе доминанту, как топографически единый пункт возбуждения в центральной нервной системе?

По всем данным, указываемым проф. Ухтомским, доминанта есть комплекс определенных симптомов во всем организме — и в мышцах, и в секреторной работе, и в сосудистой деятельности. Когда кора возобновляет прежде пережитую доминанту, дело идет о более или менее подробном восстановлении в организме всего комплекса центральных, мышечных, выделительных и сосудистых явлений. Кора умеет восстановить и воспроизвести прежний опыт вплоть до галлюцинаций.

Обычно пережитые доминанты восстанавливаются более экономным путем, без лишних «издержек производства», при помощи символов.

Пока доминанта в душе ярка и жива, она держит в своей власти все поле душевной жизни. Все напоминает о ней и о связанных с нею образах и реальностях. Доминанта оставляет за собой в центральной нервной системе прочный, иногда неизгладимый след. В нас могут жить одновременно множество потенциальных доминант — следов от прежней жизнедеятельности.

Всякий интегральный образ, которым мы располагаем, является продуктом пережитой нами доминанты.

В него отлилась совокупность впечатлений, приуроченных к определенной доминанте, которая имела в нас свою историю.

После всякого оживленного переживания доминанты, соответствующий образ, заново переработанный, уходит в резервуары памяти более или менее (скажем по-марксистски) диалектически синтезированным.

Это образ уже не таков, каким он был некогда. Тезис осложняется противоречиями. На основе антитез, ими обремененный и оплодотворенный, перед нами появляется синтез, примитивный образ, ставший интегральным.

Понятие о доминанте, как правильно замечает ученик проф. Ухтомского М. И. Виноградов, основано на конфликте между двумя возбуждениями разной интенсивности. Всякое более сильное и стойкое возбуждение является доминантным. Всякое слабейшее—подчиненным ему в той или иной степени. Такое более слабое возбуждение, попавшее в среду влияния доминанты, можно назвать субдоминантным возбуждением. При обилии и разнохарактерности воздействия среды на организм одно и то же возбуждение может быть то доминантным, то—в следующий момент—субдоминантным.

Такова изменяемость диалектического процесса в психологии. И таковы выводы, которые сами собой напрашиваются, как вытекающие из научной теории проф. Ухтомского. И это вопреки тому, что в своих философских воззрениях проф. Ухтомский, как местами явствовало из его доклада, предпочитает охлондые высоты метафизики. Он отворил и о «духе и о боге. Однако, спускаясь в эмпирическую область экспериментальной психологии,

А. А. Ухтомский, как бы против своей воли, подкрепляет новым материалом чуждую ему нашу диалектическую «доминанту».

Да утешится проф. Ухтомский:
Не он первый, не он последний...

* * *

У проф. Ухтомского были предшественники. Намеки на доминанту мы найдем и у академика И. П. Павлова (в ряде статей и речей, собранных в книге «20-летний опыт») и у Вильяма Джемса «The principles of psychology» (1891, II, p. 579—592). Но лишь у проф. Ухтомского общие предположения о доминанте и схемы этих ученых приобрели конкретное физиологическое содержание, подкрепленное рядом экспериментальных исследований на различных животных (на собаке, кошке, лягушке, на брюхоногом моллюске). Опыты эти произведены как самим Ухтомским, так и его ближайшими учениками и сотрудниками: М. И. Виноградовым, И. И. Каплан, Ю. М. Уфляндом, Р. С. Кацнельсон, Н. Д. Владимирским, И. А. Ветюковым и др.

О том, как слабые раздражители помогают концентрации внимания на скрытых интересах и содействуют выявлению и подкреплению доминанты, очень определенно говорил еще Эммануил Кант:

«Мелькание огонька в камине или капризные струйки и накипь пены в ручейке, катящемся по камням, погружают зрителя в задумчивость. Того, кто слушает музыку не как знаток, например, поэта или философа, она приводит в такое настроение, в котором каждый, соответственно своим целям или своим склонностям, сосредоточенно ловит свои мысли, овладевает ими и создает подчас такие мысли, которых он никогда так удачно не уловил бы, если б одиноко сидел в своей комнате» (Кант, Антропология, пер. Соколова. СПБ. 1900 г., стр. 49—50).

Что приписывание топографически определенному нервному центру всегда одной и той же неизменной функции есть лишь допущение, делаемое ради простоты рассуждения, на это до проф. Ухтомского указывал уже в 1910 году W. H. Winch в своей «Physiological and psychological» (стр. 208).

Большой заслугой проф. Ухтомского надо считать то, что из динамики нервного центра он вывел чрезвычайно ценное и плодотворное, основанное на опытах учение о доминанте.

Далее, концепция А. А. Ухтомского наводит нас на следующую аналогию.

Его высшие доминанты, то ярко живущие в поле сознания, то опускающиеся в скрытое состояние, но продолжающие нами владеть, совпадают по смыслу с теми «психическими комплексами», о которых говорил Фрейд и его школа. «Ущемленные комплексы», т.-е. заторможенные психо-физиологические содержания пережитых доминант, могут действовать патагенно когда они в свое время не были вплетены и координированы в прочей психической массе. Тогда последующая душевная жизнь будет борьбою вытесняющих друг друга несогласных доминант, которые стоят друг перед другом как

инородные тела. Это будет, мы бы сказали, перманентная гражданская война на фронтах нашей психической жизни.

Чем более согласованы между собою последовательно переживаемые содержания внимания, чем непрерывнее ткань прежней жизни сознания, тем более легки и плавны будут переходы последующей психической жизни от одной доминанты к другой.

В чем социологическая значимость концепции проф. Ухтомского?

Достижения проф. Ухтомского обладают той общественно-философской ценностью, что они наносят значительный удар абстрактности «простых ощущений».

Старинные искания психологов, как и недавняя еще попытка Маха, шли в направлении изучения «ощущений», как последних элементов, из которых слагается опыт. Доискиваясь наипростейших элементов опыта, философы переходили от «простых ощущений» (Юм) к «petites perceptions» (Лейбниц). Изобретатель метода бесконечно-малых хотел и здесь разрубить спутанный узел при помощи своеобразных дифференциалов.

Но конкретные ощущения суть сложные образования, заключающие в себе синтез противоречивых элементов. Они таят в себе продукты диалектического процесса, доминирующего во всём и над всем.

Реальный живой опыт слагается из интегральных образов, диалектически сплетенных между собой. В области идеологии доминанта дает то маховое колесо, ту руководящую идею, которые избавляют мысль от толчков и пестроты, сцепляя факты в единый опыт.

В этом — огромная социологическая значимость научно-исследовательских достижений А. А. Ухтомского и его школы.

VIII.

О морально-дефективных.

С'езд высказал большое внимание вопросам, связанным с моральной дефективностью.

Первым выступил с докладом о детской дефективности проф. А. С. Грибоедов. Доклад его сводится к следующему:

Тяжелые условия империалистической и гражданской войны, революции, голода и эпидемии ухудшили положение детей и повысили их дефективность. Это явление наблюдается и в некоторых странах Западной Европы. С другой стороны, Советская власть, особо чуткая к детям, впервые в России установила научные и административные мероприятия по охране детства, по правовой защите, по социальной евгенике и т. д.

Однако материальные средства наши ограничены, и у нас огромная масса беспризорных детей, по данным Н. К. Крупской—семь миллионов. А беспризорность питает детскую дефективность. Беспризорный не обладает в нужной мере приспособляемостью к социальной коллективной

жизни,—отсюда значительный процент моральной дефективности в среде беспризорных. Однако ни в коем случае нельзя признать, по мнению проф. Грибоедова, что моральная дефективность есть следствие только социальной среды, только беспризорности. Линия нашего поведения обусловливается не только давлением социальной среды, но и анатомо-физиологическими особенностями организма. Необходимо изучать и определить роль обоих факторов детской дефективности—биологический и социальный.

Доклад Б. О. Маргулис содержал указания, как распознавать дефективность еще в раннем детском возрасте.

Не останавливаясь на тех положениях доклада, которые могут занимать только специалистов, мы приведем лишь те места, что представляют общий интерес.

Новорожденный, говорит Б. О. Маргулис, не tabula rasa: он при рождении получает опыт предшествовавшей ему эволюции и известный темперамент, переданный ему по наследству, что следовало бы называть «основной личностью».

На почве старых, простых, безусловных, расовых рефлексов развиваются новые, сочетательные, условные, индивидуальные. На почве «основной личности», под влиянием различных условий существования, особенно социальной среды, развивается «условная личность». Таким образом, как с физической стороны мы в habitus'е организма различаем элементы конституциональные (прирожденные) и черты кондициональные (приобретенные), так и с психической стороны «реальная личность» слагается из «основной личности» (темперамента) и «условной личности» (системы привычек). Иначе говоря, «реальная личность» — это организованная система рефлексов безусловных (опыт расы) и рефлексов условных (индивидуальный опыт).

О развитии организма мы можем судить по его: 1) экономике, 2) динамике и 3) психике.

Экономика организма определяется обменом веществ и развитием мозга, регулирующим этот обмен. Внешним выражением ее для нас могут служить, с одной стороны, плотность, а с другой—головно-грудной показатель. В подавляющем большинстве случаев дефективные дети отстают как в росте, так, особенно в весе. Отсталость в весе будет еще более наглядной при вычислении плотности, т.-е. отношения веса к росту.

Динамика младенца выражается, с одной стороны, развитием рук, а с другой — постепенным приспособлением к вертикальной походке. Оба эти фактора способствуют тому, что называется «завоеванием пространства».

Не подлежит сомнению что именно выдающаяся психика сделала человека «царем природы». Правда, техника родила логику, но, развившись, «психика заменила собою все остальные факторы и процессы, помогающие достигнут проспособленности к окружающей среде» (Болдуин).

Можно без преувеличения сказать, что в первые 3 года жизни человек проходит огромный период из истории культуры «от обезьяны к человеку». Вероятно, по этой причине в нашей памяти ничего не сохраняется

об этом периоде, подобно тому, как мы ничего не знаем об утробном периоде, когда «онтогенез повторяет в сокращенном виде филогенез».

Вместе с тем, первые 3 года жизни представляют период наименьшей сопротивляемости и наибольшей ранимости детского организма. Аномалии развития и детская дефективность в подавляющем большинстве случаев развиваются именно в этом возрасте. Само собой разумеется, чем раньше распознана дефективность, тем больше шансов исправить ее.

Проф. А. Гервер в своем докладе «Опыт классификации трудно-воспитуемых детей», на основании своих наблюдений, разделяет трудно-воспитуемых детей на две категории: а) детей с болезненными симптомами в нервно-психической сфере и б) детей, не обнаруживающих определенных болезненных признаков, но представляющих большие затруднения для воспитания вследствие жизненных условий, в которых они находились.

Детей с болезненными симптомами в нервно-психической сфере автор разделяет, в свою очередь, на 2 категории: 1) детей со стройкими изменениями, зависящими от дегенерации и невропатических конституций, и 2) на детей с симптомами психоневрозов (психастения, истерия, истеро-неврастения и эпилепсия).

Детей, обнаруживающих трудно-воспитуемость при отсутствии болезненных симптомов, докладчик разделяет на: а) педагогически-запущенных и б) педагогически-отсталых, понимая под «педагогически-запущенными» — детей с крайне ограниченным запасом сведений и крайне неустойчивым поведением, а под «педагогически-отсталыми» разумея детей, не обнаруживающих заметных страстностей в поведении, но проявляющих весьма ограниченный запас сведений, не соответственно их возрасту.

На основании своих статистических данных проф. Горвер константирует среди «трудно-воспитуемых» детей с болезненной невро-психической конституцией 75% и детей «педагогически-запущенных» и отсталых около 25%.

* * *

С'езд принял ряд решений по вопросам, связанным с детской дефективностью.

Он отнесся сочувственно к систематическому и в то же время осторожному применению психоанализа к изучению и перевоспитанию дефективных детей. Психоанализ об'ективно вскрывает механизм возникновения аномалии во взаимоотношениях исследуемого с социальной средой, их причины и нередко указывает правильные пути к их устранению.

Далее с'езд признал важность обоих главнейших факторов формирования личности: 1) врожденной или приобретенной паталогической конституции и 2) неблагоприятных социальных условий, вкладывающих определенное содержание в проявление личности ребенка.

С'езд нашел, что изучение личности ребенка и социальных условий, на нее влияющих, должно быть всемерно углублено, так как на нем зиждется прогресс методики перевоспитания.

Сближение с жизнью, политическое воспитание и сублимация психической энергии ложатся в основу дальнейшей разработки вопросов воспитания. Создание положительных социальных условий жизни и борьба с детской беспризорностью является лучшею профилактическою мерою в борьбе с дефективностью.

В этом пункте заметно сказалось влияние тов. А. Б. Залкинда.

Рассматривая практическую работу по перевоспитанию и обучению дефективных детей как процесс непрерывного научно-педагогического творчества, доступного только специально подготовленным работникам, с'езд отметил государственную важность специальных высших учебных заведений по подготовке научно-образованных педагогов-дефектологов. На с'езде отмечена была необходимость скорейшего осуществления проекта о введении специально педологических и дефектологических дисциплин в программу медицинских и педагогических факультетов и соответствующих техникумов, школ и курсов.

Признавая значительную ценность данных о весе новорожденных, как одном из показателей состояния социальных условий жизни детей, с'езд высказал пожелание, чтобы данные о весе новорожденных разрабатывались планомерно по местностям наравне с данными о смертности и рождаемости, и были приняты меры к сохранению существующего уже материала.

Как видим, с'езд неизменно подчеркивал роль и значение социальных моментов и держался правильной линии в больных вопросах детской дефективности.

IX.

Проблема преступности и вопросы психиатрии.

Детская дефективность является, в сущности, частью общего вопроса о моральной дефективности вообще.

И подобно тому, как в вопросах детской дефективности был признан на с'езде приоритет социальных моментов, точно так же в вопросах общей преступности неизменно выдвигалась социальная база преступности.

Правда, не все криминологи выдвигали ее на первый план. Некоторые усерднее всего подчеркивали конституциональные, прирожденные элементы преступности. Но никто все же не отрицал того факта, что без благоприятных для преступления обстоятельств, заключающихся в социальной среде, преступления могли бы и не совершаться даже и при наличии биологической к ним предрасположенности.

Проф. Л. Г. Оршанский шел несколько дальше. Он признал по отношению к поколению, конструировавшему свою личность в эпоху революции, доминирующим фактором социальность, а отнюдь не наследственность.

«Эпидемическая болезнь массовых преступлений в эпоху нового строительства страны,—говорил проф. Оршанский,—вызывается слишком быстрым

распадом старых устоев и неспособностью психики большинства с такой же быстротой создать новые задерживающие элементы внешнего и внутреннего характера, т.-е. бытовые и психологические устои».

А проф. П. И. Люблинский в своем докладе «О роли психопатологических лабораторий» заявляет:

«Психологическая экспертиза, существующая в наших судах, является недостаточной. Суд должен иметь ясное представление о социальных факторах, толкнувших того или иного преступника на совершение противообщественного деяния, для того, чтобы он мог успешно применить меры исправительно-трудового воздействия».

Докладчик находит своевременным ввести в суды социологическую экспертизу, которая исследовала бы прошлое преступника, его быт, обстановку его жизни, воспитание, классовое положение.

Особенно далеко в этом направлении шла т. Лилина, которая, выступив в прениях, убежденно и горячо говорила:

«4½ тысячи так называемых «дефективных» детей Петрограда, поставленных в нормальные материальные условия, при нормальном питании и мерах воспитательного воздействия, излечились от так называемых «дефектов и недостатков психики». За последние годы, когда улучшилось материальное положение учреждений правовой охраны детства, там прекратились кражи, побеги и т. д. Можно ли теперь говорить о каких-то «дефективных» детях?—Нет. Мы знаем только детей, изуродованных ненормальными социальными условиями их жизни и ненормальным воспитанием!»

Не останавливаясь на подробностях, мы можем констатировать, что с'езд в полной мере признал неразрывную связь преступности с условиями общественного строя, и что проблема преступности должна быть изучаема при помощи социального и классового анализа. Не оспаривалось на с'езде и то положение, что всестороннее изучение типов преступников должно занять видное место среди проблем психо-неврологии и осуществляться при постоянном теснейшем сотрудничестве психологов и социологов. С'езд нашел, что является в высшей степени желательным учреждение при университетах и других соответствующих В. У. З. научных обществ, состоящих из психиатров, невропатологов, психологов, врачей, юристов и социологов для всестороннего изучения вопросов преступности и мер борьбы с нею.

* * *

Криминология тесно связана с областью психиатрии. И здесь сказались на с'езде те же различия, которые существуют в воззрениях ученых на природу детской и общей моральной дефективности. Одни подчеркивали биологическую базу психопатии. Другие выдвигали роль и значение социальных моментов. Проф. Грибоедов говорил:

«В самой зародышевой клетке уже в период беременности даны зачатки будущей моральной дефективности».

Здесь проф. Грибоедов не только отчасти воспроизводит гипотезу Вейсмана, но и всходит до древнего Лукреция Кара, который говорил: «В родительском теле сокрыто большое количество телец первичных, кои к отцу от отца переходят от первого предка» (Lucretius. De rerun natura, IV, 1215 стих).

Однако и проф. Грибоедов отлично понимает, что конституциональность заключает в себе не одни лишь биологические, но и социальные факторы. Сама конституция слагается ведь в известной мере из, мы бы сказали, сгустившихся осадков социального прошлого тысяч поколений. Много поучительного дает нам в этом отношении статья Фр. Энгельса (в «Neue Zeit» 1896 г., имеющаяся и на русском языке) «Роль труда в эволюции человека от обезьяны».

И проф. Грибоедов, понимая это, заявляет:

«Учение Фрейда дает возможность связать внешнее воздействие с комплексом ощущений».

Пусть для факта преступления требуется, чтобы комплексность упала на благоприятную почву врожденной подготовленности. Но ведь и проф. Грибоедов не отрицает, а признает огромное значение внешнего воздействия на образование комплексов. А что такое «внешнее воздействие», если не преимущественно воздействие социальной среды, взятое в широком значении этого термина!

На этой приблизительно точке зрения стоит и академик В. М. Бехтерев. Разгадывая «сфинкс» истерии, В. М. Бехтерев указывал, что биологическая сторона этого явления ясна уже из того не подлежащего сомнению факта, что бич истерии преимущественно поражает женщин. Истерия, представляющая собой, по Жаннэ, сужение сознания, тесно связана, по мнению В. М. Бехтерева, с недостатком торможения у женщин и с их сильной внушаемостью. Однако и В. М. Бехтерев не возражает против Фрейда, трактующего истерию как следствие «конфликта между либидо и цензурой». А разве этот конфликт—не продукт вековой социальной среды с ее особенно жестокой «цензурой» по отношению к женщине!

И прав был т. Залкинд, когда говорил на с'езде:

«Конституция — не фатум, а фон для напластывания. Социальная среда, это не только термометр, не только лакмусова бумажка для проявления биологической болезненности. Социальность—это альфа и омега всех явлений биопсихической жизни».

Эта точка зрения и окрасила собой, как мы видели, ряд постановлений, принятых с'ездом.

* * *

Среди психотерапевтических методов была отмечена на с'езде благотворная роль гипноза.

В докладах М. Г. Вечеслова, К. И. Платонова и др. указывалось на роль внушения в гипнотическом состоянии у постели больного. Докладчики указывали, что гипноз применим не только в случаях фун-

кциональных расстройств нервной системы, но и при родах и больших операциях.

Проф. А. В. Гервер подробно раз'яснял в своем докладе значение гипноза при меланхолических состояниях.

Сеансы гипноза больным делались проф. Гервером 2—3 раза в неделю, при чем у больных вызывались каталептические, летаргические и сомнамбулические фазы гипноза; число сеансов в среднем было 12—20.

Настроение духа у большинства больных после 5—7 сеанса начинает улучшаться, и бредовые идеи исчезают. В 70% случаев меланхоликов, подвергнутых гипнотическому лечению, наступило исчезновение болезненных симптомов в течение 1½—2-х месяцев после начала лечения. Больные были выписаны из клиники и приступили к своим занятиям.

Докладчик наблюдал больных после выписки из клиники в течение 1—3 лет, и возвратов болезни не обнаруживалось.

Для более успешной борьбы с меланхолическими симптомокомплексами докладчик считает особенно полезной комбинацию лечения гипнозом с укрепляющими методами лечения и с гидротерапией.

Докладчик применял гипноз при тоскливых состояниях у многих психастеников и истериков и считает лечение гипнозом психастенической и истерической тоски крайне полезным.

Применение гипноза и внушения при душевных болезнях, сопровождающихся поражением интеллектуальной сферы (юношеское слабоумие, паранойя и др.), проф. Гервер считает бесполезным, а при параноических формах, особенно с бредом преследования, даже вредным.

На последнем своем заседании с'езд признал крайне необходимым введение на медицинских факультетах преподавания гипноза и внушения. Одновременно с этим. считая гипноз и внушение важными и в некоторых случаях незаменимыми лечебными методами, требующими детального с ними научного ознакомления на строго об'ективных началах, с'езд в то же время считает недопустимым разрешение производства сеансов гипноза и внушения лицам, не имеющим специального врачебного образования.

Придавая важное значение вопросу о т. н. «мысленном внушении», с'езд нашел крайне желательным изучение этого явления на строго об'ективных научных началах и рекомендует участие в деятельности Международного Коллектива, созданного для исследования явлений этого характера и организацию при Русском Комитете Научно-Исследовательского Органа с соответственно-оборудованной лабораторией.

X.

НОТ и анкеты.

Из прочих, имеющих общественное значение работ с'езда остановимся на следующих двух.

По отношению к научной организации труда с'езд пришел к заключению, что разработка проблемы профпригодности настоятельно необходима

потому, что она обобщает рациональное распределение по профессиям рабочей силы государства, а с точки зрения личной—полное удовлетворение запросов отдельного индивидуума.

Из проблемы профессиональной пригодности особенное значение для Сов. России имеет та ее часть, которая относится к профессиональной ориентации.

Проблема утомления, являющаяся центральной проблемой физиологии труда, должна разрабатываться как в лабораториях в смысле выработки надежной методики измерения утомления и раз'яснения его сущности, так и в обстановке производственной.

Последняя проблема—рабочих движений, имеющая особенное значение для Сов. России, вследствие громадного распространения в ней физического, не механизированного труда, должна разрешаться в соответствии с данными анатомии, физиологии и рефлексологии (физиологической психологии).

Вместе с тем с'езд, констатируя разбросанность исследовательской работы и ее крайне недостаточную обеспеченность, нашел, что дальнейшее плодотворное изучение проблем труда может производиться только при постоянным идейном и материальном содействи искательской работы со стороны государства, профсоюзов и заинтересованных учреждений.

Кроме того, с'езд пришел к заключению о необходимости строго об'ективного изучения личности трудящихся в связи с окружающей ее социальной средой, прошлым индивидуальным опытом и наследственными свойствами.

* * *

В связи с методами изучения личности значительный общественный интерес представляет доклад Л. С. Выготского об исследовании душевных и умственных настроений нашей учащейся молодежи анкетным методом.

Несмотря на все несовершенства анкетного метода, все же приходится выдвигать его как почти единственный способ ознакомиться хотя бы в самых общих чертах с тем, что представляет из себя наша учащаяся молодежь. В качестве основы для выработки анкеты докладчик предложил опросный лист, примененный им при обследовании учащихся выпускных групп всех школ II ступени гор. Гомеля. Анкета была проведена в мае 1923 года Психологическим кабинетом при педагогическом техникуме при участии слушателей курсов социального воспитания в 7 группах разных школ. Проведена была анкета по единообразной методике с точно разработанной инструкцией заполнения и совершенно конкретным пояснением каждого вопроса. Нечего и говорить, что анонимность анкеты была гарантирована, и учащиеся в большинстве верили в ее соблюдение. Приводим эту анкету, как образцовую основу для подобного рода обследований, в качестве каковой мы ее рекомендуем.

Вот текст анкеты:

I. Внешние данные: Возраст. Пол. Национальность. Чем занимались родители до и после Октябрьской революции. Образование родителей.

Какие серьезные перемены и события произошли в связи с революцией в вашей семье.

II. Семья. Есть ли у вас духовная связь с семьей и какая. Какие у вас отношения с родителями и есть ли между вами взаимное понимание и близость. Хотите ли вы иметь собственную семью. Помогаете ли вы семье и чем.

III. Школа. Были ли вы в старой школе, находите ли вы преимущества новой и в чем именно. Какие предметы больше всего интересуют вас и почему. Что дала вам школа в смысле образования. Что дала вам школа в смысле товарищеских и дружеских отношений и как себя чувствуете в школьной среде. Что дала школа в других отношениях. Как вы относитесь к совместному воспитанию и почему. Есть ли среди ваших ближайших товарищей лица другого пола. Участвуете ли в общественной жизни школы и как относитесь к самоуправлению.

IV. Общественность и политика. Как вы относитесь к политике и политическим партиям и как представляете себе свою роль в общественной жизни. Читаете ли политическую литературу и газеты и что вас интересует в них. Как относитесь к коммунизму.

V. Религия и национальность. Какое место в жизни семьи занимает религия. Как вы относитесь к обрядам, религиозному чувству и вере. Одинаково ли сходитесь с лицами всех национальностей или предпочитаете свою. Как смотрите на национализм.

VI. Профессия и будущая жизнь. Какую вы намерены избрать профессию и почему. Как представляете себе свою будущую жизнь.

VII. Любовь и половой вопрос. Пережили ли вы влюбленность и связана ли она с вашим школьным товарищем. Как вы смотрите на половой вопрос и на любовь и какое место в вашей жизни они занимают.

VIII. Внешкольная жизнь. Какие книги вы любите читать и почему. Ваши любимые писатели и почему вы любите именно их. Что для вас самое интересное в жизни. Ваши любимые развлечения и игры. Есть ли у вас интимные друзья из школьных товарищей и не из них и какое место в вашей душе и жизни занимают они.

IX. Умственные интересы и душевные настроения. Намечается ли у вас склонность к какому-нибудь мировоззрению и к какому именно. Как вы относитесь к жизни. Чувствуете ли радость жизни или одиночество, упадок духа, усталость. Стремитесь ли к личному счастью и в чем его видите. Как вы смотрите на индивидуализм. Какие странности, слабости и пристрастия замечаете у себя. Как вы относитесь к настоящей анкете, насколько искренно и правдиво вы заполняли ее и с каким чувством.

Последний вопрос поставлен с контрольной целью, и, как свидетельствует докладчик, он дал положительные результаты. Это была всякий раз как бы оценка самим же пишущим правдивости, искренности и меры точности своих ответов. На этот вопрос ответили почти все. Есть ответы, показывающие, что анкета заполнялась совершенно правдиво и искренно. Есть

градации и степени в этих признаках и оценках, есть и откровенные указания на умолчания, искажения, неумение ответить, шаблонность ответов. Есть указания на чувства тяжести, трудности, неловкости, некоторого насилия над собой при заполнении анкеты; но гораздо больше указаний противоположного свойства. Пишущие говорят о том, что анкета натолкнула их на целый ряд вопросов в своей собственной жизни, которые им надо было уяснить, заставило их задать самим себе некоторые важнейшие вопросы, часто впервые сформулировать такие вещи, в которых прежде они сами себе не решались признаться. Анкета дала много самим же пишущим—вот общая их мысль. Еще более настойчиво указывает большинство на желание поделиться многим из содержания своей душевной жизни, хоть и с анонимной анкетой. На впервые открывшуюся возможность поговорить «по душам», излить себя. Это позволяет смотреть на каждый лист, как на письмо без подписи, как на человеческий документ. Анкета была толчком и разрядом в душевной жизни многих — и в этом ее положительные педагогические качества.

Но еще больше ценность ее в смысле изучения психики нашей молодежи.

Первое, что бросается в глаза исследователю при взгляде на полученные результаты, это — невероятная пестрота ответов на каждый вопрос, огромные размахи в полярно-противоположных направлениях—при незначительных возрастных, национальных, социальных и школьных различиях. Внешне приблизительно однородная или близкая к этому среда, взятая в один и тот же день своей чрезвычайно близкой по условиям школьной жизни, поражает одновременным наличием удаленных друг от друга понятий, представлений, суждений, вкусов в одном и том же вопросе. В вопросе о религии мы в анкетах, собранных докладчиком, встречаем строки пламенной веры, комсомольское «опиум для народа» и лично выстраданное неверие. При этом все это в самых резких, крайних, выпуклых формах. В вопросах о национализме, политике, половой жизни — сталкиваемся с тем же. Все возможные виды логической противоположности представлены здесь. Получается такое впечатление, будто перед нами анкеты совершенно разных эпох и народностей. А между тем, это—люди, сидящие вместе на одной парте и в одном конверте посылающие свои «бумаги» в Вуз. Это первое впечатление—отсутствие всякой правильной, логической сообразности, соответствия с внешними данными, всякой закономерности, типичности, — полное самых неожиданных дроблений, контрастов, полярностей,—можно бы назвать **психической асимметрией** нашей учащейся молоджи.

Переходя от этого общего впечатления, от всей анкеты в целом к анализу групповому, мы наталкиваемся внутри отдельных групп, уже об'единенных по известному найденному общему принципу, опять на то же самое явление—на психическую асимметрию внутри каждой группы. Если возьмем отдельно верующих или неверующих, стоящих за совершенно ничем не стесненную половую жизнь или за полное вычеркивание этого вопроса из жизни юноши, — мы внутри каждой группы подметим громаднейшие размахи мне-

ний, точно эти ответы отсчитываются на гигантском маятнике социальной психики. Опять целые эпохи и разнообразные социальные группы пришлось бы нам подставить под эти различия, чтоб найти их внешнее оправдание и об'яснение. Дело осложняется еще тем, что между группами существует самое неожиданное переплетение, опять вполне асимметрического порядка. Их политические взгляды нисколько как будто не связываются какой-либо закономерностью с религиозными, взгляды на свою будущую жизнь и профессию — с убеждениями, вкусами, настроениями. Внутри групп все расползается и появляется на самом неожиданном месте, как будто кто разрезал листы на отдельные вопросы и потом смешал их в самом прихотливом и причудливом беспорядке. И, наконец, то же самое впечатление мы выносим из индивидуального анализа каждого анкетного листа — точно он (и, значит, заполнявший его) скроен и сшит из самых разных лоскутков. Именно целые куски психики кажутся вдруг попавшими с другого листа, принесенными состороны, и если бы графически изобразить соотношение, внутреннюю корреляцию психики учащихся, как она отразилась в анкетах, получилась бы кривая самых неожиданных и острых зигзагов, поворотов и углов и, если бы составить диаграмму в цветах, то получилось бы настоящее blanc et noire...

Так психическая асимметрия, атипичность, несоответствие в складе личности, противочувствия — вскрываются как первый и самый очевидный результат обследования т. Выготского. Сперва в общем количественном анализе, затем в групповом рассмотрении ответов и, наконец, в индивидуальном листе каждого.

Результаты эти не неожиданны и не необ'яснимы, как может показаться на первый взгляд. Докладчик имел дело с выпускными группами, с юношами 18 лет в среднем, т.-е. людьми, которых революция застала на 11 — 12 году жизни, а война — на 8—9 году. Здесь были люди, перенесшие социальные сдвиги, социальную ломку в самые решающие годы своей жизни. Все это — то поколение, которое в своих личных переломных годах запечатлело великие сдвиги социально-политического быта, культуры, истории. Вот откуда, несомненно, разные века говорят в их биографиях. В самом деле, в их 18 годах встретились целые века и эпохи — довоенная городская жизнь северо-западной русской провинции, война, погромы, революция, военный коммунизмом, нэп. В психической асимметрии легко усмотреть след социальной асимметрии поколения. И если бы прибавить к этому, что по социальному составу это—в громадном большинстве своем тоже п р о м е ж у т о ч н ы е, асимметричные, смешанные группы населения, те, которые в эпохи ломки умудряются соединить и совместить в себе самые, казалось бы, несоединимые черты, — то путь к правильному социологическому об'яснению будет нетрудно отыскать.

Задача последующих обследований—не столько учет каждого лоскутка, оставшегося и определившегося строя психики нашей молодежи, сколько уловление динамики ее сдвигов. Г л а в н о е, тенденции этих драматических процессов, — что в них отмирает и что укрепляется и пускает ростки.

Все течет в психике этого поколения.

Куда течет? Вот основной вопрос будущих обследований, которые должны быть организованы в массовом масштабе и внимательно изучены.

* * *

Мы, разумеется, не думаем, что исчерпали все богатое содержание с'езда. Стесненные местом, мы не могли останавиться на целом ряде интересных выступлений, особенно по вопросам криминологии, педологии и психологии творчества. Надеемся вернуться к ним в ряде дополнительных глав. Социально-культурное же значение этого с'езда, мы полагаем, выявлено нами на уже приведенном материале.

Диктатура буржуазии и „оздоровление" Германии.

Ф. Капелюш.

Германский рейхсканцлер Маркс на заключительном заседании рейхстага заявил, что если попытка стабилизации марки не удастся, то для Германии нет спасения. (Из газет).

Германская марка, ставшая уже было притчей во языцех, вот уже четыре месяца фактически стабилизована: дальнейшая инфляция прекращена, триллион бумажных марок неизменно равен одной марке в золоте. Чудом этим Германия обязана введению с 15 ноября 1923 г. так наз. рентной марки и основанию рентного банка; идея принадлежала Гильфердингу, который, в свою очередь, заимствовал ее у Гельфериха. Однако проф. Е. Варга [1]) доказывает, что доверие к рентной марке вовсе не обосновано экономическими причинами: единственным покрытием для рентной марки являются закладные под землю (и промышленные облигации), дающие 5% (4%) золотом годовых. «Рентная марка,—говорит Варга,—является в сущности такими же непокрытыми бумажными деньгами, как и старая бумажная марка». Это мнение тов. Варги теоретически может показаться преувеличением. В самом деле, максимальная эмиссия рентных марок предположена в 3,2 миллиарда, а одна стоимость германского землевладения составляла до войны, по подсчетам Гельфериха, 40 милл. зол. мар. Формально обеспечение, казалось бы, достаточное. Количество денег (кроме иностранных) в обращении поднялось с ниже 100 милл. зол. мар. в октябре 1923 г. и с 300,3 милл. мар. зол. 31 октября 1923 г. до 2.273,6 милл. 31 декабря 1923 г. («Хозяйство и Статистика», 29. I. 24 г.). Это свидетельствует о замедлении оборота; деньги уже не стараются поскорей сбыть с рук (до войны это количество оценивалось в 6.070 милл.), они приобрели доверие в стране. Однако на практике торгово-промышленный оборот требует металлического покрытия, за границей рентная марка не принимается, и само германское правительство в меморандуме, составленном для комиссии экспертов [2]), признала, что «основа стабилизации, которую могла создать собственными силами Германия, является

[1]) „Междунар. Корр." (нем. издание) №№ 22 и 23 от 1924 г.

[2]) „Хозяйство, валюта и финансы Германии в начале 1924 г." (на нем. яз.), 112 стр.

чрезвычайно узкой», другими словами, необходим не рентный, а золотой эмиссионный банк.

Фактически выпуск бумажных денег вовсе не прекратился. С 15 ноября 1923 г. рейхсбанк прекратил учет векселей государства, но продолжает давать частным лицам ссуды под залог краткосрочных обязательств государства. Частные кредиты у рейхсбанка поднялись с 39,5 милл. зол. мар. (15 ноября) до 498,4 в конце февраля, к этому прибавляется еще на 667,2 милл. зол. мар. рентных векселей и на 306,6 милл. ссуд под залог. Частный кредит увеличился больше, чем на 1,5 миллиарда зол. мар. Сообразно с этим (по официальной статистике журнала «Хозяйства и Статистика» от 29 янв. 1924 г.) обращение банкнот рейхсбанка увеличилось с 144,6 милл. зол. мар. 31 октября 1923 г. до 496,5 милл. к 31 декабря 1924 г.; а вся сумма денег в обращении, включая все виды бумажных денег, а также устойчиво-ценные деньги, поднялась с 300,3 милл. зол. мар. 31 октября до 2. 273,6 милл. 31 декабря. Количество денег в обращении составляло до войны 6.070 милл. зол. мар.; в настоящее время в Германии, несмотря на увеличившуюся цифру обращения, ощущается все еще денежный голод, и вот эту пустоту государство использует в своих целях. Но за ним тянутся и предприниматели. Германия, как замечает Спектатор (корр. из Берлина в «Фин. Газ.» от 23 марта), переживает теперь стадию частно-предпринимательской кредитной инфляции. Последние недели,— пишет этот автор,—проходят под знаком борьбы между рейхсбанком и предпринимателями, которые, в связи с происшедшим некоторым повышением заработной платы, желают новой инфляционной волны и стараются сорвать «стабилизацию».

Перед лицом этого непрекращающегося, а, напротив, усиливающегося потока бумажных денег, Варга находит, что «даже количественная теория денег не в состоянии об'яснить факта стабилизации марки» при таких условиях. Замедление оборота может покоиться только на вернувшемся доверии к деньгам, но чем об'яснить это доверие? Укажем также на следующее: что «обеспечение» рентной марки недвижимости не играет роли, явствует уже из того, что в обращении имеются теперь залоговые листы только на 178.500 рентн. марок; по всем видимостям, их никто не приобретает,—гораздо выгоднее купить рентные векселя государства. Укажем еще на то, что правительство имеет значительную возможность искусственно поддерживать курс марки: фактически ввозная торговля почти монополизирована рейхсбанком—доллары и фунты ни разу не выдавались им в размерах более 15% требуемой импортерами суммы, а теперь выдается даже только 1—2%.

Проф. Варга находит для вернувшегося доверия к марке только психологическое об'яснение в том массовом самовнушении буржуазии, которое наступило вместе с последним политическим переворотом в Германии: введение рентной марки почти совпало во времени с диктатурой Секта, и поражение коммунистов и пролетариата придало буржуазии надежду, что теперь преодолен и экономический кризис и наступит «оздоровление» на капиталистической основе.

Действительно, если, пока что, стабилизация марки внутри страны держится, то золотой запас имперского банка, за исключением первого послевоенного года, почти не уменьшавшийся, теперь, к концу прошлого года, стремительно понизился с 1.004 до 467 миллион., половина его была переведена за границу на покупку девиз, при чем часть их пришлось пожертвовать в январе и феврале на поддержание курса марки. И в результате президент имперского банка д-р Шахт не видит другого выхода из положения, как в притоке в Германию иностранного капитала и в возвращении германского, ушедшего за границу за время инфляции. При чем получается круг: для того, чтобы вернулся свой германский капитал, необходим иностранный заем! (А условием того и другого является учреждение нового, золотого эмиссионного банка, о чем, по последним телеграммам, Шахт уже столковался с иностранными банкирами и экспертами, при чем, однако, новый банк — это характерно—будет выпускать не золотую марку, а фунты стерлингов, и золотой запас его будет находиться за границей...) В официальных германских об'яснениях экспертам между строк ясно сквозит: если иностранцы не дадут нам денег, то не вернется также наш германский капитал, ушедший за границу. Другими словами, германская буржуазия все еще не имеет полного доверия к режиму своей собственной диктатуры; очевидно, того самовнушения, о котором говорит проф. Варга, не достаточно. Несмотря на прошлогоднее поражение коммунистов, немецкие капиталисты пока еще опасаются вернуть свои деньги из-за границы без интернационального примера, как гарантии. И вот Германия попрошайничает перед заграницей, сама имея за границей туго набитую мошну! Утечку германских капиталов за границу Гувер определяет за все послевоенное время в 5 млд. зол. марок, Лушер в 7, Мак-Кенна в 4 (?); по сведениям американской прессы, комиссия экспертов под председательством *Мак-Кенна определяет этот капитал в 6½ млд.* «L'Echo de Paris» инсинуирует даже, что комиссия остановится на цифре в 8 млд. Раз сама официальная германская статистика (журнал «Хозяйство и Статистика» от 15 февр. 1924 г.) определяет за 1923 г. цифру «устойчиво ценных» займов в Германии в 2 млд. зол. марок, то упомянутую оценку Гувера можно не считать преувеличением.

По поводу «оздоровления» Австрии мы писали («Известия» 5. I. 24): «Несомненно, реформа валюты, отказ от дальнейшей инфляции и создание эмиссионного банка, независимого от государства, были бы под силу большим банкам Вены и без иностранных кредитов; но австрийские капиталисты прятали свое золото и девизы в кубышках и понесли их в новый банк только тогда, когда убедились, что оздоровление произойдет не за их счет. Теперь вклады в банк являются для них не жертвой, а прибыльным делом, и вот деньги у них сразу нашлись; выпуск банкнот получил таким образом достаточное покрытие». Приблизительно такое же положение мы находим теперь в Германии. Деньги свои есть, даже в гораздо большем размере, но буржуазия желает гарантии, что оздоровление произойдет не за ее счет. В речи в Кенигсберге 7 февраля Шахт высказался вполне откровенно и определенно: «Государство предоставлено своим силам. Следствием этого

является такое налоговое обложение, которое еще никогда не наблюдалось ни в одном государстве. Если не произойдет принципиального изменения, а также в наших отношениях с заграницей, то предположенные налоги, вероятно, в ближайшем будущем перестанут поступать». Точно так же министр финансов Лютер в своем экспозе в рейхстаге жалуется на непосильное бремя налогов: он исчисляет его в 1924 г. в 27,7% всего дохода на душу против 10,9% в 1913 г. Дело в том, что диктатура заставила германскую буржуазию платить налоги—хотя, как мы увидим ниже, далеко не в достаточной степени. И вот как заговорил представитель этой буржуазии! Оздоровление кусается, если приходится проводить его на собственной шкуре.

Прежде чем перейти к вопросу об обложении и бюджете, коснемся здесь. в связи со стабилизацией марки, вопроса о ценах.

После стабилизации марки, а именно с декабря п/г., в Германии произошел переворот в сторону падения цен. Ввиду того, что наша денежная реформа делает этот вопрос снижения цен у нас злободневным, мы остановимся на нем подробнее. Приводим таблицу для 98 товаров по изданию: «Кривая хозяйства с индексом Франкф. Газеты» (на нем. яз.), при чем цифры 1914 г. приняты за единицу.

	Курс доллара.	Предметы питания.	Текстиль и кожа.	Минералы.	Разное.	Фабрикаты.	Общий оптовый индекс 98 товаров.
Янв. 1922 г. . .	45	38	58	52	31	33	42
Янв. 1923 г. . .	2.045	1.758	3.206	2.622	1.778	1.518	2.054
			В миллиардах:				
15/XI—23 г. . .	600	869	867	1.097	845	855	903
29/XI—23 г. . .	1.000	1.809	1.742	1.700	1.494	1.497	1.649
13/XII—23 г. . .	1.000	1.583	1.818	1.560	1.481	1.470	1.565
3/I —24 г. . .	1.000	1.553	1.883	1.375	1.245	1.406	1.484
17/I —24 г. . .	1.000	1.531	1.885	1.356	1.213	1.387	1.454
31/I —24 г. . .	1.000	1.491	1.939	1.317	1.209	1.337	1.430

Только в одной рубрике (текстильные и кожевейные товары) цены поднимались: об'ясняется это тем, что это товары главным образом заграничного происхождения. Но характерно, что в Германии теперь наблюдается вообще сильное несоответствие между ценами на сельско-хозяйственные и промышленные продукты. (Впрочем, это явление наблюдается также и в С. Штатах и даже в Англии.) В этом отношении индекс золотых оптовых цен другой газеты—«Берлинер Тагеблат»—на 29 января с. г. еще замечательнее. По группе продовольственных продуктов он состовляет (если цены 1913=100) 109, при чем группа зерновых хлебов лежит еще значительно ниже уровня мирного времени; тогда как индекс группы текстильных и кожевенных товаров составляет 193, а группы готовых промышленных изделий—140. Официальный индекс на 5 февраля равняется для зерновых хлебов и картофеля 77,5, для всех продовольственных продуктов—98,3, для индустриальных товаров—143,2. В результате плуг стоявший в 1913 г. 68 марок или около 25 пуд.

ржи, стоил в конце декабря 1923 г. 108 марок зол. или около 45 пуд. ржи. Как видим, тот же самый феномен «ножниц», что у нас. Очень знаменательно, что он наблюдается также в такой промышленной стране, как Германия. «Торг. бюллетень» торгпредств СССР (№ 6) об'ясняет сильное падение цен на сельско-хоз. продукты в Германии недостатком оборотного капитила в сельском хозяйстве.

Переходим к вопросу о государственном бюджете Германии.

На первый взгляд, государственное хозяйство Германии идет быстрыми шагами к оздоровлению. Дефицит третьей декады ноября в 243,6 милл. зол. мар. постепенно уменьшился до 10,4 в последней декаде января, а в первой декаде января был даже достигнут плюс в 36 м. Тогда как до введения рентной марки государственные доходы Германии покрывали лишь 1% расходов, в первую треть января 1924 г. они покрыли 155% расходов [1]). Опять-таки, повидимому, настоящее чудо, и буржуазия, конечно, приписывает его своей диктатуре. Но проф. Варга вполне убедительно доказывает, что эти результаты покоятся на весьма хрупкой основе. В самом деле, здесь совпали отпадение расходов по пассивному сопротивлению в Руре, неплатеж репараций, перевод налогов на золотую базу, превращение железных дорог в особое предприятие частно-хозяйственного типа с выделением их из общего бюджета, и наконец то обстятельство, что германские капиталисты утратили интерес к обесценению марки, после того как—к августу 1923 г.—германские цены достигли мирового паритета и произошел поворот от дешевизны их к дороговизне. Что касается государственных доходов, то более половины их за декабрь (167 из 312 м. золотом) приходится на единовременные сборы: рурский, хлебный, производственный; они должны отпасть в будущем. Эти сборы платила буржуазия. За исключением их она почти не платит налогов: подоходный налог ее дал—все цифры за декабрь—всего 3,13 млн., тогда как подоходный налог заработной платы дал 37,35 млн., налог с наследств дал безделицу в 56,5 тысяч, тогда как в 1913 г. он давал ежемесячно 3,9 млн. В лучшем случае буржуазия платит теперь (если не считать упомянутых единовременных сборов) только 50—60 млн. зол. мар. в месяц, а пролетариат—80, и Варга вычисляет, что для сколько-нибудь прочного реального восстановления бюджета буржуазия (и аграрии) должна будет платить по меньшей мере в пять раз больше, раз налоговая способность пролетариата и средних слоев сведена на минимум—в самом деле налоги на потребление вместе с пошлинами составили в том же декабре только 29 милл. До войны Германия имела бюджет в 5½ млд.; если отсчитать расходы по милитаризму, по долгам, по отнятым провинциям, Варга получает кругло 3 млд., а ввиду уменьшения покупательной силы золота на одну треть, приходится принять, что нормальный государственный бюджет Германии должен составлять теперь 4½ млд.

[1]) С тех пор дефицит снова растет: 19 млн. во вторую, 10 в третью декаду января. 34 млн. в первую, 57 во вторую декаду февраля. „Temps" (1/III—24 г.) подозревает, что под видом учета рейхсбанком векселей казначейства, выставленных в рентных марках (к 31/XII) было учтено на 15,24 млн., к 20/II—24 выпущено векселей на 209 млн., правительство контрабандой вводит новую инфляцию.

А между тем в 1922 году он равнялся 1,2 млд., а в 1923 г. даже только 700—800 милл. зол. мар. Итак, весь вопрос в том, согласится ли германская буржуазия нести увеличенное в пять раз налоговое бремя. Вместо 60 млн. в месяц она должна будет платить 300. Hic Rhodus, hic salta (здесь Родос, здесь прыгай). Судя по ее систематическому и весьма успешному уклонению от платежа налогов за все послевоенное время, надежды на ее жертвенность питать не приходится. Тем паче, когда диктатура в ее руках. Разве что эта диктатура сумеет заставить ее платить регулярно, как она теперь сумела— это надо подчеркнуть—вырвать у нее вышеупомянутые единовременные сборы. Нотабене: во всех этих подсчетах не приняты во внимание ни репарации, ни расходы по оккупации. Впрочем, цитированные выше компетентные слова д-ра Шахта не оставляют сомнения, что буржуазия нисколько не намерена нести на своей спине бремя оздоровления. «Такое налоговое обложение еще никогда не наблюдалось ни в одном государстве (т.-е. обложение буржуазии! *Ф. К.)*, предположенные налоги, вероятно, в ближайшем будущем перестанут поступать». Коротко и ясно. Если не вмешиваются заграница и иностранный заем, то германская буржуазия, чего доброго, еще добровольно откажется от своего оздоровления как от хорошей, но слишком дорого стоящей вещи.

Крайне поучительно для капиталистического «оздоровления» то, как германское правительство пытается извлечь для себя выгоду из полного разорения инфляцией слоя кредиторов. Какие огромные капиталы потеряли эти последние и выиграли должники, возвратив в бумажных марках свои заключенные в золоте долги, можно судить по тому, что по статистике 1912 г. в Германии насчитывалось долгов с твердым процентом на сумму сто миллиардов золотом: из них 4,66—в промышленности (облигации), 17,1—в землях и домах (ипотеки) и 27,3—в государственных и коммунальных долгах, наконец, 50—во вторых и т. д. ипотеках. Эти цифры приводят официальный журнал «Хозяйство и Статистика» от 15 февраля 1924 г. За 1921—1922—1923 г.г. новые такие долги оцениваются тем же журналом в 243,6—108,7—20,6 млрд. зол. мар. И что же? Аграрии совершенно освободились от своей ипотечной задолженности. Тщетно кредиторы их требовали издания закона, по которому погашение долгов обесцененной маркой могло бы происходить только с согласия кредитора. Правительство упорно отказывало в этом, и еще в январе 1923 г. имперский министр юстиции заявил, что такого закона не будет и не будет также переоценки долгов. В результате в середине 1923 г. число выкупленных за гроши довоенных ипотек составляло в Берлине 99%. Какой интерес преследовало этим правительство? Очень просто—оно облагало в свою пользу должников, нажившихся на выкупе своего долга обесцененной маркой, брало с них в виде 10%-го налога часть их нелойяльной прибыли и таким образом выигрывало на общем развале народного хозяйства.

В феврале 1924 г., однако, правительству буржуазной диктатуры пришлось пойти на уступки. Издан был так наз. третий исключительный налоговой закон, который хотя и был проведен на основании чрезвычайных полномочий без парламента, только через «комиссию 15-ти», тем не менее

явился компромиссом, тем более, что пришлось считаться с требованиями Баварии. Этот закон вводит, наконец, переоценку долгов. Но в какой ничтожной, жалкой мере! Долги восстановляются только в 15% своей золотой стоимости, при чем только долги, заключенные до 1923 г., восстановляются не сейчас, капитал по ним может быть истребован не раньше 1932 г., а проценты уплачиваются лишь с 1925 и вначале в размере всего 1%. По долгам, уже уплаченным до 1923 г., вся переоценка идет в пользу казны. Правительство таким образом дважды снимает пенку с инфляции. Один раз в виде выручки с эмиссии, другой раз— зарабатывая на бесчисленных фактических банкротствах в народном хозяйстве.

Так диктатура «оздоровляет» разруху в частном хозяйстве. Что касается внутренних долгов государства (и коммунальных), включая 48 млд. военных займов, то правительство буржуазной диктатуры не раскошелилось даже на жалкую переоценку в 15% сроком через 8 лет. Тот же исключительный закон откладывает уплату капитала и процентов по этим долгам до того времени, когда будут окончательно ликвидированы репарации. «Франк. Газета» вполне резонно замечает, что это равносильно откладыванию до греческих календ, сиречь—жди у моря погоды. Буржуазная печать в один голос называет это открытым государственным банкротством [1]). Прежде это банкротство было только фактическим, диктатура буржуазии признала его, так сказать, де-юре законодательным актом. Под предлогом платежа по репарациям и избежания внешнего банкротства государство об'явило внутреннее банкротство. Чорта прогоняют Вельзевулом.

«Этот закон,—пишет австрийский экономист Г. Стольпер,—возвещает открытое государственное банкротство, к которому, за исключением России, не пришла еще ни одна страна с обесцененной валютой». Это сопоставление хромает. В октябрьской России победоносный пролетариат экспроприировал буржуазию, это лишь внешним образом может быть приравниваемо к банкротству. А в Германии «оздоровление» на капиталистической почве выражается в том, что правительство крупной буржуазии экспроприирует мелкую и среднюю, по меньшей мере, —санкционирует эту экспроприацию. В этом, как и в наступлении капитала против труда, заключается социальная подоплека «оздоровления». Когда немедленно после ноябрьской революции 1918 г. шла дискуссия о том, следует ли аннулировать государственые долги, для начала—военные займы, немецкие социал-демократы выставляли против этой меры тот аргумент, что она обрушится только на мелких сберегателей, на что не могли решиться немецкие меньшевики, как на слишком революционную меру; это сделало теперь правительство буржуазной диктатуры. В самом деле военные займы не только покрывались преимущественно средней и мелкой буржуазией—отчасти полупринудительным путем,—закон прямо

---

[1]) Конечно, еще хуже — с точки зрения внутренних кредиторов государства—было бы, если бы государство по примеру частных должников фиктивно расплатилось со своими долгами, уплачивая нынешнюю бумажную марку за золотую. На такой явный грабеж оно не решилось, тем более в тот момент, когда оно вынуждено было согласиться на переоценку — хотя бы мизерную — частных долгов.

обязывал сберегательные кассы, а также институты социального страхования помещать свои капиталы в этих займах (в результате рабочее страхование в Германии, накопившее большие капиталы до войны, первое стало жертвой государственного банкротства). Но характернее всего, что, разоряя мелкую буржуазию, государство, однако, очень бережно относится к интересам крупной буржуазии. Уж не говорим о том, что Стиннесы и Вольфы не отдавали свои деньги в государственные займы, а, наоборот, сами получали взаймы от государства, при чем возвращали ему свои долги в обесценившейся валюте. Эти кредиты—подарки промышленникам, именно они погубили в свое время марку; при министерстве Куно подобные операции справляли настоящую оргию. Но вспомним и другое: в 1920 г. эксперты Антанты на Брюссельской конференции указывали на то, что «германский бюджет содержит неответственные траты, германское государство субсидирует своих подданных 90—130 миллиардами»; на это Ратенау ответил, что, выплачивая эти миллиарды, Германия лишь исполняет пункт Версальского договора. Действительно, Антанта обязала Германию уплатить своим подданным возмещение за отнятое Антантой их имущество: торговый флот и т. п. «Жупел банкротства,—писали мы в другом месте,—так страшен был для Антанты, что она не желала допустить банкротства германского правительства даже по отношению к его собственным гражданам» [1]). Это писалось в 1921 г. А теперь? Теперь, напротив, Германия мотивирует свое внутреннее банкротство опасностью внешнего банкротства. Но тогда речь шла о крупной буржуазии, а теперь о мелкой. Крупную оберегали от всякого ущерба, а мелкую разорили. На сей раз Антанта не протестует, и даже Юз послал своего представителя в комиссию экспертов, мирится с внутренним банкротством Германии. А ведь Юз специалист по части возмущения банкротством.

Говоря об оздоровлении и разрухе Германии, необходимо отметить следующее. Германская официальная статистика после войны стала крайне ненадежной; она находится на услужении у политики, должна дать возможность последней превращать черное в белое и обратно. Когда германское правительство (при Куно) вело активную кампанию против платежа репараций, ему выгодно было петь Лазаря и представлять экономику Германии в самом плачевном свете. А поскольку в последнее время намечается примирительная линия в репарационном вопросе, поскольку, с одной стороны, германское правительство убедилось в невозможности отказаться от репарационных платежей, а, с другой стороны, Пуанкаре, повидимому, готов согласиться на мораториум, и на этой почве дискутируется возможность международного займа для Германии,—постольку германское правительство и германские капиталисты переменили теперь фронт, им теперь выгоднее представлять экономику Германии не в мрачных красках, а напротив, в радужном освещении, это выгодно в интересах получения займа.

И что же? По щучьему веленью официальная статистика превратилась из Савла в Павла. Прежде, при министерстве Куно, она старалась показать

[1]) Трестирование германской промышленности после войны. В „Сборнике экон. статей" разл. авторов. Госиздат. Петроград 1922. Стр. 100.

торговый баланс Германии в возможно более невыгодном освещении и исчисляла излишек ввоза над вывозом, т.-е. пассив торгового баланса за 1921 г., в 1.614 млн. зол. мар., а за 1922 г. в 2.230. А теперь, при новом правительстве, она исчислила этот излишек для 1920 г. в 233 млн., для 1921 г. только в 165 млн., для 1922 г. только в 113, а для 1923 г. даже только в 73 [1]). Итак, дефицит из 2.230 превратился в 113. Дистанция огромного размера. Официально это об'ясняется разницей в методах подсчета на золото. Указывают также на то, что ввиду сбора с экспорта экспортеры в своих декларациях показывали лишь минимальные цифры... Если нынешняя статистика и скрашивает цифры в надежде добиться иностранного займа, то все же даже пессимист Варга не может не признать, что «стабилизация марки не наталкивается с этой стороны на большие препятствия». Но еще характернее цифры, на которые указывает Людвиг Квессель (в германском «Социалист. Ежемесячнике» от 18 февр. 1924 г.): «С тех пор,—пишет он,—как наше правительство решилось не скрывать более от немецкого народа стоимость германского вывоза, пассивность нашего торгового баланса, этот догмат политики невыполнения (репараций) является в совершенно новом свете: мы вдруг узнали, что в ноябре 1923 г., т.-е. во время жесточайшего экономического кризиса, когда у нас было 3,4 миллиона совсем безработных и 2,3 миллиона работавших лишь урывками, наш вывоз все-таки превышал ввоз на целых 80 млн. зол. мар., хотя мы вынуждены были тогда ввозить не малые количества угля и кокса: неудивительно, что за границей ставят теперь вопрос, какова же была активность германского торгового баланса перед занятием Рура, когда у нас дымились еще все фабричные трубы и число совсем безработных составляло лишь 42 тысячи». Итак, пассив торгового баланса не только уменьшился чудесами правительственной статистики ровно в 20 раз, но превратился даже в актив. В октябре 1923 г. тоже был не излишек ввоза над вывозом, а излишек вывоза над ввозом (в размере 132 млн. зол. мар.), в декабре в 69 млн. Во всяком случае, нельзя говорить о прекращении на-

---

[1]) „Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich“ 1923, стр. 384, цит. у Варги. (Старый подсчет приведен у Варги для 8 месяцев, новый для 11; но в другом месте он те же цифры применяет ко всему году.) По подсчетам Гортена за 1922 г. вместо официальной цифры вывоза в 3,9 млд. зол. мар. (у Варги та же цифра фигурирует для 8 месяцев) получается 9,8 млд.! Вместо пассивного баланса в 2 млд.—активный в 4 млд. Разумеется, здесь палка слишком перегнута в другую сторону.

Издаваемый германским имперским статистическим ведомством журнал „Хозяйство и Статистика“ (от 27/II 1924 г.) образумился и отказывается от цифр официальной статистики: „Для 1921 и 1922 г.г., — пишет он (стр. 103),—не имеется надежных цифр стоимости (ввоза и вывоза)“. Что касается 1923 года, то в журнале приводятся след. цифры: 6.081 млн. зол. мар. — ввоз и 6.079 — вывоз. Итак, почти полное равновесие торгового баланса. Это в год рурской оккупации! Эти цифры составляют 56% и 60% довоенных. Если принять во внимание отпадение Эльзас-Лотарингии, В. Силезии и оккупированных провинций, то этот процент надо считать поразительно благоприятным. В Голландии он равен всего 50% и 41%; в Бельгии, Дании, Франции, Великобритании, Италии, Голландии, Швеции, Японии имеется значительный пассив торгового баланса за этот год. (При подсчете цифр принят во внимание мировой коэффициент обесценения золота—вздорожания товаров: 1913 = 100, 1923 = 150.)

копления капитала в Германии и вряд ли можно верить официальной записке, составленной в марте 1923 г., т.-е. при Куно и определяющей весь германский акционерный капитал к концу декабря 1922 г. в 4,9 млн. зол. мар. против 31,2 миллиарда к концу декабря 1913 г.

Еще более ярко, чем в подсчете торгового баланса, выступает перемена фронта официальной Германии и ее статистики—в вопросе о германских железных дорогах. Они были самым больным местом в народном и государственном хозяйстве Германии. По данным имперского министерства народного хозяйства, опубликованным во «Франкф. Газете» от 22/VI 1921 г., железные дороги вследствие плохого состояния машин и пути, плохого качества угля и по другим причинам расходовали на 40—50% больше угля, чем в довоенное время, так что, несмотря на сокращение транспорта с 31,8 млд. вагонных осей × километр до 25,4, общая цифра потребления угля превышала довоенную. Железные дороги работали с колоссальным дефицитом и были одним из главных источников дефицита в государственном бюджете. Как известно, тогда серьезно шла речь о денационализации их, на них зарился Стиннес. Тогда в интересах частного капитала было представлять положение их в возможно более невыгодном свете. Теперь, когда железные дороги проектируют сделать обеспечением для ожидаемого международного займа (возможно также, что недавно введенная автономия их явится лишь переходной ступенью к закладу их в обеспечение репараций), статистика снова меняет фронт. Она уже не скрывает достигнутых успехов. Число локомотивов, находящихся в починке, составляло 1 апреля 1920 г. 43,2%, 1 января 1923 г.—32%, а 1 января 1924 г. уже только 27,2%, почти столько же, сколько до войны (19,3). Число нуждающихся в ремонте товарных вагонов составляло 1 августа 1920 г. 100.010, 1 января 1923 г. — 48.778, а 1 января 1924 г. только 45.400 (до войны 32.300). Потребление угля на 1000 паровозо-километров составляло в 1919 г. 21,58 тонн, в 1922 г. — 17,23 тонны. Число вагонных осей×на километры поднялось с 22,59 млд. в 1920—1921 г. до 25,41 в 1922—1923 г., т.-е. 90% довоенного времени. Частота пассажирского движения (пассажир×километр) была в 1922—1923 г. 73,9 млд. против 35.1 в 1913—1914 г., т.-е. вдвое превысила довоенную; частота товарного движения 68,1 против 57,2, т.-е. повышение на 19% против довоенной. Весь железнодорожный парк состоит ныне из 30.500 паровозов и тендеров, 67.800 пассажирских, 23.100 багажных и 700.000 товарн. вагонов [1]).

[1]) Недавно телеграмма Гаваса, — конечно, не беспристрастная, — сообщала, будто комиссия экспертов Антанты «была поражена» констатированным ею фактом, что Германия за время от заключения перемирия построила 18 000 локомотивов и 400.000 вагонов, кроме того она вложила огромные капиталы в железные дороги, речные сообщения и каналы, в улучшение своих гаваней, прокладку кабелей, торговый флот и т. д. Отметим, что упадок общего числа и в частности числа исправных паровозов и вагонов после войны является результатом не столько износа и разрухи, сколько вынужденной отдачи Антанте (по Версальскому договору), при чем Антанта принимала только исправные паровозы и вагоны. По официальной германской статистике, по 31/XII—1922 г. Германия—из одних новых поставок, т.-е. из текущего производства, поставила Антанте 7.987 паровозов и 231.690 вагонов на сумму 616 млн. зол. мар.

В последнее время пассажирские тарифы доведены в золоте до ставок, превышающих довоенные на 10% и больше, товарные превысили довоенные на 60—100%. Стоимость всей железнодорожной сети оценивается в 26 миллиардов зол. марок («Берлинер Тагеблат» 23/II — 24 г.).

Как видно даже из этой, вероятно, подкрашенной статистики, оздоровление, во всяком случае, произошло еще задолго до диктатуры Секта. Последняя участвовала в нем разве тем. что «героически» сократила число железнодорожных рабочих и служащих: в 1919 г. оно составляло 1.121.745, в конце декабря 1923 г. 936 тыс., в настоящее время около 800 тыс. и предвидится еще сокращение до 750 тыс., т.-е. до довоенного уровня. Конечно, это сокращение связано с отменой 8-часового рабочего дня, только благодаря ей и возможно; конечно, оно революционизирует рабочих и служащих.

Резюмируя, мы должны сказать, что если элементы оздоровления германского народного хозяйства действительно имеются на-лицо, то вообще разруха в Германии была в меньшей степени разрухой экономической, нежели политической, и, несмотря на сокращение сырьевой базы, не столь разрухой производства, сколь разрухой распределения. Германские фабриканты наживались на падении марки; прибыли их в годину народного бедствия были так велики, как никогда прежде, при чем их тайком помещали за границей; производство и вывоз, за исключением разве года оккупации Рура, не падали, а часто росли. Германское правительство и его статистика умышленно, систематически скрывали истинное положение дела, чтобы обмануть заграницу.

Когда произошла оккупация Рура и последовавшие за ней события, и коммунисты склонны были ожидать немедленной пролетарской революции в Германии, они, естественно, тоже подчеркивали тогда разорение и истощение Германии, от которой французские насильники требовали непосильной дани. В интересах грядущей революции желательно было подчеркивать это. Но теперь не приходится закрывать глаза на имеющиеся также элементы оздоровления. Поражение коммунистов прошлой осенью и победу диктатуры буржуазии в Германии у нас об'ясняли до сих пор почти исключительно политическими причинами: предательством социал-демократических и союзных вождей, недостаточной зрелостью пролетарских масс, продолжающих итти на буксире у них и т. д. Но, очевидно, сюда необходимо внести поправку: экономическое положение страны, несмотря на миллионы безработных, несмотря на занятие Рура, было не совсем безнадежно, не должно было обязательно повести к катастрофе. Разумеется, это не исключает того, что только социал-демократия провалила революцию, не оправдывает этой партии ренегатов, показывает лишь, почему возможен был этот провал революции политическим фактором. Диктатура буржуазии была скорее следствием, чем причиной оздоровления. Оздоровление германской экономики вовсе не означает, однако, ухудшения перспектив пролетарской революции, если даже и отсрочивает их в сравнении с ожиданиями прошлой осени.

Солнце мертвых.

Заметки об эмигрантской литературе.

Ник. Смирнов.

I.

В эмиграции, в подводном царстве новой России, об'единились люди самых разнообразных настроений и умозрений: от «блюстителя» престола, Николая Николаевича, ныне существующего на доброхотные даяния и «тихую милостыню» до интеллигентских подвижников с талисманом вечно женственной Софии, — от грустных менестрелей, напевающих на гранитных ступенях собора Парижской Богоматери, до российских «нуворишей», трогательно усыновленных сэром Стерлингом и мистером Долларом.

В нижеследующих заметках мы, однако, не вдаемся в анализ эмигрантских группировок, останавливаясь, главным образом, на художественной литературе эмиграции, т.-е. на литературе уже умершей, окаменевающей старой России.

Но, говоря о художественной литературе эмиграции, нельзя, хотя бы по причине уяснения ее двух основных миропонимающих начал, не остановиться на нескольких публицистических произведениях, особенно примечательных и любопытных.

Основные миропонимающие начала «мыслящей» эмиграции, ее интеллигенции, пересекаются по двум, на первый взгляд взаимоотталкивающимся, линиям: сугубой политичности искусства, в том числе и литературы, и, наоборот, полнейшей аполитичности творчества, утверждения, в качестве жизненной цели, непрерывного стремления к божеству. Последнее идет в своей генеалогической ветви от знаметых «Вехов», хотя группа философов, об'единенных под сим знаменем (Бердяев, Франк, Карсавин, Зеньковский), и носит гордое имя «Софиан». Софиане, имеющие за границей религиозно-философскую академию (не прошли еще гоголевские времена, есть еще богоугодные заведения), выпустили несколько об'емистых трудов, обосновывающих их мысли и задачи. Из них упомянем белградский сборник «София» и берлинский «Православие и культура».

Кружевная цепь рассуждений обоих сборников: мистически-бредовые экскурсы в романтический век ренессанса, гуманизма и рационализма (Бердяев), «христианизация и оцерковление культуры» (Зеньковский) скрепляются

единым философическим звеном: в сегодняшний день истории необходимо утверждать примат духовной культуры над всякой политикой, ибо политика, особенно демократия и социализм, знаменуют, по Бердяеву, «с а т а н о к р а т и ю»; что знаменует противоположный политический полюс—монархизм, Бердяев не доказывает: монарх в своем пути всегда шел, поддерживаемый православием, как православие бережно поддерживалось так называемым интеллигентским идеализмом.

Но монархизм — только забытая, безвестная могила российского прошлого. В новой России торжествует «сатанократия», оттолкнувшая людей прошлого, независимо от их общественно-политической сути, в то же могильное небытие. Отсюда — новая «переоценка ценностей», для которой чрезвычайно характерна книга С. Л. Франка — «Крушение кумиров», недавно выпущенная одним из американских издательств. Франк «развенчивает» четыре интеллигентских кумира: 1) кумир революции, 2) кумир политики, 3) кумир культуры и 4) кумир идеи.

Положения Франка сводятся к тому, что революция и политика не имеют никакого отношения к запросам и интересам души человеческой: была бы осмыслена общая цель бытия, была бы жизнь согрета подлинной верой, дающей мне бодрость, радость и ясность, и тогда я уже сумею построить свой дом, установить внешние условия и порядок.

То же и в области культуры, к которой интеллигенция подходила когда-то «с благоговением неофитов и ученическим рвением»: европейская культура—только голубой огонек над лесной топью, только фарфоровая кукла, наполненная звенящей пустотой. Учиться у культуры нечему. «Мы сами (т.-е. Франк и Бердяев и т. д. *Н. С.*) можем научить кое-чему полезному человечество».

Разрушая кумиры, автор, даже без горсточки пепла в нательной ладонке, мечтательно уходит к тихому Тивериадскому озеру, в Заиорданские пустыни, и здесь, в пустынной немоте, происходит сокровенное: встреча души с богом—«вечный источник жизни, света и любви».

В другой более практической статье, «Философия жизни», напечатанной в только что упомянутом нами сборнике «София», Франк обосновывает «научные права философии» как составного элемента религии, утверждая религию, вслед за Владимиром Соловьевым, мыслительным центром человечества, а церковь — сердце религии — основным аппаратом человеческой мысли. Но поскольку церковь—белое знамя духовной реакции—обычно использовывается классом эксплоататоров в качестве символа на черном знамени реакции политической, постольку и между двумя разветвлениями эмигрантского древа миропознания может быть протянута соединяющая ветвь.

В противоположность мистическому бегству в пустыню аполитичности, проповедываемому немногочисленной группой «софиан», основная масса эмигрантской интеллигенции проповедует нерасторжимость союза с политикой, в проповеди своей исходя, однако, из того же поклонения страстотерпческим ризам Христа и установления божества единоспасающим смыслом жизни. Для

примера возьмем хотя бы последнюю работу Мережковского об Озирисе — боге умерших, где он, мысленно странствуя вслед за Изидой по золотым берегам Нила, ищет все тот же смысл жизни и смерти. Исследование носит характер исключительно-специальный, но читается и неспециалистом охотно и с любопытством: временами кажется, что автор смотрится в матовые зеркала древних Нильских вод только как путешественник, очарованный стариной. Но тот же Мережковский в публицистических выступлениях, переводя египетские письмена на язык российского эмигранта, говорит более определенно и прямо: «Наша (эмиграции. *Н. С.*) миссия — воздвижение креста господня, того креста, который большевики хотят вытравить из сердца русского народа и выжечь там красную звезду. Пока существуют большевики,— нет России».

Еще определеннее высказывается не менее православная, хотя и носящая в грудном медальоне миниатюрный портрет Шарлотты Корде, Зинаида Гиппиус. В своем литературно-критическом обзоре («Современные Записки». книга 18), озаглавленном «Полет в Европу» и подписанном старым псевдонимом Антона Крайнего, она, подчеркивает договор с редакцией: «не касаться политики»,—все же признается: «не касаться политики—вообще ошибка; линия ныне отделяющая политику от жизни,—неуловима». В своем обзоре Гиппиус разбирает современную русскую литературу:—«литературу выбросили в окно, окно захлопнули», и, увенчивая венком славы эмигрантских писателей (в том числе и Арцыбашева, поместившего недавно в варшавской газете «За свободу» ряд черносотенно-погромных статей), бешено нападает на Горького и молодую литературу Советской России. Молодую Советскую литературу Антон Крайний характеризует очень кратко и вразумительно: «Из яиц вылупились такие непристойные гады, что неуместно мне их и касаться; и если насчет всех прочих сторон политики еще могут найтись спорщики, то уж, бесспорно, никогда еще мир не видел такого полного, такого плоского уродства; земля впервые им оскорблена». От Горького же вообще отмахивается: «Если уж 20 лет назад Горький был проповедник, а не писатель, и если таковы конечные точки, последняя цель этой проповеди (а время, как будто, наглядное нам дало подтверждение, неправда ли?), то не дико ли мне вдруг взять да и заговорить сейчас о его художественных произведениях? Не понятно ли все само собой и не лучше ли, если уже нельзя рассказать, как этот удачный проповедник по достижении цели помогал из'ятию всяческих ценностей, не лучше ли было бы вовсе о нем не говорить?».

II.

Итак, за вычетом «спутника из'ятия ценностей» [1]) — Горького и молодой литературы новой России, остается, как современная русская литература, литература эмиграции.

---

[1] В связи с возникшей в эмигрантской печати „дискуссией" о Горьком, Гиппиус (в „Последних Новостях") оговорилась: „культурных".

Что же создала литература эмиграции за 5—6 лет? Ничего, почти ничего. Почти ни одного действительно яркого, действительно художественного, т.-е. имеющего, независимо от его внутренней сути, права на длительное существование, произведения. Единственным, более или менее ценным произведением является, пожалуй, «Хождение по мукам» А. Н. Толстого, писателя, благодаря своей чуткости, честности и желанию творить, давно уже порвавшего с подводным царством мертвецов. Но ведь и кроме А. Толстого эмиграция насчитывала и насчитывает в своем составе лучших, талантливейших писателей предреволюционной эпохи: Бунина, Куприна, Шмелева, Зайцева и т. д. Остановимся на последних этапах их творчества.

Бунин. В памяти все еще свежи его «Братья», «Вера», «Князь во князьях», «Сны Чанга» и др. Сравнивая их с лучшими новинками современной литературы, все более убеждаешься, что Бунин в своих последних дореволюционных произведениях окончательно оформливался и выкристаллизовывался как законный наследник нашей классической литературы, как писатель, владеющий золотыми ключами и вещими тайнами подлинно художественного мастерства. Но на примере Бунина, лучшего представителя российского классицизма в его позднейшей стадии, наиболее ярко сказалась классовая зависимость писателя: вместе с угасанием смертельно раненого общественного класса, угасает и писатель. И, конечно, далеко не случайно, что в революционную эпоху Бунин выступил не только как ее безумный враг (врагов у революции очень много), но и как преданный рыцарь двуглавого орла, сброшенного с государственных вершин железной рукой победившего народа. В последних публицистических выступлениях, напоминающих мистический карнавал призраков, Бунин еще раз повторил, в виде более углубленном и усугубленном, то, о чем когда-то писал он в газете деникинского Освага («планетарный злодей высоко сел на шее русского дикаря, и русский дикарь дерзнул на то, чего ужаснулся бы сам дьявол: коснулся раки Сергия преподобного»), сравнивая Европу с Тиром и Сидоном, СССР, поклоняющуюся «скоту» — с ордой, а вечное знамя СССР — бессмертного Ленина — со вторым Навуходоносором.

В последних же стихах («Русская Мысль», № 7) Бунин уходит еще дальше: от эпохи предреволюционной — в эпоху крепостничества, становясь ее подлинным эпигоном:

...Сон лютый снился мне:
Из древней усыпальницы княжой
Шли смерды, мертвецы, гранитный гроб несли.
...Я поднял жезл, я крикнул: в доме бога—
Владыка я. Презренный род, стоять!
...Они идут, глаза горят, их много,
И ни един не обратился вспять.

Вообще же стихи Бунина, написанные им за период революции, проникнуты горечью умирания и безумной, почти фанатической, злобой:

Уж нет возврата
К тому, чем жили мы когда-то.

Потерь не счесть, не позабыть.
Пощечин от солдат Пилата
Ничем не смыть и не простить,
Как не простить ни мук, ни крови,
Ни содроганий на кресте
Всех, убиенных во Христе,
Как не принять грядущей нови
В ее отвратной наготе.

А на-ряду с этим, — и опять во имя Христово, — в стихах пробивается и кликушеский зов к мщению и борьбе:

О, слез невыплаканных яд,
О, тщетной ненависти пламень!
Блажен, кто раздробит о камень
Твоих, блудница, новых чад,
Рожденных в лютые мгновенья
Твоих утех и наших мук.
Блажен тебя разящий лук
Господнего, святого мщенья.

(Альманах «Медный всадник», Берлин, 23 г.)

Если даже к этим стихам подойти с точки зрения исключительно исследовательской, со стороны их литературной значимости, они все же остаются крайне посредственными, технически-слабыми: поэт, по справедливости награжденный когда-то масличной ветвью классицизма, становится Тредьяковским в черной ризе пророка Иеремии.

Так же слабы, если сравнить их с предреволюционными, и рассказы Бунина, написанные им за последние 2—3 года. За эти годы им написаны: «Косцы», «Безумный художник», «Сказка о Емеле», «В ночном море», «Огнь пожирающий» и «Несрочная весна». От прежнего Бунина, от художника, умеющего полновесное золото слова сплетать с его лазурной тенью легкостью общей и повествовательной картины, — в этих рассказах очень мало. Нарочитая тенденциозность местами сводит их до крикливости лубка, а лубочная неуклюжесть, в соединении с чисто публицистическими отступлениями, окончательно разрыхляет как их художественный стержень, так и стиль. В этом отношении особенно характерны «Безумный художник» и «Сказка о Емеле».

«Сказка о Емеле» [1]), написанная нарочито народным (хотя и естественным) языком, — сказка про «дурака, который вышел всех умней»: сначала ездил на печке, потом удачно влюбился в царевну, женился на ней и, ублажая себя, возлег на бархатной постели: «мол и без меня управятся,— с государством-то». Лубок, вправленный в довольно красивую рамку. Памфлет. И очень слабый памфлет.

«Безумный художник» [2]), — рассказ о «господине с изумленными глазами, в черном бархатном берете, из-под которого падали зеленоватые кудри», приехавшем в рождественский сочельник в провинциальный русский

[1]) „Окно", трехмесячник литературы и искусства, № 2, Париж 1923 г.
[2]) „Окно", № 1.

город. Описание города, — рынка, гостиницы, голубой морозной зимы, — написаны по-бунински: насыщенно, сжато и уверенно, но основной замысел рассказа — творимая художником картина («небеса, преисполненные вечного света... дева, неизреченной прелести, с очами, полными блаженства счастливой матери... на божественных руках младенец, блистающий, как солнце») — веет тем же символическим памфлетом. Заканчивая к рождественской полночи картину, художник (необходимо упомянуть о его навязчивой идее — следствии гибели беременной жены на подводной лодке) вместо лазури видит на полотне: «дикое, черно-синее небо, пылающее пожарами; черные дыбы, эшафоты и виселицы с удавленниками; огромный крест с распятым на нем окровавленным страдальцем; смерть в доспехах и зубчатой короне, глубоко всадившая под сердце распятого железный трезубец; и лица, ощеренные, клыкастые, с глазами, выкатившимися из орбит—скорее лица скотов, зверей, дьяволов, но никак не человеческие».

В других, более «мягких» рассказах Бунина, как и в его стихах, сквозит (и здесь они отчасти соприкасаются с проповедью Франка) та же усталость, то же бегство в пустыню прошлого, в долины одиночества, в «Елизей воспоминаний», в страну «ликийских теней». В «Косцах» писатель воспроизводит древне-русские песни, распевавшиеся на покосе, снабжая их собственным послесловием: «миновала для нас сказка, поруганы молитвы и заклятья, иссякли животворные ключи», а в «Несрочной весне» зарисовывает, в форме письма из России от друга, неприявшего новое, — старую целиком сохранившуюся усадьбу и настроение попавшего в нее «неприявшего новое человека». «И росло, и росло навождение: нет, прежний мир не есть для меня мир мертвых. Он для меня воскресает все более, становится единственной и все более радостной, уже никому не доступной обителью моей души. Что может быть для меня общего с этой новой жизнью, опустошившей для меня всю вселенную? Я живу в какой-то восторженной радости, но с кем и где? Я непрестанно чувствую, как рвется последняя связь между мною и окружающим меня миром, как я все более ухожу в тот мир, с которым связан был весь свой век, с детства, с младенчества, с рождения. Боже, какое несказанное одиночество!»

Отдадим врагу должное: «Несрочная весна» не только лучший из его позднейших рассказов, но, в смысле з а р и с о в о ч н о м, может быть поставлен на-ряду с его прежними вещами. Своими отдельными зарисовками он напоминает тонкость античных барельефов, своей целостностью — отточенную, старинной работы, скульптуру с лазурными глазами мертвеца.

Но это единственно-удачный из позднейших рассказов Бунина. Два, написанные им в самое последнее время, рассказа: «Огнь пожирающий» и «В ночном море»,—пожалуй, наиболее беспристрастные,—крайне незначительны и бледны. «В ночном море» на пароходе встречаются, после 23-летней разлуки, два человека, когда-то любившие одну женщину, разговаривают, философствуют, вспоминают прошлое. От прошлого не осталось ничего, — ни ненависти, ни злобы, ни скорби. Осталось лишь горькое сознание близкой могилы и пустоты, как после сжигания в крематории тела прекрасной

молодой женщины («Огнь пожирающий») остается только зеленовато-сухая горсть пепла. Ничего не остается в памяти и после этих двух рассказов: несмотря на фотографичность описаний и уловленный кое-где колорит, они, как пепел, легковесны и сухи. «Безумный художник», несмотря на проблеск художественного дара, отраженный в «Несрочной весне», все же безнадежен. Угасает. Жалеть об этом, увы, не приходится.

Не приходится жалеть и об остальных, угасающих и угасших в эмиграции писателях. А наиболее талантливым среди них следует признать Шмелева, только в прошлом году эмигрировавшего за границу. В тех же сборниках «Окно» печатается его эпопея — название («Солнце мертвых») мы выписали, как заголовок наших заметок — о голодных днях, пережитых Крымом в 1920 — 1921 годах. Приходится сознаться: в смысле чисто художественном, эпопея, особенно в местах внутренно-суб'ективных, написана хорошо: есть в ней какая-то органическая лиричность, озаряющая ее тихим светом осени, но в целом это — погромная, мстительнейшей злобой пылающая, вещь. Сюжетным стержнем эпопеи является «доктор», наблюдающий «производимый над страной опыт». «Ведь полтораста миллионов прививают— к социализму. Два миллиончика лягушек — искромсали: и груди вырезали, и на плечи звездочки сажали, и над ретирадами затылки из наганов громили, и стенки в подвалах мозгами мазали... вот это опыт». В результате эпопеи разрушается необ'ятная холмистая страна, ржавеет ее драгоценное ожерелье— Крым. Ибо: «Бабе-яге из-за тысячи верст, по радио, долетело приказ-слово: смести Крым железной метлой в море. И метет».

Злоба, обнявшаяся с бессмертной глупостью, и глупость, поддерживаемая искусственной близорукостью, ведут автора, замаскированного в пропахший иодоформом халат, по крымским горам и ущельям, показывая ему какую-то апокалипсическую страну, где умирает все сущее: и люди,—грустный татарин и его прекрасная, как Шехеразада, дочь,—и изумрудные виноградники, и животные. Автор всюду слышит лишь костяную поступь смерти.

Конечно, никто не отрицает, что в Крыму был голод — одна из величайшей скорбей новой России. Но приписывать голод злым чарам пляшущей по российским просторам бабы-яги (а для писателя революция—только «баба-яга») может лишь убежденный и непримиримый, одноглазый, до наивности глупый и до глупости злобный реакционер, каким образцово показал себя в своей эпопее Шмелев. Описывая умирающий Крым, писатель просмотрел существенное: то, что умирающий татарин проклинал истоптавших его виноградники воинственного галла и остервенелого, выгнанного из родной усадьбы, дворянина-офицера; то, что прошедшая по Крыму смерть шла под руку с призраком старой, действительно сметенной в черноморские глубины, Россией. «Вода и камни. Огромное окно — море. Синее небо пусто. Окно в безнадежность, синева равнодушной пустоты». Пустотой и безнадежностью—безнадежностью памфлетизированной художественности, художественностью галлюцинаций и воображаемых ужасов проникнута народо-ненавистническая эпопея Шмелева.

Маленькая ирония судьбы: Шмелев, выступая в эпопее, как определенный, хотя и иезуитски-скрытый народоненавистник, в своих политических

выступлениях [1]) и написанных за последнее время сказках («О маленьком херувиме и злом чародее») рекомендуется, как исключительный народолюбец. Народ, по «теории» Шмелева, проистекающей из славянофильских родников, добр, безгрешен, чист, невинен и, конечно, монархичен; интеллигенция, наоборот,—воплощение бунта и смуты, единственная виновница революции, «опыта», задушившего миропомазанную и христиански-смиренную Русь. Писатель, в своих обвинениях, договорился до того, что московский университет,—alma mater российской интеллигенции, путеуказатель интеллигентской революционности,—в свое время недостаточно был усмирен штыками и пулями царизма.

Оговариваемся, что в своих заметках мы не собираемся полемизировать с эмигрантскими писателями (это занятие было бы довольно праздным), мы только отмечаем, в порядке, главным образом, информационном, ту эволюцию и то перерождение, которое испытала дореволюционная российская литература.

Верный друг Гамлета, Горацио, говорил когда-то:

— Чтобы сказать эту истину, покойнику не стоило вставать из гроба.

Сие вспоминается при чтении новых произведений А. И. Куприна, когда-то блестящего бытописателя, а ныне писателя-мертвеца. Не так давно в сугубо-монархической «Русской газете» (Париж) Куприн поместил рассказ «Сказочный принц». «Мне сладко и радостно мечтать о новой России и лишь для нее — о будущем монархе. Я вижу, как он коронуется в Успенском соборе. На голове его старинная корона российских монархов. Я вижу на плечах его горностаевую мантию». Дальше — совсем слепок с царя Берендея из «Снегурочки»: «почем знать, может быть, настанет день, когда прежние старые бунтари придут к моему царю и возопят слезно:

— Батюшка, царь, не погуби ты наших жен с малыми детушками. Что нам после твоих реформ делать осталось? Чего требовать? Кого бунтовать? А иному мы не учены. С голоду пропадем и от безделья.

Царь же скажет ласково:

— Требуйте, чтобы рабочим давали каждый день черепаховый суп, а к нему золотую ложку».

Приблизительно на ту же тему (правда, в другом разрезе, но с тем же клятвопоклонничеством) написан и второй купринский рассказ «Однорукий комендант» («Окно», № 1).

В рассказе описана жизнь и судьба коменданта Петропавловской крепости Ивана Никитича Скобелева (деда «белого генерала»), заканчивающаяся — при его смерти — встречей с Николаем I. Последние слова умирающего коменданта, обращенные к императору, были:

— Ах, если бы ты, государь, даровал волю всем русским крестьянам, наградив их, по твоей высокой справедливости, землею.

---

[1]) В Париже, в феврале с/г., на „вечере докладов о миссии эмиграции“, где выступали и уже цитированные Мережковский и Бунин.

Это воспоминание, очевидно, на тот случай, если бы в результате реформ, произведенных грезящимся Куприну Берендеем, рабочие и крестьяне, вместо «черепахового супа» и «золотых ложек», были отброшены в то состояние, когда — помните Некрасова:

Есть и овощ в огороде,—
Хрен да луковица.
Есть и медная посуда,—
Крест да пуговица.

К последним рассказам Куприна нельзя даже подойти с художественной меркой: они настолько бесталанны, что, несмотря на пышную прослоенность сугубо-монархическими тенденциями, не вызывают ни злобы, ни раздражения. Куприн безнадежен, как безнадежно большинство эмигрировавших писателей.

Возьмем, дальше, Бориса Зайцева, писателя исключительно лирического, нежнейше-тонкого, тончайше-изящного, акварельного, овеянного в своих произведениях весенней грустью влюбленности и успокоением осенней элегичности. Зайцев выпустил за границей (Берлин) книгу новых рассказов «Улица св. Николая», написанных, впрочем, еще во время пребывания в Советской России. Написал новый роман «Золотой узор», печатающийся в «Современных Записках». Сюжет романа (если у Зайцева вообще есть сюжет?) очень и очень несложен: в романе, ведущемся от лица молодой девушки, просто — день за днем, год за годом — развернута история ее жизни, пока доведенная лишь до дней юности. Если принять во внимание описываемую эпоху и мечты героини, то есть данные, что героиня в дальнейшем пройдет по взвихренной, перекорчеванной дороге революции, закончив, как и в другом его романе («Дальний Край»), Владимиром Соловьевым и ласковыми песнями над родной колыбелью. С формальной стороны «Золотой узор», поскольку автор старается здесь быть более сухим, отточенным и жестким, более скупым на лирические отступления, скучнее прочих его вещей: Зайцев не повествователь, не романист. Только мастер изящной, лирической миниатюры. С этой стороны более удачна его книга «Улица святого Николая», если в отдельных местах и достигающая художественного образца, то в общем являющаяся только тенью той литературной кончины, которая стоит в изголовьи Зайцева. Правда, Зайцев-писатель еще жив: созданные в последней его книге образы: — Рафаэля, усадебного мечтателя, находящего последнее утешение в коленопреклонении перед иконой женственной богоматери, и фантастически-поэтического Карла V — еще могут подкупить своей восковой мягкостью и голубиной белизной, но все они — только призраки умершей и умирающей эпох: писатель весь в прошлом. Нового он органически не приемлет и не поймет. Проносящийся над Россией,—а вслед за Россией—над всем миром — порывистый ветер будущего стучит в цветные оконца лирического домика старой литературы как костяная рука смерти. Зайцев, один из типичнейших писателей былого, находится в периоде медленного (быть может, и примиренного, это неважно) умирания. В позднейшем своем рассказе: «Николай Калифорнийский» (эмигрант, скитающийся по миру и погибающий

в море), «предварительно», впредь до напечатания в «толстом» журнале, помещенном в газете «Руль» (февраль 1924 г.), — писатель, даже в смысле внешнем, невозвратимо побледнел. Напомним мимоходом, что в газетах лиричнейший, чуждый «политики» писатель печатается довольно охотно. Печатается и в органах чисто-партийных: не так давно в эс-эровской «Воле России» мы читали его полу-политическую статью о грядущем (очевидно, за гробом?!) новом дне России. «Линия, ныне отделяющая политику от жизни, неуловима».

III.

Что касается второй, более многочисленной, но в то же время и безликой группы эмигрантских писателей, то о многих из них, когда-то «заслуженных» или «подающих надежды» (Чириков, Лазаревский, Гребенщиков), в настоящее время не стоит упоминать. Это в подлинном смысле бывшие писатели. Два написанные Гребенщиковым романа («Чураевы» и «По степям Кашгарии») обладают всеми достоинствами бездарности: мертвенностью, беспомощностью диалога и полным отсутствием художественного чутья. Рассказы Бор. Лазаревского, печатаемые то в парижском «Студенческом Журнале», то в Милюковской газете «Последние Новости», не поднимаются над уровнем воскресных фельетонов бульварных французских газет. А Евгений Чириков, мечтательный «трубадур» влюбленных гимназисток, кажется, окончательно замолк. Им написана лишь одна «повесть»: «Опустошенная душа», еще в 1922 году печатавшаяся в «Русской Мысли». В повести, насквозь лживой, насквозь клеветнической, а в смысле художественном—исключительно бледной, рассказывалось о раскаявшемся коммунисте-краскоме, умершем в белогвардейском лазарете.

Более интересны среди этой группы: М. Алданов, С. Р. Минцлов, Муратов и Степпун,—беллетристы более поздней формации, кроме всего, об'единенные и некоторой идеологической общностью: религиозным философизмом.

М. Алданов, которого до революции мы знали как критика, привлек внимание эмиграции своим романом (ныне разрастающимся в трилогию) «9-е Термидора», печатавшимся в «Современных Записках» (1922—1923 г.г.). Роман, выписанный хорошим, отчеканенным языком, имел свои достоинства: относительное проникновение в эпоху и насыщенность действием, хотя в конце концов и был только образцом «благородного репортажа»: художественная кисть Алданова весьма суха, а запас красок слишком ограничен и скуден. Печать той же художественной скудости лежит и на второй части трилогии («Святая Елена», «Маленький остров», изд. «Нева», Берлин 1923 г.), где, как и в первой части, автор, оставаясь исключительно историчным, все же довольно явственно и заметно (но и крайне неудачно) пытается памфлетизировать на русскую революцию. Более значителен последний роман Алданова «Ключ», напечатанный пока в отрывках (газета «Дни», № 345, 1923 г.), где даны картины аристократического быта предреволюционного Петербурга, замкнутые крепким, занимательным, непрерывно сгущаемым и осложняемым сюжетом. В дальнейшем, если он захватит революцию, роман безусловно

собьется на обычные полу-публицистические писания Алданова в тех же «Днях»,—газете, блестяще символизирующей выгребную яму эмиграции. Но если появившиеся отрывки сравнить, например, с написанным приблизительно на ту же тему романом другого эмигрантского писателя — Ивана Наживина («Распутин»),—то о них можно говорить как о произведении серьезном.

С. Р. Минцлов, писатель-бытовик, выдвинулся, очевидно, только в последние годы. В иной обстановке и при иных условиях из него выработался бы писатель безусловно значительный. В эмиграции же — говорим это уверено — он сойдет на-нет. Тем более, что он безнадежно отравлен ядом скептицизма, неверия и политической реакционности. Им написаны: эпопея «За мертвыми душами», удачно перелицовывавшая—соответственно эпохе—гениального Гоголя, и романы: «Царь Берендей» и «Сны земли». «Царь Берендей» — роман, построенный исключительно на зыбких стропилах приключений (Уренхайский край, дикий купец Вабилин-«Берендей», горсточка людей, по приказанию другого купца, отправившаяся к Вабилину и достигающая цели только ценой мучительных жертв), написан с несомненным, хотя и размягченным длиннотами, мастерством. «Сны земли», наоборот написаны в более сжатой и тонкой манере, с добродушным юмором. В романе изображается усадебный, полу - идиллический, полу-крепостной (кое-где «под Щедрина») быт. Помещичий быт описывается и в позднейшем, историческом романе Минцлова: «Гусарский монастырь», пока незаконченном. В последнем романе взята эпоха крепостничества, миниатюрно сконцентрированная в образе барина Пентуарова — фигуре, если судить по прочитанным отрывкам («Дни», № 345, 1923 г., стильной и выразительной.

Муратов и Степпун, строго говоря, уже не беллетристы. Первый—блестящий этнограф-исследователь, тончайший знаток все-европейской культуры, второй — такой же знаток все-европейской культуры, так назыв. богоискатель, философ-компилятор, утонченный компилятор-стилист. Однако, поскольку оба пишут произведения беллетристические, о них стоит мимоходом упомянуть. П. Муратова (вспомните его по-своему прекрасные образы Италии) написал за последние годы роман «Эгерия», серию «Магических рассказов» и книжку рассказов «Морали». «Морали»—заголовок первого в книжке рассказа—имя встреченного Пушкиным в Одессе «забытого корсара». Все помещенные в книжке рассказы носят характер исторический, являясь таким образом только пересказом (конечно, изящным, но, конечно, и мертвенным, ибо автор — человек кабинета) красочных эпизодов истории мировой культуры и, в частности, литературы.

Ф. Степпун печатает в настоящее время философический, исследовательски-комментирующий Новалиса, Клейста и др. романтиков прошлого века, авто-биографический роман «Николай Переслегин» [1]), про который, вспоминая пушкинского «Графа Нулина», можно сказать:

---

[1]) „Современные Записки".

Роман «классический», старинный,
Отменно длинный, длинный, длинный,
Нравоучительный и чинный,—

но с романтическими затеями: исканием смысла жизни, влюбленностью и т. д. Очень хорошо, красками мягкими, нежными и грустными, выписан портрет матери Переслегина. В общем же роман (притом «роман в письмах») относится все к тому же «благородному репортажу». Художественно он очень худосочен.

К той же второразрядно-писательской группе необходимо отнести Семена Юшкевича, в свое время примыкавшего к издательству «Знание», а в настоящее время выпустившего в берлинском издательстве «Гамаюн» безнадежный — из быта Советской России—роман «Эпизоды». Место действия романа—Одеса, Ч. К., герои—попавшие в Ч. К. супруги Грессер: испуганный, трусливый Симочка и откормленная Дорочка. Силуэты Симочки и Дорочки выписаны круто и ярко (Юшкевич умеет дать образ еврея-буржуа), но что касается Ч. К. и ее работников, то ее «рисунки» очень немногими отличаются от тех карикатур, хотя бы в эс-эровско-демократичных «Днях», где они изображаются или во образе Сатанаила, или в виде апокрифического («обло, озорно и лаяй») чудовища.

Наш список был бы не полон, если бы мы не остановились на двух, в своем роде, «знаменитых» писателях: Винниченко и Савинкове.

До революции Винниченко был, как известно, романистом (его усердно издавали «Земля» и «Шиповник»), во время революции носил музейный жупан запорожца и картонную булаву, в настоящее же время, обитая в Праге,—сердце подводного царства мертвецов—занимается политическими докладами и изредка, по старой привычке, умудряет себя словесностью. Издательство О. Дьяковой (Берлин) выпустило недавно его последнюю повесть: «Записки курносого Мефистофеля». В повести налицо все, что нужно для повести в «старом добром стиле»: и психологические изыски, и борьба между долгом и страстью, и, конечно, торжествующая добродетель. Повесть по сюжету безотносительна и вневременна: Мефистофель — дружеская кличка приличного, жиреющего адвоката, влюбленного в случайно встреченную девушку, но женившегося на другой, нелюбимой (долг!), от которой он имел ребенка. Заключительные слова повести:—Мои дела идут хорошо. У меня два помощника, гувернатка, большая квартира, солидная клиентура,— очень подходят к автору, уединившемуся в лучшей парижской гостинице (а таковые предоставлены там российским эмигрантам) и мечтательно склонившемуся над поломанной казацкой булавой.

Борис Савинков (В. Ропшин), бывший революционер-террорист, давно уже продал свое первородство сыновьям тех отцов, в которых он метал смертоносные бомбы, а полученную из рук февральской революции шпагу — бесславным потомкам рыцарей Сенкевича. В вышедшем в начале текущего года в Париже романе «Конь вороной» — непосредственном продолжении прежних романов Ропшина («Конь бледный» и «То, чего не было») — он под-

водит исповеднические итоги последних лет, посвященных им активной борьбе с русским народом. В романе, ведущемся от лица «полковника», дано не мало четких, колоритных и, главное, верных картин этой борьбы.

...«Ротмистр Жгун — храбрый и исполнительный офицер — застрелил еврея.

— За что? — спрашивает его г-н полковник.

— Да, ведь, жид».

Жгуна—по роману—расстреляли, но после расстрела тот же г-н полковник милостиво обращается к одному из своих «оруженосцев»:

— Федя, сколько на площади фонарей?

— Не считал, г-н полковник.

— Сосчитай. И на каждый фонарь повесь.

Последнее, конечно, относится к пленным красноармейцам.

Набросанные в романе картины борьбы против большевиков, т.-е. русского народа, переплетены с менее интересными философическими отступлениями... «Не убий...». Когда-то эти слова пронзили меня копьем. Теперь... Теперь они мне кажутся ложью. Льется клюквенный сок, затопляет даже до узд конских. Человек живет и дышит убийством, бродит в кровавой тьме и в кровавой тьме умирает. Не убий... Зачем неисполнимые, непосильные для немощных душ заветы? Мы живем в злобе и зависти. Мы гнусны и ненавидим друг друга. Но, ведь, не мы сказали: «Иди и смотри»... Один конь белый, и всаднику даны лук и венец. Другой конь — рыжий, и у всадника меч, третий конь — бледный, и всаднику имя — Смерть. А четвертый конь — вороной, и у всадника мера в руке. Я слышу и многие слышат: «Доколе, владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь за нашу?».

Великой усталостью, разочарованностью, великим безверием веет от книги Савинкова—бледного всадника на черном коне смерти. В этом—ее значение и интерес.

IV.

Эмиграция не единородна и не единосущна. Наоборот, несмотря на об'единяющую ее составные группировки ненависть к Советскому Союзу, крайне разносущна и разобщена. Сменовехизм, проборОздивший эмиграцию, оставил в ней глубочайшие следы: значительная часть эмиграции безостановочно содрогается от внутренних толчков, проистекающих иногда из осознанного, иногда бессознательного (и тем более мучительного) желания вернуться на родину. Бальмонт, недавний лунопевец и словомаг, превратившийся в весьма и весьма посредственного газетного корреспондента, писал как-то в тех же «Днях» (№ 220, 1923 г.): «Россия всегда есть Россия, независимо от того, какое в ней есть правительство. Я поэт, я не связан. Я полон беспредельной любви к миру и к моей матери, которая называется Россией. Там, в родных местах, так же, как в моем детстве и юности, цветут купавы на болотных затонах и шуршат камыши, сделавшие меня своим шелестом, своими вещими шопотами тем поэтом, которым я стал, которым я был, которым я

буду и которым я умру. Там везде говорят по-русски, это язык моего отца и моей матери. Это язык моей няни, моего детства, моей первой любви, почти всех моих любвей, почти всех мгновений моей жизни, которые вошли в мое прошлое как неот'емлемое свойство, как основа моей личности».

Из таких, приблизительно, настроений: горечи одиночества, сознания ненужности и разочарованности в «культуре европейской» соткана и последняя, похоронная, книга Бальмонта, книга — знаменатель той духовной качки, которой одержим (хотя бы и подсознательно) каждый, если он не положил еще на свою грудь могильного камня, интеллигент, отброшенный, или прыгнувший в прошлое. «Я живу сейчас в мире, который, грубо захмелев от преступно-излитой им несчитанной крови, только и делает, что брызжет на душу грязью и кровью и слепо убивает певчих птиц. К чему мне прильнуть? Я—поэт и человек. Нет мне места как поэту и человеку». (Бальмонт, «Где мой дом». Очерки. Прага 1924 г.)

Как поэт, как «певчая птица», Бальмонт, если не «убит», то смертельно ранен. Изобильно рассыпанные им по эмигрантским изданиям стихи, если и похожи на цветы, то только на цветы отрочества: Бальмонт перепевает лишь свои гимназические рифмованные упражнения:

Ходили гулы ветровые
И цвел подснежник голубой,
Когда я встретился впервые,
Красиволикая, с тобой...

Если взять, далее, Марину Цветаеву, поэтессу талантливую, но «варварскую» Россию покинувшую, то и в ее позднейших книгах, хотя бы в кокетливо-воздушной «Психее» (изд-во З. И. Гржебина, Берлин 1923 г.), не трудно подслушать биение все того же тревожно-смущенного, смущенно-мятущегося сердца:

Дитя разгула и разлуки
Ко всем протягиваю руки. (стр. 66.)

Еще более трагична (если хотите, трагикомична) в этом отношении судьба тех эмигрантских поэтов и писателей, творческая чаша которых скорее напоминает еще купель, — писателей и поэтов, выдвинувшихся только в эмиграции — эмигрантского молодняка.

Если отцы, умирая, оглядываются на богатейший жизненный путь, залитый прекраснейшим светом творчества, то детям, выходящим в жизнь, сопутствуют безнадежность и безверие.

Эмигрантская литературная молодежь (а среди нее есть несомненные таланты) обречена на духовную немощь и вечную старость, ибо из рук умирающих отцов она принимает не миртовую ветвь—символ жизни, а кубок, до краев наполненный смертоносной отравой.

Она, эта молодежь, не знает новой России, она живет Россией прошлого, Россией невещественной, апокрифической, умершей, окаменевающей Россией. Россия, чаемая и воображаемая, преломляется, однако, в сознании эмигрантской молодой литературы в единый источник, из которого — дрожащими ладонями психопата — она черпает свои творческие струи. Лите-

ратурно-эмигрантская молодежь, и особенно поэты, пишет, главным образом, о России. Но, не находя Россиии подлинной, не веря в нее, а с другой стороны, сознавая невозвратную гибель прошлого, литература эта заходит в тот тупик, за которым — или действительная переоценка ценностей, т.-е. творческое воскресение, или одинокий, если и длинный, то неизбежный путь к кладбищу. Отсюда ее пессимизм и отчаяние, святочные маски «лишних людей», древнероссийский, так не подходящий к европейскому фраку и бальным ботинкам, зипун юродивого. В этом отношении весьма показательны стихи двух поэтов эмиграции: Вл. Пиотровского и Ю. Росимова. Пиотровский—поэт. генеалогически произросший от тех же корней, что и замолкающий Клюев, но отличающийся от Клюева большей сгущенностью, большей (и при том самодовлеющей) церковностью, большим мистицизмом. Пишет он о российской глуши, о тихих часовнях и хрустальных озерах, о степных просторах и ковылях, о немоте медвежьего бора и Нестеровском подвижнике, ласкающем дикого, но тихого зверя.

Последняя (а по счету вторая) книга его стихов («Святогор-скит», изд-во «Манфред», Берлин 1923 г.) в свое время была бы отмечена как талантливая. Пиотровский находится на переломе: в серебряном окладе его стихотворной иконы немало драгоценных камней подлинно-здорового, земляного мировосприятия. В иных условиях и обстоятельствах Пиотровский, думается, мог бы выправиться и расцвести.

Ю. Росимов — поэт несколько иного склада. Внешне очень звучен, традиционен, внутренне опустошен:

Я стяну когда-нибудь уже
На горле узкий платок...

Росимов безнадежен. Поэта, несмотря на его условную талантливость, из него не выйдет. Яд обреченности уже парализовал его.

Кроме этих двух поэтов, необходимо отметить Кальму и Сирина.

Кальма, пожалуй, наиболее талантлива среди молодых эмигрантских поэтов.

Конечно, в ее стихах можно отыскать и ряд технических несовершенств и черт, придающих книге налет некоторой напудренности, но главное, — и тут уже не помогает талантливость,—на них лежит все та же роковая, как черная роза, печать обреченности. Кальма в большей мере, чем остальные эмигрантские поэты, пишет о России, к стихам о России беря эпиграфом древние слова пророка Исайи: «Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем». Но, плача об «опустошении», поэтесса бессознательно рвется к России:

Чисты сердцем, правдивы душой,
Возвратимся с клюкой и котомкою.

Кальма кончает свои, посвященные России, стихи словами безнадежности и скорби:

Стоит пора, что листопад осенний,
И время наше—время умираний.

А в общем, **мысленно** вернувшись в Россию, окончательно сознается в своей от нее отчужденности, ненужности и крепкой срощенности с миром ушедшего:

Нам не найти на родине родного,
Не напоят нас светлые криницы.

Кальма останется, вероятно, поэтессой, которой горячо аплодируют после обеда подвыпившие родственники, а тихие «кузены» носят шоколад, розы и серьги. Тем более, что за все это говорят и ее последние стихи:

Здесь все твое—и воздух, и цветы,
И скатерть белая, и длинная кушетка,
И на столе—тетради и листы,
И на обоях—памятника метка.
Здесь все твое,—и бледный свет лучей,
Притушенных лиловым абажуром,
И жаркий звук полуночных речей,
И платье легкое с тебе послушным шнуром...

Образец такого «семейного» поэта, которому, наоборот, цветы приносят поэтические «кузины», мы имеем в лице Владимира Сирина. Стихи Сирина очень приглажены. Вл. Сирина раньше охотно печатали бы «толстые» журналы, — он пишет так же, как писали и пищут в меру талантливые поэты, он воспевает в стихах все, что, по традиции, подлежит обязательному воспеванию: глаза и сердце, девичий профиль и косы, цветы и луну, солнце и звезды и т. д., и т. п.

Он не страдает и не восторгается. Он, — пусть и в узорном альбоме, — только протоколирует.

О лучезарных запою,
Лазурь на звуки разбивая.
Блистает лестница в раю,
Потоком с облака спадая.

Разумеется, что мамà и «кузины» восторгаются этими стихами, но ведь это не живой голос, это граммофон, передающий обывательски-сентиментальный (хотя бы и названный «Осенним сном»), традиционный вальс. Это — поэзия обывателя-буржуа. Владимир Сирин — ее эпигон.

Теперь обратимся к молодым эмигрантским беллетристам. Их очень немного: Иван Лукаш, Амфитеатров-Кадашев, Глеб Алексеев, Коноплин-Горный. Удельный вес их, особенно после смерти Федора Иванова, давшего талантливую вещь «Железный труд» (записки о своих скитаниях), и Александра Дроздова, ныне вернувшегося в Россию, очень скуден и невелик. В сущности, как о писателях, можно говорить лишь о Лукаше и Амфитеатрове-Кадашеве, ибо Коноплин-Горный бесталанен до классичности, а Глеб Алексеев только публицист; его книга «Мертвый бег»—только полухудожественный документ беженского военного лагеря под Берлином. Амфитеатров-Кадашев принадлежит к «крайне правой» части эмиграции, но в своих романах, очень длинных, очень добродетельных и, иногда, занимательных, описывает преимущественно

старину. Отличается трудолюбием: пишет очень много. Постепенно выписывается,—ну, скажем,—в Александра Рославлева или Михаила Первухина.

Лукашем написан целый ряд романов: «Государь», «Повесть о г-же Марии-Анне Коллот» (из времен екатерининской эпохи), «Белцвет»—из быта старой России,—«Дом усопших» и «Дьявол». Последние два романа, особенно «Дом усопших», скорее напоминают, однако. ряд политических, хотя и художественно-оправленных статей. Лукаш проповедует «антисоциализм», при чем проповеди эти теоретически скорее забавны и анекдотичны, чем серьезны: так пишут (или писали) при переходе из 3-го в 4-й класс провинциальной гимназии. «Дьявол», это своеобразная стилизация Лермонтовского «Демона», который, летая над «грешной землей», то опускается в Чека, где допрашивает обвиняемых, то разгуливает по ночной русской столице, то, взметаясь, летит к серым скалам Бретани. И, в заключение, влюбляется в «доброволицу», умирающую в Зимнем Дворце. «Высоко над головой поднимает он мертвое маленькое тело. Бога молит о жалости он, Дьявол».

Вот, кажется, и все, что есть в эмигрантской литературе, не считая, разумеется, лирических (в десятки печатных листов) приказов генерала Краснова, макулатуры, представленной романами Лаппо-Данилевской (кстати, перешедшей в католичество), Ильиной-Полторацкой, Татьяны Краснопольской и погромно-порнографических книжечек Аркадия Аверченко и Тэффи.

Эмиграция — подводное царство новой России — окаменевает. Засыпают, могильно перезванивая мечом былой «славы», опереточные «блюстители» и их оруженосцы, замолкают псалмопевцы и трубадуры прошлого.

Солнце мертвых погружается в вечные воды.

А новая Россия, СССР — щит будущего на груди умирающей Европы — безостановочно закаляется, приобретая великую выносливость и могучесть. Зеркало новой России—ее литература—приобретает свою новую, ей присущую красоту, свою глубину и четкость. Мы никогда не преувеличиваем: наша новая литература все еще находится в процессе ф о р м и р о в а н и я и р о с т а. Но она формируется мускулисто и крепко, растет быстро и легко.

У нас нет литературы в том смысле, в каком знала ее предреволюционная Россия. Наша современная литература не единородна и не однородна. Она—если хотите образ—состоит из трех, разно растущих, но тесно переплетающихся ветвей: лучших остатков срубленного революцией вишневого дерева, его отростков, зазеленевших вслед за первым таянием снегов былого («попутчики») и—буйного кустарника, вырастающего из почвы, засеянной бытовым жемчугом революции (литература пролетарская). Разнородность наших литературных группировок не мешает, однако, их единообразности и сращенности, ибо каждый из них, по мере сил и талантливости, творит во имя России новой, не апокрифической, а действенной. Отсюда та ненависть («гады»), с которой обрушилась на литературу Советской России в ц е л о м цитированная в начале наших заметок Зинаида Гиппиус (Антон Крайний). «Литературу выбросили в окно, окно захлопнули. Ничего. Откроются когда-нибудь двери в Россию, и литература вернется туда, бог даст, с большим, чем прежде, сознанием всемирности». Нет, мертвые не пробуждаются, из подвод-

ного царства выплывают только в сказках, а двери в Россию крепко охраняются стражем Нового Мира.

Статья Гиппиус наводит на многие мысли, касаться которых мы, однако, не будем.

Но об одной — нельзя не сказать. Это о попутчиках, — так глубоко, особенно глубоко ненавидимых эмиграцией и... — со стороны наших некоторых товарищей по общей работе — недооцениваемых и терпимых только по необходимости.

Попутчики, разумеется, не сдадут на пятерку экзамена по полит-экономии (и, даже, политграмоте), их идеологическая поступь не тверда и желательна, но все они **вне** революции и Советской России не мыслят творчества. А это—**основное**.

Пролеткульт и пролетарское искусство.

А. Лежнев.

(Окончание).

4. Ниспровержение поэзии Вик. Блюменфельдом.

Мы до сих пор имели дело с так сказать парадными заявлениями Пролеткульта. Но «Горн» можно уподобить обширному парку, в котором интересны не столько парадные лужайки, сколько укромные тенистые уголки: в них его характер проявляется наиболее полно. Одним из таких укромных уголков является статья т. Вик. Блюменфельда «К искусству слова. Общеизвестное в применении к стихотворной форме» [1].

Статья имеет скромный подзаголовок: «В порядке поисков». Но по тону статьи вовсе не видно, чтобы автор искал. Если он когда-нибудь это и делал, то уж очень давно. А теперь — нашел (основательно и прочно) и очень доволен тем, что̀ нашел, и тем, какой он, Вик. Блюменфельд, умный и как он красиво пишет. Грациозность его стиля, импрессионизм в употреблении знаков препинания, глубокомысленная ирония кавычек не имеют себе равных, а что касается тире и строчек разной длины, то тут он не уступит самому Андрею Белому и даже Пильняку. Но, главное, конечно, это — дерзание! Он дерзнул!!!

Несомненно, «дерзать» в наше время нетрудно (труднее, может быть, «не дерзать»). Надо только выбрать об'ект дерзания. Как тут быть? На станковую живопись уже «дерзнули» Арватов и Тарабукин, старый театр усердно разносит на клочки целая орава рецензентов, сделавшая себе из этого занятия специальность, музыка занята Авраамовым. Остается одна бедная поэзия, которой посвящено ни одно проникновенное исследование «формалистов», но которая еще не была до сих пор об'ектом фельетонного налета.

Естественно, что на нее именно и обрушивается непринужденное остроумие и резвость т. Блюменфельда (не была, так будет!). Арватов доказал первичную порочность станковой живописи, Блюменфельд (чем он хуже его!) доказывает порочность стихотворной формы как таковой. Несложные, но

---

[1]) „Горн“ № 9, стр. 89 — 106.

претенциозно изложенные теоретические построения его сводятся к следующему: поэзия стремится выразить невыразимое, т.-е. темное, алогическое, звериное начало в человеке. Стихотворная форма, с ее могучими средствами: ритмом, звуковой изобразительностью, особым музыкальным членением, является самой для этого подходящей формой. Она приближается к культу. Поэзия возникла из первоначального синкретизма, религиозность присуща стихотворной форме имманентно. Наиболее полное и специфическое выражение свое стихотворная форма получает в лирике. Вывод: стихотворная форма — продукт индивидуалистической, авторитарной религиозной культуры. Она отжила свое время. Она не пригодна для творчества нашей эпохи. Вопрос о ее упразднении уже «стоит молчаливо».

В интересах об'ективности следует отметить и то положительное, что имеется в статье Блюменфельда. Она является вполне законной реакцией на засилье стихов, на гипертрофию стихотворной формы, которой отмечены последние десятилетия русской литературы вплоть до наших дней и от которой мы только-только теперь начинаем понемногу излечиваться, освобождаться. Как протест, статья т. Блюменфельда вполне уместна. Но она не ограничивается тем, что ставит стихотворную форму на подобающее ей место, а переходит к построениям, которые нельзя назвать иначе, как суб'ективными и догматическими.

Я не стану разбирать подробно всей фельетонной, поверхностной аргументации Блюменфельда. Остановлюсь лишь на самых основных и характерных моментах.

В утверждениях Блюменфельда о стремлении поэзии выразить «невыразимое», в его оценке ритма и других средств стихотворной формы есть, конечно, зерно истины. Оно заключается в том общеизвестном положении, что поэзия воздействует преимущественно на эмоциональную сферу и служит (в лице лирики) средством для ее выявления, и что ее способы воздействия приноровлены для этих задач. Но отсюда вовсе не следует, что: 1) поэзия выражает только «невыразимое», т.-е. примитивные, атавистические чувства. Мы, во-первых, имеем и лирику мысли (Гете, Шиллер, Боратынский). Во-вторых, нельзя ставить знак равенства между чувством вообще — и «простым как мычание» «звериным». Область чувства не исчерпывается «простым как мычание». Лирика Гете отличается от лирики дикаря не только сложностью формы, но и сущностью эмоции. 2) что стихотворная форма является религиозно-мистической по существу. Блюменфельд пишет: «ритмический строй поэту... нужен для той же цели, что и первобытному участнику культа — словно равномерным биением сердца, смиренно или восторженно смирив греховную мысль свою, отозваться существом своим, — нет, не знанием,—на непонятные силы»... Но ведь это, товарищ, суб'ективнейший и притом реакционнейший взгляд на поэзию, достойный мистика, но не материалиста. Какова действительная роль и происхождение ритма — вы могли бы узнать хотя бы из статьи Мальнева, помещенной в «Горне» же [1].

---

[1]) „Музыка в свете экономич. материализма",—„Горн" № 8, стр. 132—141.

И как вы доказываете справедливость ваших утверждений о религиозно-атавистическом характере стихотворной формы: ссылками на Тютчева, на «представителя психологической поэтики» Мюллер-Фрейенфельса и Шпенглера. «Что говорить, человек великолепно понимал «сокровенные сущности стихотворения». Да ведь дело не в том, хорошо ли был знаком Шпенглер с поэзией, «понимал ли» он ее: понимать можно по-разному. Вопрос в том, как он ее понимал. Шпенглер знает хорошо и историю. Следует ли из этого, что мы историю должны об'яснять не по Марксу, а по Шпенглеру? Понятно, что противник материализма, идеалист, мистик и реакционер— Шпенглер об'яснит «сущность» поэзии как идеалист, мистик и реакционер, увидит в ней «неизмеримую область непостижимых тайн», «первобытное сокровище забытых значений» и т. д. Но можем ли мы, считающие себя материалистами и диалектиками, пользоваться этими идеалистическими, шаткими, пустыми формулировками, этой ненаучной мистической болтовней? Как это «Горн», столь строгий (по крайней мере, в декларациях) к идеологическим уклонениям, допустил на свои страницы столь явный анти-материалистический вздор?

Изыскания т. Блюменфельда сопровождаются обширными экскурсиями в область истории литературы. Предположим теперь на минуту, что нам неизвестны эти исторические экскурсии и попробуем a priori, на основании того, что мы знаем о его взглядах на поэзию, определить наперед, каковы они (экскурсии) должны быть. Поэзия, как выражение «невыразимого», поэзия— мистика, поэзия — культ, поэзия — тайна, «простое как мычание» — кто так говорил, чье это profession de foi? Да понятно, чье. Наших декадентов, символистов, футуристов первого призыва. Вот чьи слова повторяет Блюменфельд, вот чью идеологию отражает — запоздало — он. Но если так, то нам не трудно будет догадаться, какой характер примут его экскурсии. Высший расцвет стихотворной формы он увидит в той поэзии, которая старалась передать «невыразимое», неопределенное, тайну, мистику, — и в то же время «звериное», темное, примитивное, — в русском предреволюционном декадансе. Высоко поставит он и поэзию романтиков. И, наоборот, будет стараться развенчать эпохи, когда господствовала поэзия ясная, определенная, чуждая мистицизму.

Нечего и добавлять, конечно, что наши априорные рассуждения точка в точку совпадают с тем, что есть на деле. Про предреволюционный декаданс у Блюменфельда говорится: «Перед нами — вершины поэтического творчества и последовательнейшее, наиболее полное применение стихотворной формы» (подчеркнуто у Блюменфельда). А мы-то думали, вместе с Плехановым, что декаданс загнал поэзию в идейный тупик, что он как раз и мешал писателям, попавшим в его орбиту, подняться на вершины творчества. Как же это могло случиться, что поэзия нисходящего, обреченного класса могла дать более высокие образцы творчества, чем поэзия класса подымающегося? Ведь говорить так, — значит поставить на голову действительное положение вещей. Но если утверждение Блюменфельда совершенно неправильно само по

себе, то оно чрезвычайно характерно для автора, который, как и многие другие из «левого фронта»,—является запоздалой отрыжкой декаданса и хотя ушел сейчас от него (не модно!), но продолжает чувствовать и думать по-старому. Для него, для них и сейчас поэзия религиозна в своей сущности, и Белый и Бальмонт — величайшие гении. Но только там, где они прежде говорили «да», они сейчас говорят «нет». Прежде: Бог есть? Да. Поэзия религиозна по существу—и это хорошо. Теперь: Бог есть? Нет. Поэзия религиозна по существу — и это плохо. Мышление осталось прежнее, но только там, где прежде был знак +, теперь знак —.

Все остальные экскурсии т. Блюменфельда отличаются той же степенью достоверности и той же ловкостью диалектического подхода. Конечно, и немецкий романтизм достигает у него вершин поэтического творчества и впервые дает образец подлинной стихотворной, т.-е. лирической, формы. Вместе с тем романтизм оказывается и «наиболее точным проявлением христианской культуры». Я, признаться, не понимаю, как может исследователь-марксист оперировать с таким понятием, как «христианская культура». Что такое «христианская культура»? Мы определяем культурные периоды не по религиозному признаку, а по признаку хозяйственной, экономической организации общества; мы знаем культуру того или иного класса, но мы не знаем вероисповедных культур. Притом, о каком христианстве идет речь: о первоначальном, о средневековом, о философском христианстве Канта или Шиллера? И почему бдительные марксистские консулы из Пролеткульта не вспомнили— если не о редакционной корзине, то хотя бы о редакторских ножницах?

У греков, оказывается, настоящей лирики не было. Блюменфельд так и пишет, что у греков отсутствовала «та лирика, как мы понимаем ее теперь, т.-е. настоящая лирика». Кто это «мы»? Т. Блюменфельд и декаденты? Такой, конечно, не было. И слава богу, что не было. И если говорить об этой лирике, то, конечно, она «имманентно религиозна», конечно, она осуждена историей, конечно, пролетариату она ненужна и вредна. Но не обобщайте, не переносите свойств вашей, декадентской поэзии на поэзию вообще, на стихотворную форму, как таковую. Она еще может оказаться пролетариату даже очень и очень полезной. И затем, что это за марксистский подход к вопросу: у нас настоящая лирика, у греков ненастоящая? Каждая форма — относительна, и лирика греков в такой же мере настоящая, как и декадентская лирика. И с точки зрения пролетариата, лирика греков, может быть, окажется более «настоящей», чем декадентская.

Как мало ни склонна теоретическая совесть Блюменфельда к сомнениям, но в одном пункте и он чувствует некоторую неловкость. Если стихотворная форма имманентно религиозна, то почему «настоящая» лирика, в которой эта форма нашла себе адэкватное выражение, зародилась не в ту эпоху, когда религия безраздельно господствовала, а на закате средневековья, на заре Ренессанса? [1]) Но Блюменфельд недолго пребывает в раздумьи. На

[1]) Я излагаю здесь лишь взгляд самого Блюменфельда. Лично я считаю вопрос о «настоящей» лирике праздным.

сцену появляется нечто вроде предопределения, предустановленной гармонии. Оказывается, «дело в том, что имманентная религиозность стихотворной формы проявляется именно как атавизм; с другой стороны—как суррогат. Настоящая лирика возникает, когда человек уходит от действенного участия в жизни, созерцательно обособляясь от нее, когда религия — уже позади века и его бытовых форм». Но почему «настоящая» лирика начинает с роковой необходимостью развиваться именно тогда, когда религиозность исчезает, мы так и не узнаем. Это остается покрытым «мраком неизвестности». Не иначе,— как соизволение господне. И не божественным ли предопределением об'ясняется и другое, сильно нас интригующее обстоятельство: то, что в «Горне», этом — на словах и в декларациях — органе чистейшей, непримиримейшей марксистской мысли, могут появляться такие статьи, как мистико-идеалистически-болтологические «опыты» Блюменфельда?

5. Театральный уголок. Подлинный Островский. Ф. Энгельс и Э. Бескин.

Продолжим наши прогулки по горновскому парку и навестим сейчас тот своеобразный уголок, который занимает племя театральных рецензентов (виноват, «театроведов»). Боевое племя. Что уж там Плеханов! Сам Маркс, Ленин, Троцкий недостаточно левы для них, — и в каждом рецензентском теле обитает неукротимая революционная душа — по крайней мере, Бакунина или Бланки.

Занимается эта душа главным образом тем, что разносит старый, т.-е. реалистический, театр. Нигде мы не встретим такого обилия нападок на реализм, как именно в рецензентском мире.—и не скрою. это единственная причина, заставляющая меня обратиться к разбору писаний Ракеты и Э. Бескина [1]).

Нападки эти ведутся в двух направлениях. С одной стороны, критикуется господствовавший в литературе и театре реализм (в его различных формах) и самый принцип реалистического искусства. С другой стороны, заявляется, что, в сущности, реализм — понятие очень растяжимое и что и «левый» театр, «левое» искусство может быть тоже названо реалистическим. «Разве «беспредметная» живопись или «беспредметная» конструкция на театре наших дней не реализм?—спрашивает Бескин.—Реализм. Разве «футуризм» Маринетти, отражавший индустриально- промышленный темп предвоенной Европы, не был реализмом своей эпохи? Был».

Но если так ставить вопрос, то понятие: реалистическое искусство — теряет всякую определенность. Почему Бескин считает «беспредметную» живопись реализмом? Потому, что в ее линиях и плоскостях можно при тщательном анализе узнать разрозненные элементы действительности. Потому, что на р е а л ь н ы й холст наложены р е а л ь н ы е краски. Но тогда ничего

---

[1]) Статья первого — „Опыт театральной работы", второго — „На театральных фронтах", обе в № 8 „Горна".

нереалистического не существует вообще. Ведь ясно, что и элементы самого фантастического произведения взяты в конце концов тоже из действительности, что и бред сумасшедшего есть порождение реального мозга под влиянием реальных причин и что самый возвышенный мистический трактат отпечатан на несомненнейшей плотной бумаге. Реализм превращается в пустое, бессодержательное понятие и обозначает только, что человек со всеми своими особенностями и поступками принадлежит миру действительности. Истина чрезвычайно почтенная и неоспоримая, но тощая.

Нет, тов. Бескин, ваши софизмы бесплодны, как мул, но, в отличие от мула, на них никуда не уедешь. Реализм в искусстве имеет только тогда смысл, когда он обозначает воспроизведение действительности и когда он противопоставляется формальному, фантастическому и отвлеченному искусству. «Левое» искусство имеет меньше всего оснований претендовать на звание реалистического, так как оно отрицает принцип «изобразительства»; а само собой очевидно, что, не изображая, нельзя воспроизвести действительности.

Я ни на минуту не думаю, что та форма, которую реализм [1]) получил в руках буржуазии, является окончательной и должна быть без дальнейшего воспринята пролетариатом. Буржуазный реализм уперся в тупик, он не был диалектичен, он погиб от своей ограниченности. Знамя художественного реализма, как и знамя науки, переходит в руки пролетариата. Он должен довершить то, что не смогла сделать буржуазия. Он должен создать диалектический реализм, искусство, которое сумеет воспроизводить жизнь в ее непрерывном развитии, в становлении, которое в действительности сегодняшнего дня сумеет показать ростки завтрашнего, зерна грядущего, которое сможет передать жизнь в непрерывном обновлении ее форм. Не может быть, чтобы пролетариат, класс реалистический по преимуществу, не создал реалистического искусства.

Другой пункт, на который рецензентами ведется рьяная атака, это—«психологизм». Но в то время, как по отношению к реализму применяется расширительное толкование, превращающее это понятие в пустое, бессодержательное общее место, «психологизм» толкуется необычайно ограничительно. При чем и тут неистовствующие рецензенты не делают попытки ясно определить, что они понимают под этим термином. «Какая там психология в городничем—никакой», пишет Э. Бескин.—В основе театр Гоголя еще от театра Мольера, от театра положений и интриги, от трюка, но не от психологии, как мы ее понимаем, не от психологии «великого реалистического театра». Я очень рад слышать, что Бескин понимает, что такое «психологизм», но очень жаль, что он не поделился этим своим пониманием с читателем. Я, например, так и не понял, что понимает Бескин под термином «психология, психологизм». «Какая в городничем психология—никакой». В городничем ровно столько психологии, сколько нужно для того, чтобы обрисовать

[1]) *В искусстве.*

человека с теми особенностями, которые присущи городничему, т.-е. себе на уме, грубого, с рядом навыков среды и службы и т. д. Бескин понимает, очевидно, психологию в смысле копания в душе, углубленного самоанализа, с некоторым налетом неврастении и психопатологии, т.-е. так, как понимает это средний обыватель—по Достоевскому и Чехову. Но это совершенно произвольное толкование. Гоголь нисколько не менее «психологичен», чем Чехов— и надо ли мне напоминать Бескину ту элементарную истину, что герои Гоголя потому не ведут «психологических» диалогов на сцене, что они и в жизни этого не делают, а герои Чехова ноют и на сцене так же, как они ныли в жизни? «Психология великого реалистического театра». Какая ирония! А я, представьте себе, тов. Бескин, и сейчас продолжаю думать, что «великий реалистический театр»—это и есть: Гоголь, Мольер, Шекспир, и что все они психологичны.

Проблема психологизма имеет и другую сторону: восприятие зрелища зрителем. Ясно, что пьесу с «переживаниями» зритель переживает. Но ведь это—проклятый эстетический перерыв, иллюзионизм и т. д. Мысль продолжается логически дальше: уничтожим «переживания», зрителю нечего будет больше переживать, он будет просто смотреть. Теоретически отсюда переход к эксцентрическому театру, циркизму и т. д. (практически, конечно, дело обстояло наоборот: раньше возник эксцентризм, трюкизм и проч., а потом уже стали подыскивать теоретические оправдания этим тенденциям). В театре эксцентрическом, цирковом, зритель только активно впечатляется, на его психику наносится ряд отрывистых ударов («прямое раздражение нервных и сосудодвигательных центров» — прибавляли некоторые из рьяных, охотники до научности, думая, что сказанное ими имеет какой-нибудь смысл). Аттракцион, по мнению Ракеты, должен ощущаться лишь как «материальный повод для того или другого психологического эффекта» (а не как событие, в котором и зритель в порядке переживания принимает участие). Но что такое «материальный повод для психологического эффекта»? Когда я слушаю актера старой школы, завывающего патетический монолог, вижу мимику его лица и его жесты — разве это не является некоторой материальной причиной («повод»), производящей в моей психике тот или иной эффект? Разве я, зритель, могу освободиться от переживания даже тогда, когда смотрю не психологическую драму, а цирк с аттракционом? Разве цирковые трюки (полеты по воздуху, хождение по канату, шест и т. д.) не переживаются также — в той или иной степени? Разве их не ходят смотреть сплошь и рядом те, которых мы называем «любители сильных ощущений»? Человек, вообще, не может, глядя на зрелище, не «переживать». Если б он ничего не переживал, то зрелище было бы ему неинтересно. Вопрос не в наличности переживаний (они всегда на-лицо), а в их характере.

Вся эта путаница с психологизмом имеет целью оправдать (теоретически) эксцентрический, трюковый театр, придать ему видимость чего-то пролетарского. Между тем он (эксцентрический театр) — чистейшего буржуазного происхождения («американизм») и может, подобно и другим модным направлениям, только потому играть у нас видную роль, что наше искусство

не имеет под собой прочной социальной базы. Его питательная среда — главным образом, интеллигенция (особенно столичная).

На этом мы можем покончить наш обзор «театрального уголка». В заключение приведу несколько образчиков того научного остроумия и теоретической основательности, которые можно найти только у наших театроведов.

№ 1.

Речь идет о постановке «На всякого мудреца» в театре Пролеткульта: «По мнению постановщика, Островский в развертывании действия и интриги своих пьес исходит из эксцентрических посылок и принцип аттракциона у него явно чувствуется в целом ряде мест». Постановщик «очистил от наслоений эксцентрический скелет комедии» [1]).

Комментариев почти не требуется. Мы-то думали, что «Мудрец» с его «рыжим», «вридмамашей», с его жестами и хождениями по канату, был пародией на Островского. Оказывается, Островский сам пародировал себя, и теперь Пролеткульт показал его впервые в подлинном виде, — на удивление современникам и в назидание потомству. Ловко!

№ 2.

«У Гоголя нет быта, у него тот же водевиль, анекдот, гротеск, карикатура» [2]).

Конечно, бумага вытерпит все. С таким же правом можно написать, что Гоголя вообще не было и что «Мертвые души» написаны по-немецки и гекзаметром. Но и... «отрицать» надо умеючи. Разве анекдот и карикатура противоположны быту, разве это не одна из форм его использования, обработки его?

№ 3.

«Свобода в классовом обществе есть только осознанная необходимость» [3]).

А в бесклассовом? В бесклассовом обществе те или другие действия, значит, не подчинены необходимости, не обусловлены, выпадают из причинного ряда? Значит, в нашем нынешнем, несовершенном обществе правильны положения материалистической философии, а в социалистическом — какой-нибудь самой плохонькой из идеалистических, признающей свободу воли? Когда Энгельс говорит о прыжке из царства необходимости в царство свободы, он подразумевает только то, что в буржуазном обществе царствует неосознанная необходимость (нерегулированное сознательно производство, человек как раб экономических отношений), а в социалистическом — необходимость осознается (сознательное регулирование хозяйства, власть человека над экономическими силами и отношениями). Прежде, чем ссылаться на Энгельса, тов. Бескин, надо его понять.

Тов. Бескину никто не может запретить садиться в калошу. Это, перефразируя известное изречение, его неот'емлемое право (хотя этим правом

[1]) Ракета. „Опыт театральной работы",—„Горн", стр. 58.

[2]) Э. Бескин. „На театр. фронтах",—там же, стр. 172.

[3]) Там же, стр. 170.

и не следует злоупотреблять), и мы, со стороны, по человечеству, готовы даже посочувствовать, что так неудачно окончилась его попытка стать всамделишным марксистским критиком. Но зачем надо было всю эту легковесную теоретическую болтовню, всю эту самодовольную путаницу помещать в органе Пролеткульта? Какое это имеет отношение к пролетарской культуре?

6. Несколько слов о новой марксистской методологии искусства.

Как мы видели выше, тов. Вик. Блюменфельд хотя и обозвал плехановские «формулы» искусства закостеневшими, должен был все же признать, что они и «посейчас не потеряли своей верной общности». Это—на 154 странице 9-го номера «Горна». А на 167 странице того же номера эти самые, верные в своей общности, взгляды квалифицируются уже как «примитивный психологизм», «псевдо-марксистский идеологизм» и т. д. При чем все это делается с той недоговоренностью, которая появляется у теоретиков «левого искусства» всегда, когда им приходится затронуть плехановские «формулы». Делается вид, как будто эти знаменитые формулы составляют исключительную принадлежность Фриче или какого-нибудь другого противника, с которым легче бороться, чем с «самим». А о «самом», о Плеханове—ни слова.

Между тем, нет никакого сомнения, что через голову Фриче метят именно в Плеханова. В самом деле. «В ряде убедительных рассуждений,—пишет т. Арватов,—Циммер показывает, что об'яснять стиль общественным мировоззрением так же нелепо, как формулу электро-мотора индивидуалистической психологией капиталиста [1]). В отличие от Гамана-Фриче тов. Циммер строго ограничивает вопрос о стиле, как вопрос самостоятельно-эстетический, требующий самостоятельного же социологического об'яснения. Для тов. Циммера понять социальную природу художественных форм—значит не искать их внешне-произвольного сходства с прочими видами культуры, а непосредственно вывести их из техники и экономики общества». На примерах романской, готической и ренессанской архитектуры автор демонстрирует, как материально-художественная форма определяется социально-экономическими задачами и уровнем техники. «История показала нам, — пишет т. Циммер, — «только один пример» прямой зависимости между общественной психологией и формой стиля. Он состоит в том, что общественное мнение может вмешаться в борьбу уже существующих форм искусства и стать на сторону одной из них» [2]). И для того, чтобы не осталось сомнений на счет его собственных взглядов по этому вопросу, Арватов прибавляет: «Методология, защищаемая тов. Циммером, целиком совпадает с идеями, высказанными и в значительной степени обоснованными теоретиками так наз. производственного искусства».

---

[1]) Подчеркнуто всюду мной. А. Л.

[2]) „Горн“ № 9, стр. 167.

Всякий, кто хоть немного знаком со взглядами Плеханова на искусство, знает, что гениальный русский марксист считал искусство одним из видов идеологии, признавал его функцией общественной психологии и отрицал возможность выведения форм искусства непосредственно из экономики [1]. Плеханов так часто повторял эти свои основные положения, так много и упорно боролся против вульгаризации марксизма поверхностными теоретиками, старающимися об'яснить явления искусства непосредственно экономическим «фактором», уродующими в жертву такому упрощенному воззрению факты и дискредитирующими тем самым учение, именем которого они прикрываются, что было бы не трудно заполнить соответствующими цитатами добрый десяток—а то и другой—страниц. Я приведу одну—быть может, и не из самых ярких, но оказавшуюся под рукой: «В литературе, искусстве, философии и т. д. выражается общественная психология [2]), а характер общественной психологии определяется свойствами их взаимных отношений, в которых находятся люди, составляющие данное общество. Эти отношения зависят в последнем счете от степени развития производительных сил. Каждый значительный шаг в развитии этих сил ведет за собой изменение в общественных отношениях людей, а, вследствие этого, и в общественной психологии. Перемены, совершившиеся в общественной психологии, непременно отразятся также, с большей или меньшей яркостью, и на литературе, и на искусстве, и на философии и т. д. Но изменение общественных отношений приводит в движение самые различные «факторы», и какой из факторов сильнее других повлияет в данный момент на литературу, на искусство и т. д. — это зависит от множества второстепенных и третьестепенных причин, вовсе не имеющих прямого отношения к общественной экономике. Непосредственное влияние экономики на искусство и другие идеологии, вообще, замечается крайно редко» [3]).

В ряду огромных заслуг Плеханова-теоретика установление правильной зависимости, соотношения между «базисом» и различными этажами «надстроек», между идеологией и экономикой, является одной из важнейших и неоспоримых. Нет никакого сомнения, что в этом вопросе он является вернейшим последователем Маркса и Энгельса и лишь развивает и дополняет мысли, высказанные ими. Недаром, ведь, формулировка Плеханова о соотношении базиса и идеологических надстроек (в их числе и искусства) считалась и считается классической. Мы имеем, таким образом, в утверждениях Арватова и его коллег по «Лефу» попытку своеобразной ревизии марксизма—в ограниченной области,—но, не в пример другим, почти бездоказательной—по крайней мере, поскольку дело касается теоретиков «левого фронта», и вместе с тем возвращение к примитивной «шулятиковщине», давно—и, казалось, навсегда—убитой Плехановым.

---

[1]) Невозможность — в огромном большинстве случаев.

[2]) Подчеркнуто всюду мной. *А. Л.*

[3]) Плеханов, В. Г. Белинский, Сборн. статей, Госиздат, стр. 203.

Не входя в детальный разбор приведенных выше утверждений Циммера-Арватова, заметим, что неубедителен сам способ доказательства (Циммера). Нельзя выводы, добытые анализом форм архитектуры, т.-е. того искусства, которое находится как раз в наибольшей зависимости от техники, распространять—без дальнейшего—на другие виды искусства (даже если бы этот анализ и эти выводы были правильны). Если мы можем и действительно наблюдать непосредственное влияние техники на архитектурный стиль, то разве из этого следует, что такое же влияние [1]) наблюдается и по отношению к литературе или живописи?. «Об'яснять стиль общественным мировоззрением [2]) так же нелепо, как форму электро-мотора — индивидуалистической психологией капиталиста». Comparaison n'est pas raison,— говорят французы: сравнение—не доказательство. И это потому, что сравнения надо уметь делать. Не всякая аналогия есть аналогия по существу. Конечно, нелепо об'яснять психологией капиталиста форму электро-мотора или другого какого-нибудь двигателя, дизеля, например. Но форму—устройство, обстановку, убранство—помещений, зал, кают роскошного океанского парохода, приводимого в движение дизелем, очень даже можно.

Итак, идеи Плеханова являются «нелепостью», «псевдо-марксистским идеологизмом». Арватов в роли защитника марксистской ортодоксии против покушений Бельтова! Товарищи, есть ли у вас еще чувство комического,—и нельзя ли—легче на поворотах?

Но какого мнения насчет новой «марксистской» методологии Пролеткульт? Согласен ли с такой квалификацией Плеханов? А если не согласен, то почему не оговорил своего несогласия?

7. Наука.

Вопросы искусства—еще сравнительно безопасная область для всяких кавалерийских рейдов и наскоков. Исследование этих вопросов еще не достигло степени точной науки, и в случае чего здесь можно попытаться отделаться словами. Но область точных наук уже далеко не так безопасна. Тут—или подавай доказательства и факты, или молчи. Но пролеткультовцы подходят и к этим вопросам с обычной свойственной им легковесностью аргументации и невообразимым высокомерием.

Уже давно виднейшими теоретиками марксизма—от Плеханова до Ленина—проводится резкая грань между науками общественными, превратившимися в «прямую служанку буржуазии», и науками естественными и математическими. «Что касается естествознания, — справедливо замечает т. Яковлев, — то в основном остается верной мысль т. Ленина, что буржуазные

---

[1]) Техники.

[2]) Это, конечно, не точно. Искусство об'ясняется не общественным мировоззрением а общественной психологией, что не одно и то же.

естествоиспытатели являлись материалистами независимо от своего сознания». Из этих положений т. Яковлев делает логический вывод: «Мы проповедуем усвоение буржуазных наук, усвоение точных знаний, резкое разделение между точными и общественными науками в таких условиях, когда у власти стоит рабочий класс, когда высшие школы наполняются рабоче-крестьянской молодежью, в условиях, в которых лозунг усвоения буржуазных наук превращается в лозунг массового создания пролетарской культуры». Против этих положений ополчается Пролеткульт. Для него не существует разницы между общественными и точными науками. Все они — с его точки зрения — одинаково и по одинаковому буржуазны. «Классовой характер буржуазной науки,—говорится в тезисах Ц. К. Пролеткульта,—...выражается не только и не столько в непосредственном ее служении интересам господствующих классов и в зависимости от этих интересов, сколько в методе [1]), точке зрения (способ представления) и целевой установке отдельных наук, с одной стороны, и дробности, узко-цеховой специализации, с другой». Конечно, нет никакого сомнения, что и в точных науках сказывается их буржуазный характер. Но совершенно неверно, что он высказывается и в их методе. Если бы методы точных наук могли быть буржуазными, феодальными, пролетарскими и т. д., то это значило бы, что мы бы не имели никакого об'ективного метода научного исследования, а следовательно, и никакие данные, никакие результаты науки не имели бы об'ективного значения,—иначе говоря, не было бы вообще точных наук. Между тем, практика, — эта, по мысли Маркса, лучшая проверка верности нашего мышления и познания,—говорит нам обратное и властно утверждает, что наше познание природы, наше мышление является действительно постигающим. «Само собой разумеется, — пишет т. Сизов,—что факты и частные законы, открытые Рутерфордом, Содди и другими, как научно доказанные, должны войти составными элементами в эту систему (материалистического миропонимания)» [2]). Спасибо, т. Сизов, за уступчивость, но что дает вам, отрицающему об'ективность научных методов, а стало быть, и существование об'ективного мерила «научности», право говорить о научно-доказанных фактах и законах? Ведь с вашей точки зрения не может быть вообще научно-доказанных законов, а могут быть лишь законы, доказанные научно с точки зрения буржуазии или пролетариата. Напрасно только вы ссылаетесь при этом на Маркса: ваша премудрость восходит не к Марксу, а к Богданову.

Самые условия существования буржуазии, потребности производства, развития производительных сил, техники вызывает необходимость для нее наличия действительно постигающей науки, правильно познающей природу, верно ею овладевающей, науки, не превратившейся в фикцию. Роскошь, которую она может себе позволить в науках общественных (мистика, догматизм, идеализм и т. д.), немыслима для нее в отношении точных наук. Здесь буржуазный характер сказывается не в методе, а преимущественно [3]) в выс-

[1]) Подчеркнуто мною. *А. Л.*

[2]) „Горн" № 8, стр. 93

[3]) Конечно, не исключительно.

ших этажах обобщений результатов, добытых точным научным методом, в том, что можно назвать философией науки. Т. Покровский говорит, что, независимо от пролетарской или буржуазной точки зрения, любой ученый, рассматривая под микроскопом один и тот же предмет, будет видеть одно и то же. Т. Зандер в ответ негодует: «Несомненно, что т. Покровский утверждает заведомо неверное положение. В истории естествознания найдутся тысячи примеров, когда различные ученые под микроскопом видели не одно и то же... Вопросы, например, о строении протоплазмы, о той или другой функции ядра в размножении клеток... с очевидностью доказывают, что различные ученые, в зависимости от «целевой установки» своего глаза, в одном и том же препарате видят не одно и то же»[1]). Расхождение различных ученых по вопросам, например, строения протоплазмы об'ясняется не только разницей в «целевых установках», сколько различными способами фиксации, окраски и т. д. и различной оценкой изменений, вызываемых этими процессами в уже мертвой клетке (сравн., например, теорию ячеистого строения протоплазмы). В одно и том же препарате двое добросовестных ученых увидят, конечно, одно и то же. Они только могут разно истолковать и об'яснить виденное. Ошибки, неверные наблюдения, конечно, бывают,—и не у одного ученого. Но наблюдение, факт, научный закон лишь тогда считаются незыблемо установленными, когда они подтверждены целой суммой других наблюдений, опытов и т. д. Единичное, не подтвержденное наблюдение не имеет никакого значения.

Т. Сизов очень недоволен словами Ленина о том, что буржуазные ученые естествоиспытатели являлись материалистами независимо от своего сознания. «Доказательство подобного рода не выдерживает критики. Ведь совершенно ясно, что и Рутерфорд, и Содди, и другие столь же крупные ученые, имеющие об'ектом своего исследования атом, т.-е. хотя и бесконечно малый, но все же элемент материи, будь они хоть трижды идеалистами, принуждены оперировать понятиями, относящимися к предмету их изучения, т.-е. материи». Вот именно, т. Сизов. В этом-то вся и суть. Вот потому-то науки естественные и резко отличаются от общественных. В том-то и сила их, что ученые, отдавшиеся изучению материи, не могут не быть в сфере своей науки материалистами, хотя бы вообще-то они были трижды идеалистами. Вы только подтверждаете слова Ленина.

Все это пренебрежительное высокомерие по отношению к буржуазной науке—недостойно пролетариата, вредно, реакционно. Очередная задача пролетариата: овладеть буржуазной наукой, усвоить ее. А пренебрежительное высокомерие может повести только к верхоглядству, диллетантизму, самодовольству, уменьшит тяготение молодежи к науке. Напрасно т. т. из Пролеткульта противопоставляют заявлениям Яковлева слова Ленина (вернее, не слова, а собственный талмудический комментарий). Статьи Яковлева, направленные против пролеткультовского сектантства, просмотрены Лениным. Я не стану дольше останавливаться на рассуждениях т.т. Сизова и Зан-

---

[1]) „Горн" № 8, стр. 69.

дера, иногда впадающих прямо в анекдот (утверждения о математике и т. д.). Это и бесплодно, и утомительно. Нельзя разделываться с такой огромной и важной областью, как точные науки, схоластическими комментариями к отдельным, выхваченным из Маркса, положениям. Если у вас есть факты, подтверждающие буржуазное перерождение научных методов,—приведите их, докажите ваши положения, проделайте трудную работу по пересмотру. Но не стреляйте вхолостую, не отделывайтесь общими фразами.

8. Опыты „Горна".

В «Горне» есть и свой литературно-художественный отдел. После громогласных заявлений и теоретической похвальбы редакции и идейных руководителей журнала можно было бы ожидать, что мы будем здесь иметь материал, выдержанный, по крайней мере, с точки зрения тех принципов, которые проповедуются «Горном»; что его художественная ценность будет соответствовать теоретической требовательности Пролеткульта. Правда, отдел скромно озаглавлен «Опыты Горна». Но ведь и опыты могут быть показательны — по крайней мере, для направления, для хода развития. Что же мы здесь имеем? Ничего оригинального, свежего—не говорю уже нового,—ничего ценного даже с точки зрения старого искусства. Еще стихотворный отдел, с третьесортными поэмами Багаева и Ярцева, спасают до некоторой степени кое-какие стихи, но беллетристика вся сплошь бледна, слаба, неинтересна. «Детское» Моисеевой, ряд миниатюр, приторных до-нельзя, с тем специфическим налетом сюсюкающей детской литературы, в том тоне, который нам так опротивел еще у Галиных и Чарских и который вдвойне непереносим, когда в нем рассказываешь о большевиках, о революции, о голоде («Не будет у Ольги молочка»... «Поднимает она глазки вверх, сжимает кулачки и грозно шепчет»...). «Зоревой день» Молодцова-Вечернего, «Донька» Дмитриева, «Медовые залежи» Макарова—обычные бытовые рассказики-картинки, шаблонно написанные, поверхностные, незначительные,—нечто вроде длинных газетных корреспонденций—«Из провинции». Словом, самое заурядное, избитое посредственное «старое» искусство, искусство третьего сорта. И это после всех громких фраз о вреде «изобразительства», бытовизма, об «эстетическом перерыве», о непригодности форм, созданных буржуазным искусством. Громкая теория и жалкое фиаско практики!

Выводы. Пролеткульт захотел строить пролетарское искусство [1]) лабораторным путем, в реторте. Но гомункулы всегда нежизнеспособны. Вагнеру, по крайней мере, удалось создать реального, плотского гомункула. Гомункул же Пролеткульта пребывает бледной теоретической тенью, не получая воплощения в практике. Неудивительно: пролетарское искусство нельзя строить кабинетно, сектантски, на основании заранее догматически принятых

[1]) Как и культуру вообще (науку, напр.).

предпосылок. Пролетарское искусство будет построено самим пролетариатом, когда тот достигнет известного культурного уровня. Во всяком случае, меньше всего имеет прав на звание пролетарского то искусство, которое создается интеллигентскими группировками, известными под названием «левого фронта», в идеологический плен к которым попал Пролеткульт. Я хотел в своей статье показать, как шатки, суб'ективны, идеалистичны теоретические принципы этих группировок (а с ними и «Горна»), как далеки они от реальных потребностей пролетариата. Следует строго различать Пролеткульт и пролетарскую культуру. Это далеко не одно и то же.

Литература в провинции.

Вяч. Шишков.

Современный Смоленск—типичный губернский город нашей Республики, и все, что будет сказано о его интеллектуальной жизни, может считаться, по моему мнению, типичным и для многих наших провинциальных центров.

Позвольте начать с цитаты только что полученного мною из Смоленска письма:

«Здесь, в Смоленске, как и везде, люди. Несомненно крепкие, упрямые, часто тупые, но всегда,—и с портфелем, и с карандашом, и с ордером жилотдела—упрямые, упрямые и упрямые. В хлюпкий и замызганный город влезла валенками и сапогами деревня. Наследила в читальнях, клубе, рабфаке. Она крепка и тверда. Сопит, но преодолевает. Спит в общежитиях на жестких солдатских топчанах. Варит картошку. Курит крепкую махорку, слюнявя крепко вычитанную «Правду». На собраниях постановляет—«новый быт!». Это значит (половой вопрос—угар современных мыслей, но не арцыбашевского толку),—«чтобы, значит, девушки и парни в одной комнате. Буржуазные предрассудки—ни в коем случае. А ввиду несогласия некоторой части, для испытания жизненности—поселить главного инициатора с девушкой»...

Через неделю та заявляет—«невозможно».

Невозможно, потому что, потому... одним словом, товарищ N не вполне освободился от «буржуазных навыков» по отношению к женщине. На собраниях говорят жарко, волнуясь и заикаясь. Начиная с Фурье и кончая диалектикой—насквозь потея под овчинами или под шинелью, прожженной братом на 8 фронтах.

«Отсюда — те прекрасные огоньки, которые теплятся по всей России. Отсюда засаленные и затрепанные «Красные Нови». Отсюда те, что упрямо стучат кулаками в двери нашей «Арены». Они не одни. Тут есть и рабочий. Но здесь, в Смоленске, он пока еще не бросается в глаза. Прёт черноземная сила, и от нее и на диспутах, и в театрах, и на лекциях — пар тяжелый, потный. Старая, спавшая, упрямая земля проснулась, тронулась, валит валом. Смоленская литература от земли».

До революции никакой литературной жизни в городе не было. Но вот пять-шесть лет тому назад в гущу полуспящей мысли русского народа затесался каким-то чудом, как в квашню дрожжи, творческий эмбрион, — опара

запыхтела и полезла из квашни на волю. Молодежь стихийно потянулась к творчеству, жадно выискивая возможность проявить себя, на что-то опереться, в ком-то найти поддержку, молодежь тосковала о том, как бы соединить свои разрозненные силы воедино, присесть на чудодейный островок, хлебнуть живой воды знания, оглядеться и расправить крылья для полета.

И вот, видимость такого островка нашлась—образовался Пролеткульт при поддержке нищей средствами казны и с определенной идеологией.

Но Пролеткульт распался за прекращением субсидий и за начавшимися разногласиями в его среде. Большинство увязло в тенденции очередных задач дня, продолжая витийствовать исключительно в агитационном духе. Началось размежеванье, началась ссора. Кое-кто из бывших пролеткультовцев стояли у прессы. Они, из личных интересов или недостаточно взвесив суть вещей, всячески поносили инакомыслящих. И не даром, когда открылась «Арена», была начата ее форменная травля.

«Арену» основали и отстроили собственными руками, продав последние сапоги и брюки, два поэта, Николай Лухманов и Борис Бурштын. Кажется, им помогал и ныне умерший даровитый крестьянский поэт-коммунист, Сергей Страдный. Целую зиму и весну работали топором, таскали кирпичи — пахло весной и березами — они шли на работу и, возвращаясь, говорили: «Арена» будет построена».

В день открытия «Арены» лил дождь. Но тем не менее открытие носило торжественный характер. На сцене несколько человек поэтов, а публики — только один человек. Теперь же, после двух лет, этот самый зал не может вместить желающих, места берутся с бою, и у входа, возле закрытых дверей, толпится народ, ожидая перерыва.

«Арена» об'единила почти все местные литературные силы, прочие же литературные кружки постепенно захирели.

«Арена» прекрасно учла, что для жизненности дела нужно создать в ней возможность работы для всех, занимающихся литературой. Основной лозунг «Арены»: вместо того, чтоб писать декларации, надо писать произведения, в искусстве завоевывает положение тот, кто создает ценности.

Несмотря на это, а может быть, благодаря этому, «Арену» с первых же дней существования стали ругать словесно и печатно. Некоторыми представителями местной власти и прессы совершенно не разделялась платформа об'единявшейся на почве искусства молодежи.

Сразу же требование: «Подай на стол гениальное произведение!» «Арена» возражала, что она молода, она учится, она только начинает овладевать средствами для передачи своего художественного и идеологического «я». Абсурд! Полный счет: извольте немедленно представить «об это место» пролетарское искусство по всем правилам «марксизма» (этим термином в провинции мало стесняются: прочел Азбуку Коммунизма — марксист).

Второе требование—понятность массам. Чуть что помудреней, позаковыристей—ага!—сие массам непонятно, это интеллигентщина, буржуазный подход, контр-революция, абсурд...

Третье требование — коллективизм. Если в стихотворении вместо «мы» — «я» — скандал: «индивидуализм, мистицизм, анархизм, контр-революция». Вообще, в провинции считается особым шиком: «ругнуть, взмылить, надавать словесных банок». Это—привилегия наиболее активной части слушателей, интересующихся литературой со своеобразными целями. Они выступают где только возможно, говорят, как пустые бочки: очень громко, длинно, высокопарно и всегда, якобы от имени партии. Многие из таких одержимых наивно полагают, что сделаться писателем—раз плюнуть: «Я тоже с удовольствием могу быть писателем или поэтом, да не хочу».

Такой чисто обезьяний подход к искусству, конечно, многим из ораторов выгоден: это, по их мнению, создает авторитет их необычайной революционности и, главное, — впросак не попадешь: крой их, подлецов, по черепу! «Авось, там, в верхах, и услышат их старанье, авось, учтут».

И, конечно, не без курьезов. Один из поэтов читает следующие строчки своего стихотворения:

Ведь колокольцы по равнинам
Не мчат на снежные ковры
Из-под икон и нафталина
Седые грузные бобры.

— Стой! — кричит один из критиков. — Я желаю возражать. Конечно, товарищи, это чисто буржуазное восприятие. Ковры! Да разве рабочий или крестьянин скажет: ковры? Ни в каком случае!.. Ну, скажет там: дерюга, рогожа, но—ни в коем случае не ковры.

— Кто еще?

— Я. Вот я согласен с оратором. Тут еще, помимо ковров, бобры есть. Товарищи, раз человек употребляет такое слово, то, стало быть, оно ему хорошо известно, как буржуазная привилегия.

Несчастный автор горько записывает все это в записную книжку.

Другой пример. Читается стихотворение:

Люблю по холодку одни
Бродить без цели по базару,
Когда в соломе у корзин
Лежат осенние товары.

— Прошу слова!.. Спасибо. Конешно, я, товарищи, совершенно не солидарен с автором. По-моему, такие слова: «ходить без цели по базару» позорят нашу личность, товарищи. Во-первых: по базару... Мы, коммунисты, к базару должны подходить теперь, конешно, как к классовому явлению, конешно, к НЭП'у. Да! Но еще вот: «без цели»,—так это, можно сказать, прямо унизительно. А кроме того, противоречит всякой трудовой жизни и этике. Совершенно недопустимое явление в литературе «ходить без цели»...

Затягивается бесконечный спор, переходящий в ругань. В результате автор получает обвинение в буржуазности.

Когда это говорит рабфаковец, это хорошо: перемелется—мука будет. Но когда такие вещи начинают говорить люди, считающие себя руководителями общественного мнения,—это скверно.

Другая категория критиков—это «люди дела», считающие поэзию, музыку и всякое искусство вообще буржуазной дрянью. Возражение, что пролетариату, больше чем кому-либо другому, необходимо искусство, для таких типов крайне неубедительно.

Есть и такая категория критиков: например, видный бывший работник трибунала, старый коммунист, яростно нападая на современную литературу, ставит ей в пример... Игоря Северянина или песенки Вертинского.

Вот с какими требованиями подходит к пишущей молодежи темная в делах литературы казенная критика. Самые обидные эпитеты и обезьяньи ярлыки приляпывались к новой ассоциации: «Арена» буржуазна, «Арена» проповедует искусство для искусства, занимается формальными вопросами (страшное слово!), не связана с фабрикой, оторвалась от масс. И это по отношению к молодежи, брошенной без всякой материальной и моральной поддержки и только что овладевающей пером.

А, между тем, все без исключения члены «Арены»—советские работники, сотрудники местных газет и журналов, есть несколько коммунистов. Обиднее всего для молодежи, что главные гонители, несмотря на неоднократные приглашения их, в «Арену» не заглянули и судили о ее деятельности по наслышке.

— Если бы вы знали,—говорила мне молодежь,—сколько обид, огорчений, незаслуженных оскорблений пришлось перенести нам только за то, что мы серьезно поставили вопрос о необходимости признать литературную деятельность профессией, требующей, как и всякая профессия, опыта, знания, специальной подготовки,—словом, той студийной работы, которую тов. Троцкий метко назвал «станковой».

Требовать, конечно, можно всё, но надо понимать, что, прежде чем посылать молодежь на фабрику, надо дать ей возможность научиться и окрепнуть. Молодежь и так отдавала своему делу весь свой досуг: устройство двух публичных вечеров в неделю—вполне достаточная общественная работа. Члены «Арены», влача полуголодное существование, сами платили за помещение, сами производили все хозяйственные работы: покупали дрова, чистили снег, мыли полы, исполняя в трескучие морозы самую неблагодарную хозяйственную работу. Так могут относиться к делу только настоящие люди, любящие это дело. Недаром, когда возник вопрос о закрытии «Арены» из-за полного отсутствия средств, Николай Лухманов плакал как ребенок.

— Встречались в жизни нашей «Арены» и хорошие, светлые дни,— радостно говорила мне молодежь. — Когда нужно было до зарезу найти моральную поддержку, «Арена» обратилась к председателю губпрофсовета, О. Я. Боярскому, с просьбой о помощи. Тов. Боярский, как всегда, внимательно выслушал нас и сказал: «Хотя это меня не касается, но я сам когда-то писал стихи, и я вас понимаю». И он действительно нам помог. Этот малецький случай, — добавляют собеседники, — никогда не сотрется из нашей памяти и всегда будет гореть хорошим огоньком. Другой человек, понимавший нас, был тов. Гагарин (зам. зав. агитпрома губкома Р. К. П.). Его

теплый совет, внимательное отношение к нам и готовность оказать нам поддержку мы всегда будем ценить и помнить.

Из этих приведенных мною слов ясно видно, как молодежь действительно искала хотя бы маленькой поддержки своему любимому делу, как она за эту поддержку хваталась и была трогательно за нее благодарна.

Время шло, выпады и придирки продолжались, требование воспевать в торжественных одах город и фабрику крепло. А большинство поэтов—мужики. Крепло требование воспевать во что бы то ни стало замасленную блузу, как фетиш, горн, молот, гудок, заводскую трубу. С твердокаменным упорством поносились и рутались такие темы в творчестве, как любовь, героизм, природа. Тенденция текущего дня ставилась выше запросов жизни, человек обрекался в жертву субботе. Поэтому продолжал возникать ряд конфликтов, споров, ругани между «Ареной» и критиками со стороны. Укусы шмелей и ос были нелепы, но чувствительны: в провинции опасно от них только отмахиваться, нужно защищаться вплотную, чтоб гарантировать себе в будущем неприкосновенность личности и политическую благонадежность.

Так продолжалось до тех пор, пока не выступил тов. Троцкий со своими статьями в «Правде». Статьи эти были для молодежи лучшей радостью, лучшей поддержкой. Когда приходила газета, она буквально вырывалась из рук в руки. Читали взасос, подчеркивая карандашом, крича от восторга. Затем, с чувством восторжествовавшей справедливости, носились с этими статьями, показывая их своим идейным противникам. Те читали, глубокомысленно морщили брови, отмалчиваясь. Иные говорили:

— Ну, и что ж? Все это еще бабушка на-двое сказала. Мнение Троцкого—не мнение партии. Насчет пролетарского искусства—так это уж, позвольте, товарищу Троцкому неизвинительно. Посмотрим еще...

Но, все-таки, большинство их очень и очень призадумалось. Хотя сейчас же придали каждой мысли тов. Троцкого свое особенное значение. Много споров вызвала статья «Партийная политика в искусстве». С выходом журнала «На посту» снова поднялась в литературном Смоленске самая свирепая война. Противники «Арены» снова подняли головы, снова начали крыть ареновцев. Но положение «Арены» все-таки было твердое. «Е ж е л и т.т. Т р о ц к и й и В о р о н с к и й п о п а л и в о б в и н я е м ы е, т о н а м, г р е ш н ы м,—и б о г в е л е л». У ареновцев появилась крепкая база, можно было защищаться. Они к этому времени скопили 15 газетных и журнальных вырезок, поддерживающих их идеологию. Вырезки были наклеены, заключены в изящную раму с надписью: «Ч т о «А р е н е» п р и я т н е е в с е г о?» и вывешены на видном месте.

И снова травля. В спорах стараются друг другу доказать, что кто-то из них—«мерзавец», при чем «мерзавец» вредный, которого надо гнать в шею; «гони в шею»—становится лозунгом литературной борьбы. В результате, вместо какой-либо творческой работы, сплошная грызня, склока, мелкий карьеризм и всевозможная грязь. П о л н о е о т с у т с т в и е с в я з и п р о в и н ц и а л ь н о г о п и с а т е л я с ц е н т р о м с т а в и т е г о п р я м о - т а к и в к р и т и ч е с к о е п о л о ж е н и е. М н о г и е и з п и с а-

телей, которые, несомненно, могли бы стать подлинными участниками советской литературы, уходят в сторону, запуганные литературным базаром. Если к этому прибавить, что в местной прессе сидят лица, литературно не подготовленные, то станет ясно, что литературная работа в провинции—занятие весьма тяжелое.

О современном положении Смоленской Артели Художников Слова «Арена». В настоящее время в артели действительных членов — 12 и членов соревнователей — 18 человек. Треть членов «Арены»—члены Р.К.П. Работа состоит в студийных вечерах, где разбираются публично прочитанные произведения; с другой стороны, по пятницам еженедельно устраиваются специальные вечера, посвященные разбору отдельных вопросов, чтению докладов и произведениям какого-либо одного автора. Вечера, вот уже в течение двух лет, идут без одного пропуска. Аудитория сама знает, без всяких об'явлений, что в такие-то дни в «Арене» — вечер. До последнего времени прошло 193 вечера в помещении «Арены» и около 20 вечеров, устраиваемых в других местах, как, например, в губпартклубе, на фабрике, в местном театре и т. д.

Интересны данные анкеты, полученной в аудитории в конце марта текущего года.

1) Социальное положение аудитории:

Студенты, комсомольцы и рабфаковцы	70 %
Служащие	15 %
Рабочие	7 %
Крестьяне	8 %

2) Возраст:

Средний	19 лет
Предельный	46 „
Минимальный	16 „

3) Что заставляет посещать „Арену“:

Желание ознакомиться с современной литературой	65 %
Желание развить свое мировоззрение, жизненность поднимаемых вопросов, любознательность, желание учиться, искание путей творчества, интерес к вопросам искусства	25 %
Склонность к творчеству, желание познакомиться со смоленской действительностью, интерес к социальным вопросам литературы	10 %

4) Любимый писатель:

Классики: Достоевский, Пушкин, Толстой, Чехов, Горький, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Гончаров	50 %
Кольцов	10 %
Блок	10 %
Маяковский, Безыменский (по 5 %)	10 %
Все произведения бодрые, вдохновляющие на борьбу	20 %

5) Какие недостатки вы видите в работе „Арены“:

Недостатков нет	35 %
Нужно вовлечь в работу всех посещающих	15 %

Личные выпады во время дискуссий, превращающиеся сплошь и рядом в перебранку	10%
Технические недостатки клуба: отсутствие вешалок, почтового ящика, ящика для жалоб, курение в зале	10%
Детали и мелочи	30%

6) На что обратить „Арене" главное внимание:

Без ответа	45%
Разбор современной литературы	10%
Вовлечение в работу аудитории	10%
Теория стиха	10%
Русские классики	5%
Крестьянские поэты	5%
Расширение помещения	10%
Отражение быта в произведениях	5%

Теперь об издательстве. Несмотря на то, что «Арена» никогда не имела каких-либо средств, все же ей удалось издать целый ряд книг. Некоторые изданы роскошно и дешево.

Изданные книги:

1) Николай Лухманов—«Мозоли Москвы». Сатира.
2) «Арена»—Блоку. Сборник стихов.
3) Николай Навесский—«Осень русская». Разошлось.
4) Он же—«В золоте осени», 2 изд. Разошлось.
5) М. Н. Волчанецкий—«Уот Тэйлор». Трагедия.
6) Николай Зарудин—«Снег вишенный». Сборник стихов.
7) М. Н. Волчанецкий—«Экспрессионизм в немецкой литературе».
8) Николай Лухманов—«Ноль целых, ноль в периоде».
9) Четыре студента—«Весенний семестр». Стихи рабфаковцев.

С материальной стороны положение «Арены» и по сие время чрезвычайно незавидное. Входной платы нет. Клуб живет исключительно на членские взносы, которые берутся только с обеспеченных. Учащиеся и безработные не платят, а их — большинство. Маленький домишка, где помещается клуб, ныне муниципализирован, и на «Арену» наложена непосильная для молодежи плата. Губернский партийный клуб сейчас старается перетащить «Арену» в свой зал на совершенно автономных началах.

— Мы опасаемся,—говорят мои собеседники,—что в большом зале партклуба будет утрачена та семейная интимность, которая выработалась в нашем старом помещении. Тем более, что губпартклуб будет, пожалуй, подходить к «Арене» с точки зрения «использования». (Использовать, это—слово, с которым провинция подходит к каждому человеку, нередко переоценивая физические и духовные силы работника и толкая его этим либо в сумасшедший дом, либо в преждевременную могилу. *В. Ш.)* Мы не прочь отдать себя на полезное дело, но мы боимся, что там не будут считаться с нашей главной целью, — с целью литературных достижений.

Сейчас большинство старых членов «Арены» уже начали печататься в центральных журналах. К таким принадлежат:

1. Борис Сергеевич Бурштын. Пишет уже давно, при чем приготовил для печати две книги стихов. Его стихи в формальном отношении безукоризненны. Отличительная их черта — полная искренность, строгая форма и та простота, которая достигается большой работой и самым внимательным отношением к слову. Общий колорит стихов — нео-акмеистов.

2. Николай Николаевич Зарудин — молодой человек, коммунист, из интеллигентной семьи. Он достаточно образован, знает толк в литературе, хороший теоретик по стихосложению. Главным образом на его плечах и помощи 2 — 3 товарищей держится почти вся работа «Арены». Он среди молодежи — «профессор». Партийная ответственная работа, отнимающая много времени, не дает ему вплотную заняться литературой, революционные передряги и боевая служба в Красной армии подорвали его здоровье. Тем не менее, он выпустил книгу хороших стихов и готовит вторую. Печатается в местной прессе и столичных изданиях. По преимуществу—поэт лирический, он тонко чувствует природу и музыкально отражает ее в своих стихах. Его лиризм подернут дымкой грусти, элегичен. Вот выдержки из первой книжки Николая Зарудина «Снег Вишенный» — 1923 г. Смоленск. Изд. «Арены»:

ЗИМА.

Сегодня ты меня так радуешь—
Сугробы вихри намели.
Ах, снова голубые ландыши
На снежных стеклах зацвели.
Легла туманными сиренями
На перелесках, на садах,—
О, сколько белой, снежной лени
В тех забаюканных глазах.
И столько лени в теплой печке,
В деревьях—крыл вороньих взмах
Притих—и белые овечки
Гуляют в серых облаках.
И там, где ветер в дудку колкий
Гудит по спрятанной реке,
Застыла балериной елка
На тонкой, вылитой ноге.
Я вижу напряженность муки,
Я вижу странную тоску,
Ее протянутые руки,
Ее горящую мольбу.

МЕТРАНПАЖ.

В своей широкой вечной блузе,
Мусоля нервно карандаш,
К набору изогнулся грудью
Веселый, бледный метранпаж.
Мальчишкою был голос звонок,
Взор—васильками голубой.
О, юность, юность—у колонок
Свинцовой схвачена рукой!

Ползет рассвет к высоким кассам,
Мелькает шпицер под рукой.
Печатник хмурый и замасленный,
Тряхни-ка песней озорной!
Как нежны ландыши... Здесь краска,
И на губах всегда налет.
Родная, кашляю с опаской.
Ремни ползут, мотор поет...
Ах, дома нездоров ребенок!
В машину вновь—листы, листы...
Мы строим вечно у колонок
Свои проклятые кресты.
Ну, что ж, что руки онемели,
В глазах тускнеют фонари,—
Букетом черной нонпарели
Мои страницы зацвели...

3. Павел Семенович Яцинов. — Комсомольский поэт, крестьянин. Близость к природе, к деревне прочно забронировали его дарованье от влияния схематических надуманных построений как в области внутренней, так и со стороны формы. Стих его певуч и красочен, мироощущение цельное, бодрое, свежее, как майский ливень. «Арена» возлагает на него надежды.

4. Михаил Константинович Урлауб. — Смоленский лефовец. Написал хорошую поэму «1919». Как всякий футурист, часто жертвует своей молодостью и искренностью в угоду всевозможным формальным ухищрениям, что ему, однако, плохо удается, к полному удовольствию «Арены». Много работает в области теории. Один из самых преданных «Арене» работников.

5. Борис Глебович Глебов. — Со стихов думает переходить к прозе. Его произведения сделаны прочно, скупо. Язык прост и сочен. В «Арене»— аккуратнейший секретарь и хозяйственник.

6. Евгений Николаевич Костецкий. — Тоже лефовец, но «с мутным взором колдуна» — по словам одного из его товарищей. Он большой чудак, пишет стихи без костюма, в голом виде, опустив ноги в таз с холодной водой (в ударных местах—подливает кипяток). Стихи его никому непонятны, говорит тоже непонятно, оправдывает все это своим долгим пребыванием в Шанхае. Нынче собирается в Египет, до Киева по Днепру—на лодке. Литературе предан фанатично. Был учителем, кочегаром, матросом, монахом, телеграфистом, солдатом и пр.

7. Михаил Николаевич Волчанецкий. — Драматург, ныне переселившийся в Москву, где ставятся две его пьесы. Человек с большими знаниями, в особенности в области театра, много сделавший для «Арены», большой знаток книги и типографского дела. Художник.

8. Владимир Дмитриевич Ягодкин. — Беллетрист, усидчиво, упорно работает, до семи потов, верит в пословицу: «Терпенье и труд все перетрут».

9. Николай Навесский. — Очень талантливый бывший поэт. Он, по мнению его товарищей, все сказал, исчерпал свою душу. Считает себя «королем смоленских поэтов» и, к большому сожалению, любит выпить.

А вот два начинающих значительных дарования:

Марья Кирилловна Бродская — беллетристка. У нее оригинальный стиль: напевный, сказочный. Хорошо знает жизнь деревни, претерпела и терпит нужду, необычайно скромна и застенчива, пишет большую повесть, с отрывками коей я знаком.

Федор Иванович Федоров.—«Хвактически рэсэфэсэрэ», как его называют товарищи, или «Царик», как за его озорство прозвала деревня. А он, верно, озорник. Но его озорство от молодости, от избытка сил, которых некуда девать. Он, как молодой теленок, впервые вырвавшийся весною из темного хлева, носится на воле, крутит хвостом и взлягивает и бьется боками об углы. Он из подгородного села. Лет шестнадцати он повздорил с местным священником, ушел в город, познакомился там кой с кем из канцелярской молодежи, добыл повестку ревтрибунала и, заполнив ее строгим приказом священнику явиться в трибунал, самолично вручил ее обомлевшему батюшке. Отслужив молебен в путь шествующим, священник в страшном трепете поехал в город, там все раз'яснилось, священника отпустили с миром, Федорова же закатали для острастки в тюрьму, но вскоре выпустили, усмотрев в его поступке мальчишескую выходку. В это время он уже писал стихи. Кто-то из власть имущих посоветовал ему ехать в Москву,, в учебу в литературную студию и рекомендовал обратиться к А. В. Луначарскому— он все может. Федоров радостно поехал, устроившись довольно сносно в ящике под вагонами. Однако Москва приняла его неласково: Луначарского он не нашел, студии не отыскал, все, что было с ним и на нем, проел — год был 1919, голодный—и в одних подштанниках, прикрытых рваным халатом, бежал домой. Чтоб гарантировать себе бесплатный проезд и возможность попасть в вагон (тогда вагоны брались с бою), он забинтовал голову марлей, стал говорить умирающим голоском и на правах тяжко больного благополучно прибыл в свою деревню. Теперь ему около 20-ти лет, он остепенился, вплотную занимается ученьем и литературой. Два года тому назад он перебрался в город, записался в «Арену» и с тех пор ни разу не пропустил товарищеских собраний. Прошлой осенью он держал экзамен в Смоленский университет, но провалился по математике. Он очень нуждается, как и прочие литераторы Смоленска, ночует где попало, главным образом на письменных столах проплеванных и прокуренных, но гостеприимных редакций, питается тоже, чем бог послал, на манер тургеневского Валетки, но всегда весел. Он очень одаренный юноша, с большим диапазоном художественного восприятия. Из этого мужичка образ прет как с неба град, как из дырявого мешка пшено. Говорят, он в один присест, дописавшись до одури, сочинил произведение с 1.000 образов. Он считает себя имажинистом, находясь пока под влиянием Есенина, хотя признает образ лишь средством. Внутреннее содержание его поэзии — крестьянская революционность, воспринимающая, как икону, Пугачева и Стеньку Разина. Под влиянием «Арены» эта бессознательная стихийная талантливость постепенно отливается в четкие контуры, с уклоном «смычки» города с деревней. Он очень требователен и строг к своей работе, редко бывает ею доволен. Стихотворение «Стенькина осень»

обрабатывалось им в течение нескольких месяцев. Он не плохо владеет и прозой, но пока беллетрист он сырой. К сожалению, у меня под руками только одно его стихотворение, да и то не особенно типичное для всей его поэзии в целом, и характерное лишь по тону:

Два африканских знойных неба,
Проклятая, ты привезла в глазах другому,
А мне улыбку, словно корку хлеба.
Ты бросила, как псу голодному и злому.
На улицах от глаз твоих растаял снег,
А был двадцатитрехградусный мороз;
Но у тебя из рта потоком хлынул смех,
Из глаз влюбленного—весенний ливень слез.
Два африканских знойных неба
В твоих глазах, в глазах твоих, проклятая!
Ах! Душу бы разбил на щебень,
Потом, рыдая, вымочил закатом.
Иду... Луна с растрепанными косами,
Как сумасшедшая, мечется в кровати синей.
Стихами, как серебряными росами,
Я умывал любимой чужеземки имя.
Она не хочет полюбить. Ну, и не надо.
Смеясь, на клочья изорву страданье,
А завтра встанет в небе радуга
Цвести моим воспоминаньем.

Я умышленно долго остановился на этом всегда веселом на вид, бойком, с большой душевной глубиной юноше, потому что твердо верю в его широкую литературную дорогу. Наше дело, его старших товарищей, помочь ему в этом.

В заключение хочется подвести итоги многострадальной жизни нашей молодой литературы в провинции.

Мы видели, кто и откуда они, эти молодые люди, но мы не знаем, как они жили, прежде чем выбиться на литературную дорогу.

«В 20 и 21 годах жил я, — говорит один из них, — в общежитии Пузапа (Пол. Упр. Зап. Фронта), вместе с такими же, как я — топчан к топчану варили картошку. Аккуратно каждую ночь находил десятки вшей в белье и, в холоде и голоде, писал целые ночи в красноармейскую газету. Был редактором. Ночью храпели, сопели. Бегали огромные крысы, роняя котелки, взвизгивая по-кошачьи. А в фанерные окна билась морозная ночь, сквозил ветер, из соседней уборной текло и тут же замерзало. В смраде и холоде мы работали изо дня в день, из ночи в ночь. Было на душе хорошо, бодро, но вместе с тем и тяжко. Многие из нас получили легочные и нервные болезни».

Теперь, впрочем, стало несравненно легче, по крайней мере, в отношении внешней обстановки. Однако и теперь наследство невзгод революционной жизни дает себя чувствовать, многие добросовестные, активные работники, беспартийные и коммунисты, перегружены до отказа тягостным

трудом (провинция, как уже было сказано, не привыкла соразмерять деловую нагрузку с силами молодого организма) и весьма неаккуратно получают жалованье, едва хватающее на то, чтоб тянуть жизнь впроголодь. На-днях я получил из Смоленска письмо от молодого литератора, который пишет мне: «Тот самый юноша, Никольский,—помните, в военной форме, он при вас читал стихи,—теперь уже в Гедеоновке (псих. больн.), у него полное нервное расстройство и туберкулез. Вчера туда же отправили сотрудника нашей газеты «Красноармейская Правда», моего товарища. Он тоже страшно переутомился, стал заговариваться. Два месяца он не получал ни копейки и, голодая, ежедневно обрабатывал сырой материал для целой газетной полосы. А два года тому назад застрелился душевнейший, благороднейший юноша, талантливый литератор, — Валерий Валов».

Вот как живет литературная молодежь в провинции.

Было бы совершенно несправедливо возлагать ответственность за это исключительно на совесть власть имущих. Причина тому в ином. Россия все еще страдает, и забывать об этом преступно. Провинциальная молодежь вся— без исключения—это прекрасно помнит. Не даром жизнь ее подвижнически скромна, трезва, чиста. Ту молодежь, которую я знаю, можно было бы поставить примером для некоторых прославленных, и менее известных, и совсем неведомых, российских столичных литераторов.

Литературные силуэты.

А. Воронский.

Леонид Леонов.

I.

«...Будут дни,, взроем поля машинами, обрастут раны свежим мясом, а разутые ноги—шевровыми штиблетами,—и будем вспоминать, как в страшные, проломные, бессолнечные дни, когда переходили через горы, опрокинулась на наши головы из синей выси лютая огненная бочка...

...А еще вспомянем, как отбивали мы волю нашу кумачевыми быть, босые, раздетые, с глазами, распухшими от жестких предзимних ветров, как закусывали соломенным хлебом великую боль пролома, как кутались в ворованные одеяла от холодной вьюжной изморози да от вражьих пуль, как кричалось в нашем сердце больно: «Колос—колос, услышь мужичий голос, уроди ему зерно в бревно!».

Все припомним сразу, чтобы в жизни будущего века навсегда забыть!.. (Леонид Леонов—«Петушихинский пролом»).

Слова эти, по всей справедливости, можно взять эпиграфом к тому, что написано и напечатано Леоновым.

Леонид Леонов очень молод, почти юн. Одаренность его такова, что он уже сейчас становится в ряды настоящих мастеров художественного слова; но чтобы стать подлинным большим писателем нашей эпохи, Леонову нужно в упрямом упорстве преодолеть целый сонм великих искусов, стоящих перед ним, ибо не раз и не два мы являлись свидетелями того, как, несмотря на исключительное мастерство свое, писатель, имя рек, безжалостно отметался на задворки нашей современности и слова его становились только «медью звенящей и кимвалом бряцающим».

Почти все произведения Леонида Леонова помечены 1922 годом, когда у всех еще стояли живо перед глазами потрясающие картины голодного года, и не случайно одна из первых повестей его, «Петушихинский пролом», упирается в голодный 21-й год.

Большинство произведений Леонова связано с революцией, но революция отразилась в них только одной своей стороной, болью великого исторического пролома, погоста с безымянными могилами, обильно принявшего в себя

сотни тысяч человеческих жизней. Революция для Леонова—не хаос, не бессмысленная трата людей, вещей, энергии и разума человеческого. Он знает, что «будут дни—взроем поля машинами», что «Россия теперь в гору пойдет», что грядущее новым поколениям сулит счастье. Об этом Леонов пишет с холодком, но здесь отграненность его ото всех, кому революция кажется «бесовским действом», нелепой и жестокой фантасмагорией. Но она для писателя и не та чудесная сила, что напояет человека великой радостью дерзания, хмелем героизма и самопожертвования. Революция для него ни то, ни другое. Она—огненный, смертоносный смерч, исполинская, испепеляющая колесница, и путь ее не розами покрыт, а обильно омочен кровью и устлан человеческими телами,—гигантский крест, на котором волей истории распинаются Митьки, Никитки, Савостьяны, Талаганы, Алеши, Ковякины, Елены,—все те маленькие безвестные люди, которых захватывает в свои железные зубья шестерня революции. Не к грандиозному, вселенскому, великому, а к зверушечьему малому сердцу человека прикован взор художника. Берет ли Леонов людей, оставляющих запечатленный в веках, неизгладимый след в истории, или неприметного обывателя города Гогулева—он неизменно видит прежде всего трагедию, вырастающую из столкновения маленькой человеческой личности с железной неумолимой поступью истории. Краткий обзор напечатанных вещей Леонова вполне установит это нам.

Туатамур, ближайший ставленник Чингиса, огнем и мечом прошел страны. Его орды шли, как тьма. Он был герой, он мог «кулаком сваю вколотить в песок, мокрый после дождя». Он не знал поражений ни в личных боях, ни в боях своих орд. Он одержал блистательнейшую победу над русскими при Калке. «Но рожденный женщиной не живет, когда пробито сердце насквозь». Сердце Туатамура было пробито любовью к Ытмырь, дочери Чингиса. Ытмырь сопровождала орду в походе на русских. Ытмырь полюбила русского князя Дубарлана, и когда увидела его убитым, умертвила себя. И вот великий Туатамур говорит о себе: «И вот кто даст хоть один пул, расплюснутый копытом, за голову Туатамура, лежащего у порога чужой жены?.. Ныне я—дряхлая собака Чингиса, ушедшего в закат... и я не хочу видеть, как завтра взойдет луна, слушать, как доят вечерних кобылиц, вдыхать ветер, идущий с цветов первого круга,—не хочу». Гибель Туатамура—не от вражьих орд, а от Ытмыри, у которой были «пьяны и сладки поцелуи, как первое молоко кобылиц». Своеобразное сочетание лирики с эпосом, точеный язык, правда, местами перегруженный татарскими речениями,—простота, законченность, продуманность фабулы и всего построения сообщают «Туатамуру» высокую художественную ценность.

«Записи некоторых эпизодов, сделанные в городе Гогулеве Андреем Петровичем Ковякиным» переносят читателя в нашу родную дореволюционную растеряевщину. Гогулевские аборигены: пристав Хрыщ. брандмейстер Обувайло и др., местные «события»: «проезд архиепископа Амвилохия мимо нашего города», «повешанье колокола к Богоявлению», «как я нашел древнюю пушку», «неприятность в семейном собрании»—все это очень сочно, с юмором в меру и дает насыщенную, густую бытовую атмосферу российских Гогу-

левых, безвозвратно уходящих в прошлое. Вот, например, рассказ Ковякина о том, как он пытался провести «реформу»:

«...Я добился, чтобы усопших клали не как придется, а в строгом порядке. На каждый участок идут покойники по одной только специальности. Купцы к купцам, военные к военным. То же самое насчет священников, деятелей или исторических писателей, как, например, я. Такого порядка, насколько я знаю, нигде еще не случалось. Я даже хотел ввести, чтоб и на участках хоронили не просто, а, предположим, по буквам. Сперва все покойники на букву А, потом Б и так дальше, до отказа. Этому, однако, воспротивились, особливо Хрыщ (пристав. *А. В.)*. Он говорил: «Этак я всегда в конце буду лежать, а какой-нибудь прохвост нестоющий—спереди. Не согласен, протестую!». Его уговаривал до полнейшего изнеможения во всем теле, что это только так, на земле для порядку, а там, перед престолом, все равны. Он же возражал: «Престол—престолом, а Хрыщ —Хрыщем», а из этого можно было вывести, что он просто неверующий».

Но главное в «Записях» не в этом. После Гоголя, Щедрина, Успенского, Чехова удивить читателя, художественно открыть что-либо в гогулевщине, думается, трудно. Интерес «Записей» в ином. «Записи» ведутся Ковякиным, приказчиком местного мануфактурщика. Ковякин—патриот Гогулева, он почти не выезжал из него. Он—неисправимый графоман. Он нелеп, старомоден, суетлив, очевидно, очень надоедлив, смешон в изображении «эпизодов», карикатурен в своей наивной тупости и ограниченности, в своей гогулевской философичности, у него куриный горизонт; он весь в родных лужах, в бурьяне, в «эпизодах». Стиль «Записей» соответствует вполне этим качествам Ковякина. К тому же он любит «побаловаться стишками». Его летопись то-и-дело перебивается нелепыми, дубовыми виршами. Но в них он выступает как неизменный, единственный и верный паладин любви своей к гогулевской девице Наташе, любви без взаимности, ибо Наташа убежала из Гогулева с каким-то ходатаем, после чего Ковякин решил никогда не жениться и, действительно, так и не женился. Сквозь пошлые, стоеросовые вирши и писарские записи «об эпизодах» просвечивает печальное, человечное, потаенное, покрытое толстейшим слоем нестерпимой обывательщины, что остается все-таки живым даже в этой изнурительной и отупляющей вконец рутинной, застойной среде. Художник нашел в навозной куче жемчужное зерно. Достигнуто это при помощи простого и вместе с тем очень своеобразного художественного приема.

Автор подводит Ковякина к революции. «События текущего момента отставили меня от жизни», пишет он. Иначе и не могло быть. Революция раз'яснила Ковякину одно, — что и он и Гогулев произошли «от сырости», а «сырость от скуки». Гогулевский быт оказался сломленным, и так как Ковякин узрел только одну пустоту, ему ничего не осталось, как исчезнуть из родного города неизвестно куда. Конец «Записей», к сожалению, сбит, остранен символическим мужиком Феофаном, сидящим на суку в лесу и страшно молчащим, двусмыслен, отчего повесть теряет в конце тот здоровый реализм,

которым она проникнута вообще. Писателю настоятельно необходимо конец переработать.

В «Петушихинском проломе» тема шире. В «Записях» показан конец Гогулева и Ковякина,—в «Петушихинском проломе»—конец Руси пафнутьевых монастырей, каленых, медовых пряников, тихих пчелиных сусек, тихоходных дней, гармошек, попов и игуменов, несложной патриархальной аржаной жизни. Война и революция в эту лапотную Русь бросила людей иного закала, разворачивающих до корней старый деревянно-лапотный быть. Из веселого, озорного конокрада Талагана они, годы эти, сделали сначала солдата, харкающего кровью, а потом исполкомщика, отдающего новой правде остаток своей жизни. В тихую Петушиху пришли «голубые» люди—большаки, такие как Арсен Петров, прибывший в монастырь для вскрытия мощей Пафнутия: «был это высокий, голубой весь человек: иссера голубые глаза, рубашки ситцевой бледная голубизна выглядывала из-за распахнутого нагольного полушубка, и даже слова его все немногие, какие говорил он тихим и упорным, по-женски, голосом, отливали голубизной и даже жилки виднелись голубые на виске, где удивительно среди жилок этих пробегал голубой шрам. Но происходила голубизна Арсена Петрова от железа». Внимание художника сосредоточено, однако, не на Арсенах Петровых, о которых он пишет с холодным уважением и чуждо, а на тех Савостьянах, Алешах, Федорах, что страдают «безвинно» и кладут животы свои от пролома, творимого «голубыми» людьми,—и на быте, тоже обреченном и конченном. В «Петушихинском проломе» больше, чем в других своих вещах, Леонов постарался дать читателю почувствовать боль пролома, когда старое безжалостно и неотвратимо испепеляется, а новое еще не пришло на смену, при чем это новое отчасти предугадывается писателем, но сердцем не воспринято. Сломлена старая вековечная вера, в тряпки превращены мощи Пафнутия, повесился от ненужности и душевной опустошенности игумен Мельхиседек, ушел другой монах к большакам—взял винтовку в руки и пошел на фронт, пришел голодный мор 21-го года и косит беззлобных пчелинников, Савостьянов и т. д. Ломка старого быта символизирована в том, что не нужна стала икона Пафнутия Савостьяну после вскрытия мощей, а в вещих снах мальчика Алеши косматый мужик думал раньше, что он вознесется и возьмут его «шестикрылатенькие под руки», а впоследствии обнаружилось, что «там» пустое место и даже плюнуть некуда. Писатель оставил Алешу, как «безвестного поводыря» волчьего крестьянского стада к свинцовому сундуку, где должна быть радость и где пока... холодная пустота.

В «Петушихинском проломе» много лирики, скорее это поэма в прозе. Она перегружена символическими видениями во сне, навеянными древними русскими сказками, так что реальное перемешивается с фантастикой в явный опять-таки ущерб произведению.

На повести «Конец мелкого человека», помещенной в настоящей книжке журнала «Красная Новь», следует остановиться несколько подробнее. Написанная под сильнейшим влиянием Достоевского, повесть трактует, в сущности, о том же великом историческом проломе; только среда на этот раз взята

автором другая и другие люди: не «безвинные» Савостьяны и Алеши, а недавний «мозг» страны: профессор Лихарев, доктор Елков, поэт Кромулин, бывший «капитан и рубака» Титус и пр. В сущности, перед читателем нет ни профессора, ни доктора, ни поэта, ни капитана,—тут настоящий паноптикум «бывших», дно, смрадная выгребная яма. Лихаревы, Елковы безнадежны, заживо гниют и разлагаются. Среда совершенно определенная: «голубых» людей называют иглокожими, о них говорят в третьем лице. Доктор Елков собирает «фактики». Его заветное желание—составить книжечку «пальца в два, да в Европу, туда, ко всем этим, как их»... Мы знаем этих «как их»—иностранную буржуазию вкупе и влюбе с российской белой, полубелой эмиграцией. Известны и знакомы и книжечки «пальца в два», издающиеся в Париже, в Лондоне, в Берлине, во всех частях света белого, эту елковщину, где ненависть сплетена с бессилием и прострацией, где клевета возведена в перл создания, где под маской юродства и кликушества — лицо трупа. Многие из них любят толковать о России, только и делают это, бия себя в перси. И это знакомо, ох, как знакомо! Поэт Кромулин пишет стихи только о России. Но говорят они о России лишь потому, что, по справедливому замечанию одного из паноптикума Сиволапа,—«уж больно всем вам хочется, чтобы прежде вас умерла, а она на зло тебе возьмет и выживет». Это чудесно сказано. «Россия, — в другом месте утверждает Сиволап, — можно сказать, родит, извините за выражение... Новое дитя рождается в смертных муках матери — она песен требует, мать, про муки свои... а они чирикают да крылышками пощелкивают». В среде Елковых и Лихаревых на всех перекрестках вопили также о культуре, которая якобы гибнет от «иглокожих». Но правда в том, что культуру эту они, Елковы и Лихаревы, Водяновы и Кромулины, первыми готовы растащить по кирпичикам, что они о ней точь-в-точь как и о России твердят от того, что хотят ее гибель видеть вместе со своей: проваливаться так с треском и окончательно. Правда, наконец, в том, что культуру они видят в брюках с механическими пуговицами. Лихарев смеется над наивным, смешным и глуповатым Мухоловичем, не видящим в культуре ничего, кроме этих пуговиц, но сам очень не далеко ушел от Мухоловича. Обо всех этих превыспренних, хороших вещах очень легко было распинаться раньше, а не в лютые годы огненного преображения России, когда с Лихаревых были грубо общипаны павлиньи перья. Революция обнаружила, какие Лихаревы по нутру дрянные паразиты и себялюбцы, привыкшие искони ездить на чужом горбу. Лихарев черств, деревянен, туп к другому человеку и одновременно беспомощен в своей неприспособленности, он непоколебимо уверен, что его должен содержать спекулянт Мухолович, поклонник брючной, пуговичной культуры. Так же уверен он и в том, что сестра его Елена живет только для него; ему и в голову не приходит подумать, чему радуется, над чем страдает его сестра, и когда видит ее умирающей, он прежде всего боится за себя: кто будет стоять в очередях за селедкой и крупой? Он отвратителен в этом своем эгоизме. Он трусливо бросает Елену умирать, чтобы не видеть ее смерти. По сравнению с ним даже Елков выигрывает.

Лихаревы и Елковы вообще бессильные трусы:

— А как силенки нет у нас для линии, то сидим себе да из подворотни лаем... Ты где был, когда из пушек стреляли?! Где? говори!—завопил громче прежнего Водянов, тряся Лихарева за плечо.

— Где?..—неспокойно улыбнулся Федор Андреич,—дома, конечно, не на пушке же...

— Ага, не на пушке! А на улицу... на улицу не пошел?! А дать тебе эроплан, так улетел бы от России, куда глаза глядят...

К творческому труду они не способны не потому, что их труд не нужен, а оттого, что распад их «я» дошел до последней черты. Они не уважают ни себя, ни родных, ни знакомых, — они потеряли то, что именуется чувством человеческого достоинства. «Дряни мы все», — твердит Титус. «Исключительно самобичевание и расхлябанность — иглокожие правы»,—подтверждает доктор Елков. Они не верят ни в чох, ни в сон, — они обреченные и хорошо понимают это. Живут, как пауки в банке, смердяковствуют, издеваются над собой и друг над другом, юродствуют, кликушествуют... какой-то дом умалишенных, вывихнутых, погибельных людей. Они и умереть-то не умеют честно, по-хорошему. Может, до этого распада их довели голодные, холодные годы? Но ведь эти же годы сделали из конокрада Талагана воителя за новую правду! И с какой радостью отдыхаешь на четкой, спокойной голубой фигуре Арсения Петрова! Дело тут, конечно, не в том, что приходится силой отбивать мертвую лошадиную голову, а в исторической обреченности, в полной физической и духовной изношенности Лихаревых, Елковых, Титусов, Водяных, Кромулиных. И прав, всеконечно, тот чекист, который «гаркнул» в ухо Титусу: «Пошел вон, гадина». Единственно «безвинным» человеком в повести является Елена, жизнь и смерть которой воспринимается читателем с истинно человеческой болью. Страницы о Елене—лучшие в повести.

В «Конце мелкого человека», как и в иных произведениях Леонова, несомненно, есть много чуждого и нашей эпохе и, тем более, нам, коммунистам. Это не наша вещь. В ней много есть от хорошо известных излюбленных мыслей и рассуждений Достоевского, но Леонов впервые показал гибель и распад старой интеллигентской подворотни дней революции, он ввел нас в паноптикум «мозга» страны. Образы Лихарева, Елкова, Кромулина, Титуса, Водянова, Елены хотя и навеяны Достоевским, но правдивы, художественно верны и убедительны. В частности, художник подвел черту и нашей российской интеллигентской достоевщине, хотел он того или нет. Как далеко шагнула история! У Достоевского Иваны Карамазовы по-своему были бунтарями, не приемлющими мира,—Лихаревы и Елковы—расползающаяся, противная человечья слизь, и даже ферт—уже выродившийся чорт Достоевского: он облез, грустен, подвержен резиньяциям и ждет тоже только конца своего.

II.

Пользуясь общеупотребительной, крылатой квалификацией, Леонова едва ли можно назвать даже попутчиком революции. Тем более он чужд коммунизму. Думается, что у Леонова очень существенное и важное не про-

думано, художественно не проработано и не прочувствовано. Во всяком случае, у него есть настолько опасные изгибы, что они ставят под вопрос будущее всего его молодого, но очень богатого, большого и крепкого таланта. Это нужно отнести в первую голову к основному содержанию, к стержню его произведений. Леонов увидел, как показано было выше, в революции великий исторический пролом, в котором безвозвратно гибнет прошлое. Он писатель по преимуществу уходящего, умирающего, обреченного. Неизбежность этой ломки Леоновым признается. Но во имя чего все это происходит, куда эта ломка ведет? Леонов уверен, что Россия пойдет в гору, что придет и идет уже крепкая, новая порода людей— не человек, а молотилка будет, но именно этого человека-молотилки он и боится. Он напуган возможностью механизации, американизации жизни и человека, и, повидимому, в коммунизме готов видеть провозвестника этой омеханизированной, проинтегрированной жизни будущего века. Здесь излишне подробно доказывать, что именно капитализму, а не социализму присуща в высшей мере тенденция механизации жизни, ибо человек делается при капитализме рабом и придатком к машине, что, наоборот, коммунизм стремится освободить человечество от этой механизации путем подчинения машины и природы воле освобожденного человека. Все это общеизвестно. Но эти общеизвестные положения остаются не воспринятыми Леоновым, и так как он очень крепко любит живую непосредственную жизнь, он с холодком и с опаской пишет о времени, когда «Россия в гору пойдет». С другой стороны, он знает, что «голубые» люди, Арсении Петровы — народ очень упорный, что петушихинскую Русь они перекроят, трамваи проведут, аэропланы построят, исчертят ими небо; поэтому в художественном сознании писателя получается провал, пустота, весьма схожая с той нехорошей пустотой, которую увидел во сне Алёша, ведомый Егорием. И здесь первая и самая большая опасность для художника. При таких настроениях очень лёгко скатиться в доподлинную художественную реакцию и очутиться, несмотря на весь талант, в елковском паноптикуме. Художник, как и всякий иной, имеет право бояться, сомневаться, раздумывать — ведь далеко не все ясно в будущем и для нас, коммунистов, — но если он живой человек, кровно связанный с эпохой, если он творец и работник жизни, а не просто соглядатай, он должен хотеть, сообразуя это хотение свое с общим духом эпохи, с основными тенденциями развития общества.

Дальше, Леонов художник—ходатай за маленького, безвестного человека, перетираемого жерновами революции. Он повествует, главным образом, об этом человеке: с болью и грустью о «безвинных» Савостьянах и Еленах, со скрытым презрением о Лихаревых, с юмором и сожалением о Ковякиных, эпически о Туатамуре. Главные герои у Леонова всегда гибнут. У него нет хороших концов. Это понятно: Леонов—писатель уходящего, а не восходящего. Кроме того, смерть, сумасшествие теперь стали бытом, как никогда. О «безвинных» смертях, о маленьком человеке никогда не следует забывать, но тут есть грань, за которую переходить опасно и которую Леонов переходит.

Годы империалистской войны, годы революции, голода, разрухи, сверхимпериализма обесценили человеческую жизнь вообще. Пролить кровь, убить—стало делом обыденным, повседневным, легким. «И дети не пугались мертвецов». Комаровщина и многое другое достаточно ясно показывают, сколько общественно опасного и тревожного таят в себе обесценение человеческой крови, огрубение и одичание нравов. Сейчас республика советов переживает момент мирного затишья, пользуясь которым она спешно старается разрешить ряд основных задач культурнического порядка. Нужно помнить, что в культурной области нельзя сделать шагу вперед без внимательного, чуткого отношения к интересам маленького, среднего человека. Конечно, мы говорим прежде всего об интересах многомиллионной массы рабочих и крестьян. Но и обыватель не должен быть оставлен в стороне. И здесь борьба против огрубения нравов за повышение ценности человеческой жизни встает тоже как одна из очередных проблем. Однако к этому сложному и трудному вопросу нельзя подходить абстрактно. Такой подход ничего, кроме общих мест, не даст и, кроме того, легко может привести к выводам, на практике прямо вредным. В «Конце мелкого человека» ферт говорит Лихареву: «За благородство, за правду кровью платить надо, а кровь — она дороже всяких правд стоит». То же самое в иной несколько форме повторяет Ковякин в своих «Записях» и по всему видно, что это—убеждение и автора. Положение целиком взято у Достоевского и оно целиком абстрактно. «Суббота для человека, а не человек для субботы», конечно. А если волей исторических судеб д а н о, что кровь одних неотвратимо сталкивается с кровью других, если кровь одних гнила, а других свежа и здорова, если люди гнилой крови держат миллионы других «под бременем неудобоносимым»? Если дано это «или—или» и надо выбирать? А ведь так именно и обстоит дело сейчас. Отгородиться тут «почтительнейшим вручением билета» и неприятием мира—значит выйти из строя жизни; на деле это невозможно; кроме того, тут встает законный и вполне уместный вопрос, тот самый, который поставил Водянов Лихареву: «Ты где был, когда из пушек стреляли?». Судя по всему, Леонов к слюнявым непротивленцам не принадлежит и хорошо знает цену вопросу: где был, когда из пушек стреляли? Какой же смысл в наши дни имеет положение, что кровь дороже всяких правд стоит? В лучшем случае это голая фраза, общее место, которое ни в какой мере не может помочь нам разобраться в сложной, конкретной действительности, а в худшем это — дорога к обывательщине.

Не всякая правда одинакова. Одна правда—конокрада Талагана подняла до самоотверженного служения народу, а другая правда привела Лихарева и Елкова к распаду. Впрочем, у Лихаревых и Елковых и правды-то никакой нет: «Я теперь только для него (кота. *А. В.*) и живу. Право, целей как-то не осталось, экспроприация целей»,—сознается Елков. Им бы и книги в руки: чего лучше — никакая правда им не мешает. А между тем они заживо гниют, друг над другом издеваются. И не случайно Елков живет только... для кота. И, наоборот, пролитие даже жбанов крови может сочетаться и сочетается с великим духовным преображением человека. Об этом очень хорошо

рассказал в стихах своих молодой поэт Н. Тихонов, далекий от коммунизма, но почувствовавший эпоху нашу:

И был я беспутен, и был я хмелен,
Еще кровожадней, чем рысь,
И каменным солнцем до ног опален, —
Но песнями губы зажглись.

Он рассказал о днях, когда «разучились нищим подавать», когда «сердце забили кистенем и обухом», когда сама «песня вспотела кровью и потом». И все-таки:

И вот под небом, дрогнувшим тогда,
Открылось в диком и простом убранстве,
Что в каждом взоре пенится звезда
И с каждым шагом ширится пространство!

Понял это и покойный Блок в поэме «Двенадцать» и не даром впереди 12-и. которым «на спину надо б бубновый туз», он поставил Христа с кровавым флагом.

Боязнь «человека-молотилки», абстракции Достоевского о правде и крови уже привели Леонова к тому, что он испортил конец «Записей» Ковякина двусмысленной символикой; такой же символикой испорчен «Петушихинский пролом». Повесть «Конец мелкого человека» благодаря достоевщине—не в смысле формы, а в указанном выше смысле—тоже имеет ряд больших из'янов: рассуждения о крови и правде, о кирпичиках и пр. звучат не нужно и местами прямо вредны,—в повести нет перспективы, завершенности.

О мистике. Многие считают Леонова мистиком. Это едва ли так. Художественное нутро у Леонова совершенно языческое, земное. С этой точки зрения весьма показателен рассказ «Гибель Егорушки», вообще говоря не из лучших у Леонова. В нем по-обычному, как водится у Леонова,— символический сон, темное, роковое, нависшее над семьей рыбака с приходом монаха Агапия, но суть вещи заключается в столкновении мертвого, мрачного аскетизма Агапия с несложной, крепкой жизнью рыбацкой семьи, где ловят рыбу, любят, рождают. Черноризец Агапий очерчен совершенно определенно. Писатель показывает, как под дыханием этого аскетизма гаснут, линяют яркие, сочные краски живой жизни, как клобучное христианство Агапия становится повинным в гибели семьи Егорушки. В конце концов и рок, повисший над рыбацкой семьей, не заключает в себе ничего мэт-эмпирического. В основе творчество Леонова реалистично и питается языческою любовью к жизни. Леонов любит жизнь, как она есть, в ее данности: «Всей тебе, земле моей, нескончаемому человечьих слез кольцу, и людям твоим, волчьему стаду, гонимому ветром, поклоняюсь духом своим... хозяйка, хозяйка, хочешь—жолуди рожай, хочешь — яблоко жизни вечной, хочешь — волчьи ягоды — все в тебе»... («Петушихинский пролом»). Он и против «правд» протестует в силу этой своей любви. Верно, однако, то, что художник широко и постоянно пользуется снами, чертями, видениями и пр. Видения и сны, черти и лешие выступают у него прежде всего, как сказочный элемент, который автор считает, очевидно, очень удобным материалом для выполнения своих художественных замыслов. В той же повести «Конец мелкого человека»

Лихареву во время припадков является ферт, заимствованный, несомненно, из «Братьев Карамазовых». Ферт этот заявляет о себе: «Меня же нет. Это я так, нарочно, будто есть». Ферт является двойником, скорею частью Лихарева, Лихаревым № 2, тем, который с Лихаревым № 1 вступает в спор, трунит над ним, издевается и т. д. Следовательно, здесь особый художественный прием: вместо того, чтобы заставить Лихарева рассуждать и спорить с собой, Леонов старается оживить эти части повести введением ферта, так сказать, материализировать в ферте определенную сторону лихаревской психики. Из нашего раз'яснения все же не следует, что подобные приемы можно считать узаконенными в наши дни. Во-первых, Леонов пользуется фантастикой совершенно не в меру, и у читателя легко может создаться настроение, что тут не только художественный прием, а подлинная заумь. Такое впечатление, несомненно, остается от «Петушихинского пролома». Во-вторых, подобные приемы глубоко архаичны. Они, может быть и наверное, были естественны во времена Пушкина и у Достоевского, но теперь выглядят, как старомодный салоп. И чем скорее откажется от этих приемов Леонов, тем будет лучше и для него и для читателя. Как будто он развивается именно в этом направлении. В последних вещах сказочного, таинственного элемента несравненно меньше, в «Записях» остранен только конец, в «Туатамуре», в одной из лучших вещей Леонова, сказочной символики совсем нет.

Идеологически Леонов еще весь на перепутьях, и есть стороны в его творчестве, заставляющие опасаться за будущее его таланта, за соответствие его эпохе. Думается, что у Леонова есть одно основное противоречие: в нем художник спорит с мыслителем. То, что от художника, от его интуиции—почти всегда крепко, реально, жизненно, просто, верно; то, что от ума, от размышлений,—сплошь и рядом навеяно со стороны, сомнительно, спутано, не додумано, не сведены концы с концами, символично, остранено снами, чертями, двусмысленно и иногда прямо реакционно. Определенно давит Леонова своей колоссальной фигурой Достоевский во вред его изобразительному дару

В заключение несколько замечаний о формальной стороне произведений Леонова. Сила таланта Леонова лежит в способности видеть типических живых людей. Леонов видит не живых людей вообще, а именно типических. Созданное в художественной лаборатории и переработанное в типичное у Леонова начинает двигаться, ходить, смеяться, говорить, оно как бы отделяется от художника и начинает вести самостоятельную жизнь. Отсюда Талаган, Савостьян, Мельхиседек, Лихарев, Елков, Елена, Ковякин, Обувайло, Туатамур, Ытмырь и др., являясь значительными художественными, синтетическими образами, воспринимаются читателем очень легко, отчетливо и свободно. Этим даром Леонов наделен больше, чем его многие молодые литературные современники. Бабель—высокий, редкий новеллист современного; Всев. Иванов видит прежде всего цвета и еще талант его легче всего развертывается в метафоре, в восточной образности; дар Пильняка в слове, которое у него слышно; у него также хороший глаз на природу, он — жадный собиратель бытового материала; Сейфуллина подкупает исключительно близким подходом к крестьянству, словно пишет о нем сама крестьянка и т. д.

Леонов создает и видит типы. Он больше других в этом отношении носит в себе от священного огня классиков. У него есть полная возможность протянуть прямую крепкую нить от литературной современности к классикам. И очень вредно, что художник то-и-дело отклоняется в сторону от этого основного и самого ценного, что у него есть. Вся символика Леонова есть сплошной уклон от своего художественного стержня.

Творчество Леонова лишено областничества, столь характерного для современной молодой советской литературы. Больше всего Леонов знает и чувствует север, но ни север, ни какая-либо иная область не кладут своего преимущественного отпечатка на его вещи. Характер его творчества чрезвычайно разнообразен и широк: Туатамур, Ковякин, Лихарев, Савостьян, Агапий, Талаган и т. д. — в каждой вещи другая среда, другие совсем люди. Бабель и Леонов, это—преодоление областничества в нашей литературе; они выводят ее на широкую дорогу.

Леонов — хороший конструктор. Архитектоника его произведений почти всегда проста, строга и лишена той нарочитости, иногда сумбура, разбросанности, коими грешны очень многие из молодых беллетристов. Сюжет продуман и, если бы не перебивался сказочной символикой, приобрел бы законченную, гармоничную цельность. В некоторых вещах, например, в «Туатамуре», художественная мысль нашла совершенно четкое сюжетное воплощение.

Стиль Леонова тоже очень разнообразен. Леонов еще не переступил через порог подражательства. Его вещи по стилю (и по содержанию) написаны под сильным влиянием тех или иных писателей: «Деревянная королева»— под влиянием Ауслендера, «Петушихинский пролом» — Ремизова и Лескова, «Записи» Ковякина — Гоголя и Щедрина, «Конец мелкого человека»—под влиянием Достоевского, «Туатамур»—сказок Востока. Это свидетельствует о том, что ни идейно, ни формально (стиль, это — человек) Леонов еще себя не нашел вполне. Но легкость, с какой он овладевает различными стилями, большое умение в пользовании, уместность и соответствие теме показывают о большом размахе и силе его таланта. Даже больше: ученик иногда идет уже впереди своих учителей: так, «Петушихинский пролом» это уже дальше и лучше Ремизова. При этом сквозь подражательность уже сейчас довольно ясно видится свое. Длинная, чуть-чуть витиеватая и старомодная фраза повторяется у Леонова везде, при пользовании различными стилями.

Стилизация все-таки дает о себе знать пока еще очень сильно даже в лучших вещах Леонова, не говоря уже о таких, как «Гибель Егорушки», где она прямо-таки выпирает. Между тем Леонову очень легко освободиться от нее. Слова фразы у Леонова чисты, прозрачны, по существу. Красоту и силу нашего родного языка Леонов понимает и чувствует. Его вещи могут содействовать очищению современного литературного языка от неряшества, всяческих сальто-мортале, синтаксических и языковых искривлений, выдумок и чудачеств. Язык эволюционирует вместе с жизнью, хотя и отстает от нее; но из этого совсем не следует, что все современные новшества долговечны и оправданы. В языке мы сейчас идем к простоте, соединенной с крепостью и выразительностью.

Ответ Вардину.

А. Воронский.

В № 5 журнала «На посту» помещена статья Вардина «Надо, наконец, ликвидировать воронщину», совершенно исключительная по тону и содержанию даже для журнала «На посту».

Основные положения этой «статьи» Вардин повторил от редакции журнала «На посту» и Маппа в своем докладе на литературном совещании, созванном Отделом печати Ц. К. Р. К. П. (б.) 10 мая. И доклад, и статья, и вся позиция напостовцев получили надлежащую, сокрушающую и в целом единодушную оценку в выступлениях т.т. Троцкого, Бухарина, Радека, Луначарского, Н. Мещерякова, Осинского, Полонского, Яковлева. В надежде, что Отдел печати Ц. К. своевременно опубликует стенографический отчет о совещании, мы отсылаем читателя к этому ожидаемому отчету, считая пока вполне возможным ограничиться приведением резолюции, принятой подавляющим большинством на совещании. В резолюции позиция напостовцев, а следовательно и Вардина, нашла вполне определенную оценку,—ту самую, которую «Красная Новь» неоднократно давала.

Политика партии в художественной литературе.

(Резолюция, предложенная тов. Я. Яковлевым и принятая совещанием при Отделе печати Ц. К. Р. К. П., 10 мая 1924 г.).

1. Совещание считает, что основная работа партии в области художественной литературы должна ориентироваться на творчество рабочих и крестьян, становящихся рабочими и крестьянскими писателями в процессе культурного под'ема широких народных масс Советского Союза. Рабкоры и селькоры являются новой общественной силой, которая активно участвует в политическом и экономическом строительстве Советского государства и органически связана с рабоче-крестьянскими массами. Рабкоры и селькоры должны рассматриваться не только как кадры будущих журналистов, но и как резервы, откуда будут выдвигаться новые рабочие и крестьянские писатели.

2. Выдвижение и материальная помощь пролетарским и крестьянским писателям, пришедшим в нашу литературу частью от станка и сохи, частью из той интеллигентской прослойки, которая в октябрьские дни и в эпоху военного коммунизма вступила в ряды Р. К. П.,—должны быть всемерно усилены. Особое внимание необходимо уделить писателям и поэтам из среды Комсо-

мола, активно действующим в гуще рабочей молодежи и в известной степени являющимся выразителями ее настроений.

3. Совещание считает необходимым продолжение прежней линии партии в отношении к так наз. попутчикам. Необходима систематическая поддержка наиболее даровитых из них, воспитывающихся школой товарищеской работы совместно с коммунистами. Приемы борьбы с попутчиками, практикуемые журналом «На посту», отталкивают от партии и Советской власти талантливых писателей, одновременно затрудняя действительный рост пролетарских писателей и подменяя серьезную художественную и политическую работу их над собой хлесткой критикой попутчиков[1]. В то же время необходима более выдержанная постановка партийной критики, которая, выделяя и поддерживая талантливых советских писателей, вместе с тем указывала бы на их ошибки, вытекающие из недостаточного понимания этими писателями характера советского строя, и толкала бы их к преодолению буржуазных предрассудков.

4. Взаимоотношения различных писательских кружков, групп, союзов и об'единений, функционирующих в настоящее время, должны быть признаны крайне ненормальными. Атмосфера богемы и кружковщины, царящая не только в среде попутчиков, но и в пролетарских группах («Октябрь», «Кузница»), должна быть осуждена и изжита, как несомненно упадочническая, заимствованная из прежней буржуазной оторванности писателя от трудящихся масс.

5. Постановка отделов критики и библиографии в нашей периодической и непериодической печати (газеты, журналы, сборники статей) неудовлетворительна. Не только специальная и провинциальная, но и обще-массовая и руководящая (центральная) пресса уделяет вопросам критики недостаточное и часто лишь поверхностное внимание. Совещание считает необходимым скорейшее урегулирование данного вопроса и возможно более полное партийное освещение образцов художественной литературы на страницах советско-партийной печати.

6. Считая, что ни одно литературное направление, школа или группа не могут и не должны выступать от имени партии,—Совещание признает желательным устройство регулярных совещаний писателей и критиков-коммунистов при Отделе печати Ц. К. Р. К. П. и более систематическое руководство работой членов партии и партийных органов печати в области художественной литературы.

---

[1]) Курсив редакции.

О социальном составе Р. К. П. и о ленинском призыве.

Н. Попов.

I.

Когда Советская власть, возглавляемая коммунистической партией в годы гражданской войны, истекая кровью, тем не менее била своих врагов на всех фронтах, у них было одно утешение,—по мере развития и углубления гражданской войны Советская власть постепенно лишалась своей социальной базы. Поскольку лучшие силы пролетариата уходили в Красную армию, в продотряды и там гибли, поскольку их заменяли выходцы из деревни или из мелкого городского мещанства, поскольку часть заводов закрывалась, а другая часть переходила на производство зажигалок, наконец, поскольку мешечничество и спекуляция становились подсобным, а кое-где и основным источником существования весьма значительных групп рабочих,—постольку действительно у Советской власти и компартии терялась почва под ногами. Бытие определяет сознание, и тот социальный процесс разложения и деклассирования пролетариата, который безостановочно прогрессировал в течение всего периода гражданской войны, не оставался без своего политического отражения. Для нас должно быть совершенно ясно, что если бы губительный процесс разложения пролетариата перешел известную грань, то для Советской власти не оказалось бы места в нашей политической действительности. Но, к несчастью для наших врагов, их собственные силы частью были разбиты, частью разложились гораздо раньше. Закончив победоносно гражданскую войну, перейдя к новой экономической политике, возглавляемая коммунистической партией Советская власть сумела твердой железной рукой остановить разрушение промышленности и деклассирование пролетариата. Уже со второй половины 1921 года наша промышленность становится на путь оздоровления. Процесс производства принимает свой нормальный вид. Рассеянный пролетариат постепенно собирается под опустевшие крыши фабрик и заводов. Этот процесс медленно, гораздо медленнее, чем нам того бы хотелось, с перебоями, без которых было бы очень хорошо совсем обойтись, продолжается до настоящего времени.

После того, как дело у нас явно пошло на восстановление промышленности, одна из самых серьезных и обоснованных надежд врагов Советской власти на ее падение повисла в воздухе. Советская власть при развивающемся пролетариате, при постепенном повышении уровня его экономического благосостояния как будто может себя чувствовать гораздо лучше и спокойнее, чем в 1918—1920 г.г. Как будто бы. Но какой ценой Советская власть остановила разрушение промышленности. Ценой перехода к нэпу, т.-е., по мнению наших противников, ценой отказа от коммунизма. Но раз Советская власть отказывалась от коммунизма, не создавала ли она пропасть между собой и рабочим классом. А если создавала, то развитие промышленности и собирание пролетариата должно не улучшать, а ухудшать ее положение??? Это—вода на мельницу таких «истинных» представителей пролетариата, как, скажем, меньшевики.

Но здесь возможно два выхода. Или оторвавшаяся от пролетариата Советская власть находит себе новый социальный базис или, оставшись без базиса, она просто умирает... На этот счет во враждебном нам лагере нет единогласия.

В этом вопросе особенный интерес имеет своеобразная точка зрения сменовеховцев. Если Советская власть перерождается и становится властью буржуазной, тогда—да здравствует Советская власть. Мы знаем, что к этому выводу в конце концов пришла часть сменовеховцев вовсе не ценой отказа от своих буржуазных взглядов. Их буржуазные взгляды остались прежними, и изменился только один взгляд—взгляд на Советскую власть. Советская власть в их глазах уже не отождествляется больше с коммунизмом и социальной революцией. Они видят в ней силу, укрепляющую буржуазно-капиталистический строй. Само собой разумеется, если коммунистическая партия продолжает управлять Советской властью, то перерождение Советской власти будет в то же время означать перерождение коммунистической партии. Как ни различны в остальном точки зрения сменовеховцев и меньшевиков, и те и другие считают, что коммунистическая партия переживает процесс буржуазного перерождения.

Но может ли коммунистическая партия переродиться? Бывают ли в истории случаи перерождения политических партий, бывает ли так, что защищавшая когда-то интересы одного класса политическая партия постепенно переходит на позицию совершенно другого класса?

Несомненно, бывают. Можно привести сколько угодно фактов в подтверждение этого. Но достаточно только одного факта.—Перерождения европейских социал-демократических партий из пролетарских в буржуазные. Ведь нельзя же отрицать, что Вильгельм Либкнехт, инициатор празднования 1-го мая, с одной стороны, министр внутренних дел Пруссии Зеверинг и берлинский президент полиции Рихтер, запрещающие празднование 1-го мая, принадлежали к одной и той же германской с.-д. партии, но только в разное время...

Итак, нет ничего абсолютно невозможного в том, что наша коммунистическая партия переродится и станет на непролетарскую точку зрения, как не было ничего совершенно невероятного в том, чтобы гражданская война

1918—1920 г.г. в результате распыления пролетариата кончилась бы победой буржуазной контр-революции. Но отличие нашей партии от всех других революционных партий, переживших и непереживших перерождение, заключается в том, что, вооруженная методом марксистского анализа, наша партия никогда не закрывает глаза на те реальные опасности, которые ей грозят: может быть, поэтому она всегда до сих пор своевременно принимала против них соответствующие меры. Так обстояло дело и с вопросом о «перерождении»... Мы коснемся только тех мер противодействия перерождению, которые сводились к регулированию социального состава партии, к ограничению, а то и полному предотвращению доступа в нее таким слоям, которые могли быть носителями бациллы перерождения. На этом интересном вопросе мы должны остановиться более подробно.

II.

Окончательно, как массовая партия, насчитывающая десятки тысяч членов, коммунистическая партия сложилась в 1917 году между февральской и Октябрьской революциями.

Тогда это была в огромном своем большинстве рабочая партия, партия рабочих от станка. Процент интеллигенции, служащих и т. д. оставался в ней крайне невелик по сравнению с партиями эс-эров и меньшевиков. Зато постепенно увеличивался и к октябрю достиг внушительных размеров процент крестьян-солдат.

После Октябрьской революции в огромной степени расширились организационные рамки работы партии... Партийные организации образовались в таких пунктах, где их раньше никогда не было; где отсутствовал пролетарский элемент — здесь они могли комплектоваться только за счет всякого рода промежуточных мещанских слоев. С другой стороны, как грибы, начали расти партийные ячейки в деревне. После первых успехов постепенно усилился прилив к партии и Советской власти интеллигенции, частью побывавшей предварительно в партиях меньшевиков и эс-эров, особенно эс-эров, левых, частью нигде не побывавшей, совершенно сырой в политическом отношении. В то же время массу наиболее активных рабочих пришлось снять с заводов и направить в Красную армию или на советскую работу. В последнем случае они сразу попадали в чуждую социальную среду и не могли не испытывать на себе ее разлагающего влияния. Вот почему на первом же партийном с'езде, собравшемся после Октябрьской революции для разрешения важнейших вопросов партийной работы (мы не считаем VII с'езда, созванного для ратификации Брестского мира и не имевшего времени заниматься другими вопросами), на VIII с'езде партии, происходившем в марте 1919 года, вопрос об изменениях в социальном строе партии и о тех опасностях, которые с ним связаны, стал ребром.

По докладу тов. Зиновьева с'езд принял в части, касающейся роста партии, следующую резолюцию:

> Численный рост партии прогрессивен лишь постольку, поскольку в ряды партии вливаются здоровые пролетарские элементы города и деревни. Рабочим,

рабочей и крестьянской молодежи следует широко открыть двери партии. Но партия должна все время внимательно следить за происходящими изменениями ее социального состава. Все партийные организации обязаны вести точный учет своему составу и сообщать его периодически в Ц. К. партии. Расширение численного состава партийных организаций ни в коем случае не должно покупаться ценою ухудшения качественного состава их. К приему в партию нерабочих и некрестьянских элементов следует отнестись с большим разбором...

С'езд постановляет к 1 мая провести по всей России общую регистрацию всех членов партии. Центральному Комитету поручается не позднее 10 апреля опубликовать подробную инструкцию для проведения этой перерегистрации с тем, чтобы особые меры контроля были применены по отношению к тем членам партии, которые вошли в ее ряды после октября 1917 года.

Как видно из доклада тогдашнего секретаря Ц. К. тов. Крестинского на IX с'езде партии, возложенная VIII с'ездом на Ц. К. задача очистки от примазавшихся элементов была с успехом выполнена. Этому в значительной степени способствовало то обстоятельство, что условия гражданской войны, достигшей крайнего напряжения именно в 1919 году, постоянные мобилизации на фронт сами по себе уже были могучим средством очищения партии от чуждых элементов. Вот почему, по авторитетному свидетельству того же доклада тов. Крестинского, ряды партии после перерегистрации и мобилизации поредели почти вдвое.

Осенью 1919 года, в момент наибольшей опасности для Советской власти, когда Деникин двигался к Туле, а Юденич к Петрограду, была об'явлена партийная неделя, давшая партии многие десятки тысяч рабочих и красноармейцев.

К IX с'езду в партии числилось уже 600 тысяч членов (на восьмом с'езде было представлено 350 т.), при чем качественный состав партии, как было сказано в докладе Ц. К. с'езду, значительно улучшился. По нашему мнению, однако, доклад чересчур оптимистично освещал положение дел в партии. Между VIII и IX с'ездом Красная армия заняла Сибирь, Северный Кавказ, возвратила Украину, возобновила связь с Туркестаном. Все организации на освобожденной территории были буквально наводнены непролетарскими элементами. С другой стороны, решительная победа Красной армии на всех фронтах усилила повсеместный наплыв в партию как раз таких чуждых ей по своему социальному положению и по всей своей политической психологии элементов, от которых партия поставила себе задачу на VIII с'езде избавиться. Одновременно, при увеличении армии до 5 слишком миллионов, при огромнейшем разбухании советского и профессионального аппарата, партийные силы с заводов и фабрик быстро вычерпывались. Партия теряла свою былую кровную связь с рабочей массой... Поэтому для оптимистических выводов о социальном составе партии на IX с'езде партии у Ц. К. не было никаких оснований, и В. Ленин в заключительном слове на с'езде внес очень существенный корректив к соответствующей части доклада тов. Крестинского.

Лишь при таких условиях,—говорил В. И.,—и лишь в такие моменты, когда... Деникин стоял к северу от Орла, а Юденич в 50-ти верстах от Петрограда, в партию могли вступать только люди, искренно преданные делу освобождения трудя-

щихся. Эти условия, теперь по крайней мере, в ближайшем будущем, не повторятся, и нужно сказать, что то громадное число членов нашей партии, по сравнению с предыдущими с'ездами, которое достигнуто и осуществлено, порождает некоторые опасения, и имеется совершенно реальная опасность, состоящая в том, что быстрый рост нашей партии не всегда шел в уровень тому, насколько мы воспитали эту массу для ее настоящих задач. Нам приходится постоянно иметь в виду, что эта армия в 600 тысяч человек должна быть авангардом рабочего класса... Мы должны помнить, что наша задача на ближайший год состоит не столько в расширении партии, сколько во внутренней работе, в смысле развития состава нашей партии.

К X с'езду партия выросла еще на 100 тысяч. Но связь ее с рабочим классом за год, протекший с IX с'езда, ослабела еще более... Об этом достаточно красноречиво говорили многочисленные рабочие волнения на фабриках и заводах, совпавшие с кронштадтским восстанием и политическим бандитизмом на окраинах...

Как заявлял недавно тов. Зиновьев в своей речи на фракции II всесоюзного с'езда советов, наша партия тогда была партией меньшинства пролетариата. Вопрос об изменении состава в сторону увеличения рабочих от станка насчет мещанской интеллигенции и мелкой буржуазии нужно было решать немедленно.

Создается крайняя необходимость, — гласила резолюция X с'езда, — решительно повернуть рычаг партийной политики в сторону вербовки рабочих и очищения партии от некоммунистических элементов путем точного учета каждого члена Р. К. П. по выполняемой им работе, по должности, а также и как члена Р. К. П

X с'езд впервые вступает на путь создания рогаток при вступлении в партию, куда до сих пор доступ был почти совершенно свободный... Окончание гражданской войны и начавшаяся демобилизация Красной армии создадавала опять благоприятные условия для засорения партии шкурническими примазавшимися элементами.

Все это вполне об'ясняет параграф 22 резолюции X с'езда по партийному строительству.

В случае нарушения новыми членами партийной дисциплины и т. д., коммунисты, рекомендовавшие их, подвергаются дисциплинарному взысканию вплоть до исключения из партии при повторности неосмотрительных и легкомысленных рекомендаций.

Как одну из мер предохранения партии от засорения ее негодными элементами необходимо оглашать имена желающих вступить в партию. Рекомендующие должны иметь годичный партийный стаж. Кандидатский стаж для товарищей не рабочих и крестьян увеличивается до одного года...

Однако меры, принятые X с'ездом, были явно недостаточными. Между тем, в партии с начала новой экономической политики положение стало еще тревожней. В обстановке свободы торговли стали очень быстро развиваться и оперяться удушенные военным коммунизмом буржуазные слои города. И одновременно с этим стало расти их влияние на часть коммунистической партии, вышедшую из городского мещанства и интеллигенции. Аналогичный процесс начал развиваться в деревне. Волна мелко-буржуазной стихии, выпущенной на свободу нэпом, угрожающе подымалась вокруг нашей партии.

Тогда партия вступила на путь таких решительных мер, которые она привыкла принимать в аналогичных случаях. Летом 1921 года был совершенно прекращен всякий прием в партию и началась чистка ее, растянувшаяся на несколько месяцев.

К чему свелись результаты чистки? Согласно отчету Центральной Проверочной Комиссии на XI с'езде партии, исключению подверглось 136.387 (не считая Туркестана, о котором не было точных цифр). Если прибавить к этому 11.796 добровольно ушедших из партии во время чистки, то число это возрастает до 154.182... Из этого количества рабочих исключено 27.807, крестьян—60.980, интеллигенции—42.559. Значительное количество исключенных рабочих определенно говорило о том разложении, которому подверглась даже пролетарская часть партии на заводах, где еще не было окончательно прекращено хищение, разбазаривание, мешечничество, спекуляция, и в советских учреждениях. Что касается до крестьян, то дело шло, главным образом, о советских служащих крестьянского происхождения или же о примкнувших к партии во время гражданской войны, но абсолютно политически неграмотных. Кое-где, правда, исключались проникшие в партию явно кулацкие элементы.

На том же XI с'езде было постановлено сосредоточить все силы на внутри-партийной воспитательной работе, а прием в партию со стороны свести к минимуму. Та мысль, которую два года тому назад на IX с'езде высказал В. И., теперь дошла до сознания всей партии.

В ближайший год или в ближайшие годы,—гласила резолюция XI с'езда,— Р. К. П. безусловно должна уделять свое внимание не столько увеличению количества своих членов, сколько улучшению качественного их состава. Неустанная работа над улучшением состава партии является важнейшей задачей ближайших лет. Бурные годы гражданской войны не дали возможности уделить достаточно внимания и сил поднятию марксистского образования и культурного уровня рядовых членов в партии. Ближайшие годы должны быть посвящены именно этой первостепенной важности задаче.

Для преграждения доступа в партию II с'езд постановил:

Изменить условия вступления в Р. К. П. в том смысле, чтобы затруднить это вступление не чисто пролетарским элементам. С этой целью во изменение партустава на весь 1922 год до XII с'езда утвердить следующий порядок приема в партию:

а) При приеме в партию установить три категории: 1) рабочие и красноармейцы из рабочих и крестьян; 2) крестьяне (кроме красноармейцев) и кустари, не эксплоатирующие чужого труда; 3) прочие (служащие и т. д.).

б) Прием в партию для рабочих и красноармейцев из рабочих и крестьян происходит по утверждениям укомов и райкомов не иначе, как по рекомендации 3-х членов партии с трехлетним стажем, для крестьян и кустарей прием в партию происходит по рекомендации 3-х членов партии с трехлетним стажем, не иначе как с обязательного утверждения губкома; для прочих (служащих и т. д.) прием в партию происходит не иначе, как по рекомендации пяти членов партии с пятилетним стажем и с обязательного утверждения губкома.

г) Выходцы из других партий принимаются только по рекомендации 5-ти членов партии с пятилетним стажем, не иначе, как с обязательного утверждения губкома, независимо от социального положения принимаемого.

... Во изменение партустава с'езд постановляет, что кандидатский стаж для рабочих и красноармейцев из рабочих и крестьян должен быть установлен не менее 6-ти месяцев, для крестьян и кустарей — 1 год, для прочих — 2 года. Выходцы из других партий принимаются на условиях двухгодичного стажа, независимо от социального положения.

Дополнительно с'езд постановляет, что, при переходе из кандидатов в члены, рекомендации возобновляются соответственно установленным категориям.

Эти постановления XI с'езда сохраняют свою силу и до настоящего времени. Только условия приема рабочих были несколько смягчены на XII с'езде (две рекомендации с двухлетним стажем). Смысл такого смягчения сводился к тому, чтобы форсировать поступление рабочих в партию. Ибо к моменту XII с'езда положение нашей промышленности и настроение пролетариата значительно изменилось в сторону оздоровления. Поднялись производительность труда и заработная плата, исчезла надобность в посторонних приработках, постепенно сошли на-нет хищения.

Между тем, еще на XI с'езде В. И. Ленин в докладе от имени Ц. К. так отзывался о составе рабочих на наших фабриках и заводах:

Очень часто, когда говорят „рабочие", думают, что это значит фабрично-заводский пролетариат. Вовсе не значит. У нас со времени войны пошли на фабрики и заводы люди вовсе непролетарские, а пошли с тем, чтобы спрятаться от войны. А разве у нас сейчас общественно-экономические условия таковы, что на фабрики и заводы идет настоящий пролетариат? Это не верно. Это правильно по Марксу, но Маркс писал не про Россию, а про весь капитализм в целом, начиная с XV века. На протяжении шестисот лет. Это правильно. А для теперешней России не верно. Сплошь да рядом идущие на фабрики — это не пролетариат, а всякий случайный элемент.

III.

К XI с'езду по данным всероссийской партпереписи у нас было около 45% рабочих по социальному положению. Но значительное большинство их оторвалось от производства, работая на советских и партийных должностях.

К 1 января 1924 года на основании данных статотделов Ц. К. картина изменилась очень мало. Мы имеем на 328 тысяч членов партии, учтенных статотделом (сюда не входили коммунисты, состоящие в кадровых частях Красной армии и находящиеся на особом учете Пура) 150.238 рабочих (46%), 80.633 крестьян (24%), 97.649 служащих и прочих (30%). Из 117.568 и кандидатов 48.674 рабочих (41%), 47.966 крестьян (41%) и 20.927 служащих и прочих (18%). При чем рабочие считаются не по своей нынешней работе на фабриках и заводах, а по социальному положению. Рабочих от станка мы имели всего на-всего 15,5% общего состава действительных членов партии и 22,2% кандидатов. Крестьян «от сохи» среди членов партии—20,3%, среди кандидатов 25,5%.

За последний год по отношению к членам партии (с 1 января 1923 года по 1 января 1924 года) процент рабочих (по социальному положению) поднялся на 0,8%; крестьян упал на 1,1%; служащих увеличился на 0,3%.

По отношению к кандидатам процент рабочих увеличился на 5,2%, крестьян уменьшился на 4,7%, служащих и прочих также сократился на 0,5%.

Так обстояло дело до постановления 13-ой конференции о приеме в партию 100.000 рабочих от станка и до начала кампании по вовлечению ленинского призыва.

В итоге систематических мероприятий всех партс'ездов, начиная с VIII, по улучшению социального состава партии, мы досих пор не могли похвалиться особенно серьезными результатами. Однако хорошо было уже то, что удалось не допустить дальнейшего ухудшения состава партии. На 15% рабочих от станка и 20% крестьян от сохи приходилось 65% обслуживающего советский и партийный аппарат персонала, который в большинстве своем всеми условиями жизни был обречен на непрестанное воздействие социально чуждой партии среды, воздухом которой он вынужден был дышать [1]). Таким образом получилась самая подходящая обстановка для мелко-буржуазного влияния на пролетарскую партию. И результаты последней поверки М. К. К. показывают, что именно в ячейках кооперативных, хозяйственных, советских органов это мелко-буржуазное влияние свило себе довольно прочное гнездо. Отсюда проистекают все надежды наших врагов на вырождение или перерождение партии.

Что сейчас эти надежды являются главным козырем в руках политических игроков всех мастей, ставящих свою ставку на падение Советской власти, это не может подлежать никакому сомнению.

Ленинский призыв выбил почву у всех хитроумных построений Далина и К°, ибо он был первым решительным успехом партии на фронте борьбы за изменение своего социального состава. Движение рабочих масс в коммунистическую партию приняло такие широкие размеры, которые далеко превзошли ожидания высших партийных органов. Конечно, чудес на свете не бывает. И в этом мощном движении сказались результаты длительной предшествующей работы партии. Оздоровление нашей промышленности, медленное, но систематическое собирание подлинного рабочего класса вокруг фабрик и заводов, на-ряду с очищением их от таких элементов, перед которыми прекращение военных и трудовых мобилизаций и введение свободы торговли открыло новые пути, наконец, улучшение положения рабочего класса, — все это в совокупности незаметно, но упорно действовало в определенном направлении, пока результаты не обнаружились воочию. Уже к XII с'езду при празднования 25-ти-летнего юбилея Р. К. П. мы были свидетелями дружного и сочувственного отклика, который этот юбилей вызвал в беспартийных рабочих массах. При таком общем улучшении настроения рабочих рано или поздно оно должно было принять форму массового тяготения в партию. Для этого требовался только подходящий толчек, и таким толчком явилась смерть Ильича.

---

[1]) Цифры эти изменились бы очень мало, если бы мы приняли в расчет Красную армию, но о ней у нас цифр нет.

Во что вылилось движение и как далеко превзошло оно первоначальные предположения партии, пусть об этом лучше скажут цифры...

Резолюция 13-ой партконференции, принятая за несколько дней до смерти Ильича, говорила о приеме в партию 100 т. рабочих от станка в течение года.

Когда после смерти Ильича чисто стихийно на отдельных фабриках и заводах началась массовая запись рабочих в партию и затем так же стихийно движение перекинулось в провинцию, Ц. К. решил намеченные конференцией 100 тысяч принять в 3-х-месячный срок, проведя соответствующую политическую кампанию примерно до первого мая.

По сведениям, имеющимся в нашем распоряжении и относящимся к 21 апреля с. г., по 80 губкомам и обкомам (из общего количества около 100 сюда вошли почти все районы с рабочим населением) было подано со стороны рабочих от станка 270.472 заявления. Утверждено членами партии из них пока 125.815. Разница между двумя цифрами показывает, с какой осторожностью и осмотрительностью относятся к приему в партию местные организации; никакого приема огулом, кого попало, о чем пишет белогвардейская печать, и в том числе «Социалистический Вестник», нет и в помине.

На основании этих цифр можно сказать с уверенностью, что к партийному с'езду, назначенному на 20-ое мая, мы будем иметь в партии (в качестве кандидатов пока) не менее 200.000 рабочих от станка ленинского призыва.

Насколько радикально изменяется состав нашей партии, видно из следующих цифр.

К 1 января 1924 года мы имели (не считая вышеуказанных категорий Красной армии) 446 т. членов и кандидатов партии, в том числе 75 т. рабочих от станка, т.-е. 17% слишком.

К 20 мая 1924 года будем иметь предположительно на 646 т. членов и кандидатов 275 тыс. рабочих от станка, т.-е. свыше 42%, а по социальному положению—около 62%. Отсюда видно, какой огромный шаг к пролетаризации своего социального состава, а вместе с тем и его однородности делает сейчас наша партия.

Все значение этого шага будет еще яснее, если мы возьмем данные по отдельным промышленным районам и будем сравнивать количество уже принятых (до 25 апреля) в партию рабочих от станка с общим количеством рабочих данного района.

В Москве до кампании входило в коммунистическую партию 4% всех рабочих, занятых в производстве, к 25 апреля входило уже 10%.

	до кампании	к 25 апреля
В Ленинграде	2%	16%
В Донбассе	3%	11%
На Урале	4%	10,4%
В Нижегородск. губ. . .	3%	10,7%
В Тульской губ.	3,75%	15,6%
В Иван.-Вознесен. . . .	2,8%	7,2%

	до кампании	к 25 апреля
В Азербейджане	4%	11,5%
В Тверской губ.	3%	8%
В Екатеринославской . .	5%	8,5%

В 20 промышленных районах, на которых Ц. К. сосредоточил кампанию, в партии состояло до ее начала 3,7% рабочих, к 25 апреля было уже 9%. Но, если брать по отдельным районам, этот процент оказывается выше там, где мы имеем отрасли промышленности с наиболее развитым пролетариатом (металлургическая, металлообрабатывающая, транспорт), в районах текстильной промышленности с широким применением женского труда этот процент ниже.

Процент коммунистов от станка к общему количеству членов и кандидатов партии в тех же районах равнялся 1 января 1924 года 22. На 25 апреля он уже достиг 68.

Огромные результаты, полученные от кампании нашей партией, совершенно озадачили ее врагов, ждавших от смерти В. И. Ленина совершенно других результатов, надеявшихся на полный отрыв Р. К. П. от рабочего класса, рост разложения, внутренней борьбы и т. д. Но факты — вещь упрямая. От них можно или отмахнуться, или их надо об'яснить. Большинство белогвардейских газет сочло за лучшее отмахнуться, «Социалистический Вестник» решил об'яснить. И вот, начиная с руководителей почтенного органа и кончая его информаторами из Сормова, Ростова, Питера, закипела работа. В результате мы имеем целый ряд об'яснений факта массового вступления рабочих в Р. К. П., несмотря на то, что, по мнению меньшевиков, Р. К. П. давным давно уже превратилась в партию советских чиновников, нэповской буржуазии и чуть ли еще не иностранного капитала, готовящегося вместе с коммунистами эксплоатировать бедную Россию. Несчастье этих об'яснений заключается лишь в том, что они настолько сшиты белыми нитками и так противоречат друг другу, что становится неудобно даже за господ меньшевиков.

Об'яснение № 1 (его единогласно дают все «собственные корреспонденты» газеты; правдивость этой породы людей уже давно всем известна).

Запись рабочих в партию происходит принудительным путем, под угрозой расчетов и арестов, общими усилиями заводской администрации, комячеек и всемогущего Г. П. У. Одним словом, примерно теми же методами, как в свое время при царском правительстве происходила запись рабочих в члены союза русского народа и Михаила архангела. Только одно остается непонятным, почему все-таки в союз Михаила архангела рабочие не вступали, а в коммунистическую партию идут. Впрочем, сама меньшевистская редакция чувствует всю неловкость такого об'яснения и дальше газетных задворков пускать его не решается. Ибо даже в оголтелом вранье должна же быть хоть какая-нибудь мера.

Об'яснение № 2. В коммунистическую партию идут пассивные мещанские элементы рабочих, которые в течение всей революции держались в стороне, не примыкая ни к каким партиям, не участвуя в гражданской

войне. Только теперь, когда результаты войны выяснились окончательно, они, наконец, решили примазаться к господствующей партии и власти. Это второе об'яснение противоречит первому. Ибо большая разница между записью под дулом револьвера и записью из желания примазаться. Но еще больше оно противоречит всем без исключения статьям «Социалистического Вестника», который из нумера в нумер утверждает, что Советская власть находится накануне полного экономического и политического банкротства. Ведь если пассивные рабочие, которые в течение всей революции и гражданской войны боялись куда-нибудь примкнуть, теперь идут в коммунистическую партию, не вытекает ли отсюда, что Советская власть стоит прочнее, чем когда бы то ни было...

Об'яснение № 3, автором которого является хитроумный Далин. В Р. К. П. рабочие идут потому, что больше некуда итти (странно, почему они тогда не идут к меньшевикам?). Р. К. П. единственная легальная партия, в которой рабочий может проявить свою политическую активность. (С каких это пор русский рабочий считает необходимым условием для проявления активности легальные рамки?) Но... погодите торжествовать! Войдя в Р. К. П., эти ищущие политической активности рабочие взорвут ее изнутри. И по этому случаю весьма образованный гражданин Далин припоминает древнегреческое сказание о троянском коне. Ленинский призыв, это—деревянный конь, в'езжающий в Трою, т.-е. в коммунистическую партию. В чреве деревянного коня спрятаны люди, которые откроют ворота врагам и город будет взят.

Это третье об'яснение диаметрально противоположно второму (не говоря уже о первом). Там шла речь о политически пассивных элементах, здесь—о политически активных. Кто же, в конце концов, идет в Р. К. П.?

Несомненно, что господа меньшевики заблудились в трех соснах и противоречат себе на каждом шагу. Ленинский призыв упал на них, как снег на голову, и отнял у этих людей последние крупицы здравого политического рассудка.

Но мы все же должны констатировать, что маленькие крупицы истины, маленькие хлебные зернышки имеются в куче мусора меньшевистской аргументации; мы их должны тщательно собрать и разглядеть.

Верно то, что в огромной массе рабочих, полившихся в наши ряды, есть элементы политически пассивные, не принимавшие или принимавшие слабое участие в рабочем движении. Конечно, нельзя их назвать примазывающимися к нашей партии. Это бы было несправедливо. Они идут к нам, захваченные общим течением. Сюда относятся, в большинстве своем, те самые старики с тридцатилетним производственным стажем, которых некоторые товарищи ошибочно считали за самое ценное приобретение ленинского призыва. Кое-где в начале кампании даже проявлялось стремление действительно взять курс на максимальный производственный стаж. Но партия в целом исправила этот уклон и постановила не требовать никакого производственного стажа для принимаемых... Партия нуждается не в «героях труда», которые, может быть, потому и проработали по 20—30 лет на одном заводе, что держались в стороне от движения, а в активном живом пере-

довике и середняке, неразрывно связанном с массой, живущем ее нуждами, представляющем эту массу в фабзавкоме и различных комиссиях, побывавшем в Красной армии и гражданской войне. Вот кого в первую голову надо нам вербовать в партию.

Когда Далин говорит о троянском коне, получается до смешного грубое, карикатурное извращение. Но то, что среди вступающих есть люди, которые могут при известных условиях принести партии вред, едва ли придется отрицать. Ведь только два года с небольшим отделяет нас от того времени, когда Ленин рекомендовал весьма осторожное отношение к тогдашним кадрам фабрично-заводских рабочих (выше мы цитировали его слова). За два года эти кадры хорошо почистились от посторонних элементов. Но сказать, что таких элементов совсем не осталось на наших фабриках и заводах, было преждевременно.

И все-таки главная суть не в этом. Главная суть заключается в том, сумеет ли партия переварить двести тысяч рабочих, а не стать для них проходным двором. В этой области партии предстоит проделать колоссальную работу. Пока еще в нашем распоряжении нет полных данных о том, как эта работа идет. Но есть кое-какие отрывочные сведения и они позволяют надеяться на то, что партийный аппарат со своей колоссальной задачей сумеет справиться. В частности, это относится к агитационно-пропагандистской работе.

В короткое время местные организации развернули огромную сеть школ и кружков политграмоты, специально приспособленных для ленинского призыва. Мы имеем точные сведения об этой сети по целому ряду губерний, в которых уже теперь обслуживается в среднем около 75% принятых.

Вот эти данные (количество принятых в партию взято в круглых цифрах):

Наименован. организации	Количество принятых	Количество школ	Количество слушателей	%
Ленинградская . .	23.000	443	18.281	89%
Московская . . .	24.000	1.142	19.000	79%
Иван.-Вознес. . .	3.500	102	3.245	93%
Нижегородск. . .	5.200	54	4.855	97%
Тульская	5.200	64	2.500	53%
Донецкая	10.500	240	10.000	95%

Характерно, что некоторые провинциальные организации, несмотря на свою бедность пропагандистскими силами, идут впереди столичных. Агитпропом Ц. К. приняты меры к снабжению ленинского призыва соответствующими популярными пособиями, раз'ясняющими цели и задачи партии, знакомящими вкратце с ее историей.

Все сведения, идущие с мест, единогласно говорят о громадном энтузиазме, с которым ленинский призыв относится к своей работе в школах политграмоты... Но в таком большом деле мало энтузиазма снизу... Необходима мобилизация всех сил сверху и целесообразное, обдуманное их распределение.

Нет более важной работы для партии в настоящее время. Если партия справится с ней, это значит, что 200 тысяч рабочих, в массе своей несомненно представляющие лучшее, что было вчера в нашем пролетариате за пределами партии, у нас останутся. Организм партии наполнится огромной дозой свежей здоровой крови.

Успешный ход кампании по приему ленинского призыва показывает, что в своей работе над ликвидацией этого кризиса партия идет по верному пути, на котором она имеет все шансы победить.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

Писатели об искусстве и о себе. Сборник статей. № 1. Изд. „Круг". Москва-Ленинград. 1924 г.

Целый ряд писателей, из числа самых видных и читаемых, тех, что делают литературную погоду: Пильняк, Ал. Толстой, Замятин, Сейфуллина, Никитин, Яковлев, Лидин, Огнев, Андр. Соболь, Касаткин, Всев. Иванов—написал, кто подлиннее, кто покороче, о себе, а больше о литературе. Сделали это писатели без претензий, без учительских замашек и даже с некоторой робостью: „Это не моя область. Быть критиком по праву мне не дано". Но справедливость требует сказать, что в вопросах искусства разобрались они в общем нисколько не хуже присяжных критиков и искусствоведов. Разумеется, кое-что и невыдержанно, и звучит наивно; разумеется, кое-кто не мог обойтись без того, чтобы не поманерничать: Аркадии Николаевичи попрежнему любят говорить красиво. Но, не говоря уже о том, что от таких недостатков далеко не свободна и критика, все это в целом и понятно, и извинительно, так как подано в дозах не чрезмерных.

В чем ценность этого и подобных ему сборников? Конечно, не в теоретических построениях, не в освещении общих вопросов искусства: если в них писатели и разбираются не хуже присяжных критиков, то обосновывают они свои взгляды и выводы, во всяком случае, хуже: менее систематически, менее доказательно, руководствуясь не столько логикой, сколько интуицией. Все, что они говорят, похоже больше на прозрения, прорицания. Не то, чтобы их взгляды были неверны, но они не сделаны убедительными, не выявлена их необходимость (или вероятность), они не поставлены на крепкие ноги аргументации. Ценность сборника в том, что он показывает, в каком направлении работает писательская мысль, обнаруживает подземную работу, обычно скрытую от читательских глаз, подземные сдвиги, едва намеченные тенденции развития, находящиеся еще в стадии оформления и которые явно скажутся, найдут свое выражение в конкретной художественной деятельности не сейчас вот, а, быть может, через относительно долгий промежуток, через несколько лет.

И тут мы должны констатировать одно, на мой взгляд отраднейшее, явление. Марксистская наша критика (в лице тт. Луначарского и Воронского) давно уже утверждала, что литературе нашей предстоит период расцвета реализма, эти теоретические предвидения подтверждаются почти всеобщей тягой писателей, представленных в сборнике, к реализму. Об этом говорят статьи Толстого, Сейфуллиной, Касаткина, Яковлева, Соболя, Лидина. „Я хочу воссоздать ту жизнь, что прошла и проходит перед моими глазами, — заявляет Яковлев,— и еще больше перед моим воображением; жизнь, которая меня кровно волнует: заставляет и плакать, и смеяться, и полняет меня и радостью, и гордостью, и печалью".

„Когда в литературном произведении я ощущаю действенную волю к жизни,—пишет Сейфуллина,—или подлинное воспроизведение ее шумов, запахов, падений и взлетов, я его принимаю, и оно мне дает радость... художник должен развить свой туповатый человеческий слух до предельной чуткости. Слышать все звуки жизни, не только стенанья и вой. И самому трепетать ей. Пушкин так и пишет: „Я жизнью трепетал". И все, кто ею трепетали, это—подлинное... Если после чтения стиха или рассказа хочется писать, делать свою работу, двигаться, жить, любить, ненавидеть—это художественное произведение".

„Я противопоставляю эстетизму",—говорит Ал. Толстой,—литературу монументального реализма. Ее задача—чело-

векотворчество. Ее метод — создание типа. Ее пафос — всечеловеческое счастье, — совершенствование".

Но этот реализм не должен быть мелким бытовизмом, воспроизведением мелочей жизни, обихода, воспроизведением случайного, этнографией, фольклором. Он должен давать большие обобщения, глубоко захватывать жизнь. Мы уже видели, что Ал. Толстой определяет его как монументальный реализм. „Мы не должны бояться широких жестов и больших слов, — говорит он. — Жизнь размахивается наотмашь и говорит пронзительные, жестокие слова... Русское искусство... должно пахнуть плотью и быть более вещественным, чем обыденная жизнь. Оно должно быть честно, деловито и велико духом. Его архитектоника должна быть грандиозна, строга и проста, как купол неба над бескрайней степью".

В связи с таким взглядом на нужный эпохе реализм стоит отрицательное (в целом) отношение к современной беллетристике. Несмотря на талантливость многих молодых писателей, современная проза не дала того, что мы вправе были от нее требовать. Вместо широких обобщений, мы получили мелочи быта, этнографии; вместо человека, нового человека — вещи. „В современных русских повестях, — пишет Толстой, — еще не видно человека. Я вижу мелькание жизни, тащится поезд, воет метель, умирают, любят, ссорятся, бредут по равнинам, воюют. Вон там — рука, вон — глаз, вон — мелькнул обрывок одежды. Но целого человека не видно... Подробности быта, слова, словечки — блестящи... Острые минуты, события, случаи, настроения, но целого не видно... Наши внуки, когда будут читать эти летописные повести, ничего из них не узнают, кроме частных фактов, фактов, да еще узнают, — какие мы, их деды, говорили слова. Мы же, участники и современники великой революции, будем стоять в углах их прекрасных жилищ зыбкими, немыми призраками без плоти и крови. Наши внуки не прочтут в этих повестях о человеке... Живой тип революции останется невоплощенным призраком в повестях нашего времени... Большой человек — тип — вот задача искусства... Я хочу знать этого нового человека".

Те же упреки по адресу современной литературы направляют и Андр. Соболь, и Лидин. Это симптоматично, так как, н мер Ал. Толстому, стоявшему неск стороне от главных, столбовых путе тия современной беллетристики, о дин в полной мере, Соболь отчасти мали деятельное участие в ее созд упреки, которые они бросают новоі относятся, как они это и сами сознаю ной мере и к ним. И вот мы видим, тоже тоскуют по человеку в литерат они подавлены господством мелочей манерностью, шаблоном. Они старак тя бы, пока, в теории) освободиться его вчера для того, чтобы устре завтра, к горизонтам более шир пусть они при этом преувеличива хи этого вчера, пусть они, подобно му, слишком низко оценивают лит сегодняшнего дня, не замечая тог жительного, что она дала (ведь не в ней мелочи, ведь есть и в ней обобщения, ведь и она показала, отчасти, нового человека; сделала не слишком хорошо: и обобщені и нового человека показала недо и далеко не всегда верно, но кое-таки дала), все же их критика плод она показывает, что наша литерат стоит на одном месте, что она пытаетс одолеть свою ограниченность, свои статки.

А. Соболь констатирует, что ч перестал читать современных беллет Он ушел к Тарзану, к обезьяне. „М нули его к обезьяне... Мы повинн копались в мелочах, когда кругом утверждалась на гибели мелочей... М сывали вещи... — в то время, как вок рядом с нами вставал, жил, утверж рился человек. И человека не стал ших произведениях. Он сгинул, неч обрушили на него гору предметов, хоронили его в лавке наших вещест антиков. И мудрено ли, что человек нуло к обезьяне? Пусть хоть что-ниб вет, пусть хоть что-нибудь действует. нет человека, — то: да здравствует обе

А. Соболь остроумно высмеива шаблон, который воцарился в про ниях молодых беллетристов: „Когда китайца на первой странице — я уже что на второй будет бронепоезд, на генерал с неминуемым tabes dorsali на четвертой — зашумит, завоет метель

оборот, когда на первой странице бронепоезд—я уже предчувствую, что на второй будет генерал с седыми подусниками, на третьей—метель и на четвертой—опять-таки китаец".

Об этом же шаблоне, о манерности, о холодном гениальничаньи говорит и Лидин. В нашей прозе, по его мнению, „нет того зерна, которое могло бы прорасти в подлинную, большую литературу".

Чем же об'ясняются эти недостатки современной беллетристики? „До сих пор",—пишет А. Соболь,—мы еще не удосужились твердо и четко сказать, что наше время, когда от одного конца земного шара до другого мир содрогается в судорогах рождения нового строя, когда намечается водораздел человечества на веки вечные, писатель не может, не смеет быть аполитичным". И, быть может, еще убедительнее ту же мысль формулирует Лидин: „В нем (нашем литературном сегодня. *А. Л.*) нет—к а к о в е р у - е ш ь, в нем нет авторского утверждения или авторского порицания. Автор в стороне, он словно только п о к а з ы в а е т, а слова осуждения или похвалы боится: боится, потому что сам еще ни в чем не разобрался и сам не знает, на каком материке он стоит... И до тех пор, пока мы все не научимся писать т а к, потому что иначе не можем, и о т о м, что должны сказать, потому что это наша совесть и наш творческий голос—до этой поры все это будет—литература из ниточек".

В этом если не вся истина, то очень большая ее часть. Но, констатируя необходимость для писателя иметь и выявить свое credo, невозможность стоять в стороне от политики, от жгучих вопросов современности, все участники сборника требуют в то же время полной свободы писательского подхода к явлениям действительности. И когда А. Соболь протестует против поползновений „гувернеров при литературе, требующих, чтобы писательское отрицание аполитичности все непременно оборачивалось политикой", тянущих писателей к ответу „на основании своих чисто головных умозаключений, своих толкований, своих указаний и своих тезисов", когда Сейфуллина заявляет, направляя свои слова по адресу Волина и Родова: „окриками с полицейского или даже милицейского поста подлинно революционных писателей не воспитать",—то за этими протестами и заявлениями стоит вся группа об'единенных в сборнике писателей: от Замятина до Касаткина, и в этом они опять правы: оглобельный метод может принести только вред в литературе.

Вразрез с общей тенденцией участников сборника, с общей тягой к реализму, идут статьи Замятина и Никитина. Необходимо поэтому на них несколько остановиться.

Замятин пишет: „Все реалистические формы—проектирование на неподвижные, плоские координаты эвклидова мира. В природе этих координат нет, этого ограниченного, неподвижного мира нет, он—условность, абстракция, нереальность. И поэтому реализм—не реален; неизмеримо ближе к реальности проектирование на мчащиеся кривые поверхности—то, что одинаково делают новая математика и новое искусство. Реализм не примитивный, не realia, а realiora—в сдвиге, в искажении, в кривизне, в необ'ективности. Об'ективен—об'ектив фотографического аппарата. Основные признаки новой формы — быстрота движения (сюжета, фразы); сдвиг, кривизна (в символике и лексике)—не случайны: они—следствие новых математических координат". Замятину представляется, что, утверждая это, он становится на диалектическую точку зрения: „Если б в природе было что-нибудь неподвижное, если бы были истины,—все это было бы, конечно, неверно. Но, к счастью, все истины—ошибочны: диалектический процесс именно в том, что сегодняшние истины—завтра становятся ошибками; последнего числа нет... Истина успокаивает, ошибка—беспокоит. И пусть даже ответы невозможны совсем—тем лучше". Замятин не замечает, что первое и второе утверждения его друг другу противоречат; если истин нет и „ответы" невозможны, то у нас нет никаких оснований считать эвклидовское представление о мире менее правильным, „реальным", чем „проектирование на мчащиеся кривые поверхности". Диалектическая точка зрения вовсе не состоит в отрицании возможности познания об'ективного мира; диалектик совсем не утверждает, что вчерашняя научная истина сегодня ошибочна. Он знает, что каждое научное открытие („истина") несет в себе элемент, составную часть абсолютной истины. „Человеческое мышление по природе своей способно давать и дает нам абсолютную истину, которая складывается из суммы относительных

истин. Каждая ступень в развитии науки прибавляет новые зерна в эту сумму абсолютной истины, но пределы каждого научного положения относительны, будучи то раздвигаемы, то суживаемы дальнейшим ростом знания" (Ленин „Эмпириокритицизм и материализм", Собр. сочин., т. X, стр. 108). Эвклидова геометрия не стала ошибочна и после Лобачевского, но сузились пределы, в которых она остается верной. Но, помимо этого,—художник имеет дело не с мировыми пространствами, не с „чистой" природой, а с человеческим обществом. И те или другие наши представления о времени, пространстве, строении материи не могут существенным образом отразиться на наших общественных связях, симпатиях, целях. Далее, об'ект искусства — непосредственная данность. Поэтому аналогии с математикой не могут не быть поверхностны, бездоказательны и лишены содержания.

Мысли Замятина подхвачены И. Г. Лежневым, редактором „России". Он им придает ту определенность, которой нет у самого Замятина. Новое искусство (которое идет—по И. Лежневу—почему-то от старых писателей: А. Белого, Замятина) сливает в себе элементы быта, фантастики, символики. Оно освобождается от „старомодного трехмерного эвклидового корсета", т.-е. от последовательности во времени и „замкнутого в себе действия". Духовными отцами этого нового искусства оказываются: Эйнштейн и... Шпенглер, „величайший ум современности". Тут мы пришли, действительно, к истокам „нового" искусства. Оно, на поверку, выходит: новой квази-научной погудкой на старый реакционный лад. Иным (не реакционным) отрицание реализма в искусстве сейчас и не может быть. А что касается освобождения от „корсета"—последовательности во времени, то ведь для нас время есть не только представление, но и об'ективно существующая реальность. „Освобождаться" можно, конечно, от всего, в том числе и от здравого смысла; вопрос только в том, какая цена такому „освобождению".

Статью Никитина „Вредные мысли" правильно было бы назвать „Непродуманные мысли". Вредными эти мысли могут быть только для молодых людей не старше 15 лет. 16-летние уже без посторонней помощи увидят, в чем их ошибочность. В основе статьи лежит правильная мысль о том, что в искусстве важна не только об'ективная действительнсть, но и то, как она отражается в сознании художника. Понятно, если б не этот суб'ективный момент, то искусство превратилось бы в простое фотографирование. Но отсюда еще ни в какой мере не следует, что „искусство чистой марки (?) не терпит правдоподобия жизненного". Что такое искусство „чистой марки"—я не знаю. Думаю, что этого не знает и Никитин. Но я зато положительно знаю, что без жизненного правдоподобия обходится только искусство упадочное, дегенеративное или закостеневшее. „Правдоподобен был Гоголь или нет? Он был правдоподобен, но совсем особой художественной правдой, не требующей официальной справки". Никакая правда не требует официальной справки. Самая лучшая справка: практика, опыт, наблюдение. Совершенно верно, что Гоголь правдоподобен „совсем особой художественной правдой", но можно себя спросить: что входит в состав этой художественной правды? Не те же ли элементы практики, опыта, наблюдения? Не та же ли реальная действительность, только обобщенная? Где мерило художественной правды и что дает нам право называть ее — правдой? В жизни. Жизнь. Или Никитин в самом деле думает, что типы „Ревизора" волновали бы, смешили, возмущали современников—да и нас,—если бы в них не были сконцентрированы, обобщены те свойства, те черты, которые встречались в людях, составлявших тогдашнюю, дореформенную чиновниче-дворянски-крепостническую Россию?

Есть такая хорошая вещь. Называется она школой II ступени. В ней не помешало бы побывать кое-кому из наших писателей.

А. Лежнев.

И. Н. Кубиков. Рабочий класс в русской литературе. „Основа". 1924. Иваново-Вознесенск.

Несмотря на общее богатство нашего книжного рынка, чувствуется определенный недостаток в книгах по вопросам литературы. Особенно мало выходит за последнее время трудов, содержащих в себе тот или иной конкретный разбор художественной литературы. За последние годы писалось

больше на общие, отвлеченные темы—по теории искусства. Тем ценнее книга, в которой находишь определенные задачи по отношению к литературным явлениям. К таким ценным и любопытным книгам нужно отнести книгу И. Кубикова. Автор ставит своей задачей проследить, начиная с 40-х годов XIX века и до наших дней, как русская литература отразила в себе жизнь рабочего и ее бытовые, социальные условия.

И действительно, автору удалось собрать и систематизировать почти весь имеющийся в нашей литературе материал. Он тщательно классифицирует и анализирует всякое литературное произведение, в котором так или иначе нашла свое отражение жизнь русского рабочего.

И читателя, раньше не задумывавшегося над подобной систематикой, прежде всего поражает, как слабо количественно и качественно воспроизведен рабочий в русской художественной литературе: Григорович, Гончаров, Тургенев,—это собственно и все имена писателей литературы дворянского периода, у которых мы видим лишь мелькание рабочего. Крепостной рабочий совершенно не зарисован на ее страницах. Даже у такого художника-энциклопедиста русской жизни, каким является Л. Н. Толстой, мы, действительно, совершенно не встречаем рабочего.

Только начиная с так называемой „народнической“ литературы, поэтов Никитина и Некрасова, прозаиков Решетникова, Гл. Успенского, русский рабочий появляется на страницах художественных произведений.

Это, с одной стороны, исторически вполне законное явление: развитие рабочего класса в России началось позднее. Но это же, с другой стороны, лишний раз подтверждает положение о том, что жизнь других классов, сословий, особенно при нашем дореформенном быте, почти недоступна для зарисовок писателями иного социального положения. И только за последнее время, когда жизнь социально начинает значительно обобществляться, несмотря на обострившуюся классовую борьбу,—только теперь художник подвергается психически закону социальной капиллярности: заглядывает, изображает жизнь и других классов.

Вообще, книга И. Кубикова дает немало материала для различных социологических выводов и обобщений.

Она, безусловно, послужит хорошим толчком к литературным исследованиям подобного рода, которые в конце концов приведут нас к правильному решению социальной сущности литературы, как одного из важнейших видов искусства.

Данная тема о рабочем в литературе взята И. Кубиковым, насколько нам известно, в такой широкой постановке впервые в нашей критике. И в этом немалая заслуга автора.

Но это же положение пионера, конечно, естественно влечет за собой и некоторые недостатки в этом труде.

Правда, необходимо учесть, что у автора книги о рабочем в литературе материал неизмеримо беднее, ограниченней, но все же оперируя и с данным материалом, автор мог бы поставить себе задачи несколько пошире. И. Кубиков вылавливает из литературы лишь черточки быта и внешне-социального положения рабочего, никогда не касаясь его общего мировоззрения, его мироотношения. Может быть, в нашей литературе и нет еще удачных зарисовок рабочего, но все же попытки к этому, хотя бы самые скупые, есть. А любопытно бы было рассмотреть их.

В этом отношении богатый материал дал М. Горький, творчество которого, по нашему мнению, автор книги не дооценивает, как не дооценивает особой ценности для рождающегося нового мировоззрения поэзии Василия Казина, не находя в ней ничего характерного для психики пролетариата. Кое-что в этом отношении можно было бы найти и у Н. Ляшко. Непонятно, почему автор совершенно не подошел к творчеству писателя Бессалько, хотя его повести в художественном отношении выше многих произведений писателей, творчество которых подробно анализирует И. Кубиков.

Мало использованы автором первые рассказы М. Горького, как, напр. „Емельян Пиляй“, где ярко даны мужик и рабочий с их резким различием мировоззрения, отношения к собственности.

Но, конечно, все эти критические соображения легко сделать тогда, когда пред вами лежит эта ценная книга,—она заставляет задуматься над проблемой зарисовки рабочего в искусстве. В этом ее большая ценность. Это первая попытка в этом отношении,—и, как таковая, она надолго со-

хранит свое значение. Она может служить великолепным пособием для литературных занятий в школах II ступени и на рабфаках.

Издана книга хорошо: чисто, четко и довольно изящно.

В. Правдухин.

Сборник Российской Публичной Библиотеки. Материалы и исследования. Т. II. Вып. I. Пгрд, изд. Брокгауз-Ефрон. 1924. Стр. 303. Тираж 2.000.

Центральное место в сборнике занимает „Необыкновенная история“ Гончарова, публикуемая впервые по рукописи, помеченной 1875, 1876, 1878 г.г. и приобретенной Публичной Библиотекой в 1920 г.

„Необыкновенная история“—это история взаимоотношений между Тургеневым и Гончаровым — в „суб'ективном“ истолковании последнего. „Суб'ективизм“ этого истолкования заходит так далеко, что не остается никаких сомнений в том, что документ этот отобразил, прежде всего, то удушливое состояние „психологического“ подполья, в котором пребывал Гончаров на склоне лет (ему было за 60, когда он сочинял эту „историю“).

Граница между психически-нормальным и психически-ненормальным стерлась в его переживаниях этого периода. Достаточно прочитать статью Тер-Микельяна „Больная душа Гончарова“ („Русск. Филологич. Вестник“, 1917, I—II), чтобы убедиться в том что Гончаров в конце жизни стоял на границе психического расстройства. И нововявленный документ, представляя огромный автобиографический интерес, подлежит прежде всего обследованию невро- и психопатологов.

В чем же дело?

В 1855 г. Гончаров в порыве приятельской откровенности поведал Тургеневу весь план своего будущего романа „Обрыв“, пересказав целиком, подробно ряд сцен, разговоров, деталей. Тургенев был под сильнейшим впечатлением прослушанного,—чего и не скрывал.

Это авторское излияние стало для Гончарова исходным пунктом целой системы мучительных подозрений, навязчивых идей, которые, чем дальше, тем упорнее томили его, отравляли ему существование, доводили до полной потери душевного равновесия, до состояния невменяемости.

Что он только наделал?—Своими руками отдал все свое „добро“ Тургеневу.

А Тургенев?—Тургенев — этот „тихоня“, „бархатный плут“, „завистливый до бешенства“,—использовал откровенность собрата по перу самым коварным образом: захватив гончаровское „добро“, он укрылся с ним за границу, разбил его на части, сам снял с него „слепки“, насочинил „параллелей“, „подделок“ да еще и иностранцев наделил „чужим добром“.

„Если бы я не пересказал своего Обрыва целиком и подробно Тургеневу, то не было бы на свете: ни „Дворянского гнезда“, „Накануне“, „Отцов и детей“ и „Дыма“—в нашей литературе и ни „Дачи на Рейне“—в немецкой, и „Madame Bovary“ и „Éducation sentimentale“— во французской — и, может быть, многих других произведений, которых я не читал и не знаю... Это верно, как бог свят!“

Уезжая из России за границу, Тургенев— по мнению Гончарова—рассуждал, примерно, так: „Добывши себе на весь свой век литературный капитал, чтобы распорядиться им и помешать сопернику, я должен распространить—кроме того, что взято самим— между немецкими и французскими литераторами остальное, создать там школу, стать во главе ее, не давать переводить на французский язык соперника, быть представителем русской литературы за границей и через тамошние трубы прославиться и у себя, став на место Пушкина, Гоголя, и уничтожить Гончарова с его романами, растаскав их по клочкам!“

На эту сложную интригу Тургенев „положил всю жизнь“.

Гончарову чудилось, что Тургенев подсылал к нему своих „кумовьев и прихвостней“, „наметанных бульдогов“, которые выпытывали у Гончарова его планы, перехватывали письма, забирались—в бытность Гончарова за границей—в его комнату, снимали копии с его рукописей и немедленно информировали Тургенева, который тут же спешил „навалять повесть“, чтобы предупредить Гончарова в его литературных замыслах, а потом—в случае, если сходство обнаружится — „свалить с больной головы на здоровую“ и заявить, что Гончаров у него позаимствовал.

Тургенев добился своего: будучи превосходным художником-миниатюристом, но

не имея таланта крупного романиста, он все же прославился за границей, как „глава русской реальной школы". Это было сделано „за счет" Гончарова.

Всю эту „хитрую механику" давно постиг Гончаров, разгадал до конца, доходя в своем анализе до «ясновидения». Приведем два образчика такого „ясновидения".

Вот разговоры между Гончаровым и Тургеневым на эту тему—о „заимствовании".

„Ну, хорошо,—вдруг вспомнил Тургенев:—а после „Обрыва" вы ничего не писали, а мои сочинения—откуда? у вас взял?" (Он разумел вышедшие после „Обрыва" его мелочи: „Бригадир", „Стук-стук" и т. п.) „А это,—сказал я,—вы начерпали сюжеты из моих же писем, которые вам передавали!"

„Он вдруг остолбенел и поглядел на меня с изумлением. Он видел, что я догадался и об этом источнике!"

Другой пример „ясновидения" касается романа „Обломов". „Судя по тому упорству,—говорит Гончаров,—с которым все противились переводу „Обломова" на французский язык,—я подозреваю теперь, что и этот роман издавна перенесен в чужую литературу, но где и в каком виде, у кого- до сих пор не знаю. Вероятно, Тургенев приберегает это pour la bonne bouche,—чтобы вдруг потом об'явить, что все мои сочинения взяты из чужих литератур! Вот что сделал этот гений зависти и лжи!"

Разгадав „хитрую механику", Гончаров решил разоблачить коварного врага, отвести от себя возможные нарекания и сказать — хотя бы потомкам — „всю правду".

Чем дальше, тем больше страхи Гончарова разрастались, мания преследования обуревала его... Не только Тургенев с „толпой мучителей" организует „заговор" и „облаву" на него. За Гончаровым шпионят и с другой стороны: консервативная, аристократическая партия пытается истолковать его политический индифферентизм, как „нечто вроде протеста, что ли, чуть не бунта": „За мной стали усиленно наблюдать, добиваться, что я такое? Либерал? Демократ? Консерватор? В самом ли деле я религиозен, или хожу в церковь так, чтобы показать... что? кому?"... „Меня сделали каким-то козлом отпущения за общую деморализацию, за утрату коренных убеждений, чувств в обществе, наконец, за равнодушие к религиозным, политическим, семейным и всяким авторитетам! Чем я тут виноват?"

Но и этим дело не ограничилось. Еще с третьей стороны „невидимые враги" наступали на Гончарова: „Со мной и надо мной начали делать какие-то мистификации, шутки! Например, разные господа и госпожи играли со мной роли из моих романов, то Ольги, то Наденьки, то Веры, ставя меня в роль героев—Адуева, Обломова, Райского и проч... То вдруг племянника моего подошлют из провинции непременно служить сюда, как в „Обыкновенной истории", то подговорят женщину говорить, что говорит Ольга или Вера и т. п.".

Неудивительно, что в результате Гончаров чувствует себя замученным и затравленным.

„Я должен был бросить все: службу, тот небольшой кружок приятелей, в котором жил и прятался, так сказать, от света". „Я, измученный, преследуемый каким-то всеобщим за мной шпионством и всей этой борьбой, подозрениями, волнениями, сложил руки в рукава и об'явил, что не буду больше писать"... „Мне стало ясно, что против меня действует, точно в заговоре, какое-то общество... За что? кто? Мне стало больно и страшно жить! Я задумался не на шутку: стали у меня делаться нервные припадки, почти обмороки! Я видел уже не одного Тургенева, а целую кучу невидимых врагов, на каждом шагу оскорблявших меня разными неприятностями, глупыми шутками, смехом,—словом, я был в какой-то осаде, страшной нравственной тюрьме!" „Мне тошно жить от этого, и нет средства успокоиться, потому что я даже не знаю, что для этого надо делать: я в совершенной темноте".

И заключение такое:

„С отвращением кончаю эту жалкую историю и отрясаю перо!

„Даже не беру труда перечитывать и исправлять ее! Не исправишь! Пусть неуклюжее, но правдивое сказание явится со всеми неисправностями языка, с повторениями, с длиннотой!"

„Сказание" действительно дошло до нас в „сыром виде", и страницы его очень неравноценны: с одной стороны, попадаются перлы гончаровских сравнений, метафор, блестки мысли, меткие, интересные — для психолога, историка литературы, культуры —

наблюдения, показания оценки; с другой — всё это гонет в расплывчатой, нудной, бессильно-топчущейся на месте жалобе охваченного навязчивыми идеями маниака.

Демонстрируя поразительное оскудение психики, впадая временами в тон старческого слабоумия, автор „Необыкновенной истории“ злопыхательствует в своем „психологическом подполье“, тешит себя сплетней, инсинуацией, клеветой, обнаруживая в этом направлении поразительную творческую изобретательность,—словом, выявляет всю трагикомическую „психопатологию обыденной жизни“, столь знакомую нам по „Селу Степанчикову“ Достоевского и „Мелкому бесу“ Сологуба и совсем незнакомую по „Обыкновенной истории“, „Обломову“ и „Обрыву“ Гончарова.

А. Цинговатов.

В. А. Пыпина. Любовь в жизни Чернышевского. К-во „Путь к знанию“. Пгрд 1923. Стр. 124; тираж 4000.

В. А. Пыпина, дочь известного историка литературы, пользуясь 1) материалами семейного чернышевско-пыпинского архива в Саратове, 2) документальными данными, полученными ею от сына Чернышевского—Михаила Николаевича, 3) личными воспоминаниями и наблюдениями, попыталась раскрыть мало освещенную до сих пор историю взаимоотношений Николая Гавриловича Чернышевского и его жены Ольги Сократовны, с момента их встречи в молодости и до конца жизни. Попытка увенчалась успехом,—и основные линии этих отношений намечены верно, жизненно, психологически правдиво, местами художественно.

Полумемуары, полуисследование—книга В. А. Пыпиной вводит нас в семейно-бытовую атмосферу саратовского культурного гнезда, которому русская общественная и революционная мысль обязана двумя фигурами: фигурой крупного историка русской литературы, общественника А. Н. Пыпина и фигурой „великого русского ученого и критика“ (по выражению Маркса), первоучителя русского социализма и прямого предшественника революционного марксизма в России—Н. Г. Чернышевского.

Тема книги—интимная, нежная — трактуется в высокой степени деликатно и в то же время об'ективно, беспристрастно. Удивительно теплый, задушевный тон повествования переходит в сдержанно-благоговейный, когда речь касается самого Николая Гавриловича.

Автор ищет в личной жизни Чернышевского „затаенной драмы“, которую естественно предполагать a priori, зная резкую разнородность натур Николая Гавриловича и Ольги Сократовны: последняя „совершенно не отвечала тому образу женщины, который дорог и близок всякому, воспринявшему заветы автора „Что делать?“

Кабинетный ученый по профессии, скромный, тихий, деликатный, „ангел во плоти“ (как называли его товарищи по семинарии) и в то же время непоколебимый, стойкий революционер-мыслитель, беззаветно преданный идеалам социальной революции, Чернышевский выбрал себе жену—красавицу, с огневым стихийным темпераментом, живое олицетворение веселья, удали, лихости, безудержной жажды счастья, стремленья превратить жизнь в сплошной праздник, — женщину своенравную, властную, бесконечно-эгоистическую и беспечную до легкомыслия.

Как не предположить „затаенной драмы“ в семейной жизни Чернышевского при таких условиях?—Драмы, однако, не оказывается. Была только огромная, всепобеждающая сила любви у Чернышевского к жене и совершенно исключительное отношение к женщине вообще. Чернышевский стоял не только за „равноправие мужа и жены“, он готов был итти дальше и выразил свой взгляд в таком трогательном парадоксе: „Когда палка была долго скривлена в одну сторону, то, чтобы выпрямить ее, должно много перегнуть ее на другую сторону. Так и теперь—женщина поставлена ниже мужчины, и всякий порядочный человек обязан ставить свою жену выше себя: этот временный перевес необходим для будущего равенства“.

„К таким речам Ольга Сократовна прислушивалась очень внимательно и принимала их к сведению, ими обусловливалось ее первенство в доме, а главное—они раз навсегда освобождали ее от мещанской морали, разрушали преграды условностей и открывали широкий простор ее пылкому темпераменту... Самому Чернышевскому такая свобода решительно не была нужна,

не только по свойству его характера—он был ярко выраженный однолюб,—но и по его понятиям: „проповедник свободы не должен ею пользоваться, чтобы не показалось, что он проповедует ее для собственных выгод".

Быстро пролетели 9 лет счастливой семейной жизни: Н. Г. радостно служил своей „милой Радости", своей „голубочке", и был счастлив ее счастьем. В „Прологе" семейная жизнь Чернышевских нашла свое художественное отображение.

В 1862 г. Н. Г. был арестован и после двухлетнего заключения в крепости сослан в Сибирь. Из глухой Сибири, где он был заживо погребен в течение 20 лет, Чернышевский—в письмах—без конца заботился о жене, просил прощения в том, что имел неосторожность связать ее судьбу со своей, и пытался даже некоторыми невинно-хитрыми маневрами добиться того, чтобы она порвала с ним навсегда и вышла замуж за другого.

Ольгу Сократовну разразившаяся катастрофа ошеломила и навсегда выбила из колеи: характер ее резко изменился в сторону неуравновешенности, раздражительности, истеричности: временами она производила впечатление человека нервно-больного. В 1866 г. Ольга Сократовна совершила далекую поездку в Кадай, навестила мужа, была потрясена тем страшным убожеством обстановки, в которой он жил, и окончательно убедилась, что поселиться где-нибудь вблизи мужа она не смогла бы...

В 1883 г. Чернышевский вернулся из Сибири в Астрахань, поселился вместе с женой, по-прежнему любил ее, угождал ей. Здоровье его было расшатано и надломлено ссылкой—он скончался через 6 лет—в 1889 году. Ольга Сократовна надолго пережила мужа: она умерла в 1918 году в Саратове, в жалкой обстановке богадельни, куда родственникам пришлось поместить ее,—в силу болезненно-обострившейся неуживчивости характера.

„Лежит на смертном одре маленькая, детская фигурка, пожелтевшее личико в кулачок, только глаза горят прежним цыганским блеском, и в потухающем мозгу плывут видения прошлого, и с пергаментных губ срывается бред...

„На 29 лет пережила она того, кто на нее радовался, ею дышал, ей служил и угождал, ей молился...

„Как мучительно должен был бы страдать Николай Гаврилович, если бы мог предугадать горестный закат своей „милой Радости"...

Книга В. А. Пыпиной—очень ценный вклад в психо-биографическую литературу о Чернышевском.

А. Цинговатов.

Ответств. редактор—А. Воронский. Издатель—Государственное Издательство.

Члены Ред. Коллегии { *А. Бубнов.* *В. Смирнов.*

Адрес редакции: Москва, Маросейка, Б. Успенский пер., 5, кв. 36. Тел. 19-82.

СОДЕРЖАНИЕ.

За рубежом.

Литературные края.

От земли и городов.

Библиография.

Объявления.